А. И. Куприн

6

А. Куприн

А. И. КУПРИН

собрание
сочинений
в девяти томах

ТОМ 6

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений
выходит под наблюдением
Э. Ротштейна и П. Вячеславова.

Произведения

1914-1916

ЯМА

Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее *матерям и юношеству.*

А. К.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики — казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщичье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет — даже до сего времени — осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома,

разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы — Большая Ямская и Малая Ямская — оказались занятыми сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведениях, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение— Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновые шелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамах; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами; в спальнях голубые и розовые фонари, канаусовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбачек, гимназисток, и большинство из них — остзейские немки,— крупные, белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь — десять.

Три двухрублевых заведения — Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны—несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской — рублевые; они еще хуже обставлены. А на Малой Ям-

ской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками, спальни, точно стойла, разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников, валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послюненной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер,— за исключением трех последних дней страстной недели и кануна благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженая девка косы не заплетает,— едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висячие красные фонари. На улице точно праздник — пасха: все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, беспрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутая лестница, и узкий коридор вверху, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин подымаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики — кадеты и гимназисты — почти дети; бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и влюбленные женихи, и почтенные профессоры с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности — педагоги, и передовые писатели — авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые,

больные и здоровые, познающие впервые женщину и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами — брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделывая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых таинств — таинство зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести — четыреста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных

вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой посредине — тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно-печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихряя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.

Тускло поблескивает фортепиано своим черным, изогнутым, глянцевитым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, щербатые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах: пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампады перед всеми образами. Девицы, по традиции, не смеют этого делать своими оскверненными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах, около крылец, перил и дверей, красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью.

Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она

прекрасно, сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удушья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, мо́рщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

— Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом,— Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но кругло-толста: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара — большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это — ее юбка, торс и голова. Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж — Исай Саввич — тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки — старшая и младшая. Старшая — Эмма Эдуардовна. Она — высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, чер-

ные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть — в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтят ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои.

Другую—зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием.

Наконец, пятое лицо — местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозою жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий.

Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный — с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

— Так как же, Фома Фомич? — спрашивает искательно хозяйка.— Это же дело выеденного яйца не стоит... Ведь вам только слово сказать...

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

— Подумайте сами, мадам Шойбес,— говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь,— подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманным образом вовлечена в это... в как его... ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое... Наконец след находится у вас, и главное,— подумайте! — в моем околотке! Что я могу поделать?

— Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя,— говорит хозяйка.

— Оне совершеннолетние,— подтверждает Исай Саввич.— Оне дали расписку, что по доброй воле...

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

— Ей-богу, она здесь как за родную дочь.

— Да ведь я не об этом говорю,— досадливо морщится околоточный.— Вы вникните в мое положение... Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

— Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

— А-а! С удовольствием...

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сторублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

— Вот у меня сын гимназист—Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

— Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже....

— Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и говорит: «Я тебе больше не сын,— ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

— Ах, и не рассказывайте,— вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза.— Мы нашу Берточку,— она в гимназии Флейшера,— мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

— Ей-богу, Анночка вся покраснела,— подтверждает Исай Саввич.

— Покраснеешь! — горячо соглашается околоточный.— Да, да, да, я вас понимаю. Но, боже мой, куда мы идем! Куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или... как их там? И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям. Расстреливать их надо.

— А вот у нас был третьего дня случай,— вмешивается суетливо Зося.— Пришел один гость, толстый человек...

— Не канцай,— строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненной набок головой.— Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень.

— И ни на одного человека нельзя положиться,— продолжает ворчливо хозяйка.— Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девицы только и думают, что о своих любовниках. Чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях и не думают.

Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей:

— Экономочка! Примите деньги и пожалуйте мне марочки. Петя ушел.

Околоточный встает и оправляет шашку.

— Однако пора и на службу. Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исай Саввич.

— Может, еще рюмочку, на дорожку? — тычется над столом подслеповатый Исай Саввич.

— Благодарю-с. Не могу. Укомплектован. Имею честь!..

— Спасибо вам за компанию. Заходите.

— Ваши гости-с. До свиданья.

Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно:

— А все-таки мой совет вам: вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый — предупреждаю-с.

Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:

— Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги...

Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно. Сладко пахнет полуувядшей осокой. Тишина.

III

До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток — самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые, пустые часы, которые переживаются в большие праздники в институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья и целый день царит светлая, сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера.

Любка после завтрака снесла Амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолну-

хов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице: о фонарщике, наливающем керосин в уличные фонари, о городовом с разносной книгой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавочку...

Нюра — маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка; у нее белые, льняные волосы, синие жилки на висках. В лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка. Она жива, суетлива, любопытна, во все лезет, со всеми согласна, первая знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипают пузыри, как у детей.

Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, испитой, бельмистый парень, услужающий, и бежит в соседний трактир.

— Прохор Иванович, а Прохор Иванович,— кричит Нюра,— не хотите ли, подсолнухами угощу?

— Заходите к нам в гости,— подхватывает Люба.

Нюра фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех:

— На теплые ноги!

Но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки.

— Пфуй! Что это за безобразие? — кричит она начальственно.— Сколько раз вам повторять, что нельзя выскакивать на улицу днем и еще—пфуй!—в одном белье. Не понимаю, как это у вас нет никакой совести. Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажется, слава богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме. Не на Малой Ямской.

Девицы возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретах, созерцая сердитую кухарку Прасковью, болтая ногами и молча грызя семечки.

В комнате у Маленькой Маньки, которую еще называют Манькой-Скандалисткой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, с серыми глазами навыкате, с самым ти-

пичным белым, добрым лицом русской проститутки, играют в карты, в «шестьдесят шесть». Ближайшая подруга Маньки Маленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение г. Дюма, и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но, против ожидания, усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило ее воображения. Более всего ей нравится в романах длинная хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми виконт развязывает банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей позиции, и после которых маркиз, проткнувши насквозь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV,— словом, весь этот пряный, в золоте и кружевах, героизм прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе — тиранствующей и обожаемой. Она — высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими, горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым, нездоровым румянцем на щеках.

Не выпуская изо рта папироски и щурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются внаружу острые, некрасивые, неправильные желваки.

Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись, с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия, или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишний обычай домов терпимости — заменять грубые имена Матрен, Ага

фий, Сиклитиний звучными, преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений: что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо- и темно-золотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услыхали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и сговорчивость, все в заведении относятся к ней с почтением и осторожностью: и хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой.

— Прикрыла,— говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой, рубашкой кверху.— Выхожу с сорока, хожу с туза пик, пожалуйте, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?

— Тридцать,— говорит Манька обиженным голосом, надувая губы,— ну да, тебе хорошо, ты все ходы помнишь. Сдавай... Ну, так что же дальше, Тамарочка? — обращается она к подруге.— Ты говори, я слушаю.

Зоя стасовывает старые, черные, замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы.

Тамара в это время рассказывает Мане тихим голосом, не отрываясь от шитья.

— Вышивали мы гладью, золотом, напрестольники, воздухи, архиерейские облачения... травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна,— окошки маленькие, с решетками,— свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом, разговаривать нельзя было: матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный ирмос... «Вонми небо и возглаголю и во-

спою...» Хорошо пели, прекрасно, и такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный, снежок за окном, ну вот точно во сне...

Женя опускает истрепанный роман себе на живот, бросает папиросу через Зоину голову и говорит насмешливо:

— Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев в нужники выбрасывали. Лукавый-то все около ваших святых мест бродит.

— Сорок объявляю. Сорок шесть у меня было! Кончила! — возбужденно восклицает Манька Маленькая и плещет ладонями.— Открываю три.

Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает в их концах маленькие, лукавые, двусмысленные углубления, совсем как у Монны Лизы на портрете Леонардо да Винчи.

— Плетут много про монахинь-то мирские... Что же, если и бывал грех...

— Не согрешишь — не покаешься,— вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту.

— Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, а от утреннего стояния так вот спину и ломит, и ноги ломит. А вечером опять служба. Постучишься к матушке в келию: «Молитвами святых отец наших господи помилуй нас». А матушка из келии так баском ответит: «Ам-минь».

Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно:

— Странная ты девушка, Тамара. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры, вроде Соньки, любовь крутят. На то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стирана, а тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь?

Тамара не торопясь перекалывает поудобнее ткань на своем колене булавкой, заглаживает наперстком шов и говорит, не поднимая сощуренных глаз, чуть склонив голову набок:

— Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю.

Женя продолжает качать головой.

— Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по семи рублей за склянку. Кому это нужно? Вот теперь набрала на пятнадцать рублей шелку. Это ведь ты Сеньке своему?

— Конечно, Сенечке.

— Тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение, точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя. Воры, они это любят. И обирает небось?

— Больше, чем я захочу, я не дам,—кротко отвечает Тамара и перекусывает нитку.

— Вот этому-то я и удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы, и бриль-янты.

— Что кому нравится, Женечка. Вот и ты тоже хорошенькая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый, а вот застряли мы с тобой у Анны Марковны.

Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью:

— Да! Еще бы! Тебе везет!.. У тебя все самые лучшие гости. Ты с ними делаешь, что хочешь, а у меня все —либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне. Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишек не люблю. Придет, гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения. Так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане в кулаке держит, горячий весь рубль-то, даже потный. Молокосос! Ему мать на французскую булку с колбасой дает гривенник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно, назло ему говорю: «На тебе, миленький, на тебе карамелек на дорогу, пойдешь обратно в корпус — пососешь». Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно подглядела с крыльца: как вышел, оглянулся, и сейчас карамельку в рот. Поросенок!

— Ну, со стариками еще хуже,— говорит нежным голосом Манька Маленькая и лукаво заглядывает на Зою,— как ты думаешь, Зоенька?

Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может раззеваться. Ей хочется не то сердиться, не то смеяться. У ней есть постоянный гость, какой-то высокопоставленный старичок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение.

Зое удается, наконец, раззеваться.

— Ну вас к чертовой матери,— говорит она сиплым, после зевка, голосом,— будь он проклят, старая анафема!

— А все-таки хуже всех,— продолжает рассуждать Женя,— хуже твоего директора, Зоенька, хуже моего кадета, хуже всех — ваши любовники. Ну что тут радостного: придет пьяный, ломается, издевается, что-то такое хочет из себя изобразить, но только ничего у него не выходит. Скажите, пожалуйста: маль-чи-шеч-ка. Хам хамом, грязный, избитый, вонючий, все тело в шрамах, только одна ему хвала: шелковая рубашка, которую ему Тамарка вышьет. Ругается, сукин сын, по-матерному, драться лезет. Тьфу! Нет,— вдруг воскликнула она веселым задорным голосом,— кого люблю верно и нелицемерно, во веки веков, так это мою Манечку, Маньку Беленькую, Маньку Маленькую, мою Маньку-Скандалисточку.

И неожиданно, обняв за плечи и грудь Маню, она притянула ее к себе, повалила на кровать и стала долго и сильно целовать ее волосы, глаза, губы. Манька с трудом вырвалась от нее с растрепанными светлыми, тонкими, пушистыми волосами, вся розовая от сопротивления и с опущенными, влажными от стыда и смеха глазами.

— Оставь, Женечка, оставь. Ну что ты, право... Пусти!

Маня Маленькая — самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе, и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить три-четыре рюмки ликера-бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделывает такие скандалы, что всегда требуется вмешательство эко-

номок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женя относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием.

— Барышни, обедать! Обедать, барышни! — кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зося. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо:

— Обедать, обедать, барышни!

Идут опять на кухню, все так же в нижнем белье, все немывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами, котлеты и пирожное: трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита, благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами, рахат-лукумом, солеными огурцами и тянучками и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая, курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь два месяца назад обольщенная каким-то коммивояжером и им же проданная в публичный дом, ест за четверых. У нее все еще не пропал чрезмерный, запасливый аппетит простолюдинки.

Женя, которая лишь брезгливо поковыряла котлетку и съела половину трубочки, говорит ей тоном лицемерного участия:

— Ты бы, Феклуша, скушала бы и мою котлетку. Кушай, милая, кушай, не стесняйся, тебе надо поправляться. А знаете, барышни, что я вам скажу,— обращается она к подругам,— ведь у нашей Феклушки солитер, а когда у человека солитер, то он всегда ест за двоих: половину за себя, половину за глисту.

Нина сердито сопит и отвечает неожиданным для ее роста басом и в нос:

— Никаких у меня нет глистов. Это у вас есть глисты, оттого вы такая худая.

И она невозмутимо продолжает есть и после обеда чувствует себя сонной, как удав, громко рыгает, пьет воду, икает и украдкой, если никто не видит, крестит себе рот по старой привычке.

Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоси:

— Одеваться, барышни, одеваться. Нечего рассиживаться... На работу...

Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борно-тимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девицы одеваются к вечеру.

IV

Настали поздние сумерки, а за ними теплая, темная ночь, но еще долго, до самой полуночи, тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспы плешинками бровями и усами и с черными, матовыми, наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка.

Пришел тапер — высокий, белобрысый деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Исай Саввичем потихоньку разучивали «pas d'Espagne» [1] — танец, начинавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали тридцать копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка, Анна Марковна, другую же музыканты делили поровну. Таким образом тапер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исай Саввич играл самоучкой и отличался деревянным слухом. Таперу приходилось постоянно его натаскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девицы с некоторой гордостью рассказывали гостям о тапере, что он был в консерватории и шел все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой, немножко приторной жалостливостью, что весьма

[1] Падеспань *(франц.)*.

вяжется с внутренними, закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слащавая, истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах.

Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды: неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного, инстинктивного стремления женщин — нравиться.

И, правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные, пестрые события. Являлась вдруг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовывала каких-нибудь приличных на вид, безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею. Порою завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами изо всех заведений, сбегавшимися на выручку товарищу швейцару,— драки, во время которых разбивались стекла в окнах и фортепианные деки, когда выламывались, как оружие, ножки у плюшевых стульев, кровь заливала паркет в зале и ступеньки лестницы, и люди с проткнутыми боками и проломленными головами валились в грязь у подъезда, к звериному, жадному восторгу Женьки, которая с горящими глазами, со счастливым смехом лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бранилась и науськивала, в то время как ее подруги визжали от страха и прятались под кровати.

Случалось, приезжал со стаей прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобраз-

ных кутежах и теперь дошвыривающий, перед самоубийством или скамьей подсудимых, в угарном, пьяном, нелепом бреду последние деньги. Тогда запирались наглухо двери и окна дома, и двое суток кряду шла кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом, русская оргия, устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими, жидкими телами, пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на полу, среди душной, проспиртованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием и испарениями нечистой кожи.

Изредка появлялся в заведении цирковой атлет, производивший в невысоких помещениях странно-громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату, китаец в синей кофте, белых чулках и с косой, негр из кафешантана в смокинге и клетчатых панталонах, с цветком в петлице и в крахмальном белье, которое, к удивлению девиц, не только не пачкалось от черной кожи, но казалось еще более ослепительно-блестящим.

Эти редкие люди будоражили пресыщенное воображение проституток, возбуждали их истощенную чувственность и профессиональное любопытство, и все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга.

Был случай, что Симеон впустил в залу какого-то пожилого человека, одетого по-мещански. Ничего не было в нем особенного: строгое, худое лицо с выдающимися, как желваки, костистыми, злобными скулами, низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес ко лбу сложенные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, нисколько не смутился, опустил руку, плюнул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девице — Катьке.

— Пойдем! — скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь.

Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюре, а она шепотом, с ужасом в округлившихся глазах, рассказала подругам

по секрету о том, что фамилия мещанина — Дядченко и что он прошлой осенью вызвался, за отсутствием палача, совершить казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И — как это ни чудовищно — не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависти к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дядченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины безмолвно, разинув рты, провожали его до выходной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинулись в комнату одевавшейся Катьки и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением на ее голые, красные, толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый, засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать — «мужчина как мужчина, как все мужчины,— говорила она со спокойным недоумением, но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакалась, сама не зная почему.

Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, этот добровольный палач, обошелся с ней без грубости, но с таким отсутствием хоть бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью, и даже не с зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность, но который по миновании надобности становится чуждым, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла объять своим мозгом откормленной индюшки и потому плакала,— как и ей самой казалось,— беспричинно и бестолково.

Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную, грязную жизнь этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой, необузданной ревности с пальбой из револьвера и отравлением; иногда, очень редко, расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь; иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза слу-

чалось, что женщина из публичного дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало, по внешности, смешно и позорно, но в глубине события — трогательно.

И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собою такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений, что всякая другая жизнь, после дома терпимости, казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной.

V

Окна раскрыты настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького палисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низко вырезанной грудью и Нюра, одетая, как «бэбэ», в розовый широкий сак до колен, с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу, лежат, обнявшись, на подоконнике и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько, в нос, выводит первый голос, Люба вторит ей глуховатым альтом:

Понедельник наступает,
Мне на выписку идти,
Доктор Красов не пускает...

Во всех домах отворенные окна ярко освещены, а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность залы в заведении Софьи Васильевны, что напротив: желтый блестящий паркет, темно-вишневые драпри на дверях, перехваченные шнурами, конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражения в зеркалах. Резное крыльцо Треппеля, направо, ярко озарено голубоватым электрическим светом из большого матового шара.

Вечер тих и тепел. Где-то далеко-далеко, за линией железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко над темной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могу-

чий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу, узкая, длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий, гнусавый напев гармонии, мычание коров, сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара, лениво и неправильно погромыхивали колеса извозчичьей пролетки, катившейся шагом по Яме, и все эти звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенной в темноте зелеными и красными огоньками, раздавались с тихой, певучей осторожностью.

Вот сиделочка прихо-одит,
Булку с сахаром несет...
Булку с сахаром несет,
Всем поровну раздает.

— Прохор Иванович! — вдруг окликает Нюра кудрявого слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегает через дорогу.— А Прохор Иваныч!

— Ну вас! — сипло огрызается тот.— Чего еще?

— Вам велел кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела.

— Какой такой товарищ?

— Такой хорошенький! Брюнетик симпатичный... Нет, а вы спросите лучше, где я его видела?

— Ну где? — Прохор Иванович приостанавливается на минуту.

— А вот где: у нас на гвозде, на пятой полке, где дохлые волки.

— Ат! Дура еловая.

Нюра хохочет визгливо на всю Яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках. Потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые удивленные глаза и говорит шепотом:

— А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом годе женщину одну зарезал. Прохор-то. Ей-богу.

— Ну? До смерти?

— Нет, не до смерти. Выкачалась,— говорит Нюра, точно с сожалением.— Однако два месяца пролежала в

Александровской. Доктора говорили, что если бы на вот-вот столечко повыше,— то кончено бы. Амба!

— За что же он ее?

— А я знаю? Может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ей был — кот.

— Ну и что же ему за это?

— А ничего. Никаких улик не было. Была тут общая склока. Человек сто дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился: я, говорит, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу. Она, говорит, от моих рук не уйдет. Будет ей амба!

Люба вздрагивает всей спиной.

— Отчаянные они, эти коты! — произносит она тихо, с ужасом в голосе.

— Страсть до чего! Я, ты знаешь, с нашим Симеоном крутила любовь целый год. Такой ирод, подлец! Живого места на мне не было, вся в синяках ходила. И не то, чтобы за что-нибудь, а просто так, пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать. Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начнет за горло. А то целует-целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет... я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит. И все деньги от меня отбирал, ну вот все до копеечки. Не на что было десятка папирос купить. Он ведь скупой, Симеон-то, все на книжку, на книжку относит... Говорит, что, как соберет тысячу рублей,— в монастырь уйдет.

— Ну?

— Ей-богу. Ты посмотри у него в комнатке: круглые сутки, днем и ночью, лампадка горит перед образами. Он очень до бога усердный... Только я думаю, что он оттого такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он.

— Да что ты?

— Ах, да ну его, бросим о нем, Любочка. Ну, давай дальше.

Пойду в хаптеку, куплю я ха-ду,
Сама себя я хатравлю,—

заводит Нюра тоненьким голоском.

Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зер-

кала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которая мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра не переставая, дуется в «шестьдесят шесть» с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На Маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плоеным черным нагрудником; этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса.

Ее партнерша Паша — очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее ни выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет нарасхват и зарабатывает вчетверо, впятеро больше любой из остальных девушек,— зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям «посерее» или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть; многие совершенно искренно, хотя и поскотски, влюблены в нее, и даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание: грузин — приказчик из магазина кахетинских вин — и какой-то же-

лезнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста, с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяким, кто позвал бы ее, но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе — смехе идиотки. И вместе с тем она — эта истинная жертва общественного темперамента — в обиходной жизни очень добродушна, уступчива, совершенная бессребреница и очень стыдится своей чрезмерной страстности. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгуют.

— Манечка, душечка, миленькая,— говорит умильно Паша, дотрагиваясь до Маниной руки,— погадай мне, золотая моя деточка.

— Ну-у,— надувает Маня губы, точно ребенок.— Поигра-аем еще.

— Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золотцо мое, родная, дорогая...

Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем.

Паша всплескивает радостно руками:

— Ах, это мой Леванчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Леванчик.

— Это твой грузин?

— Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный. Так бы никогда его от себя не отпустила. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? «Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю и тэбэ смэрть и сэбэ сделаю смэрть». И так глазами на меня сверкнул.

Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно:

— Это кто это так сказал?

— А мой грузинчик Леван. И тебе смерть, и мне смерть.

— Дура. Ничего он не грузинчик, а просто армяшка. Сумасшедшая ты дура.

— Ан нет, грузин. И довольно странно с твоей стороны...

— Говорю тебе — армяшка. Мне лучше знать. Дура!

— Чего же ты ругаешься, Женя? Я же тебя первая не ругала.

— Еще бы ты первая стала ругаться. Дура! Не все тебе равно, кто он такой? Влюблена ты в него, что ли?

— Ну и влюблена!

— Ну и дура. А в этого, с кокардой, в кривого, тоже влюблена?

— Так что же? Я его очень уважаю. Он очень солидный.

— И в Кольку-бухгалтера? И в подрядчика? И в Антошку-картошку? И в актера толстого? У-у, бесстыдница! — вдруг вскрикивает Женя.— Не могу видеть тебя без омерзения. Сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!

Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее.

— Что уж это ты так, Женечка... Зачем ты на нее так...

— Эх, все вы хороши! — резко обрывает ее Женя.— Никакого самолюбия!.. Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по таксе, для любви на час, а ты и раскисла: «Ах, любовничек! Ах, неземная страсть!» Тьфу!

Она гневно поворачивается к ним спиною и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало.

В это время Исаак Давидович, тапер, все еще бьется с неподатливым скрипачом.

— Не так, не так, Исай Саввич. Вы бросьте скрипку на минуточку. Прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив.

Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился:

— Эс-там, эс-там, эс-тиам-тиам. Ну теперь повторяйте за мною первое колено за первый раз... Ну... ейн, цвей...

За их репетицией внимательно следят: сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая, с испитым лицом, в костюме жокея — в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой, синей с белым, курточке, в белых, обтянутых туго рейтузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея, со своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенной на лоб лихой гривкой, слишком близко посажены к горбатому, нервному, очень красивому носу. Когда наконец, после долгих усилий, музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое той мелкой, связанной походкой, с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вниз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале.

Прыткая Нюра, всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости:

— К Треппелю... подъехали... лихач... с электричеством... Ой, девоньки... умереть на месте... на оглоблях электричество.

Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около треппелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком, на концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика, высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе, перебирает на месте ногами и прядет тонкими ушами; сам бородатый, толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.

— Вот бы прокатиться! — взвизгивает Нюра.— Дяденька-лихач, а дяденька-лихач,— кричит она, перевешиваясь через подоконник,— прокатай бедную девчоночку... Прокатай за любовь...

Но лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.

— Пфуй! Безобразие! — раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны.— Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу. О, скандал! И все Нюра, и всегда эта ужасная Нюра!

Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами, с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны.

Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держась обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой.

— Не знаю, какой-то совсем незнакомый,— говорит она вполголоса.— Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый, в золотых очках и в форме.

Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим, как призывная кавалерийская труба:

— Барышни, в залу! В залу, барышни!

Одна за другой надменными походками выходят в залу: Тамара с голыми белыми руками и обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга, толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и низким лбом — она тоже декольтирована, но кожа у нее красная и в пупырышках; новенькая Нина, курносая и неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая; другая Манька — Манька Большая, или Манька-Крокодил, как ее называют, и — последней — Сонька-Руль, еврейка, с некрасивым темным лицом и чрезвычайно большим носом,

за который она и получила свою кличку, но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек.

VI

Пожилой гость в форме благотворительного ведомства вошел медленными, нерешительными шагами, наклоняясь при каждом шаге немного корпусом вперед и потирая кругообразными движениями свои ладони, точно умывая их. Так как все женщины торжественно молчали, точно не замечая его, то он пересек залу и опустился на стул рядом с Любой, которая, согласно этикету, только подобрала немного юбку, сохраняя рассеянный и независимый вид девицы из порядочного дома.

— Здравствуйте, барышня,— сказал он.

— Здравствуйте,— отрывисто ответила Люба.

— Как вы поживаете?

— Спасибо, благодарю вас. Угостите покурить.

— Извините — некурящий.

— Вот так-так. Мужчина и вдруг не курит. Ну так угостите лафитом с лимонадом. Ужас как люблю лафит с лимонадом.

Он промолчал.

— У, какой скупой, папашка! Вы где это служите? Вы — чиновники?

— Нет, я учитель. Учу немецкому языку.

— А я вас где-то видела, папочка. Ваша физиономия мне знакома. Где я с вами встречалась?

— Ну уж не знаю, право. На улице разве.

— Может быть, и на улице... Вы хотя бы апельсином угостили. Можно спросить апельсин?

Он опять замолчал, озираясь кругом. Лицо у него заблестело, и прыщи на лбу стали красными. Он медленно оценивал всех женщин, выбирая себе подходящую и в то же время стесняясь своим молчанием. Говорить было совсем не о чем; кроме того, равнодушная назойливость Любы раздражала его. Ему нравилась своим большим коровьим телом толстая Катя, но, должно быть,— решал он в уме,— она очень холодна в любви, как все полные женщины, и к тому же некрасива лицом. Возбуждала его

также и Вера своим видом мальчишки и крепкими ляжками, плотно охваченными белым трико, и Беленькая Маня, так похожая на невинную гимназистку, и Женя со своим энергичным, смуглым, красивым лицом. Одну минуту он совсем уж было остановился на Жене, но только дернулся на стуле и не решился: по ее развязному, недоступному и небрежному виду и по тому, как она искренно не обращала на него никакого внимания, он догадывался, что она— самая избалованная среди всех девиц заведения, привыкшая, чтобы на нее посетители шире тратились, чем на других. А педагог был человек расчетливый, обремененный большим семейством и истощенной, исковерканной его мужской требовательностью женой, страдавшей множеством женских болезней. Преподавая в женской гимназии и в институте, он постоянно жил в каком-то тайном сладострастном бреду, и только немецкая выдержка, скупость и трусость помогали ему держать в узде свою вечно возбужденную похоть. Но раза два-три в год он с невероятными лишениями выкраивал из своего нищенского бюджета пять или десять рублей, отказывая себе в любимой вечерней кружке пива и выгадывая на конках, для чего ему приходилось делать громадные концы по городу пешком. Эти деньги он отделял на женщин и тратил их медленно, со вкусом, стараясь как можно более продлить и удешевить наслаждение. И за свои деньги он хотел очень многого, почти невозможного: его немецкая сентиментальная душа смутно жаждала невинности, робости, поэзии в белокуром образе Гретхен, но, как мужчина, он мечтал, хотел и требовал, чтобы его ласки приводили женщину в восторг, и трепет, и в сладкое изнеможение.

Впрочем, того же самого добивались все мужчины — даже самые лядащие, уродливые, скрюченные и бессильные из них,— и древний опыт давно уже научил женщин имитировать голосом и движениями самую пылкую страсть, сохраняя в бурные минуты самое полнейшее хладнокровие.

— Хоть по крайности закажите музыкантам сыграть полечку. Пусть барышни потанцуют,— попросила ворчливо Люба.

Это было ему с руки. Под музыку, среди толкотни танцев, было гораздо удобнее решиться встать, увести из

залы одну из девиц, чем сделать это среди общего молчания и чопорной неподвижности.

— А сколько это стоит? — спросил он осторожно.

— Кадриль — полтинник, а такие танцы — тридцать копеек. Так можно?

— Ну что ж... пожалуйста... Мне не жаль...— согласился он, притворяясь щедрым.— Кому здесь сказать?

— А вон, музыкантам.

— Отчего же... я с удовольствием... Господин музыкант, пожалуйста, что-нибудь из легких танцев,— сказал он, кладя серебро на фортепиано.

— Что прикажете? — спросил Исай Саввич, пряча деньги в карман.— Вальс, польку, польку-мазурку?

— Ну... что-нибудь такое...

— Вальс, вальс! — закричала с своего места Вера, большая любительница танцевать.

— Нет, польку!.. Вальс!.. Венгерку!.. Вальс! — потребовали другие.

— Пускай играют польку,— решила капризным тоном Люба.— Исай Саввич, сыграйте, пожалуйста, полечку. Это мой муж, и он для меня заказывает,— прибавила она, обнимая за шею педагога.— Правда, папочка?

Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой обиды пошла танцевать с Нюрой. Кружились и еще три пары. В танцах все девицы старались держать талию как можно прямее, а голову как можно неподвижнее, с полным безучастием на лицах, что составляло одно из условий хорошего тона заведения. Под шумок учитель подошел к Маньке Маленькой.

— Пойдемте? — сказал он, подставляя руку калачиком.

— Поедемте,— ответила она смеясь.

Она привела его в свою комнату, убранную со всей кокетливостью спальни публичного дома средней руки: комод, покрытый вязаной скатертью, и на нем зеркало, букет бумажных цветов, несколько пустых бонбоньерок, пудреница, выцветшая фотографическая карточка белобрысого молодого человека с гордо-изумленным лицом, несколько визитных карточек; над кроватью, покрытой пикейным розовым одеялом, вдоль стены прибит ковер с изображением турецкого султана, нежащегося в сво-

ем гареме, с кальяном во рту; на стенах еще несколько фотографий франтоватых мужчин лакейского и актерского типа; розовый фонарь, свешивающийся на цепочках с потолка; круглый стол под ковровой скатертью, три венских стула, эмалированный таз и такой же кувшин в углу на табуретке, за кроватью.

— Угости, милочка, лафитом с лимонадом,— попросила, по заведенному обычаю, Манька Маленькая, расстегивая корсаж.

— Потом,— сурово ответил педагог.— Это от тебя самой будет зависеть. И потом: какой же здесь у вас может быть лафит? Бурда какая-нибудь.

— У нас хороший лафит,— обидчиво возразила девушка.— Два рубля бутылка. Но если ты такой скупой, купи хоть пива. Хорошо?

— Ну, пива, это можно.

— А мне лимонаду и апельсинов. Да?

— Лимонаду бутылку — да, а апельсинов — нет. Потом, может быть, я тебя даже и шампанским угощу, все от тебя будет зависеть. Если постараешься.

— Так я спрошу, папашка, четыре бутылки пива и две лимонаду? Да? И для меня хоть плиточку шоколаду. Хорошо? Да?

— Две бутылки пива, бутылку лимонаду и больше ничего. Я не люблю, когда со мной торгуются. Если надо, я сам потребую.

— А можно мне одну подругу пригласить?

— Нет уж, пожалуйста, без всяких подруг.

Манька высунулась из двери в коридор и крикнула звонко:

— Экономочка! Две бутылки пива и для меня бутылку лимонаду.

Пришел Симеон с подносом и стал с привычной быстротой откупоривать бутылки. Следом за ним пришла экономка Зося.

— Ну вот, как хорошо устроились. С законным браком! — поздравила она.

— Папаша, угости экономочку пивом,— попросила Манька.— Кушайте, экономочка.

— Ну, в таком случае за ваше здоровье, господин. Что-то лицо мне ваше точно знакомо?

Немец пил пиво, обсасывая и облизывая усы, и нетерпеливо ожидал, когда уйдет экономка. Но она, поставив свой стакан и поблагодарив, сказала:

— Позвольте, господин, получить с вас деньги. За пиво, сколько следует, и за время. Это и для вас лучше и для нас удобнее.

Требование денег покоробило учителя, потому что совершенно, разрушало сентиментальную часть его намерений. Он рассердился:

— Что это, в самом деле, за хамство! Кажется, я бежать не собираюсь отсюда. И потом разве вы не умеете разбирать людей? Видите, что к вам пришел человек порядочный, в форме, а не какой-нибудь босяк. Что за назойливость такая!

Экономка немного сдалась.

— Да вы не обижайтесь, господин. Конечно, за визит вы сами барышне отдадите. Я думаю, не обидите, она у нас девочка славная. А уж за пиво и лимонад потрудитесь заплатить. Мне тоже хозяйке надо отчет отдавать. Две бутылки пива, по пятидесяти — рубль и лимонад тридцать — рубль тридцать.

— Господи, бутылка пива пятьдесят копеек! — возмутился немец.— Да я в любой портерной достану его за двенадцать копеек.

— Ну и идите в портерную, если там дешевле,— обиделась Зося.— А если вы пришли в приличное заведение, то это уже казенная цена — полтинник. Мы ничего лишнего не берем. Вот так-то лучше. Двадцать копеек вам сдачи?

— Да, *непременно* сдачи,— твердо подчеркнул учитель.— И прошу вас, чтобы больше никто не входил.

— Нет, нет, нет, что вы,— засуетилась около двери Зося.— Располагайтесь, как вам будет угодно, в полное свое удовольствие. Приятного вам аппетита.

Манька заперла за нею дверь на крючок и села немцу на одно колено, обняв его голой рукой.

— Ты давно здесь? — спросил он, прихлебывая пиво. Он чувствовал смутно, что то подражание любви, которое сейчас должно произойти, требует какого-то душевного сближения, более интимного знакомства, и поэтому, несмотря на свое нетерпение, начал обычный разговор, который ведется почти всеми мужчинами наедине

с проститутками и который заставляет их лгать почти механически, лгать без огорчения, увлечения или злобы, по одному престарому трафарету.

— Недавно, всего третий месяц.

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать,— соврала Маленькая Манька, убавив себе пять лет.

— О, такая молоденькая! — удивился немец и стал, нагнувшись и кряхтя, снимать сапоги.— Как же ты сюда попала?

— А меня один офицер лишил невинности там... у себя на родине. А мамаша у меня ужас какая строгая. Если бы она узнала, она бы меня собственными руками задушила. Ну вот я и убежала из дому и поступила сюда...

— А офицера-то ты любила, который первый-то?

— Коли не любила бы, то не пошла бы к нему. Он, подлец, жениться обещал, а потом добился, чего ему нужно, и бросил.

— Что же, тебе стыдно было в первый раз?

— Конечно, что стыдно... Ты как, папашка, любишь со светом или без света? Я фонарь немножко притушу. Хорошо?

— А что же, ты здесь не скучаешь? Как тебя зовут?

— Маней. Понятно, что скучаю. Какая наша жизнь!

Немец поцеловал ее крепко в губы и опять спросил:

— А мужчин ты любишь? Бывают мужчины, которые тебе приятны? Доставляют удовольствие?

— Как не бывать,— засмеялась Манька.— Я особенно люблю вот таких, как ты, симпатичных, толстеньких.

— Любишь? А? Отчего любишь?

— Да уж так люблю. Вы тоже симпатичный.

Немец соображал несколько секунд, задумчиво отхлебывая пиво. Потом сказал то, что почти каждый мужчина говорит проститутке в эти минуты, предшествующие случайному обладанию ее телом:

— Ты знаешь, Марихен, ты мне тоже очень нравишься. Я бы охотно взял тебя на содержание.

— Вы женат,— возразила она, притрогиваясь к его кольцу.

— Да, но, понимаешь, я не живу с женой, она нездорова, не может исполнять супружеских обязанностей.

— Бедная! Если бы она узнала, куда ты, папашка, ходишь, она бы, наверно, плакала.

— Оставим это. Так знаешь, Мари, я себе все время ищу вот такую девочку, как ты, такую скромную и хорошенькую. Я человек состоятельный, я бы тебе нашел квартиру со столом, с отоплением, с освещением. И на булавки сорок рублей в месяц. Ты бы пошла?

— Отчего не пойти, пошла бы.

Он поцеловал ее взасос, но тайное опасение быстро проскользнуло в его трусливом сердце.

— А ты здорова? — спросил он враждебным, вздрагивающим голосом.

— Ну да, здорова. У нас каждую субботу докторский осмотр.

Через пять минут она ушла от него, пряча на ходу в чулок заработанные деньги, на которые, как на первый почин, она предварительно поплевала, по суеверному обычаю. Ни о содержании, ни о симпатичности не было больше речи. Немец остался недоволен холодностью Маньки и велел позвать к себе экономку.

— Экономочка, вас мой муж к себе требует! — сказала Маня, войдя в залу и поправляя волосы перед зеркалом.

Зося ушла, потом вернулась и вызвала в коридор Пашу. Потом вернулась в залу уже одна.

— Ты что это, Манька Маленькая, не угодила своему кавалеру? — спросила она со смехом.— Жалуется на тебя: «Это, говорит, не женщина, а бревно какое-то деревянное, кусок лёду». Я ему Пашку послала.

— Э, противный какой! — сморщилась Манька и отплюнулась.— Лезет с разговорами. Спрашивает: ты чувствуешь, когда я тебя целую? Чувствуешь приятное волнение? Старый пес. На содержание, говорит, возьму.

— Все они это говорят,— заметила равнодушно Зоя.

Но Женя, которая с утра была в злом настроении, вдруг вспыхнула.

— Ах он, хам этакий, хамло несчастное! — воскликнула она, покраснев и энергично упершись руками в бока.— Да я бы взяла его, поганца старого, за ухо, да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его гнусную морду. Что? Хорош? А как ты еще будешь лучше, когда у тебя слюни изо рта потекут, и глаза перекосишь, и начнешь ты

захлебываться и хрипеть, и сопеть прямо женщине в лицо. И ты хочешь за свой проклятый рубль, чтобы я перед тобой в лепешку растрепалась и чтобы от твоей мерзкой любви у меня глаза на лоб полезли? Да по морде бы его, подлеца, по морде! До крови!

— О, Женя! Перестань же! Пфуй! — остановила ее возмущенная ее грубым тоном щепетильная Эмма Эдуардовна.

— Не перестану,— резко оборвала она. Но сама замолчала и гневно отошла прочь с раздувающимися ноздрями и с огнем в потемневших красивых глазах.

VII

Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый всей Яме Ванька-Встанька — высокий, худой, красноносый седой старик, в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах, с деревянным аршином, всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он завсегдатаем в бильярдной при трактире, вечно вполпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, фамильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все — от хозяйки до горничных — с небрежной, немного презрительной, но без злобы, насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы: передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко, благодаря своему развязно привешенному языку и давно угасшему самолюбию, втирался в чужую компанию и увеличивал ее расходы, а деньги, взятые при этом взаймы, он не уносил на сторону, а тут же тратил на женщин — разве-разве оставлял себе мелочь на папиросы. И его добродушно, по привычке, терпели.

— Вот и Ванька-Встанька пришел,— доложила Нюра, когда он, уже успев поздороваться дружески за ручку со швейцаром Симеоном, остановился в дверях залы, длинный, в форменной фуражке, лихо сбитой набекрень.— Ну-ка, Ванька-Встанька, валяй!

— Имею честь представиться,— тотчас же закривлялся Ванька-Встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку,— тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, ба-

рон Тпрутинкевич-Фьютинковский. Господину Бетховену! Господину Шопену! — поздоровался он с музыкантами.— Сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов, или Суматоха в колидоре». Политической экономочке Зосе мое почтение. А-га! Только на пасху целуетесь? Запишем-с. У-ти, моя Тамалочка, мусисюпинькая ти моя!

Так, с шутками и со щипками, он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперлась о свое колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папиросу.

— И как тебе не надоест, Ванька-Встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу.

Ванька-Встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами:

Папироска, друг мой тайный,
Как тебя мне не любить?
Не по прихоти случайной
Стали все тебя курить.

— Ванька-Встанька, а ведь ты скоро подохнешь,— сказала равнодушно Катька.

— И очень просто.

— Ванька-Встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее стихами,— просила Верка.

И он сейчас же послушно, встав в смешную позу, начал декламировать:

Много звезд на небе ясном,
Но их счесть никак нельзя,
Ветер шепчет, будто можно,
А совсем никак нельзя.
Расцветают лопухи,
Поют птицы петухи.

Балагуря таким образом, Ванька-Встанька просиживал в залах заведения целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию девицы считали его почти своим; иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку.

Через некоторое время после Ваньки-Встаньки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот

день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, но даже и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуны, с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание к какой-нибудь графине. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработок и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах Ямы, только к Треппелю не решились зайти, так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадриль и плясали ее, особенно пятую фигуру, где кавалеры выделывают соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю ревизию публичных домов.

И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владетельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создалась такая шумная, чадная обстановка, что никто уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соньки-Руль, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млел и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест трефное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви.

По обыкновению,— а это часто случалось,— экономка Зося подходила к нему под шумок и говорила, кривя губы:

— Ну, что вы так сидите, господин? Зад себе греете? Шли бы заниматься с девочкой.

Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим богом для нежной, страстной, взаимной любви, но многие обстоятельства, как, например, погром, происшедший в их городе, обеднение, полная растерянность, испуг, на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что апте-

карский ученик Нейман с большим трудом, усилиями и унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью, знал много унизительных, безобразных подробностей о том, как ее перепродавали из рук в руки, и его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях, но тем не менее любовь была выше всего. И каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным лишением вырезать из своего нищенского дохода какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату, но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее: после мгновенного счастья — физического обладания друг другом — они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами, и всегда после этих визитов Сонька-Руль возвращалась в залу с набрякшими, покрасневшими веками глаз.

Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпеливо и ревниво дожидаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно и садилась с ним рядом, то он незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных, еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но кроткое выражение.

Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине, приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Керешковского, приехали двое очень известных на Ямках молодых людей,— оба лысые, с редкими, мягкими, нежными волосами вокруг лысин — Колька-бухгалтер и Мишка-певец, так называли в домах их обоих. Их так же, как Карла Карловича из оптического магазина и Володьку из рыбного, встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, льстя их самолюбию. Шустрая Нюрка выскакивала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно, по своему обыкновению:

— Женька, твой муж пришел!

или:

— Манька Маленькая, твой любовник пришел!

И Мишка-певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающимся, козлиным голосом:

Чу-у-уют пра-а-а-а-авду!
Ты ж заря-я-я-я...—

что он проделывал в каждое свое посещение Анны Марковны.

Почти беспрерывно играли кадриль, вальс, польку и танцевали. Приехал и Сенька — любовник Тамары — но, против обыкновения, он не важничал, «не разорялся», не заказывал Исай Саввичу траурного марша и не угощал шоколадом девиц... Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимание: должно быть, его профессиональные дела находились в это время в плохом обороте. Он одним движением головы, на ходу, вызвал Тамару из зала и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эгмонт-Лаврецкий, бритый, высокий, похожий на придворного лакея своим вульгарным и наглопрезрительным лицом.

Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоппе. В этом смысле и девицы отвечали их намерениям. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах, между фигурами, нужно было со скучающим и небрежным видом обмахиваться платками... Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу, и если танцуют, то делают это, только снисходя до маленькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Керешковского пот катился ручьями.

Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо,

при бледном свете лунного серпа, казалось от крови черным, бегал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Ямской подрались штабные писаря с матросской командой. Усталые таперы и музыканты играли, как в бреду, сквозь сон, по механической привычке. Это было на исходе ночи.

Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер.

VIII

Все они, кроме репортера, провели целый день, с самого утра, вместе, справляя маевку со знакомыми барышнями. Катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки, в густом горько-пахучем лозняке, полевую кашу, купались — мужчины и женщины поочередно — в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку, пели звучные малороссийские песни и вернулись в город только поздним вечером, когда темная, бегучая, широкая река так жутко и весело плескалась о борта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями бакенов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел, приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодрая усталость.

Потом они проводили барышень по домам и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно со смехом и такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса.

Весь день прошел весело и шумно, даже немного крикливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно и, что особенно редко случается, без малейшей тени взаимных обид или ревности, или невысказанных огорчений. Конечно, такому благодушному настроению помогало солнце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды, радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле и сдерживающее влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств.

Но, почти помимо их сознания, их чувственность — не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов — зажигалась от нечаянных встреч их рук с женскими руками и от товарищеских услужливых объятий, когда приходилось помогать барышням входить в лодку или выскакивать на берег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо-испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежащих с наивной нескромностью в зеленой траве, вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и неизбежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь.

И потому в два часа ночи, едва только закрылся уютный студенческий ресторан «Воробьи» и все восьмеро, возбужденные алкоголем и обильной пищей, вышли из прокуренного, чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную, тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым, хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользившими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую, свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И — без слов, без мыслей, без сознания — влекло в эту ночь бежать без одежд по сонному лесу, обнюхивать торопливо следы чьих-то ног в росистой траве, громким кличем призывать к себе самку.

Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре, около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтоб

доконать ночь. В сад Тиволи оказывалось очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему: у него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти среди ночи на семейную квартиру, входить на цыпочках по лестнице и говорить все время шепотом.

— Вот что, брательники... Поедемте-ка лучше к девочкам, это будет вернее,—сказал решительно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый и бородатый малый. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по призванию — страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты, —игрок с очень широким, фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в макао, и эти деньги еще жгли ему руки.

— А что ж? И верно,— поддержал кто-то.— Айда, товарищи?!

— Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка...— с фальшивым благоразумием и неискренней усталостью отозвался другой.

А третий сказал сквозь притворный зевок:

— Поедемте лучше, господа, по домам... а-а-а... спатиньки... Довольно на сегодня.

— Во сне шубы не сошьешь,— презрительно заметил Лихонин.— Герр профессор, вы едете?

Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души.

— Оставь меня в покое, Лихонин. По-моему, господа, это прямое и явное свинство — то, что вы собираетесь сделать. Кажется, так чудесно, мило и просто провели время,— так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. Не поеду я.

— Однако, если мне не изменяет память,— со спокойной язвительностью сказал Лихонин,— припоминаю, что не далее как прошлой осенью мы с одним будущим Моммсеном лили где-то крюшон со льдом в фортепиано, изображали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее?..

Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафешантанах и других увеселительных местах хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные, отдувшиеся, как у раскрашенного амура, щеки и блестящие, влажные, добрые глаза, помнили его торопливый, захлебывающийся говор и визгливый смех.

Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для занятий наукой, но тем не менее все экзамены и очередные работы он сдавал отлично и с первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом, на будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории, и нередко в разговоре он уже употреблял ходкое среди приват-доцентов выражение: «Мы, ученые!» Студенческая фамильярность, принудительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать с прежним кружком. Слова Лихонина, однако, задели его.

— Ах, боже мой, мало ли что мы делали, когда были мальчишками? Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья,— заговорил Ярченко, горячась и захлебываясь.— Но всему есть предел и мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция — одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. И, стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость: перед несчастной глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль самой унизительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я

этим оправдываю и поддерживаю проституцию, и, наконец, это подлость перед своей собственной совестью и мыслью. И перед логикой.

— Фью-ю! — свистнул протяжно Лихонин и проскандировал унылым тоном, кивая в такт опущенной набок головой.— Понес философ наш обычный вздор: веревка — вервие простое.

— Конечно, нет ничего легче, как паясничать,— сухо отозвался Ярченко.— А по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта расхлябанность и растленность мысли. Сегодня мы скажем себе: «Э! Все равно, поеду я в публичный дом или не поеду — от одного раза дело не ухудшится, не улучшится». А через пять лет мы будем говорить: «Несомненно, взятка — страшная гадость, но, знаете, дети... семья...» И точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. «Потому что, знаете ли,— скажем мы, хихикая,— с волками жить, по-волчьи выть». Ей-богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками!

— Или профессорами,— вставил Лихонин.

— Но самое главное,— продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку,— самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там... на том берегу... с этими милыми, славными девушками. Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые, но едва только вы простились с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пускай каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер и прямо от них поехали в Яму... Что? Приятно такое предположение?

— Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей? — важно заметил Борис Собашников, высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные, кавалерийского фасона брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фатоватый вид.— Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горнич-

ной или вести за углом интригу с чужой женой? Что я могу поделать, если мне необходима женщина!

— Эх, очень обходима! — досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой.

Но тут вмешался студент, которого в товарищеском кружке звали Рамзесом. Это был изжелта-смуглый горбоносый человек маленького роста; бритое лицо его казалось треугольным благодаря широкому, начинавшему лысеть двумя взлысинами лбу, впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались вперемежку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, в крючкотворные тонкости имущественных, семейных, земельных и иных деловых процессов, в запоминание и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у нотариуса, другой — письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рамзес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу сенат.

Несмотря на его сравнительную молодость, к его мнениям прислушивались,— правда, немного свысока,— довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру, да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к тридцати пяти годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его нередко выбирали товарищи в председатели сходок и в курсовые старосты, но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь недостатком времени. Однако он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы — всегда неотразимо логичные — обладали удивительным свойством оканчи-

вать дела миром, к обоюдному удовольствию судящихся сторон. Он так же, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди учащейся молодежи, и если даже поглядывал на людей с некоторым презрением, свысока, то никогда, ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал.

— Никто вас и не тянет, Гаврила Петрович, непременно совершать грехопадение,— сказал Рамзес примирительно.— К чему этот пафос и эта меланхолия, когда дело обстоит совсем просто? Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. Ergo!..[1]

— Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам? К проституткам? В публичный дом? — насмешливо и враждебно перебил его Ярченко.

— А хотя бы? Одного философа, желая его унизить, посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, садясь, сказал: «Вот верное средство сделать последнее место первым». И, наконец, я повторяю: если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщину, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во всей ее цветущей неприкосновенности.

— Вы передергиваете, Рамзес,— возразил с неудовольствием Ярченко.— Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затемно собрались глазеть на смертную казнь, и говорят: мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокурор и палач.

— Пышно сказано и отчасти верно, Гаврила Петрович. Но именно к нам это сравнение может и не относиться. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не видавши самого больного. А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции, да еще какой проституции — русской! Лихонин, я, Боря Собашников и Павлов — как юристы, Петровский и Толпыгин — как медики. Правда, у Вельтмана особенная специ-

---

[1] Следовательно!.. *(лат.)*

альность — математика. Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества и, черт побери, даже отцом! А уж если пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. Наконец и вы сами, Гаврила Петрович,— знаток мертвых языков и будущее светило гробокопательства,— разве для вас не важно и не поучительно сравнение хотя бы современных публичных домов с какими-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Ниневии?..

— Браво, Рамзес, великолепно! — взревел Лихонин.— И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жабры и сажайте на извозчика!

Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женщинам, но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости взять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свелось к простой, легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившимся студентам подошел рослый черноусый городовой, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно.

— Господа стюденты, прошу не скопляться. Невозможно! Проходите, куда ишли.

Они двинулись гурьбою вперед. Ярченко начинал понемногу смягчаться.

— Господа, я, пожалуй, готов с вами поехать... Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса... Нет, просто мне жаль разбивать компанию... Но я ставлю одно условие: мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее... но чтобы ничего больше, никакой грязи... Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки.

— Клянусь! — сказал Лихонин, поднимая вверх руку.

— Я за себя ручаюсь,— сказал Рамзес.

— И я! И я! Ей-богу, господа, дадимте слово... Ярченко прав,— подхватили другие.

Они расселись по двое и по трое на извозчиков, которые уже давно, зубоскаля и переругиваясь, вереницей следовали за ними, и поехали. Лихонин для верности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на

колени к себе и соседу посадил маленького Толпыгина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детский — мягкий и светлый — пух.

— Станция у Дорошенки! — крикнул Лихонин вслед отъезжавшим извозчикам.— У Дорошенки остановка,— повторил он, обернувшись назад.

У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. Все были сыты, и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно-позорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе не веселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда всё — всё равно и когда голова не знает, что делают руки и ноги и что болтает язык. И, должно быть, не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители Ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом, на перепутье.

Пока студенты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторанного зала, где сидели двое: лохматый, седой крупный старик и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и опершись подбородком на сложенные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко остриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом:

Долина моя, долинушка,
Раздолье широ-о-о-окое.

— Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник,— сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами.

— Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу. Сергей Иванович Платонов. Са-

мый ленивый и самый талантливый из газетных работников.

Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав свои фамилии.

— И поэтому выпьем,— сказал Лихонин.

Ярченко же спросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала:

— Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно. Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию?

— Я,— ответил репортер.

— Ах, это очень приятно,— мило улыбнулся Ярченко и для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку.— Я читал потом ваш отчет: очень точно, обстоятельно и ловко составлено... Не будете ли добры?.. За ваше здоровье!

— Тогда позвольте и мне,— сказал Платонов.— Онуфрий Захарыч, налейте нам еще... раз, два, три, четыре... девять рюмок коньяку...

— Нет, уж так нельзя... вы — наш гость, коллега,— возразил Лихонин.

— Ну, какой же я ваш коллега,— добродушно засмеялся репортер.— Я был только на первом курсе и то только полгода, вольнослушателем. Получите, Онуфрий Захарыч. Господа, прошу...

Кончилось тем, что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в Яму. Впрочем, он и не сопротивлялся.

— Если я вам не в тягость, я буду очень рад,—сказал он просто.— Тем более что у меня сегодня сумасшедшие деньги. «Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч на билет от театральной вешалки. Виноват, я сейчас...

Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним.

— Куда я еду, дедушка, туда тебе ехать нельзя, завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай!

Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда немного фатоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихонина и отозвал его в сторону.

— Удивляюсь я тебе, Лихонин,— сказал он брезгливо.— Мы собрались своей тесной компанией, а тебе непременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт его знает, кто он такой!

— Оставь, Боря,— дружелюбно ответил Лихонин.— Он парень теплый.

IX

— Ну, уж это, господа, свинство! — говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны.— Если уж поехали, то по крайности надо было ехать в приличный, а не в какую-то трущобу. Право, господа, пойдемте лучше рядом, к Треппелю, там хоть чисто и светло.

— Пожалуйте, пожалуйте, синьор,— настаивал Лихонин, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяясь и простирая вперед руку.— Пожалуйте.

— Да ведь мерзость... У Треппеля хоть женщины покрасивее.

Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся.

— Так, так, так, Гаврила Петрович. Будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл с лотка пятачковую булку, но если директор банка растратил чужой миллион на рысаков и сигары, то смягчим его участь.

— Простите, не понимаю этого сравнения,— сдержанно ответил Ярченко.— Да по мне все равно; идемте.

— И тем более,— сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента,— тем более, что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи! Десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок, и, кроме того, в силу обычного права, дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?

Симеон не любил, когда приходили большими компаниями,— это всегда пахло скандалом в недалеком будущем; студентов же он вообще презирал за их мало

понятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие, и, главное — за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Недаром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом, вскочил на проезжавшего лихача и, стоя, точно полицеймейстер, в пролетке, помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывали опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал «ваше превосходительство».

И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина:

— Я здесь не гражданин, а вышибала.

— С чем имею честь поздравить,— с вежливым поклоном ответил Лихонин.

В зале было много народу. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные и мокрые, быстро обмахиваясь платками; от них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг бухгалтер, оба лысые, с мягкими, пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба с мутными, перламутровыми, пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и все покушались запеть в унисон такими дрожащими и скачущими голосами, как будто бы кто-то часто-часто колотил их сзади по шейным позвонкам:

Чу-у-уют пра-а-в-ду,

а Эмма Эдуардовна и Зося изо всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька-Встанька мирно дремал на стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено.

Девицы сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу.

— Тамарочка, твой муж пришел — Володенька. И мой муж тоже! Мишка! — взвизгнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носастому, серьезному Петровскому.—

Здравствуй, Мишенька, что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась.

Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам.

— Нам бы как-нибудь... Знаете ли... отдельный кабинетик,— деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне.— И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина... Ну там еще кофе... Вы сами знаете.

Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой, точно старая, жирная цирковая лошадь.

— Можно, можно... Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно... Какого ликеру? У нас только бенедиктин. Так бенедиктину? Можно, можно... И барышням позволите войти?

— Если уж это так необходимо? — развел руками со вздохом Ярченко.

И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные к рукопожатиям, негнущиеся ладони, называли коротко, вполголоса, свое имя: Маня, Катя, Люба... Садились к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и, по обыкновению, начинали клянчить.

— Студентик, вы такой красивенький... Можно мне спросить апельцынов?

— Володенька, купи мне конфет! Хорошо?

— А мне шоколаду.

— Толстенький! — ластилась одетая жокеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени,— у меня есть подруга одна, только она больная и не может выходить в залу. Я ей снесу яблок и шоколаду? Позволяешь?

— Ну уж это выдумки про подругу! А главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком на кресле, вот так. И ручки сложи!

— Ах, когда я не могу!..— извивалась от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки.— Когда вы такие симпатичные.

А Лихонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно

Эмма Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту:

— Мощно, мощно, мощно...

— Так я скажу, дуся, лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок? — приставала Вера.

Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное, детское, странное соревнование в умении «высадить гостя из денег»,— странное потому, что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однообразной, привычно-праздной жизни было вообще много полуребяческой, полуистерической игры.

Симеон принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах и весело и легко захлопал пивными и винными пробками.

— А вы что же не пьете? — обратился Ярченко к репортеру Платонову.— Позвольте... Я не ошибаюсь? Сергей Иванович, кажется?

— Так.

— Позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита?

— Нет, уж вы разрешите мне отказаться. У меня свой напиток... Симеон, дайте мне...

— Коньяку! — поспешно крикнула Нюра.

— И с грушей! — так же быстро подхватила Манька Беленькая.

— Слушаю, Сергей Иванович, сейчас,— неторопливо, но почтительно отозвался Симеон и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла.

— В первый раз слышу, что в Яме подают коньяк!— с удивлением произнес Лихонин.— Сколько я ни спрашивал, мне всегда отказывали.

— Может быть, Сергей Иваныч знает такое петушиное слово? — пошутил Рамзес.

— Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении? — колко, с подчеркиванием вставил Борис Собашников.

Репортер вяло, не поворачивая головы, покосился на Собашникова, на нижний ряд пуговиц его короткого франтовского кителя, и ответил с растяжкой:

— Ничего нет почетного в том, что я могу пить как лошадь и никогда не пьянею, но зато я ни с кем и не ссорюсь и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие.

— Ах, молодчинище! — радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность.— Вы и со мной поделитесь коньяком?

— Очень, очень рад,— приветливо ответил Платонов и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое, скуластое лицо.— Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажетесь.

— Ну вот и обменялись любезностями,—засмеялся Лихонин.— Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы-таки частенько бываете у Анны Марковны?

— Даже весьма.

— Сергей Иваныч у нас самый главный гость! — наивно взвизгнула Нюра.— Сергей Иваныч у нас вроде брата!

— Дура! — остановила ее Тамара.

— Это мне странно,— продолжал Лихонин.— Я тоже — завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии.

— Местный староста! — сказал, скривив сверху вниз губы, Борис Собашников, но сказал настолько вполголоса, что Платонов если бы захотел, мог бы притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам (а также и офицерам, юнкерам и гимназистам), привык к тому, что посторонние «штатские» люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько зависимо и подобострастно, льстили учащейся молодежи, удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам,

любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного виляния хвостом перед молодежью, но, наоборот, чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие.

Кроме того, сердило Собашникова — и сердило мелкой ревнивой досадой — то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со швейцара и кончая мясистой, молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька Беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папиросу у двух заговорившихся соседей, и в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколаду, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угощение. «Кот!» — злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил: уж очень был некрасив и небрежно одет репортер и, кроме того, держал себя с большим достоинством.

Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова.

— Да, я здесь, правда, свой человек,— спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу.— Представьте себе: я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно четыре месяца.

— Нет? Серьезно? — удивился и засмеялся Ярченко.

— Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно, хотя чересчур жирно.

— Но как же это вы?..

— А так, что я подготовлял дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды.

— Что за странная фантазия! — сказал Ярченко.— И это вы добровольно? Или... Простите, я боюсь показаться вам нескромным... может быть, в это время... крайняя нужда?..

— Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок.

— А-а! Я, кажется, начинаю понимать! — просиял Ярченко.— Наш новый друг,— извините за маленькую фамильярность,— по-видимому, собирает бытовой материал? И может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочитать...

— Трррагедию из публичного дома! — вставил громко, по-актерски, Борис Собашников.

В то время, когда репортер отвечал Ярченке, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо:

— Миленький, хорошенький, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-богу, для вас же будет лучше.

— Чтой-та? — высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне.— Он—твой любовник? Кот?

— Клянусь вам чем хотите, он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте.

— Ну да! Ну, конечно! — возразил Собашников, презрительно кривляясь.— У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом. И, должно быть, все вышибалы с Ямской — его близкие друзья и приятели.

— Нет, не то,— возразила ласковым шепотом Тамара.— А то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела. Не дай бог никому. И стыдно, и опасно для здоровья.

— Пошла вон, сволочь! — крикнул Собашников, замахиваясь на нее локтем.

— Иду, миленький,— кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой.

Все на мгновение обернулись к студенту.

— Не буянь, барбарис! — погрозил ему пальцем Лихонин.— Ну, ну, говорите,— попросил он репортера,— все это так интересно, что вы рассказываете.

— Нет, я ничего не собираю,— продолжал спокойно и серьезно репортер.— А материал здесь действитель-

но огромный, прямо подавляющий, страшный... И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее... старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасны будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчеты, эта тысячелетняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, ни хуже, ни лучше какой-нибудь бакалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни — и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью.

— Это верно,— подтвердил Лихонин, а репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку:

— Читаем мы в публицистике, в передовых статьях разные вопли суетливых душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части и стараются довольно противно. «Ах, регламентация! Ах, аболиционизм! Ах, живой товар! Крепостное положение! Хозяйки, эти жадные гетеры! Эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток!..» Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее, какой-нибудь этакий маленький прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу ошарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься: вышибала в публичном доме, зверь, почти наверно — убийца, обирает проституток, делает им «черный глаз», по здешнему выражению, то есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения, на каноне честного Андрея, пастыря Критского, на творениях отца преблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен — необычайно! Заведу его, бывало, и он со слезами на глазах поет мне: «Приидите, последнее целование дадимте, братие, усопшему...» Из чина погребения мирских человек. Нет, вы

подумайте: ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия!

— Да. Такой помолится-помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом,— сказал Рамзес.

— Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам? Я, когда разговариваю один на один с Симеоном,— а говорим мы с ним подолгу и неторопливо так, часами,— я испытываю минутами настоящий страх. Суеверный страх! Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там, на дне, копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен и, я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником, и, черт его знает, каким уродливым образом переплетется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого?

— Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений,— сказал Ярченко и осторожно показал глазами на девиц.

— Э, все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения.

— Почему так? — спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора.

— Да так... не стоит и рассказывать...— уклончиво улыбнулся репортер.— Пустяк... Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко.

Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скороговоркой:

— Потому что Сергей Иваныч ему по морде дали... Из-за Нинки. К Нинке пришел один старик... И остался на ночь... А у Нинки был красный флаг... И старик все время ее мучил... А Нинка заплакала и убежала.

— Брось, Нюра, скучно,— сказал, сморщившись Платонов.

— Одепне! (отстань) — строго приказала на жаргоне домов терпимости Тамара.

Но разбежавшуюся Нюру невозможно было остановить.

— А Нинка говорит: я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски... всю, говорит, меня слюнями обмочил. Ну старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар, понятно, давай Нинку бить. А Сергей Иваныч в это время писал мне письмо домой, в провинцию, и как услышал, что Нинка кричит...

— Зоя, зажми ей рот! — сказал Платонов.

— Так сейчас вскочил и... ап!..— И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои.

Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом:

— Oh, chevalier sans peur et sans réproche! [1].

Он уже был довольно сильно пьян, стоял, прислонившись к стене, в вызывающей позе, с заложенными в карманы брюк руками, и нервно жевал папиросу.

— Это какая же Нинка? — спросил с любопытством Рамзес.— Она здесь?

— Нет, ее нету. Такая маленькая, курносая девчонка. Наивная и очень сердитая.— Репортер вдруг внезапно и искренно расхохотался.— Извините... это я так... своим мыслям,— объяснил он сквозь смех.— Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки... Такой почтенный старец, с наружностью апостола, я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он, наконец, в зале почувствовал себя в безопасности. Понимаете: сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадает ногой, куда следует, и орет на весь дом: «Безобразие! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду!.. Завтра же в двадцать четыре часа!..» Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так уморительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся... Ну вот, кстати о Симеоне... Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковинной путаницей и неразберихой. Можно насказать тысячу громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра жизнь! Или еще возьмите бедешнюю хозяйку Анну Марковну. Эта кровопийца, гиена, мегера и так далее...— самая нежная мать, какую

[1] О, рыцарь без страха и упрека! *(франц.)*

только можно себе представить. У нее одна дочь — Берта, она теперь в пятом классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И всё — для Берточки, всё — ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать, боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки, глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая, преданная нянька, как старый, верный, опаршивевший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятие ее здесь тяжелое и хлопотное, и годы ее уже почтенные. Так ведь нет: надо еще лишнюю тысячу, а там и еще и еще — все для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на сорок тысяч брильянтов — черт их знает, чьи они, эти брильянты? И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счастия этой самой Берточки, нет, даже не для счастья, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусеница,— так вот, чтобы эта заусеница прошла,— вообразите на секунду возможность такого положения вещей! — Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что? Вы скажете — чудовище? А я скажу, что ею движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей святыми женщинами.

— Легче на поворотах! — заметил сквозь зубы Борис Собашников.

— Простите: я не сравнивал людей, а только обобщал первоисточник чувства. Я мог бы привести для примера и самоотверженную любовь матерей-животных. Но вижу, что затеял скучную материю. Лучше бросим.

— Нет, вы договорите,— возразил Лихонин.— Я чувствую, что у вас была цельная мысль.

— И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и бандершу. Я не знаю сам, почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная,

непреоборимая действительность жизни, но ни рассказать ее, ни показать ее я не умею,— мне не дано этого. Здесь нужно великое уменье взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный, бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома, или избиения в тюрьме, или усмирения. Конечно, списываются городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колено в крови, или как там еще пишут в этих случаях? Конечно, возмутительно, и больно, и противно, но все это — умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по Лебяжьей улице, вижу — собралась толпа, в середине девочка пяти лет,— оказывается, отстала от матери и заблудилась, или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на корточках городовой. Расспрашивает, как ее зовут, да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел, бедный, от усилия, шапка на затылке, огромное усатое лицо, такое доброе, и жалкое, и беспомощное, а голос ласковый-преласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девчонка вся переволновалась, и уже осипла от слез, и всех дичится — он, этот самый «имеющийся постовой городовой», вытягивает вперед два своих черных, заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает делать девочке козу! «Ро-о-гами забоду, ногами затопу!..» И вот, когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видал и преступление которого для него совсем неизвестно, то — вы понимаете! — мне стало невыразимо жутко и тоскливо. Не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница эта жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяку?

— Хотите на ты? — предложил вдруг Лихонин.

— Хорошо. Только без поцелуйчиков, правда? Будь здоров, мой милый... Или вот еще пример. Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает, а я читаю и... ну, никакого впечатления: ни волнения, ни возмущения — одна скука. Но вот на днях попадается мне короткая хроникерская замет-

ка о том, как где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и — болван! — напоминает: «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво: «Стоит ли?» Понимаете: эти две коротеньких реплики меня как камнем по черепу! Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти... Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан,— пьяница, бродяга и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему эполеты. Там, знаете, в ушко эполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри, с подкладки, завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру, завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не выходит петля: то чересчур некрепко связана, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой, и вдруг мне в голову приходит самая удивительно простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом — ведь все равно *никто развязывать не будет*. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб и все как-то не осязал смерти, а подумал об узле — и всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о невозвратимой, неизбежной погибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира... И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню... Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне... Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник, и разглядит, и подберет. И вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. «Ах, боже мой! Да ведь это я сам — сам! — лично видел. Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания». Но наши русские художники слова — самые совестливые и самые искренние во всем мире художники — почему-то до сих пор обходили

проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец, просто из страха, что наша кумовская критика отожествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга.

— Пишут же! — нехотя заметил Рамзес.

— Пишут,— в тон ему скучно повторил Платонов.— Но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. А самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель — человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом — подошел однажды к этой теме, и вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не решился. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал: «А ведь и у него, наверно, была мать». Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался не однажды и к мужику. Но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темны и непонятны... И он с удивительным тактом, скромно обошел душу народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, о баритонах,— и пишут, ей-богу, совсем хорошо — умно, тонко и талантливо. Но ведь все эти люди — сор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, ненужный бред мировой культуры. Но вот есть две странных

действительности — древних, как само человечество: проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ерническихизображений в литературе. Я вас спрашиваю: что русская литература выжала из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато, правда, величайшее в мире произведение,— потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом, Вы знаете, о чем я говорю...

— «Коготок увяз...»,— тихо подсказал Лихонин.

— Да,— ответил репортер и с благодарностью, ласково поглядел на студента.

— Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип,— заметил уверенно Ярченко.— Так сказать, психологическая схема...

Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развальцей, вдруг загорячился:

— Сто раз слышал это суждение, сто раз! И вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным, безобразным видом — и все-таки жива Сонечка Мармеладова! Судьба русской проститутки — о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь все совместилось: русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальни, поглядите, поглядите на них хорошенько,— ведь все они — дети, ведь им всем по одиннадцати лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса — совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчичьи клячи. И не умирает в них никогда эта бессильная жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию... Например...

Платонов обвел всех сидящих медленным взором и, вдруг махнувши рукой, сказал усталым голосом:

— А впрочем... к черту! Я сегодня наговорился лет на десять... И все это ни к чему.

— Но, в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому? — спросил Ярченко.— У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе.

— Пробовал! — с невеселой усмешкой ответил Платонов.— Но ничего не выходит. Начну писать и сейчас же заплутаюсь в разных «что», «который», «был». Эпитеты выходят пошлыми. Слова простывают на бумаге. Какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов... Тот... известный... Я пришел к нему и стал рассказывать ему многое-многое о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально: «Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека из встречаемых мною в жизни, который не совал бы мне тем для романов и повестей или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу. Но что я с ним поделаю? Чтобы написать такую колоссальную книгу, о какой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это всё мы сами видели и знали, но мы и предположить не могли, что это так ужасно!» В этого грядущего художника я верю всем сердцем.

— Аминь! — сказал серьезно Лихонин.— Выпьем за него.

— А, ей-богу,— вдруг отозвалась Манька Маленькая.— Хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, б.... разнесчастные...

В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье.

X

Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменил ее, по рекомендации экономки, на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени, должно быть, сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость — Карл Карлович из оптического магазина,— и взял ее в комнату.

На безмолвный — глазами — вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиной и утвердительно кивнула головой.

— Ушел... Бррр!..

Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал (и впоследствии часто вспоминал об этом), что никогда он не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее — иные откровенно, другие украдкой и точно мельком,— с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение.

— С тобой что-то такое творится, Женя,— сказал тихо Платонов.

Она ласково, чуть-чуть провела пальцами по его руке.

— Не обращай внимания. Так... наши бабские дела... Тебе будет неинтересно.

Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конокрадских словечек.

— Не звони метлйчка, мѐтлик фартовы,— прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера.

Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публики, несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз — и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием.

— О чем это она? — в недоумении спросил Ярченко, высоко подымая брови.

— Не беспокойтесь... ничего особенного...— ответила Женя еще взволнованным голосом.— Так... наш маленький семейный вздор... Сергей Иваныч, можно мне вашего вина?

Она налила себе полстакана и выпила коньяк залпом, широко раздувая тонкие ноздри.

Платонов молча встал и пошел к двери.

— Не стоит, Сергей Иваныч. Бросьте...— остановила его Женя.

— Да нет, отчего же? — возразил репортер.— Я сделаю самую простую и невинную вещь: возьму Пашу сюда, а если придется — так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет... Нюра, живо сбегай за подушкой!

Едва закрылась дверь за его широкой, неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью:

— На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой,— может

быть, даже шпик? Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин.

— Ну какая тебе, Боря, опасность от шпика? — добродушно возразил Лихонин.

— Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми,— сказал Рамзес.— Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища.

— Э! Чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет. Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдатая при публичном доме, и всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей.

— Оставь, Боря. Глупо,— укоризненно заметил Ярченко.

Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность: опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно-искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор.

— И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе! — продолжал кипятиться Собашников.— Какой-то апломб, снисходительность, профессорский тон... Паршивый трехкопеечный писака! Бутербродник!

Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши.

— Вот так! Браво, студентик! Браво, браво, браво!.. Так его, хорошенько!.. В самом деле, что это за безобразие! Вот он придет сюда,— я ему все это повторю.

— Пож-жалуйста! С-сколько угодно! — по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно-брезгливые складки.— Я сам повторю то же самое.

— Вот это — молодчина, за это люблю! — воскликнула радостно и зло Женя, ударив кулаком о стол.— Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!

Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее

глазах, и ее нервно подрагивавшие ноздри, обе поняли и улыбнулись.

Маня Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ею же самой вызванный скандал.

— Не ершись, Боренька,— сказал Лихонин.— Здесь все равны.

Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван.

— Это еще зачем? — прикрикнул на нее Собашников.— П'шла, сейчас же унеси вон. Здесь не ночлежка.

— Ну, оставь ее, голубчик. Что тебе? — возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары.— Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу.

Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную около своих глаз он увидел глаза женщины — странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой, бешеной ненависти; и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки и отголкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша:

— Вот так темперамент. Ах ты, Мессалина Пафнутьевна!.. Тебя, кажется, Женькой звать? Хорошенькая, шельма.

Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой, идиотской улыбкой, открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой — маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно улеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно.

— Извините, господа, я разденусь,— сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутке.— Тамара, дай ей шоколада и вина.

Борис Собашников опять картинно стал в углу, в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову:

— Э... послушайте... как вас?.. Это, должно быть, и есть ваша́ любовница? Э? — И он концом сапога́ показал по направлению лежавшей Паши.

— Что-о? — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови.

— Или вы ее любовник — это все равно... Как эта должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком?.. Э?..

Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки.

— Слушайте,— сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова.— Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а во-вторых, я щажу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки.

— Что за чушь? — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом.— Какие очки? Почему очки? — Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил дужку пенсне на переносице.

— Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз,—равнодушно сказал репортер.

Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька Беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому.

— Ну, положим! Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься! — грубо, совсем по-мальчишески, выкрикнул Собашников.— Только не стоит рук марать обо всякого...— он хотел прибавить новое ругательство, но не решился,— со всяким... И вообще, товарищи, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы панибратствовать с подобными субъектами.

Он быстро и гордо пошел к дверям.

Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза, по-звериному, следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно, сбоку, ударить Платонова и отскочить — товарищи, наверно, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким, бессознательным инстинктом, увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с широким лбом и все неуклюже-ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь.

— Баба с возу, кобыле легче,— насмешливо, скороговоркой сказала вслед ему Женя.— Тамарочка, налей мне еще коньяку.

Но встал с своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступиться за Собашникова.

— Вы как хотите, господа, это дело вашего личного взгляда, но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там неправ и так далее, мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании, но раз нашему товарищу нанесли обиду — я не могу здесь оставаться. Я ухожу.

— Ах ты, боже мой! — И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок.— Борис же все время вел себя в высокой степени пошло, грубо и глупо. Что это за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакций, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища.

— Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности! — сказал важно Петровский и вышел.

— Будь тебе земля пухом! — послала ему вдогонку Женя.

Но как извилисты и темны пути человеческой души! Оба они — и Собашников и Петровский — поступили в своем негодовании довольно искренно, но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки сту-

чалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с тою же целью и имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, а через десять минут в полуотворенную дверь кабинета просунула свое косенькое, розовое, хитрое лицо экономка Зося.

— Женечка,— позвала она,— иди, там тебе белье принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минуточку, выпить шампанского. Он с Генриеттой и с Маней Большой.

Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзания совести. И, несмотря на то, что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе:

— Господа, ей-богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей.

Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал.

— Да нет, черт побери, я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята — и Борис и Васька. Но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится.

Он ушел, но вернулся через пять минут.

— Успокояются,— мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой.— Оба.

XI

В это время в кабинет вошел Симеон с подносом, на котором стояли два бокала с игристым золотым вином и лежала большая визитная карточка.

— Позвольте успросить, кто здесь будет Гаврила Петрович господин Ярченко? — сказал он, оглядывая сидевших.

— Я! — отозвался Ярченко.

— Пожалуйте-с. Господин актер прислали.

Ярченко взял визитную карточку, украшенную сверху громадной маркизской короной, и прочитал вслух:

ЕВМЕНИЙ ПОЛУЭКТОВИЧ
ЭГМОНТ-ЛАВРЕЦКИЙ.

Драматический артист столичных театров.

— Замечательно,— сказал Володя Павлов,— что все русские Гаррики носят такие странные имена, вроде Хрисанфов, Фетисов, Мамантов и Епимахов.

— И кроме того, самые известные из них обязательно или картавят, или пришепетывают, или заикаются,— прибавил репортер.

— Да, но замечательнее всего то, что я совсем не имею высокой чести знать этого артиста столичных театров. Впрочем, здесь на обороте что-то еще написано. Судя по почерку, писано человеком сильно пьяным и слабо грамотным.

«Пю» — не пью, а пю,— пояснил Ярченко.— «Пю за здоровье светила русской науки Гаврила Петровича Ярченко, которого случайно увидел, проходя мимо по колидору. Желал бы чокнуться лично. Если не помните, то вспомните Народный театр, Бедность не порок и скромного артиста, игравшего Африкана».

— Да, это верно,— сказал Ярченко.— Мне как-то навязали устроить этот благотворительный спектакль в Народном театре. Смутно мелькает у меня в памяти и какое-то бритое гордое лицо, но... Как быть, господа?

Лихонин ответил добродушно:

— А волоките его сюда. Может быть, он смешной?

— А вы? — обратился приват-доцент к Платонову.

— Мне все равно. Я его немножко знаю. Сначала будет кричать: «Кёльнер, шампанского!», потом расплачется о своей жене, которая — ангел, потом скажет патриотическую речь и, наконец, поскандалит из-за счета, но не особенно громко. Да ничего, он занятный.

— Пусть идет,— сказал Володя Павлов из-за плеча Кати, сидевшей, болтая ногами, у него на коленях.

— А ты, Вельтман?

— Что? — встрепенулся студент. Он сидел на диване спиною к товарищам около лежавшей Паши, нагнувшись над ней, и давно уже с самым дружеским, сочувственным

видом поглаживал ее то по плечам, то по волосам на затылке, а она уже улыбалась ему своей застенчиво-бесстыдной и бессмысленно-страстной улыбкой сквозь полуопущенные и трепетавшие ресницы.— Что? В чем дело? Ах, да, можно ли сюда актера? Ничего не имею против. Пожалуйста...

Ярченко послал через Симеона приглашение, и актер пришел и сразу же начал обычную актерскую игру. В дверях он остановился, в своем длинном сюртуке, сиявшем шелковыми отворотами, с блестящим цилиндром, который он держал левой рукой перед серединой груди, как актер, изображающий на театре пожилого светского льва или директора банка. Приблизительно этих лиц он внутренно и представлял себе.

— Будет ли мне позволено, господа, вторгнуться в вашу тесную компанию?— спросил он жирным, ласковым голосом, с полупоклоном, сделанным несколько набок.

Его попросили, и он стал знакомиться. Пожимая руки, он оттопыривал вперед локоть и так высоко подымал его, что кисть оказывалась гораздо ниже. Теперь это уже был не директор банка, а этакий лихой, молодцеватый малый, спортсмен и кутила из золотой молодежи. Но его лицо с взъерошенными дикими бровями и с обнаженными безволосыми веками было вульгарным, суровым и низменным лицом типичного алкоголика, развратника и мелко жестокого человека. Вместе с ним пришли две его дамы: Генриетта — самая старшая по годам девица в заведении Анны Марковны, опытная, все видевшая и ко всему притерпевшаяся, как старая лошадь на приводе у молотилки, обладательница густого баса, но еще красивая женщина, и Манька Большая, или Манька-Крокодил. Генриетта еще с прошлой ночи не расставалась с актером, бравшим ее из дома в гостиницу.

Усевшись рядом с Ярченко, он сейчас же заиграл новую роль — он сделался чем-то вроде старого добрякапомещика, который сам был когда-то в университете и теперь не может глядеть на студентов без тихого отеческого умиления.

— Поверьте, господа, что душой отдыхаешь среди молодежи от всех этих житейских дрязг,— говорил он, придавая своему жесткому и порочному лицу по-актерски преувеличенное и неправдоподобное выражение раст-

роганности.— Эта вера в святой идеал, эти честные порывы!.. Что может быть выше и чище нашего русского студенчества?.. Кёльнер! Шампанскава-а! — заорал он вдруг оглушительно и треснул кулаком по столу.

Лихонин и Ярченко не захотели остаться у него в долгу. Началась попойка. Бог знает каким образом в кабинете очутились вскоре Мишка-певец и Колька-бухгалтер, которые сейчас же запели своими скачущими голосами:

Чу-у-у-уют пра-а-а-авду,
Ты ж, заря-я-я-я, скоре-е-ее...

Появился и проснувшийся Ванька-Встанька. Опустив умильно набок голову и сделав на своем морщинистом, старом лице Дон-Кихота узенькие, слезливые, сладкие глазки, он говорил убедительно-просящим тоном:

— Господа студенты... угостили бы старичка... Ей-богу, люблю образование... Дозвольте!

Лихонин всем был рад, но Ярченко сначала — пока ему не бросилось в голову шампанское — только поднимал кверху свои коротенькие черные брови с боязливым, удивленным и наивным видом. В кабинете вдруг сделалось тесно, дымно, шумливо и душно. Симеон с грохотом запер снаружи болтами ставни. Женщины, только что отделавшись от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пели вразброд, пили вино, целовались, и опять уходили, и опять приходили. Приказчики от Керешковского, обиженные тем, что девицы больше уделяли внимания кабинету, чем залу, затеяли было скандал и пробовали вступить со студентами в задорное объяснение, но Симеон в один миг укротил их двумя-тремя властными словами, брошенными как будто бы мимоходом.

Вернулась из своей комнаты Нюра и немного спустя вслед за ней Петровский. Петровский с крайне серьезным видом заявил, что он все это время ходил по улице, обдумывая происшедший инцидент, и, наконец, пришел к заключению, что товарищ Борис был действительно неправ, но что есть и смягчающее его вину обстоятельство — опьянение. Пришла потом и Женя, но одна: Собашников заснул в ее комнате.

У актера оказалась пропасть талантов. Он очень верно подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звукам пилы; смешно представлял, став лицом в угол, разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой обезьяной. Держась рукой за воображаемую цепочку и в то же время оскаливаясь, приседая, как мартышка, часто моргая веками и почесывая себе то зад, то волосы на голове, он пел гнусавым, однотонным и печальным голосом, коверкая слова:

Малядой кизак на война пишол,
Малядой баришня под забором валаится,
Айна, айна, ай-на-на-на, ай-на на-на-на.

В заключение он взял на руки Маню Беленькую, завернул ее бортами сюртука и, протянув руку и сделав плачущее лицо, закивал головой, склоненной набок, как это делают черномазые, грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной, бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую, облезлую обезьянку.

— Ты кто такой? — строго спросила толстая Катя, знавшая и любившая эту шутку.

— Сербиян, барина-а-а,— жалобно простонал в нос актер.— Подари что-нибудь, барина-а-а.

— А как твою обезьянку зовут?

— Матрешка-а-а... Он, барина, голодни-и-ий... он кушай хочи-и-ить.

— А паспорт у тебя есть?

— Ми сербия-а-ан. Дай что-нибудь, барина-а-а...

Актер оказался совсем не лишним. Он произвел сразу много шуму и поднял падавшее настроение. И поминутно он кричал зычным голосом: «Кёльнер! Шампанска-ва-а-а!» — хотя привыкший к его манере Симеон очень мало обращал внимания на эти крики.

Началась настоящая русская, громкая и непонятная бестолочь. Розовый, белокурый, миловидный Толпыгин играл на пианино сегидилью из «Кармен», а Ванька-Встанька плясал под нее камаринского мужика. Подняв кверху узкие плечи, весь искособочившись, растопырив пальцы опущенных вниз рук, он затейливо перебирал

на месте длинными, тонкими ногами, потом вдруг пронзительно ухал, вскидывался и выкрикивал в такт своей дикой пляски:

Ух! Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей!..

— Эх, за одну выходку четвертной мало! — приговаривал он, встряхивая длинными седеющими волосами.

— Чу-у-уют пра-а-а-авду! — ревели два приятеля, с трудом подымая отяжелевшие веки под мутными, закисшими глазами.

Актер стал рассказывать похабные анекдоты, высыпая их как из мешка, и женщины визжали от восторга, сгибались пополам от смеха и отваливались на спинки кресел. Вельтман, долго шептавшийся с Пашей, незаметно, под шумок, ускользнул из кабинета, а через несколько минут после него ушла и Паша, улыбаясь своей тихой, безумной и стыдливой улыбкой.

Да и все остальные студенты, кроме Лихонина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы, у Толпыгина разболелась голова, и он попросил Тамару провести его умыться, Петровский, тайно перехватив у Лихонина три рубля, вышел в коридор и уже оттуда послал экономку Зосю за Манькой Беленькой. Даже благоразумный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем пряным чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное, неотложное дело, надо было поехать домой и хоть два часика поспать. Но, простившись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. Она поняла, медленно, едва заметно, опустила ресницы в знак согласия, и когда опять их подняла, то Платонова, который, почти не глядя, видел этот немой разговор, поразило то выражение злобы и угрозы в ее глазах, с каким она проводила спину уходившего Рамзеса. Выждав пять минут, она встала, сказала: «Извините, я сейчас»,— и вышла, раскачивая своей оранжевой короткой юбкой.

— Что же? Теперь твоя очередь, Лихонин? — спросил насмешливо репортер.

— Нет, брат, ошибся! — сказал Лихонин и прищелкнул языком.— И не то что я по убеждению или из принципа... Нет! Я, как анархист, исповедываю, что чем хуже, тем лучше... Но, к счастию, я игрок и весь свой темперамент трачу на игру, поэтому во мне простая брезгливость говорит гораздо сильнее, чем это самое неземное чувство. Но удивительно, как совпали наши мысли. Я только что хотел тебя спросить о том же.

— Я— нет. Иногда, если сильно устану, я ночую здесь. Беру у Исая Саввича ключ от его комнатки и сплю на диване. Но все девицы давно уже привыкли к тому, что я — существо третьего пола.

— И неужели... никогда?..

— Никогда.

— Уж что верно, то верно! — воскликнула Нюра.— Сергей Иваныч как святой отшельник.

— Раньше, лет пять тому назад, я и это испытал,— продолжал Платонов.— Но, знаете, уж очень это скучно и противно. Вроде тех мух, которых сейчас представлял господин артист. Слепились на секунду на подоконнике, а потом в каком-то дурацком удивлении почесали задними лапками спину и разлетелись навеки. А разводить здесь любовь?.. Так для этого я герой не их романа. Я некрасив, с женщинами робок, стеснителен и вежлив. А они здесь жаждут диких страстей, кровавой ревности, слез, отравлений, побоев, жертв — словом, истеричного романтизма. Да оно и понятно. Женское сердце всегда хочет любви, а о любви им говорят ежедневно разными кислыми, слюнявыми словами. Невольно хочется в любви перцу. Хочется уже не слов страсти, а трагически-страстных поступков. И поэтому их любовниками всегда будут воры, убийцы, сутенеры и другая сволочь. А главное,— прибавил Платонов,— это тотчас же испортило бы мне все дружеские отношения, которые так славно наладились.

— Будет шутить!—недоверчиво возразил Лихонин.— Что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать? Будь ты писатель — дело другого рода. Легко найти объяснение: ну, собираешь типы, что ли... наблюдаешь жизнь... Вроде того профессора-немца, который три года прожил с обезьянами, чтобы изучить их язык и нравы. Но ведь ты сам сказал, что писательством не балуешься?

— Не то, что не балуюсь, а просто не умею, не могу.

— Запишем. Теперь предположим другое — что ты являешься сюда как проповедник лучшей, честной жизни, вроде этакого спасителя погибающих душ. Знаешь, как на заре христианства иные святые отцы вместо того, чтобы стоять на столпе тридцать лет или жить в лесной пещере, шли на торжища, в дома веселья, к блудницам и скоморохам. Но ведь ты не так?

— Не так.

— Зачем же, черт побери, ты здесь толчешься? Я чудесно же вижу, что многое тебе самому противно, и тяжело, и больно. Например, эта дурацкая ссора с Борисом или этот лакей, бьющий женщину, да и вообще постоянное созерцание всяческой грязи, похоти, зверства, пошлости, пьянства. Ну, да раз ты говоришь,— я тебе верю, что блуду ты не предаешься. Но тогда мне еще непонятнее твой modus vivendi [1], выражаясь штилем передовых статей.

Репортер ответил не сразу.

— Видишь ли,— заговорил он медленно, с расстановками, точно в первый раз вслушиваясь в свои мысли и взвешивая их.— Видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее... как бы это выразиться?.. ее страшная, обнаженная правда. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни с своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прикрас! Вот она — я! Публичная женщина, общественный сосуд, клоака для стока избытка городской похоти. Иди ко мне любой, кто хочет,— ты не встретишь отказа, в этом моя служба. Но за секунду этого сладострастия впопыхах — ты заплатишь деньгами, отвращением, болезнью и позором. И все. Нет ни одной стороны человеческой жизни, где бы основная, главная правда сияла с такой чудовищной, безобразной голой яркостью, без всякой тени человеческого лганья и самообеления.

— Ну, положим! Эти женщины врут, как зеленые лошади. Поди-ка поговори с ней о ее первом падении. Такого наплетет.

---

[1] Образ жизни *(лат.)*.

— А ты не спрашивай. Какое тебе дело? Но если они и лгут, то лгут совсем как дети. А ведь ты сам знаешь, что дети — это самые первые, самые милые вралишки и в то же время самый искренний на свете народ. И замечательно, что и те и другие, то есть и проститутки и дети, лгут только нам — мужчинам — и взрослым. Между собой они не лгут — они лишь вдохновенно импровизируют. Но нам они лгут потому, что мы сами этого от них требуем, потому что мы лезем в их совсем чуждые нам души со своими глупыми приемами и расспросами, потому, наконец, что они нас втайне считают большими дураками и бестолковыми притворщиками. Да вот хочешь, я тебе сейчас пересчитаю по пальцам все случаи, когда проститутка непременно лжет, и ты сам убедишься, что к лганью ее побуждает мужчина.

— Ну, ну, посмотрим.

— Первое: она беспощадно красится, даже иногда и в ущерб себе. Отчего? Оттого, что каждый прыщавый юнкер, которого так тяготит его половая зрелость, что он весною глупеет, точно тетерев на току, и какой-нибудь жалкий чинодрал из управы благочиния, муж беременной жены и отец девяти младенцев,— ведь оба они приходят сюда вовсе не с благоразумной и простой целью оставить здесь избыток страсти. Он, негодяй, пришел насладиться, ему — этакому эстету! — видите ли, нужна красота. А все эти девицы, эти дочери простого, незатейливого великого русского народа, как смотрят на эстетику? «Что сладко—то вкусно, что красно—то красиво». И вот на, изволь, получай себе красоту из сурьмы, белил и румян.

Это раз. Второе то, что этот же распрекрасный кавалер, мало того, что хочет красоты,— нет, ему подай еще подобие любви, чтобы в женщине от его ласк зажегся бы этот самый «агонь безу-умнай са-та-рà-са-ти!», о которой поется в идиотских романсах. А! Ты *этого* хочешь? На! И женщина лжет ему лицом, голосом, вздохами, стонами, телодвижениями. И он сам ведь в глубине души знает про этот профессиональный обман, но — подите же! — все-таки обольщается: «Ах, какой я красивый мужчина! Ах, как меня женщины любят! Ах, в какое я их привожу исступление!..» Знаете, бывает, что человеку с самой отчаянной наглостью, самым неправдоподобным об-

разом льстят в глаза, и он сам это отлично видит и знает, но — черт возьми! — какое-то сладостное чувство все-таки обмасливает душу. Так и здесь. Спрашивается: чей же почин во лжи?

А вот вам, Лихонин, еще и третий пункт. Вы его сами подсказали. Больше всего они лгут, когда их спрашивают: «Как дошла ты до жизни такой?» Но какое же право ты имеешь ее об этом спрашивать, черт бы тебя побрал?! Ведь она не лезет же в твою интимную жизнь? Она же не интересуется твоей первой «святой» любовью или невинностью твоих сестер и твоей невесты. Ага! Ты платишь деньги? Чудесно! Бандерша, и вышибала, и полиция, и медицина, и городская управа блюдут твои интересы. Прекрасно! Тебе гарантировано вежливое и благопристойное поведение со стороны нанятой тобою для любви проститутки, и личность твоя неприкосновенна... хотя бы даже в самом прямом смысле, в смысле пощечины, которую ты, конечно, заслуживаешь своими бесцельными и, может быть, даже мучительными расспросами. Но ты за свои деньги захотел еще и правды? Ну уж этого тебе никогда не учесть и не проконтролировать. Тебе расскажут именно такую шаблонную историю, какую ты — сам человек шаблона и пошляк — легче всего переваришь. Потому что сама по себе жизнь или чересчур обыденна и скучна для тебя, или уж так чересчур неправдоподобна, как только умеет быть неправдоподобной жизнь. И вот тебе вечная средняя история об офицере, о приказчике, о ребенке и о престарелом отце, который там, в провинции, оплакивает заблудшую дочь и умоляет ее вернуться домой. Но заметь, Лихонин, все, что я говорю, к тебе не относится. В тебе, честное слово, я чувствую искреннюю и большую душу... Давай выпьем за твое здоровье?

Они выпили.

— Говорить ли дальше? — продолжал нерешительно Платонов.— Скучно?

— Нет, нет, прошу тебя, говори.

— Лгут они еще и лгут особенно невинно тем, кто перед ними красуется на политических конях. Тут они со всем, с чем хочешь, соглашаются. Я ей сегодня скажу: «Долой современный буржуазный строй! Уничтожим бомбами и кинжалами капиталистов, помещиков и бюрократию!» Она горячо согласится со мною. Но завтра ла-

базник Ноздрунов будет орать, что надо перевешать всех социалистов, передрать всех студентов и разгромить всех жидов, причащающихся христианской кровью. И она радостно согласится и с ним. Но если к тому же еще вы воспламените ее воображение, влюбите ее в себя, то она за вами пойдет всюду, куда хотите: на погром, на баррикаду, на воровство, на убийство. Но и дети ведь так же податливы. А они, ей-богу, дети, милый мой Лихонин...

В четырнадцать лет ее растлили, а в шестнадцать она стала патентованной проституткой, с желтым билетом и с венерической болезнью. И вот вся ее жизнь обведена и отгорожена от вселенной какой-то причудливой, слепой и глухой стеною. Обрати внимание на ее обиходный словарь — тридцать-сорок слов, не более,— совсем как у ребенка или дикаря: есть, пить, спать, мужчина, кровать, хозяйка, рубль, любовник, доктор, больница, белье, городовой — вот и все. Ее умственное развитие, ее опыт, ее интересы так и остаются на детском уровне до самой смерти, совершенно так же, как у седой и наивной классной дамы, с десяти лет не переступавшей институтского порога, как у монашенки, отданной ребенком в монастырь. Словом, представь себе дерево настоящей крупной породы, но выращенное в стеклянном колпаке, в банке из-под варенья. Именно к этой детской стороне их быта я и отношу их вынужденную ложь — такую невинную, бесцельную и привычную... Но зато какая страшная, голая, ничем не убранная, откровенная правда в этом деловом торге о цене ночи, в этих десяти мужчинах в вечер, в этих печатных правилах, изданных отцами города, об употреблении раствора борной кислоты и о содержании себя в чистоте, в еженедельных докторских осмотрах, в скверных болезнях, на которые смотрят так же легко и шутливо, так же просто и без страдания, как на насморк, в глубоком отвращении этих женщин к мужчинам,—таком глубоком, что все они, без исключения, возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают. Вот вся их нелепая жизнь у меня как на ладони, со всем ее цинизмом, уродливой и грубой несправедливостью, но нет в ней той лжи и того притворства перед людьми и перед собою, которые опутывают все человечество сверху донизу. Подумай, милый Лихонин, сколько нудного, длительного, противного обмана, сколько ненависти в любом

брачном сожительстве в девяносто девяти случаях из ста. Сколько слепой, беспощадной жестокости—именно не животной, а человеческой, разумной, дальновидной, расчетливой жестокости—в святом материнском чувстве, и смотри, какими нежными цветами разубрано это чувство! А все эти ненужные, шутовские профессии, выдуманные культурным человеком для охраны моего гнезда, моего куска мяса, моей женщины, моего ребенка, эти разные надзиратели, контролеры, инспекторы, судьи, прокуроры, тюремщики, адвокаты, начальники, чиновники, генералы, солдаты и еще сотни и тысячи названий. Все они обслуживают человеческую жадность, трусость, порочность, рабство, узаконенное сладострастие, леность — нищенство! Да, вот оно, настоящее слово: человеческое нищенство! А какие пышные слова! Алтарь отечества, христианское сострадание к ближнему, прогресс, священный долг, священная собственность, святая любовь. Тьфу! Ни одному красивому слову я теперь не верю, а тошно мне с этими лгунишками, трусами и обжорами до бесконечности! Нищенки!.. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он — бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так изолгался, испопрошайничался и унизился!.. Эх, Лихонин, тоска!

— Я, как анархист, отчасти понимаю тебя,— сказал задумчиво Лихонин. Он как будто бы слушал и не слушал репортера. Какая-то мысль тяжело, в первый раз, рождалась у него в уме.— Но одного не постигаю. Если уж так тебе осмердело человечество, то как ты терпишь, да еще так долго, вот это все,— Лихонин обвел стол круглым движением руки,— самое подлое, что могло придумать человечество?

— А я и сам не знаю,— сказал простодушно Платонов.— Видишь ли, я—бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером,— всего и не упомню. И никогда меня не гнала нуж-

да. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесл и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус... Так-то вот я и набрел на публичный дом, и чем больше в него вглядываюсь, тем больше во мне растет тревога, непонимание и очень большая злость. Но и этому скоро конец. Как перевалит дело на осень — опять айда! Поступлю на рельсопрокатный завод. У меня приятель есть один, он устроит... Постой, постой, Лихонин... Послушай актера... Это акт третий.

Эгмонт-Лаврецкий, до сих пор очень удачно подражавший то поросенку, которого сажают в мешок, то ссоре кошки с собакой, стал понемногу раскисать и опускаться. На него уже находил очередной стих самообличения, в припадке которого он несколько раз покушался поцеловать у Ярченко руку. Веки у него покраснели, вокруг бритых колючих губ углубились плаксивые морщины, и по голосу было слышно, что его нос и горло уже переполнялись слезами.

— Служу в фарсе! — говорил он, бия себя в грудь кулаком.— Кривляюсь в полосатых кальсонах на потеху сытой толпе! Угасил свой светильник, зарыл в землю талант, как раб ленивый! А пре-ежде,— заблеял он трагически,— пре-ежде-е-е! Спросите в Новочеркасске, спросите в Твери, в Устюжне, в Звенигородке, в Крыжополе. Каким я был Жадовым и Белугиным, как я играл Макса, какой образ я создал из Вельтищева — это была моя коронная ро-оль. Надин-Перекопский начинал со мной у Сумбекова! С Никифоровым-Павленко служил. Кто сделал имя Легунову-Почайнину? Я! А тепе-ерь...

Он всхлипнул носом и полез целовать приват-доцента.

— Да! Презирайте меня, клеймите меня, честные люди. Паясничаю, пьянствую... Продал и разлил священный елей! Сижу в вертепе с продажным товаром. А моя жена... святая, чистая, голубка моя!.. О, если бы она знала, если бы только она знала! Она трудится, у нее

модный магазин, у нее пальцы—эти ангельские пальцы—истыканы иголкой, а я! О, святая женщина! И я — негодяй! — на кого я тебя меняю! О, ужас! — Актер схватил себя за волосы.— Профессор, дайте я поцелую вашу ученую руку. Вы один меня понимаете. Поедемте, я вас познакомлю с ней, вы увидите, какой это ангел!.. Она ждет меня, она не спит ночей, она складывает ручки моим малюткам и вместе с ними шепчет: «Господи, спаси и сохрани папу».

— Врешь ты все, актер! — сказала вдруг пьяная Манька Беленькая, глядя с ненавистью на Эгмонта-Лаврецкого.— Ничего она не шепчет, а преспокойно спит с мужчиной на твоей кровати.

— Молчи, б....! — завопил исступленно актер и, схватив за горло бутылку, высоко поднял ее над головой.— Держите меня, иначе я размозжу голову этой стерве. Не смей осквернять своим поганым языком...

— У меня язык не поганый, я причастие принимаю,— дерзко ответила женщина.— А ты, дурак, рога носишь. Ты сам шляешься по проституткам, да еще хочешь, чтобы тебе жена не изменяла. И нашел же, болван, место, где слюну вожжой распустить. Зачем ты детей-то приплел, папа ты злосчастный! Ты на меня не ворочай глазами и зубами не скрипи. Не запугаешь! Сам ты б....!

Потребовалось много усилий и красноречия со стороны Ярченки, чтобы успокоить актера и Маньку Беленькую, которая всегда после бенедиктина лезла на скандал. Актер под конец обширно и некрасиво, по-старчески, расплакался и рассморкался, ослабел, и Генриетта увела его к себе.

Всеми уже овладело утомление. Студенты один за другим возвращались из спален, и врозь от них с равнодушным видом приходили их случайные любовницы. И правда, и те и другие были похожи на мух, самцов и самок, только что разлетевшихся с оконного стекла. Они зевали, потягивались, и с их бледных от бессонницы, нездорово лоснящихся лиц долго не сходило невольное выражение тоски и брезгливости. И когда они, перед тем как разъехаться, прощались друг с другом, то в их глазах мелькало какое-то враждебное чувство, точно у соучастников одного и того же грязного и ненужного преступления.

— Ты куда сейчас? — вполголоса спросил у репортера Лихонин.

— А, право, сам не знаю. Хотел было переночевать в кабинете у Исай Саввича, но жаль потерять такое чудесное утро. Думаю выкупаться, а потом сяду на пароход и поеду в Липский монастырь к одному знакомому пьяному чернецу. А что?

— Я тебя попрошу остаться немного и пересидеть остальных. Мне нужно сказать тебе два очень важных слова.

— Идет.

Последний ушел Ярченко. Он ссылался на головную боль и усталость. Но едва он вышел из дома, как репортер схватил за руку Лихонина и быстро потащил его в стеклянные сени подъезда.

— Смотри! — сказал он, указывая на улицу.

И сквозь оранжевое стекло цветного окошка Лихонин увидел приват-доцента, который звонил к Треппелю. Через минуту дверь открылась, и Ярченко исчез за ней.

— Как ты узнал? — спросил с удивлением Лихонин.

— Пустяки. Я видел его лицо и видел, как его руки гладили Веркино трико. Другие поменьше стеснялись. А этот стыдлив.

— Ну, так пойдем,— сказал Лихонин.— Я тебя недолго задержу.

XII

Из девиц остались в кабинете только две: Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в большом плюшевом кресле. Свежее веснушчатое лицо Любы приняло кроткое, почти детское выражение, а губы как улыбнулись во сне, так и сохранили легкий отпечаток светлой, тихой и нежной улыбки. Сине и едко было в кабинете от густого табачного дыма, на свечах в канделябрах застыли оплывшие бородавчатые струйки; залитый кофеем и вином, забросанный апельсинными корками стол казался безобразным.

Женя сидела с ногами на диване, обхватив колени руками. И опять Платонова поразил мрачный огонь ее глубоких глаз, точно запавших под темными бровями, грозно сдвинутыми сверху вниз, к переносью.

— Я потушу свечи,— сказал Лихонин.

Утренний полусвет, водянистый и сонный, наполнил комнату сквозь щели ставен. Слабыми струйками курились потушенные фитили свечей. Слоистыми голубыми пеленами колыхался табачный дым, но солнечный луч, прорезавшийся сквозь сердцеобразную выемку в ставне, пронизал кабинет вкось веселым, пыльным, золотым мечом и жидким горячим золотом расплескался на обоях стены.

— Так-то лучше,— сказал Лихонин, садясь.— Разговор будет короткий, но... черт его знает... как к нему приступить.

Он рассеянно поглядел на Женю.

— Так я уйду? — сказала она равнодушно.

— Нет, ты посиди,— ответил за Лихонина репортер.— Она не помешает,— обратился он к студенту и слегка улыбнулся.— Ведь разговор будет о проституции? Не так ли?

— Ну, да... вроде...

— И отлично. Ты к ней прислушайся. Мнения у нее бывают необыкновенно циничного свойства, но иногда чрезвычайной вескости.

Лихонин крепко потер и помял ладонями свое лицо, потом сцепил пальцы с пальцами и два раза нервно хрустнул ими. Видно было, что он волновался и сам стеснялся того, что собирался сказать.

— Ах, да не все ли равно!—вдруг воскликнул он сердито.— Ты вот сегодня говорил об этих женщинах... Я слушал... Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но — странно — я почему-то, точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь, поглядел на этот вопрос открытыми глазами... Я спрашиваю тебя, что же такое, наконец, проституция? Что она? Блажной бред больших городов или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это?

Платонов смотрел на него пристально, слегка, по привычке, щурясь. Его интересовало, какою главною мыслью так искренно мучится Лихонин.

— Когда она прекратится,— никто тебе не скажет. Может быть, тогда, когда осуществятся прекрасные утопии социалистов и анархистов, когда земля станет общей

и ничьей, когда любовь будет абсолютно свободна и подчинена только своим неограниченным желаниям, а человечество сольется в одну счастливую семью, где пропадет различие между твоим и моим, и наступит рай на земле, и человек опять станет нагим, блаженным и безгрешным. Вот разве тогда...

— А теперь? Теперь? — спрашивал Лихонин с возраставшим волнением.— Глядеть сложа ручки? Моя хата с краю? Терпеть, как неизбежное зло? Мириться, махнуть рукой? Благословить?

— Зло это не неизбежное, а непреоборимое. Да не все ли тебе равно? — спросил Платонов с холодным удивлением.— Ты же ведь анархист?

— Какой я к черту анархист. Ну да, я анархист, потому что разум мой, когда я думаю о жизни, всегда логически приводит меня к анархическому началу. И я сам думаю в теории: пускай люди людей бьют, обманывают и стригут, как стада овец,— пускай! — насилие породит рано или поздно злобу. Пусть насилуют ребенка, пусть топчут ногами творческую мысль, пусть рабство, пусть проституция, пусть воруют, глумятся, проливают кровь... Пусть! Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Есть великий закон, думаю я, одинаковый как для неодушевленных предметов, так и для всей огромной, многомиллионной и многолетней человеческой жизни: сила действия равна силе противодействия. Чем хуже, тем лучше. Пусть накопляется в человечестве зло и месть, пусть они растут и зреют, как чудовищный нарыв — нарыв во весь земной шар величиной. Ведь лопнет же он когда-нибудь! И пусть будет ужас и нестерпимая боль. Пусть гной затопит весь мир. Но человечество или захлебнется в нем и погибнет, или, переболев, возродится к новой, прекрасной жизни.

Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе и продолжал пылко:

— Да. Так именно я и многие другие теоретизируем, сидя в своих комнатах за чаем с булкой и с вареной колбасой, причем ценность каждой отдельной человеческой жизни — это так себе, бесконечно малое число в математической формуле. Но увижу я, что обижают ребенка, и красная кровь мне хлынет в голову от бешенства. И когда я погляжу, погляжу на труд мужика или рабочего,

меня кидает в истерику от стыда за мои алгебраические выкладки. Есть — черт его побери! — есть что-то в человеке нелепое, совсем не логичное, но что в сто раз сильнее человеческого разума. Вот и сегодня... Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего, или обманул трехлетнего ребенка, или ударил связанного? И почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции,— виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством? Что мне делать, Платонов? — воскликнул студент со скорбью в голосе.

Платонов промолчал, щуря на него узенькие глаза. Но Женя неожиданно сказала язвительным тоном:

— А ты сделай так, как сделала одна англичанка... Приезжала к нам тут одна рыжая старая халда. Должно быть, очень важная, потому что с целой свитой приезжала... всё какие-то чиновники... А до нее приезжал пристава помощник с околоточным Кербешем. Помощник так прямо и предупредил: «Если вы, стервы, растак-то и растак-то, хоть одно грубое словечко или что, так от вашего заведения камня на камне не оставлю, а всех девок перепорю в участке и в тюрьме сгною!» Ну и приехала эта грымза. Лоташила-лоташила что-то по-иностранному, все рукой на небо показывала, а потом раздала нам всем по пятачковому евангелию и уехала. Вот и вы бы так, миленький.

Платонов громко рассмеялся. Но, увидев наивное и печальное лицо Лихонина, который точно не понимал и даже не подозревал насмешки, он сдержал смех и сказал серьезно:

— Ничего не сделаешь, Лихонин. Пока будет собственность, будет и нищета. Пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди, благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконить, нормировать и обандеролить платный разврат, потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них— оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного алькова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебошу. Надоест же, в са-

мом деле, все одно и то же: жена, горничная и дама на стороне. Человек, в сущности, животное много и даже чрезвычайно многобрачное. И его петушиным любовным инстинктам всегда будет сладко развертываться в этаком пышном рассаднике, вроде Треппеля или Анны Марковны. О, конечно, уравновешенный супруг или счастливый отец шестерых взрослых дочерей всегда будет орать об ужасе проституции. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя святой Магдалины. Но существование проституции он благословит и поддержит.

— Магдалинские приюты! — с тихим смехом, полным давней, непереболевшей ненависти, повторила Женя.

— Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия— чушь и сплошное надругательство,— перебил Лихонин.— Но пусть я буду смешон и глуп — и я не хочу оставаться соболезнующим зрителем, который сидит на завалинке, глядит на пожар и приговаривает: «Ах, батюшки, ведь горит... ей-богу, горит! Пожалуй, и люди ведь горят!» —а сам только причитает и хлопает себя по ляжкам.

— Ну да,— сказал сурово Платонов,— ты возьмешь детскую спринцовку и пойдешь с нею тушить пожар?

— Нет! — горячо воскликнул Лихонин.— Может быть,— почем знать? Может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу... Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне... Только умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания...

— Ты хочешь взять отсюда девушку? Спасти?—внимательно глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор.

— Да... я не знаю... я попробую,— неуверенно ответил Лихонин.

— Вернется назад,— сказал Платонов.

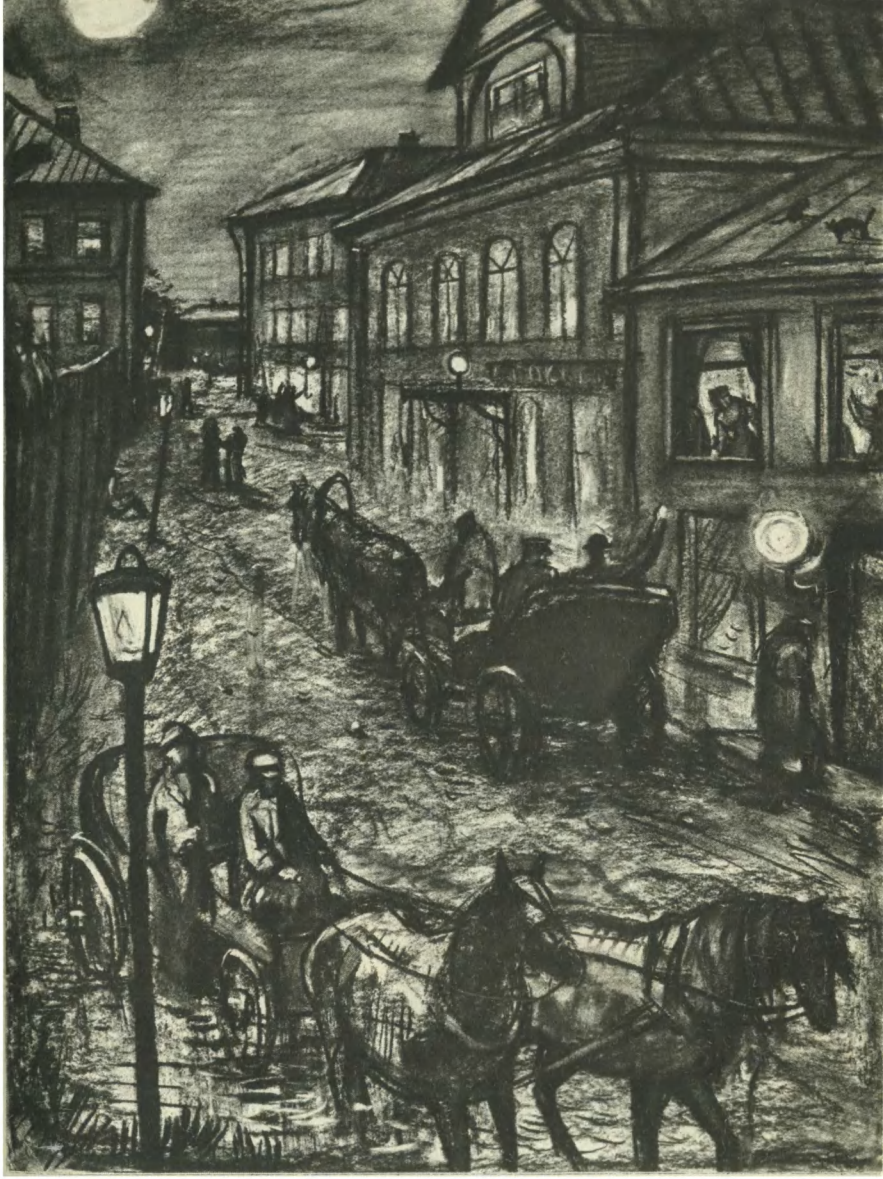
— Вернется,— убежденно повторила Женя.

Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом:

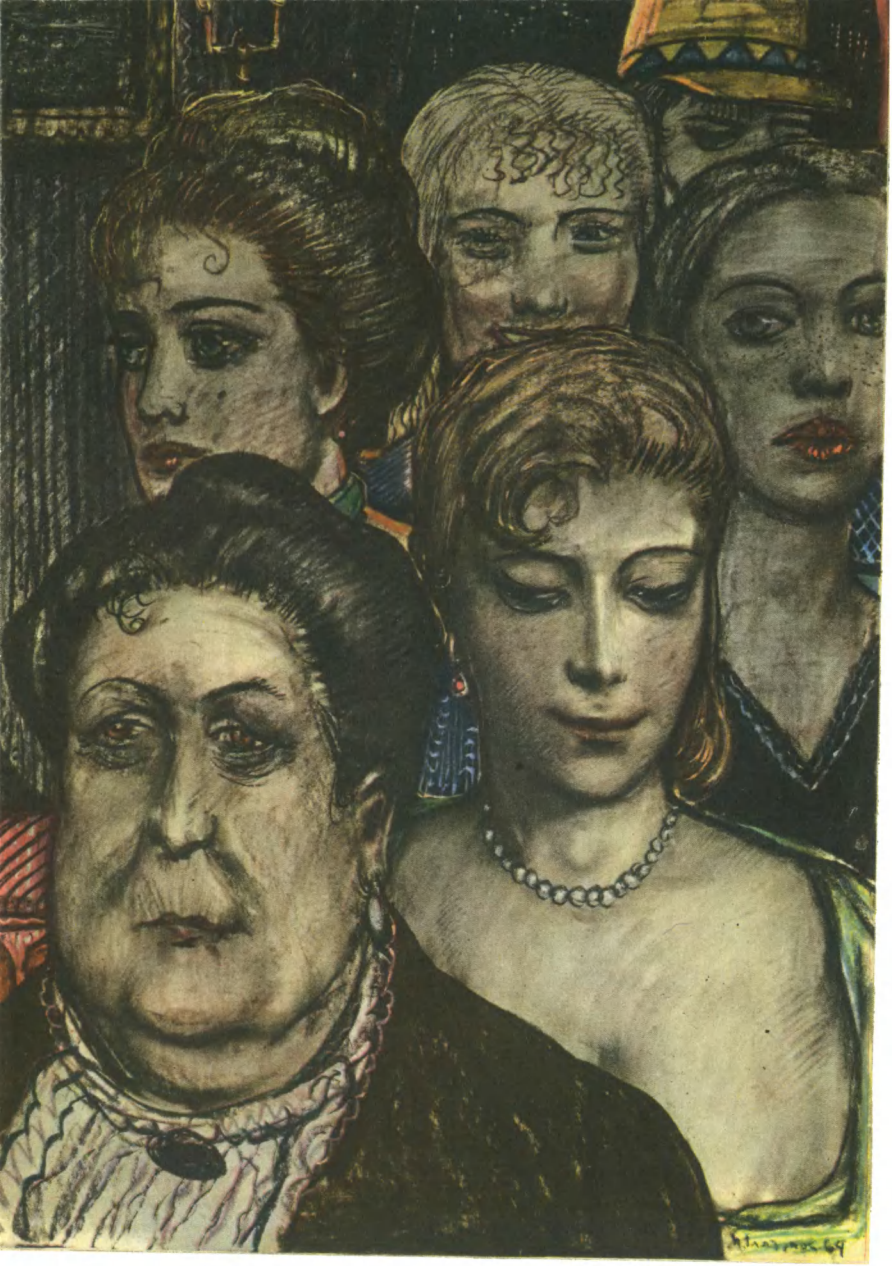
— Женечка... может быть, вы... А? Ведь не в любовницы зову... как друга... Пустяки, полгода отдыха... а там какое-нибудь ремесло изучим... будем читать...

Женя с досадой выхватила из его рук свои.

— Ну тебя в болото! — почти крикнула она.— Знаю я вас! Чулки тебе штопать? На керосинке стряпать? Но-



«ЯМА»



«ЯМА»

чей из-за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосыми будешь болты болтать? А как ты заделаешься доктором, или адвокатом, или чиновником, так меня же в спину коленом: пошла, мол, на улицу, публичная шкура, жизнь ты мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной...

— Я как брат... Я без этого...— смущенно лепетал Лихонин.

— Знаю я этих братьев. До первой ночи... Брось и не говори ты мне чепухи! Скучно слушать.

— Подожди, Лихонин,— серьезно начал репортер.— Ведь ты и на себя взвалишь непосильный груз. Я знавал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали: натура, чернозем, непочатые силы... А этот чернозем через год обращался в толстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники или унижет свои пальцы копеечными кольцами, растопырит их и любуется. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь хуже будет!

Все трое замолчали. Лихонин был бледен и утирал платком мокрый лоб.

— Нет, черт возьми! — крикнул он вдруг упрямо.— Не верю я вам! Не хочу верить! Люба! — громко позвал он заснувшую девушку.— Любочка!

Девушка проснулась, провела ладонью по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешно, по-детски, улыбнулась.

— Я не спала, я все слышала,— сказала она.— Только самую-самую чуточку задремала.

— Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною?—спросил Лихонин и взял ее за руку.— Но совсем, навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу?

Люба вопросительно, с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснения этой шутки.

— Будет вам,— сказала она лукаво.— Вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание.

— Не на содержание, Люба... Просто хочу помочь тебе... Ведь не сладко же тебе здесь, в публичном доме-то!

— Понятно, не сахар! Если бы я была такая гордая, как Женечка, или такая увлекательная, как Паша... а я ни за что здесь не привыкну...

— Ну и пойдем, пойдем со мной!..— убеждал Лихонин.— Ты ведь, наверно, знаешь какое-нибудь рукоделье, ну там шить что-нибудь, вышивать, метить?

— Ничего я не знаю! — застенчиво ответила Люба, и засмеялась, и покраснела, и закрыла локтем свободной руки рот.— Что у нас, по-деревенскому, требуется, то знаю, а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею... у попа жила — стряпала.

— И чудесно! И превосходно! — обрадовался Лихонин.— Я тебе пособлю, откроешь столовую... Понимаешь, дешевую столовую... Я рекламу тебе сделаю... Студенты будут ходить! Великолепно!..

— Будет смеяться-то! — немного обидчиво возразила Люба и опять искоса вопросительно посмотрела на Женю.

— Он не шутит,— ответила Женя странно дрогнувшим голосом.— Он вправду, серьезно.

— Вот тебе честное слово, что серьезно! Вот ей-богу! — с жаром подхватил студент и для чего-то даже перекрестился на пустой угол.

— А в самом деле,—сказала Женя,—берите Любку. Это не то, что я. Я как старая драгунская кобыла с норовом. Меня ни сеном, ни плетью не переделаешь. А Любка — девочка простая и добрая. И к жизни нашей еще не привыкла. Что ты, дурища, пялишь на меня глаза? Отвечай, когда тебя спрашивают. Ну? Хочешь или нет?

— А что же? Если они не смеются, а взаправду... А ты что, Женечка, мне посоветуешь?..

— Ах, дерево какое! — рассердилась Женя.— Что же, по-твоему, лучше: с проваленным носом на соломе сгнить? Под забором издохнуть, как собаке? Или сделаться честной? Дура! Тебе бы ручку у него поцеловать, а ты кобенишься.

Наивная Люба и в самом деле потянулась губами к руке Лихонина, и это движение всех рассмешило и чуть-чуть растрогало.

— И прекрасно! И волшебно! — суетился обрадованный Лихонин.— Иди и сейчас же заяви хозяйке, что ты уходишь отсюда навсегда. И вещи забери самые необ-

ходимые. Теперь не то, что раньше, теперь девушка, когда хочет, может уйти из публичного дома.

— Нет, так нельзя,—остановила его Женя:—что она уйти может — это так, это верно, но неприятностей и крику не оберешься. Ты вот что, студент, сделай. Тебе десять рублей не жаль?

— Конечно, конечно... Пожалуйста.

— Пусть Люба скажет экономке, что ты ее берешь на сегодня к себе на квартиру. Это уж такса — десять рублей. А потом, ну хоть завтра, приезжай за ее билетом и за вещами. Ничего, мы это дело обладим кругло. А потом ты должен пойти в полицию с ее билетом и заявить, что вот такая-то Любка нанялась служить у тебя за горничную и что ты желаешь переменить ее бланк на настоящий паспорт. Ну, Любка, живо! Бери деньги и марш. Да, смотри, с экономкой-то будь половчее, а то она, сука, по глазам прочтет. Да и не забудь,— крикнула она уже вдогонку Любе,— румяны-то с морды сотри. А то извозчики будут пальцами показывать.

Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре.

— Глупость ты делаешь большую, Лихонин,— говорил лениво Платонов,— но чту и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль — вот и дело. Смелый ты и прекрасный парень.

— Со вступлением! — смеялась Женя.— Смотрите, на крестины-то не забудьте позвать.

— Не дождетесь! — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой.

Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидал в ее смягчившихся глазах слезы.

— Дай бог, дай бог,— шептала она.

— Что с тобою сегодня было, Женя? — спросил он ласково.— Что? Тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь?

Она повернулась к нему спиной и нагнулась над резным перилом крыльца.

— Как тебе написать, если нужно будет? — спросила она глухо.

— Да просто. В редакцию «Отголосков». Такому-то. Мне живо передадут.

— Я... я... я...— начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо,— я напишу тебе...

И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собою дверь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

До сих пор еще, спустя десять лет, вспоминают бывшие обитатели Ямков тот обильный несчастными, грязными, кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов, а кончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное, ею же созданное гнездо узаконенной проституции, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. До сих пор еще немногие, оставшиеся в живых, прежние, вконец одряхлевшие хозяйки и жирные, хриплые, как состарившиеся мопсы, бывшие экономки вспоминают об этой общей гибели со скорбью, ужасом и глупым недоумением.

Точно картофель из мешка, посыпались драки, грабежи, болезни, убийства и самоубийства, и, казалось, никто в этом не был виновен. Просто-напросто все злоключения сами собой стали учащаться, наворачиваться друг на друга, шириться и расти, подобно тому, как маленький снежный комочек, толкаемый ногами ребят, сам собою, от прилипающего к нему талого снега, становится все больше, больше, вырастает выше человеческого роста и, наконец, одним последним небольшим усилием свергается в овраг и скатывается вниз огромной лавиной. Старые хозяйки и экономки, конечно, никогда не слыхали о роке, но внутренне, душою, они чувствовали его таинственное присутствие в неотвратимых бедах того ужасного года.

И, правда, повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, происхождением или выгодами профессии в тесные, обособленные группы,— там непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления, нагромождения событий, их эпиде-

мичность, их странная преемственность и связность, их непонятная длительность. Это бывает, как давно заметила народная мудрость, в отдельных семьях, где болезнь или смерть вдруг нападает на близких неотвратимым, загадочным чередом. «Беда одна не ходит». «Пришла беда — отворяй ворота». Это замечается также в монастырях, банках, департаментах, полках, учебных заведениях и других общественных учреждениях, где, подолгу не изменяясь, чуть не десятками лет, жизнь течет ровно, подобно болотистой речке, и вдруг, после какого-нибудь совсем незначительного случая, начинаются переводы, перемещения, исключения из службы, проигрыши, болезни. Члены общества, точно сговорившись, умирают, сходят с ума, проворовываются, стреляются или вешаются, освобождается вакансия за вакансией, повышения следуют за повышениями, вливаются новые элементы, и, смотришь, через два года нет на месте никого из прежних людей, все новое, если только учреждение не распалось окончательно, не расползлось вкось. И не та ли же самая удивительная судьба постигает громадные общественные, мировые организации — города, государства, народы, страны и, почем знать, может быть, даже целые планетные миры?

Нечто, подобное этому непостижимому року, пронеслось и над Ямской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели. Теперь вместо буйных Ямков осталась мирная, будничная окраина, в которой живут огородники, кошатники, татары, свиноводы и мясники с ближних боен. По ходатайству этих почтенных людей, даже самое название Ямской слободы, как позорящее обывателей своим прошлым, переименовано в Голубевку, в честь купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина, ктитора местной церкви.

Первые подземные толчки этой катастрофы начались в разгаре лета, во время ежегодной летней ярмарки, которая в этом году была сказочно блестяща. Ее необычайному успеху, многолюдству и огромности заключенных на ней сделок способствовали многие обстоятельства: постройка в окрестностях трех новых сахарных заводов и необыкновенно обильный урожай хлеба и в особенности свекловицы; открытие работ по проведению электрического трамвая и канализации; сооружение но-

вой дороги на расстояние в семьсот пятьдесят верст; главное же — строительная горячка, охватившая весь город, все банки и другие финансовые учреждения и всех домовладельцев. Кирпичные заводы росли на окраине города, как грибы. Открылась грандиозная сельскохозяйственная выставка. Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными, прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конку́ренции они дошли до того, что понизили цены за рейсы с семидесяти пяти копеек для третьего класса до пяти, трех, двух и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. Но самым большим и значительным предприятием этого года было оборудование обширного речного порта, привлекшее к себе сотни тысяч рабочих и стоившее бог знает каких денег.

Надо еще прибавить, что город в это время справлял тысячелетнюю годовщину своей знаменитой лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди известных монастырей России. Со всех концов России, из Сибири, от берегов Ледовитого океана, с крайнего юга, с побережья Черного и Каспийского морей, собрались туда бесчисленные богомольцы на поклонение местным святыням, лаврским угодникам, почивающим глубоко под землею, в известковых пещерах. Достаточно того сказать, что монастырь давал приют и кое-какую пищу сорока тысячам человек ежедневно, а те, которым не хватало места, лежали по ночам вповалку, как дрова, на обширных дворах и улицах лавры.

Это было какое-то сказочное лето. Население города увеличилось чуть ли не втрое всяким пришлым народом. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, земледельцы, маклеры, темные дельцы, речные моряки, праздные бездельники, туристы, воры, шулеры — все они переполнили город, и ни в одной, самой грязной, сомнительной гостинице не было свободного номера. За квартиры платились бешеные цены. Биржа играла широко, как никогда ни до, ни после этого лета. Деньги миллионами так и текли ручьями из

єдних рук в другие, а из этих в третьи. Создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие прежние фирмы лопались, и вчерашние богачи обращались в нищих. Самые простые рабочие купались и грелись в этом золотом потоке. Портовые грузчики, ломовики, дрогали, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сих пор еще помнят, какие суточные деньги они зарабатывали в это сумасшедшее лето. Любой босяк при разгрузке барж с арбузами получал не менее четырех-пяти рублей в сутки. И вся эта шумная чужая шайка, одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой старинного, прелестного города, очарованная сладостной теплотой южных ночей, напоенных вкрадчивым ароматом белой акации,— эти сотни тысяч ненасытных, разгульных зверей во образе мужчин всей своей массовой волей кричали: «Женщину!»

В один месяц возникло в городе несколько десятков новых увеселительных заведений — шикарных Тиволи, Шато-де-Флеров, Олимпий, Альказаров и так далее, с хором и с опереткой, много ресторанов и портерных, с летними садиками, и простых кабачков — вблизи строящегося порта. На каждом перекрестке открывались ежедневно «фиалочные заведения» — маленькие дощатые балаганчики, в каждом из которых под видом продажи кваса торговали собою тут же рядом, за перегородкой из шелевок, по две, по три старых девки, и многим матерям и отцам тяжело и памятно это лето по унизительным болезням их сыновей, гимназистов и кадетов. Для приезжих, случайных гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянских девушек потянулись из окрестных деревень в город. Неизбежно, что спрос на проституцию стал необыкновенно высоким. И вот, из Варшавы, Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петербурга, даже из заграницы наехало бесчисленное множество иностранок, кокоток русского изделия, самых обыкновенных рядовых проституток и шикарных француженок и венок. Властно сказалось развращающее влияние сотен миллионов шальных денег. Этот водопад золота как будто захлестнул, завертел и потопил в себе весь город. Число краж и убийств возросло с поражающей быстротой. Полиция, собранная в усиленных размерах, терялась и сбивалась с ног. Но впоследствии, обкормившись обильными взят-

ками, она стала походить на сытого удава, поневоле сонного и ленивого. Людей убивали ни за что ни про что, так себе. Случалось, просто подходили среди бела дня где-нибудь на малолюдной улице к человеку и спрашивали: «Как твоя фамилия?» — «Федоров».— «Ага, Федоров? Так получай!» — и распарывали ему живот ножом. Так в городе и прозвали этих шалунов «подкалывателями», и были между ними имена, которыми как будто бы гордилась городская хроника: Полищуки, два брата (Митька и Дунда́с), Володька Грек, Федор Миллер, капитан Дмитриев, Сивохо, Добровольский, Шпачек и многие другие.

И днем и ночью на главных улицах ошалевшего города стояла, двигалась и орала толпа, точно на пожаре. Почти невозможно было описать, что делалось тогда на Ямках. Несмотря на то, что хозяйки увеличили более чем вдвое состав своих пациенток и втрое увеличили цены, их бедные, обезумевшие девушки не успевали удовлетворять требованиям пьяной, шальной публики, швырявшей деньгами, как щепками. Случалось, что в переполненном народом зале, где было тесно, как на базаре, каждую девушку дожидалось по семи, восьми, иногда даже по десяти человек. Было поистине какое-то сумасшедшее, пьяное, припадочное время!

С него-то и начались все злоключения Ямков, приведшие их к гибели. А вместе с Ямками погиб и знакомый нам дом толстой, старой, бледноглазой Анны Марковны.

II

Пассажирский поезд весело бежал с юга на север, пересекая золотые хлебные поля и прекрасные дубовые рощи, с грохотом проносясь по железным мостам над светлыми речками, оставляя после себя крутящиеся клубы дыма.

В купе второго класса, даже при открытом окне, стояла страшная духота и было жарко. Запах серного дыма першил в горле. Качка и жара совсем утомили пассажиров, кроме одного, веселого, энергичного, подвижного еврея, прекрасно одетого, услужливого, общительного и разговорчивого. Он ехал с молодой женщиной, и сразу было видно, особенно по ней, что они молодожены: так

часто ее лицо вспыхивало неожиданной краской при каждой, самой маленькой нежности мужа. А когда она подымала свои ресницы, чтобы взглянуть на него, то глаза ее сияли, как звезды, и становились влажными. И лицо ее было так прекрасно, как бывают только прекрасны лица у молодых влюбленных еврейских девушек,— все нежно-розовое, с розовыми губами, прелестно-невинно очерченными, и с глазами, такими черными, что на них нельзя было различить зрачка от райка.

Не стесняясь присутствия трех посторонних людей, он поминутно расточал ласки, и, надо сказать, довольно грубые, своей спутнице. С бесцеремонностью обладателя, с тем особенным эгоизмом влюбленного, который как будто бы говорит всему миру: «Посмотрите, как мы счастливы,— ведь это и вас делает счастливыми, не правда ли?» — он то гладил ее по ноге, которая упруго и рельефно выделялась под платьем, то щипал ее за щеку, то щекотал ей шею своими жесткими, черными, завитыми кверху усами... Но хотя он и сверкал от восторга, однако что-то хищное, опасливое, беспокойное мелькало в его часто моргавших глазах, в подергивании верхней губы и в жестком рисунке его бритого, выдвинувшегося вперед квадратного подбородка, с едва заметным угибом посредине.

Против этой влюбленной парочки помещались трое пассажиров: отставной генерал, сухонький, опрятный старичок, нафиксатуаренный, с начесанными наперед височками; толстый помещик, снявший свой крахмальный воротник и все-таки задыхавшийся от жары и поминутно вытиравший мокрое лицо мокрым платком. и молодой пехотный офицер. Бесконечная разговорчивость Семена Яковлевича (молодой человек уже успел уведомить соседей, что его зовут Семен Яковлевич Горизонт) немного утомляла и раздражала пассажиров, точно жужжание мухи, которая в знойный летний день ритмически бьется об оконное стекло закрытой душной комнаты. Но он все-таки умел подымать настроение: показывал фокусы, рассказывал еврейские анекдоты, полные тонкого, своеобразного юмора. Когда его жена уходила на платформу освежиться, он рассказывал такие вещи, от которых генерал расплывался в блаженную улыбку, помещик ржал, колыхая черноземным жи-

вотом, а подпоручик, только год выпущенный из училища, безусый мальчик, едва сдерживая смех и любопытство, отворачивался в сторону, чтобы соседи не видели, что он краснеет.

Жена ухаживала за Горизонтом с трогательным, наивным вниманием: вытирала ему лицо платком, обмахивала его веером, поминутно поправляла ему галстук. И лицо его в эти минуты становилось смешно-надменным и глупо-самодовольным.

— А позвольте узнать, — спросил, вежливо покашливая, сухонький генерал.— Позвольте узнать, почтеннейший, чем вы изволите заниматься?

— Ах, боже мой! — с милой откровенностью возразил Семен Яковлевич. — Ну, чем может заниматься в наше время бедный еврей? Я себе немножко коммивояжер и комиссионер. В настоящее время я далек от дела. Бы, хе! хе! хе! сами понимаете, господа. Медовый месяц, — не красней, Сарочка, — это ведь не по три раза в год повторяется. Но потом мне придется очень много ездить и работать. Вот мы приедем с Сарочкой в город, нанесем визиты ее родственникам, и потом опять в путь. На первый вояж я думаю взять с собой жену. Знаете, вроде свадебного путешествия. Я представитель Сидриса и двух английских фирм. Не угодно ли поглядеть: вот со мной образчики...

Он очень быстро достал из маленького красивого, желтой кожи, чемодана несколько длинных картонных складных книжечек и с ловкостью портного стал разворачивать их, держа за один конец, отчего створки их быстро падали вниз с легким треском.

— Посмотрите, какие прекрасные образцы: совсем не уступают заграничным. Обратите внимание. Вот, например, русское, а вот английское трико или вот кангар и шевиот. Сравните, пощупайте, и вы убедитесь, что русские образцы почти не уступают заграничным. А ведь это говорит о прогрессе, о росте культуры. Так что совсем напрасно Европа считает нас, русских, такими варварами.

Итак, мы нанесем наши семейные визиты, посмотрим ярмарку, побываем себе немножко в Шато-де-Флер, погуляем, пофланируем, а потом на Волгу, вниз

до Царицына, на Черное море, по всем курортам и опять к себе на родину, в Одессу.

— Прекрасное путешествие,— сказал скромно подпоручик.

— Что и говорить, прекрасное, — согласился Семен Яковлевич, — но нет розы без шипов. Дело коммивояжера чрезвычайно трудное и требует многих знаний, и не так знаний дела, как знаний, как бы это сказать... человеческой души. Другой человек и не хочет дать заказа, а ты его должен уговорить, как слона, и до тех пор уговариваешь, покамест он не почувствует ясности и справедливости твоих слов. Потому что я берусь только исключительно за дела совершенно чистые, в которых нет никаких сомнений. Фальшивого или дурного дела я не возьму, хотя бы мне за это предлагали миллионы. Спросите где угодно, в любом магазине, который торгует сукнами или подтяжками Глуар, — я тоже представитель этой фирмы, — или пуговицами Гелиос, — вы спросите только, кто такой Семен Яковлевич Горизонт,— и вам каждый ответит: «Семен Яковлевич, — это не человек, а золото, это человек бескорыстный, человек брильянтовой честности». — И Горизонт уже разворачивал длинные коробки с патентованными подтяжками и показывал блестящие картонные листики, усеянные правильными рядами разноцветных пуговиц.

— Бывают большие неприятности, когда место избито, когда до тебя являлось много вояжеров. Тут ничего не сделаешь: даже тебя совсем не слушают, только махают себе руками. Но это только для других. Я — Горизонт! Я сумею его уговорить, как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Аскании. Но еще неприятнее бывает, когда сойдутся в одном городе два конкурента по одному и тому же делу. Да и еще хуже бывает, когда какой-нибудь шмаровоз и сам не сможет ничего и тебе же дело портит. Тут на всякие хитрости пускаешься: напоишь его пьяным или пустишь куда-нибудь по ложному следу. Нелегкое ремесло! Кроме того, у меня еще есть одно представительство — это вставные глаза и зубы. Но дело невыгодное. Я хочу его бросить. Да и всю эту работу подумываю оставить. Я понимаю, хорошо порхать, как мотылек, человеку молодому, в цвете сил, но раз имеешь жену, а может быть, и целую

семью... — Он игриво похлопал по ноге женщину, отчего та сделалась пунцовой и необыкновенно похорошела.— Ведь нас, евреев, господь одарил за все наши несчастья плодородием... То хочется иметь какое-нибудь собственное дело, хочется, понимаете, усесться на месте, чтобы была и своя хата, и своя мебель, и своя спальня, и кухня. Не так ли, ваше превосходительство?

— Да... да... э-э... Да, конечно, конечно,— снисходительно отозвался генерал.

— И вот я взял себе за Сарочкой небольшое приданое. Что значит небольшое приданое?! Такие деньги, на которые Ротшильд и поглядеть не захочет, в моих руках уже целый капитал. Но надо сказать, что и у меня есть кое-какие сбережения. Знакомые фирмы дадут мне кредит. Если господь даст, мы таки себе будем кушать кусок хлеба с маслицем и по субботам вкусную рыбу-фиш.

— Прекрасная рыба: щука по-жидовски! — сказал задыхающийся помещик.

— Мы откроем себе фирму «Горизонт и сын». Не правда ли, Сарочка, «и сын»? И вы, надеюсь, господа, удостоите меня своими почтенными заказами? Как увидите вывеску «Горизонт и сын», то прямо и вспомните, что вы однажды ехали в вагоне вместе с молодым человеком, который адски оглупел от любви и от счастья.

— Об-бязательно! — сказал помещик.

И Семен Яковлевич сейчас же обратился к нему:

— Но я тоже занимаюсь и комиссионерством. Продать имение, купить имение, устроить вторую закладкую — вы не найдете лучшего специалиста, чем я, и притом самого дешевого. Могу вам служить, если понадобится,— и он протянул с поклоном помещику свою визитную карточку, а кстати уже вручил по карточке и двум его соседям.

Помещик полез в боковой карман и тоже вытащил карточку.

— «Иосиф Иванович Венгженовский», — прочитал вслух Семен Яковлевич. — Очень, очень приятно! Так вот, если я вам понадоблюсь...

— Отчего же? Может быть...— сказал раздумчиво помещик.—Да что: может быть, в самом деле, нас свел

благоприятный случай! Я ведь как раз еду в К. насчет продажи одной лесной дачи. Так, пожалуй, вы того, наведайтесь ко мне. Я всегда останавливаюсь в Гранд-отеле. Может быть, и сладим что-нибудь.

— О! Я уже почти уверен, дражайший Иосиф Иванович, — воскликнул радостный Горизонт и слегка кончиками пальцев потрепал осторожно по коленке Венгженовского.— Уж будьте покойны: если Горизонт за что-нибудь взялся, то вы будете благодарить, как родного отца, ни более ни менее!

Через полчаса Семен Яковлевич и безусый подпоручик стояли на площадке вагона и курили.

— Вы часто, господин поручик, бываете в К.? — спросил Горизонт.

— Представьте себе, только в первый раз. Наш полк стоит в Чернобобе. Сам я родом из Москвы.

— Ай, ай, ай! Как это вы так далеко забрались?

— Да так уж пришлось. Не было другой вакансии при выпуске.

— Да ведь Чернобоб же — это дыра! Самый паскудный городишко во всей Подолии.

— Правда, но уж так пришлось.

— Значит, теперь молодой господин офицер едет в К., чтобы немножко себе развлечься?

— Да. Я думаю там остановиться денька на два, на три. Еду я, собственно, в Москву. Получил двухмесячный отпуск, но интересно было бы по дороге поглядеть город. Говорят, очень красивый.

— Ох! Что вы мне будете говорить? Замечательный город! Ну, совсем европейский город. Если бы вы знали, какие улицы, электричество, трамваи, театры! А если бы вы знали, какие кафешантаны! Вы сами себе пальчики оближете. Непременно, непременно советую вам, молодой человек, сходите в Шато-де-Флер, в Тиволи, а также проезжайте на остров. Это что-нибудь особенное. Какие женщины, ка-ак-кие женщины!

Поручик покраснел, отвел глаза и спросил дрогнувшим голосом:

— Да, мне приходилось слышать. Неужели так красивы?

— Ой! Накажи меня бог! Поверьте мне, там вовсе нет красивых женщин.

— То есть как это?

— А так: там только одни красавицы. Вы понимаете, какое счастливое сочетание кровей: польская, малорусская и еврейская. Как я вам завидую, молодой человек, что вы свободный и одинокий. В свое время я таки показал бы там себя! И замечательнее всего, что необыкновенно страстные женщины. Ну прямо как огонь! И знаете, что еще? — спросил он вдруг многозначительным шепотом.

— Что?! — испуганно спросил подпоручик.

— Замечательно то, что нигде — ни в Париже, ни в Лондоне, — поверьте, это мне рассказывали люди, которые видели весь белый свет, — никогда нигде таких утонченных способов любви, как в этом городе, вы не встретите. Это что-нибудь особенное, как говорят наши еврейчики. Такие выдумывают штуки, которые никакое воображение не может себе представить. С ума можно сойти!

— Да неужели? — тихо проговорил подпоручик, у которого захлестнуло дыхание.

— Да накажи меня бог! А впрочем, позвольте, молодой человек! Вы сами понимаете. Я был холостой, и, конечно, понимаете, всякий человек грешен... Теперь уж, конечно, не то. Записался в инвалиды. Но от прежних дней у меня осталась замечательная коллекция. Подождите, я вам сейчас покажу ее. Только, пожалуйста, смотрите осторожнее.

Горизонт боязливо оглянулся налево и направо и извлек из кармана узенькую длинную сафьяновую коробочку, вроде тех, в которых обыкновенно хранятся игральные карты, и протянул ее подпоручику.

— Вот, поглядите. Только прошу осторожнее.

Подпоручик принялся перебирать одну за другой карточки простой фотографии и цветной, на которых во всевозможных видах изображалась в самых скотских образах, в самых неправдоподобных положениях та внешняя сторона любви, которая иногда делает человека неизмеримо ниже и подлее павиана. Горизонт заглядывал ему через плечо, подталкивал локтем и шептал:

— Скажите, разве это не шик? Это же настоящий парижский и венский шик!

Подпоручик пересмотрел всю коллекцию от начала до конца. Когда он возвращал ящичек обратно, то рука у него дрожала, виски и лоб были влажны, глаза помутнели и по щекам разлился мраморно-пестрый румянец.

— А знаете что? — вдруг воскликнул весело Горизонт. — Мне все равно: я человек закабаленный. Я, как говорили в старину, сжег свои корабли... сжег все, чему поклонялся. Я уже давно искал случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За ценой я не особенно гонюсь. Я возьму только половину того, что они мне самому стоили. Не желаете ли приобрести, господин офицер?

— Что же... Я то есть... Почему же?.. Пожалуй...

— И прекрасно! По случаю такого приятного знакомства я возьму по пятьдесят копеек за штуку. Что, дорого? Ну, нехай, бог с вами! Вижу, вы человек дорожный, не хочу вас грабить: так и быть по тридцать. Что? Тоже не дешево?! Ну, по рукам. Двадцать пять копеек штука! Ой! Какой вы несговорчивый! По двадцать! Потом сами меня будете благодарить! И потом знаете что? Я когда приезжаю в К., то всегда останавливаюсь в гостинице «Эрмитаж». Вы меня там очень просто можете застать или рано утречком, или часов около восьми вечера. У меня есть масса знакомых прехорошеньких дамочек. Так я вас познакомлю. И понимаете, не за деньги. О, нет. Просто им приятно и весело провести время с молодым, здоровым, красивым мужчиной, вроде вас. Денег не надо никаких абсолютно. Да что там! Они сами охотно заплатят за вино, за бутылку шампанского. Так помните же: «Эрмитаж», Горизонт. А если не это, то все равно помните!.. Может быть, я вам буду полезен. А карточки — это такой товар, такой товар, что он никогда у вас не залежится. Любители дают по три рубля за экземпляр. Ну, это, конечно, люди богатые, старички. И потом, вы знаете,— Горизонт нагнулся к самому уху офицера, прищурил один глаз и произнес лукавым шепотом,— знаете, многие дамы обожают эти карточки. Ведь вы человек молодой, красивый: сколько у вас еще будет романов!

Получив деньги и тщательно пересчитав их, Горизонт еще имел нахальство протянуть и пожать руку подпоручику, который не смел на него поднять глаз,

и, оставив его на площадке, как ни в чем не бывало вернулся в коридор вагона.

Это был необыкновенно общительный человек. По дороге к своему купе он остановился около маленькой прелестной трехлетней девочки, с которой давно уже издали заигрывал и строил ей всевозможные смешные гримасы. Он опустился перед ней на корточки, стал ей делать козу и сюсюкающим голосом расспрашивал:

— А сто, куда зе балисня едет? Ой, ой, ой! Такая больсая! Едет одна, без мамы? Сама себе купила билет и едет одна? Ай! Какая нехолосая девочка. А где же у девочки мама?

В это время из купе показалась высокая, красивая, самоуверенная женщина и сказала спокойно:

— Отстаньте от ребенка. Что за гадость привязываться к чужим детям!

Горизонт вскочил на ноги и засуетился:

— Мадам! Я не мог удержаться... Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенок! Настоящий купидон! Поймите, мадам, я сам отец, у меня у самого дети... Я не мог удержаться от восторга!..

Но дама повернулась к нему спиной, взяла девочку за руку и пошла с ней в купе, оставив Горизонта расшаркиваться и бормотать комплименты и извинения.

Несколько раз в продолжение суток Горизонт заходил в третий класс, в два вагона, разделенные друг от друга чуть ли не целым поездом. В одном вагоне сидели три красивые женщины в обществе чернобородого, молчаливого, сумрачного мужчины. С ним Горизонт перекидывался странными фразами на каком-то специальном жаргоне. Женщины глядели на него тревожно, точно желая и не решаясь о чем-то спросить. Раз только, около полудня, одна из них позволила себе робко произнести:

— Так это правда? То, что вы говорили о месте?.. Вы понимаете: у меня как-то сердце тревожится!

— Ах! Что вы, Маргарита Ивановна! Уж раз я сказал, то это верно, как в государственном банке. Послушайте, Лазер, — обратился он к бородатому, — сейчас будет станция. Купите барышням разных бутерб-

дов, каких они пожелают. Поезд стоит двадцать пять минут.

— Я бы хотела бульону, — несмело произнесла маленькая блондинка, с волосами, как спелая рожь, и с глазами, как васильки.

— Милая Бэла, все, что вам угодно! На станции я пойду и распоряжусь, чтобы вам принесли бульону с мясом и даже с пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазер, я все это сам сделаю.

В другом вагоне у него был целый рассадник женщин, человек двенадцать или пятнадцать, под предводительством старой толстой женщины, с огромными, устрашающими, черными бровями. Она говорила басом, а ее жирные подбородки, груди и животы колыхались под широким капотом в такт тряске вагона, точно яблочное желе. Ни старуха, ни молодые женщины не оставляли ни малейшего сомнения относительно своей профессии.

Женщины валялись на скамейках, курили, играли в карты, в шестьдесят шесть, пили пиво. Часто их задирала мужская публика вагона, и они отругивались бесцеремонным языком, сиповатыми голосами. Молодежь угощала их папиросами и вином.

Горизонт был здесь совсем неузнаваем: он был величественно-небрежен и свысока-шутлив. Зато в каждом слове, с которым к нему обращались его клиентки, слышалось подобострастное заискивание. Он же, осмотрев их всех — эту странную смесь румынок, евреек, полек и русских — и удостоверясь, что все в порядке, распоряжался насчет бутербродов и величественно удалялся. В эти минуты он очень был похож на гуртовщика, который везет убойный скот по железной дороге и на станции заходит поглядеть на него и задать корму. После этого он возвращался в свое купе и опять начинал миндальничать с женой, и еврейские анекдоты, точно горох, сыпались из его рта.

При больших остановках он выходил в буфет для того только, чтобы распорядиться о своих клиентках. Сам же он говорил соседям:

— Вы знаете, мне все равно, что трефное, что кошерное. Я не признаю никакой разницы. Но что я могу поделать с моим желудком! На этих станциях черт знает какой гадостью иногда накормят. Заплатишь каких-

нибудь три-четыре рубля, а потом на докторов пролечишь сто рублей. Вот, может быть, ты, Сарочка, — обращался он к жене,— может быть, сойдешь на станцию скушать что-нибудь? Или я тебе пришлю сюда?

Сарочка, счастливая его вниманием, краснела, сияла ему благодарными глазами и отказывалась.

— Ты очень добрый, Сеня, но только мне не хочется. Я сыта.

Тогда Горизонт доставал из дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы и бутылку палестинского вина, не торопясь, с аппетитом закусывал, угощал жену, которая ела очень жеманно, оттопырив мизинчики своих прекрасных белых рук, затем тщательно заворачивал остатки в бумагу и, не торопясь, аккуратно укладывал их в корзинку.

Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколен. Мимо купе прошел кондуктор и сделал Горизонту какой-то неуловимый знак. Тот сейчас же вышел вслед за кондуктором на площадку.

— Сейчас контроль пройдет, — сказал кондуктор,— так уж вы будьте любезны постоять здесь с супругой на площадке третьего класса.

— Ну, ну, ну! — согласился Горизонт.

— А теперь пожалуйте денежки, по уговору.

— Сколько же тебе?

— Да как уговорились: половину приплаты, два рубля восемьдесят копеек.

— Что?! — вскипел вдруг Горизонт. — Два рубля восемьдесят копеек?! Что я, сумасшедший тебе дался? На тебе рубль, и то благодари бога!

— Простите, господин! Это даже совсем несообразно: ведь уговаривались мы с вами?

— Уговаривались, уговаривались!.. На тебе еще полтинник и больше никаких. Что это за нахальство! А я еще заявлю контролеру, что безбилетных возишь. Ты, брат, не думай! Не на такого напал!

Глаза у кондуктора вдруг расширились, налились кровью.

— У! Жидова! — зарычал он. — Взять бы тебя, подлеца, да под поезд!

Но Горизонт тотчас же петухом налетел на него:

— Что?! Под поезд?! А ты знаешь, что за такие слова бывает?! Угроза действием! Вот я сейчас пойду и крикну «караул!» и поверну сигнальную ручку, — и он с таким решительным видом схватился за рукоятку двери, что кондуктор только махнул рукой и плюнул.

— Подавись ты моими деньгами, жид пархатый!

Горизонт вызвал из купе свою жену:

— Сарочка! Пойдем посмотрим на платформу: там виднее. Ну, так красиво,— просто, как на картине!

Сара покорно пошла за ним, поддерживая неловкой рукой новое, должно быть, впервые надетое платье, изгибаясь и точно боясь прикоснуться к двери или к стене.

Вдали, в розовом праздничном тумане вечерней зари, сияли золотые купола и кресты. Высоко на горе белые стройные церкви, казалось, плавали в этом цветистом волшебном мареве. Курчавые леса и кустарники сбежали сверху и надвинулись над самым оврагом. А отвесный белый обрыв, купавший свое подножье в синей реке, весь, точно зелеными жилками и бородавками, был изборожден случайными порослями. Сказочно прекрасный древний город точно сам шел навстречу поезду.

Когда поезд остановился, Горизонт приказал носильщикам отнести вещи в первый класс и велел жене идти за ним следом. А сам задержался в выходных дверях, чтобы пропустить обе свои партии. Старухе, наблюдавшей за дюжиной женщин, он коротко бросил на ходу:

— Так помните, мадам Берман! Гостиница «Америка», Иванюковская, двадцать два!

А чернобородому мужчине он сказал:

— Не забудьте, Лазер, накормить девушек обедом и сведите их куда-нибудь в кинематограф. Часов в одиннадцать вечера ждите меня. Я приеду поговорить. А если кто-нибудь будет вызывать меня экстренно, то вы знаете мой адрес: «Эрмитаж». Позвоните. Если же там меня почему-нибудь не будет, то забегите в кафе к Рейману или напротив, в еврейскую столовую. Я там буду кушать рыбу-фиш. Ну, счастливого пути!

III

Все рассказы Горизонта о его коммивояжерстве были просто наглым и бойким лганьем. Все эти образчики портновских материалов, подтяжки Глуар и пуговицы Гелиос, искусственные зубы и вставные глаза служили только щитом, прикрывавшим его настоящую деятельность, а именно торговлю женским телом. Правда, когда-то, лет десять тому назад, он разъезжал по России представителем сомнительных вин от какой-то неизвестной фирмы, и эта деятельность сообщила его языку ту развязную непринужденность, которой, вообще, отличаются коммивояжеры. Эта же прежняя деятельность натолкнула его на настоящую профессию. Как-то, едучи в Ростов-на-Дону, он сумел влюбить в себя молоденькую швейку. Эта девушка еще не успела попасть в официальные списки полиции, но на любовь и на свое тело глядела без всяких возвышенных предрассудков. Горизонт, тогда еще совсем зеленый юноша, влюбчивый и легкомысленный, потащил швейку за собою в свои скитания, полные приключений и неожиданностей. Спустя полгода она страшно надоела ему. Она, точно тяжелая обуза, точно мельничный жернов, повисла на шее у этого человека энергии, движения и натиска. К тому же вечные сцены ревности, недоверие, постоянный контроль и слезы... неизбежные последствия долговременной совместной жизни... Тогда он стал исподволь поколачивать свою подругу. В первый раз она изумилась, а со второго раза притихла, стала покорной. Известно, что «женщины любви» никогда не знают середины в любовных отношениях. Они или истеричные лгуньи, обманщицы, притворщицы, с холодно-развращенным умом и извилистой темной душой, или же безгранично самоотверженные, слепо преданные, глупые, наивные животные, которые не знают меры ни в уступках, ни в потере личного достоинства. Швейка принадлежала ко второй категории, и скоро Горизонту удалось без большого труда убедить ее выходить на улицу торговать собой. И с того же вечера, когда любовница подчинилась ему и принесла домой первые заработанные пять рублей, Горизонт почувствовал к ней безграничное отвращение. Замечательно, что, сколько Горизонт после этого ни

встречал женщин,— а прошло их через его руки несколько сотен, — это чувство отвращения и мужского презрения к ним никогда не покидало его. Он всячески издевался над бедной женщиной и истязал ее нравственно, выискивая самые больные места. Она только молчала, вздыхала, плакала и, становясь перед ним на колени, целовала его руки. И эта бессловесная покорность еще более раздражала Горизонта. Он гнал ее от себя. Она не уходила. Он выталкивал ее на улицу, а она через час или два возвращалась назад, дрожащая от холода, в измокшей шляпе, в загнутых полях которой, как в желобах, плескалась дождевая вода. Наконец, какой-то темный приятель подал Семену Яковлевичу жесткий и коварный совет, положивший след на всю остальную его жизнедеятельность, — продать любовницу в публичный дом.

По правде сказать, пускаясь в это предприятие, Горизонт в душе почти не верил в его успех. Но, против ожидания, дело скроилось как нельзя лучше. Хозяйка заведения (это было в Харькове) с охотой пошла навстречу его предложению. Она давно и хорошо знала Семена Яковлевича, который забавно играл на рояле, прекрасно танцевал и смешил своими выходками весь зал, а главное, умел с необыкновенной беззастенчивой ловкостью «выставить из монет» любую кутящую компанию. Оставалось только уговорить подругу жизни, и это оказалось самым трудным. Она ни за что не хотела отлипнуть от своего возлюбленного, грозила самоубийством, клялась, что выжжет ему глаза серной кислотой, обещала поехать и пожаловаться полицеймейстеру,— а она действительно знала за Семеном Яковлевичем несколько грязных делишек, пахнувших уголовщиной. Тогда Горизонт переменил тактику. Он сделался вдруг нежным, внимательным другом, неутомимым любовником. Потом внезапно он впал в черную меланхолию. На беспокойные расспросы женщины он только отмалчивался, проговорился сначала как будто случайно, намекнул вскользь на какую-то жизненную ошибку, а потом принялся врать отчаянно и вдохновенно. Он говорил о том, что за ним следит полиция, что ему не миновать тюрьмы, а может быть, даже каторги и виселицы, что ему нужно скрыться на несколько месяцев за границу.

А главное, на что он особенно сильно упирал, было какое-то громадное фантастическое дело, в котором ему предстояло заработать несколько сот тысяч рублей. Швейка поверила и затревожилась той бескорыстной, женской, почти святой тревогой, в которой у каждой женщины так много чего-то материнского. Теперь очень нетрудно было убедить ее в том, что ехать с ней вместе Горизонту представляет большую опасность для него и что лучше ей остаться здесь и переждать время, пока дела у любовника не сложатся благоприятно. После этого уговорить ее скрыться, как в самом надежном убежище, в публичном доме, где она могла жить в полной безопасности от полиции и сыщиков, было пустым делом. Однажды утром Горизонт велел одеться ей получше, завить волосы, попудриться, положить немного румян на щеки и повез ее в притон, к своей знакомой. Девушка там произвела благоприятное впечатление, и в тот же день ее паспорт был сменен в полиции на так называемый желтый билет. Расставшись с нею после долгих объятий и слез, Горизонт зашел в комнату хозяйки и получил плату — пятьдесят рублей (хотя он запрашивал двести). Но он и не особенно сокрушался о малой цене; главное было то, что он нашел, наконец, сам себя, свое призвание и положил краеугольный камень своему будущему благополучию.

Конечно, проданная им женщина так и осталась навсегда в цепких руках публичного дома. Горизонт настолько основательно забыл ее, что уже через год не мог даже вспомнить ее лица. Но почем знать... может быть, сам перед собою притворялся?

Теперь он был одним из самых главных спекулянтов женским телом на всем юге России. Он имел дела с Константинополем и с Аргентиной, он переправлял целыми партиями девушек из публичных домов Одессы в Киев, киевских перевозил в Харьков, а харьковских — в Одессу. Он же рассовывал по разным второстепенным губернским городам и по уездным, которые побогаче, товар, забракованный или слишком примелькавшийся в больших городах. У него завязалась громаднейшая клиентура, и в числе своих потребителей Горизонт мог бы насчитать немало людей с выдающимся общественным положением: вице-губернаторы, жандармские полковни-

ки, видные адвокаты, известные доктора, богатые помещики, кутящие купцы. Весь темный мир хозяек публичных домов, кокоток-одиночек, своден, содержательниц домов свиданий, сутенеров, выходных актрис и хористок — был ему знаком, как астроному звездное небо. Его изумительная память, которая позволяла ему благоразумно избегать записных книжек, держала в уме тысячи имен, фамилий, прозвищ, адресов, характеристик. Он в совершенстве знал вкусы всех своих высокопоставленных потребителей: одни из них любили необыкновенно причудливый разврат, другие платили бешеные деньги за невинных девушек, третьим надо было выискивать малолетних. Ему приходилось удовлетворять и садические и мазохические наклонности своих клиентов, а иногда обслуживать и совсем противоестественные половые извращения, хотя, надо сказать, что за последнее он брался только в редких случаях, суливших большую несомненную прибыль. Раза два-три ему приходилось отсиживать в тюрьме, но эти высидки шли ему впрок: он не только не терял хищнического нахрапа и упругой энергии в делах, но с каждым годом становился смелее, изобретательнее и предприимчивее. С годами к его наглой стремительности присоединилась огромная житейская деловая мудрость.

Раз пятнадцать за это время он успел жениться и всегда изловчался брать порядочное приданое. Завладев деньгами жены, он в один прекрасный день вдруг исчезал бесследно, а если бывала возможность, то выгодно продавал жену в тайный дом разврата или в шикарное публичное заведение. Случалось, что его разыскивали через полицию родители обманутой жертвы. Но в то время, когда повсюду наводили справки о нем, как о Шперлинге, он уже разъезжал из города в город под фамилией Розенблюма. Во время своей деятельности, вопреки своей завидной памяти, он переменил столько фамилий, что не только позабыл, в каком году он был Натанаэльзоном, а в каком Бакаляром, но даже его собственная фамилия ему начинала казаться одним из псевдонимов.

Замечательно, что он не находил в своей профессии ничего преступного или предосудительного. Он относился к ней так же, как если бы торговал селедками,

известкой, мукой, говядиной или лесом. По-своему он был набожен. Если позволяло время, с усердием посещал по пятницам синагогу. Судный день, пасха и кущи неизменно и благоговейно справлялись им всюду, куда бы ни забрасывала его судьба. В Одессе у него оставались старушка-мать и горбатая сестра, и он неуклонно высылал им то большие, то маленькие суммы денег, не регулярно, но довольно часто, почти из всех городов: от Курска до Одессы и от Варшавы до Самары. У него уже скопились порядочные денежные сбережения в Лионском Кредите, и он постепенно увеличивал их, никогда не затрагивая процентов. Но жадности или скупости почти совсем был чужд. Его скорее влекли к себе в деле острота, риск и профессиональное самолюбие. К женщинам он был совершенно равнодушен, хотя понимал их и умел ценить, и был в этом отношении похож на хорошего повара, который при тонком понимании дела страдает хроническим отсутствием аппетита. Чтобы уговорить, прельстить женщину, заставить ее сделать все, что он хочет, ему не требовалось никаких усилий: они сами шли на его зов и становились в его руках беспрекословными, послушными и податливыми. В его обращении с ними выработался какой-то твердый, непоколебимый, самоуверенный апломб, которому они так же подчинялись, как инстинктивно подчиняется строптивая лошадь голосу, взгляду и поглаживанию опытного наездника.

Он пил очень умеренно, а без компании совсем не пил. К еде был совершенно равнодушен. Но, конечно, как у всякого человека, у него была своя маленькая слабость: он страшно любил одеваться и тратил на свой туалет немалые деньги. Модные воротнички всевозможных фасонов, галстуки, брильянтовые запонки, брелоки, щегольское нижнее белье и шикарная обувь составляли его главнейшие увлечения.

С вокзала он прямо поехал в «Эрмитаж». Гостиничные носильщики, в синих блузах и форменных шапках, внесли его вещи в вестибюль. Вслед за ними вошел и он под руку со своей женой, оба нарядные, представительные, а он-таки прямо великолепный, в своем широком,

в виде колокола, английском пальто, в новой широкополой панаме, держа небрежно в руке тросточку с серебряным набалдашником в виде голой женщины.

— Не полагается без права жительства, — сказал, глядя на него сверху вниз, огромный, толстый швейцар, храня на лице сонное и неподвижно-холодное выражение.

— Ах, Захар! Опять «не полагается»! — весело воскликнул Горизонт и потрепал гиганта по плечу. — Что такое «не полагается»? Каждый раз вы мне тычете этим самым своим «не полагается». Мне всего только на три дня. Только заключу арендный договор с графом Ипатьевым и сейчас же уеду. Бог с вами! Живите себе хоть один во всех номерах. Но вы только поглядите, Захар, какую я вам привез игрушку из Одессы! Вы-таки будете довольны!

Он осторожным, ловким, привычным движением всунул золотой в руку швейцара, который уже держал ее за спиной приготовленной и сложенной в виде лодочки.

Первое, что сделал Горизонт, водворившись в большом, просторном номере с альковом, это выставил в коридор за двери номера шесть пар великолепных ботинок, сказав прибежавшему на звонок коридорному:

— Немедленно все вычистить! Чтобы блестело, как зеркало! Тебя Тимофей, кажется? Так ты меня должен знать: за мной труд никогда не пропадет. Чтобы блестело, как зеркало!

IV

Горизонт жил в гостинице «Эрмитаж» не более трех суток, и за это время он успел повидаться с тремястами людей. Приезд его как будто оживил большой веселый портовый город. К нему приходили содержательницы контор для найма прислуги, номерные хозяйки и старые, опытные, поседелые в торговле женщинами, сводни. Не так из-за корысти, как из-за профессиональной гордости Горизонт старался во что бы то ни стало выторговать как можно больше процентов, купить женщину как можно дешевле. Конечно, у него не было расчета в том, чтобы получить десятью — пятнадцатью рублями

больше, но одна мысль о том, что конкурент Ямпольский получит при продаже более, чем он, приводила его в бешенство.

После приезда, на другой день, он отправился к фотографу Мезеру, захватив с собою соломенную девушку Белу, и снялся с ней в разных позах, причем за каждый негатив получил по три рубля, а женщине дал по рублю. Снимков было двадцать. После этого он поехал к Барсуковой.

Это́ была женщина, вернее сказать, отставная девка, которые водятся только на юге России, не то полька, не то малороссиянка, уже достаточно старая и богатая для того, чтобы позволить себе роскошь содержать мужа (а вместе с ним и кафешантан), красивого и ласкового полячка. Горизонт и Барсукова встретились, как старые знакомые. Кажется, у них не было ни страха, ни стыда, ни совести, когда они разговаривали друг с другом.

— Мадам Барсукова! Я вам могу предложить что-нибудь особенного! Три женщины: одна большая, брюнетка, очень скромная, другая маленькая, блондинка, но которая, вы понимаете, готова на все, третья — загадочная женщина, которая только улыбается и ничего не говорит, но много обещает и — красавица.

Мадам Барсукова глядела на него и недоверчиво покачивала головой.

— Господин Горизонт! Что вы мне голову дурачите? Вы хотите то же самое со мной сделать, что в прошлый раз?

— Дай бог мне так жить, как я хочу вас обманывать! Но главное не в этом. Я вам еще предлагаю совершенно интеллигентную женщину. Делайте с ней, что хотите. Вероятно, у вас найдется любитель.

Барсукова тонко улыбнулась и спросила:

— Опять жена?

— Нет. Но дворянка.

— Значит, опять неприятности с полицией?

— Ах! Боже мой! Я с вас не беру больших денег: за всех четырех какая-нибудь паршивая тысяча рублей.

— Ну, будем говорить откровенно: пятьсот. Не хочу покупать кота в мешке.

— Кажется, мадам Барсукова, мы с вами не в пер-

вый раз имеем дело. Обманывать я вас не буду и сейчас же ее привезу сюда. Только прошу вас не забыть, что вы моя тетка, и в этом направлении, пожалуйста, работайте. Я не пробуду здесь, в городе, более чем три дня.

Мадам Барсукова со всеми своими грудями, животами и подбородками весело заколыхалась.

— Не будем торговаться из-за мелочей. Тем более что ни вы меня, ни я вас не обманываем. Теперь большой спрос на женщин. Что вы сказали бы, господин Горизонт, если бы я предложила вам красного вина?

— Благодарю вас, мадам Барсукова, с удовольствием.

— Поговоримте как старые друзья. Скажите, сколько вы зарабатываете в год?

— Ах, мадам, как сказать? Тысяч двенадцать, двадцать приблизительно. Но, подумайте, какие громадные расходы постоянно в поездках.

— Вы откладываете немножко?

— Ну, это пустяки: какие-нибудь две-три тысячи в год.

— Я думала, десять, двадцать...

Горизонт насторожился. Он чувствовал, что его начинают ощупывать, и спросил вкрадчиво:

— А почему это вас интересует?

Анна Михайловна нажала кнопку электрического звонка и приказала нарядной горничной дать кофе с топлеными сливками и бутылку шамбертена. Она знала вкусы Горизонта. Потом она спросила:

— Вы знаете господина Шепшеровича?

Горизонт так и вскрикнул:

— Боже мой! Кто же не знает Шепшеровича! Это— бог, это — гений!

И, оживившись, забыв, что его тянут в ловушку, он восторженно заговорил:

— Представьте себе, что в прошлом году сделал Шепшерович! Он отвез в Аргентину тридцать женщин из Ковно, Вильно, Житомира. Каждую из них он продал по тысяче рублей, итого, мадам, считайте,— тридцать тысяч! Вы думаете, на этом Шепшерович успокоился? На эти деньги, чтобы оплатить себе расходы по пароходу, он купил несколько негритянок и рассовал их

в Москву, Петербург, Киев, Одессу и в Харьков. Но вы знаете, мадам, это не человек, а орел. Вот кто умеет делать дела!

Барсукова ласково положила ему руку на колено. Она ждала этого момента и сказала дружелюбно:

— Так вот я вам и предлагаю, господин... впрочем, я не знаю, как вас теперь зовут...

— Скажем, Горизонт...

— Вот я вам и предлагаю, господин Горизонт, — не найдется ли у вас невинных девушек? Теперь на них громадный спрос. Я с вами играю в открытую. За деньгами мы не постоим. Теперь это в моде. Заметьте, Горизонт, вам возвратят ваших клиенток совершенно в том же виде, в каком они были. Это, вы понимаете, — маленький разврат, в котором я никак не могу разобраться...

Горизонт потупился, потер голову и сказал:

— Видите ли, у меня есть жена... Вы почти угадали.

— Так. Но почему же почти?

— Мне стыдно сознаться, что она, как бы сказать... она мне невеста...

Барсукова весело расхохоталась.

— Вы знаете, Горизонт, я никак не могла ожидать, что вы такой мерзавец! Давайте вашу жену, все равно. Да неужели вы в самом деле удержались?

— Тысячу? — спросил Горизонт серьезно.

— Ах! Что за пустяки: скажем, тысячу. Но скажите, удастся ли мне с ней справиться?

— Пустяки! — сказал самоуверенно Горизонт. — Предположим, опять вы — моя тетка, и я оставляю у вас жену. Представьте себе, мадам Барсукова, что эта женщина в меня влюблена, как кошка. И если вы скажете ей, что для моего благополучия она должна сделать то-то и то-то, — то никаких разговоров!

Кажется, им больше не о чем было разговаривать. Мадам Барсукова вынесла вексельную бумагу, где она с трудом написала свое имя, отчество и фамилию. Вексель, конечно, был фантастический, но есть связь, спайка, каторжная совесть. В таких делах не обманывают. Иначе грозит смерть. Все равно: в остроге, на улице или в публичном доме.

Затем тотчас же, точно привидение из люка, появился ее сердечный друг, молодой полячок, с высоко закрученными усами, хозяин кафешантана. Выпили вина, поговорили о ярмарке, о выставке, немножко пожаловались на плохие дела. Затем Горизонт телефонировал к себе в гостиницу, вызвал жену. Познакомил ее с теткой и с двоюродным братом тетки и сказал, что таинственные политические дела вызывают его из города. Нежно обнял Сару, прослезился и уехал.

V

С приездом Горизонта (впрочем, бог знает, как его звали: Гоголевич, Гидалевич, Окунев, Розмитальский), словом, с приездом этого человека все переменилось на Ямской улице. Пошли громадные перетасовки. От Треппеля переводили девушек к Анне Марковне, от Анны Марковны — в рублевое заведение и из рублевого — в полтинничное. Повышений не было: только понижения. На каждом перемещении Горизонт зарабатывал от пяти до ста рублей. Поистине, у него была энергия, равная приблизительно водопаду Иматре! Сидя днем у Анны Марковны, он говорил, щурясь от дыма папиросы и раскачивая ногу на ноге:

— Спрашивается... для чего вам эта самая Сонька? Ей не место в порядочном заведении. Ежели мы ее сплавим, то вы себе заработаете сто рублей, я себе двадцать пять. Скажите мне откровенно, она ведь не в спросе?

— Ах, господин Шацкий! Вы всегда сумеете уговорить! Но представьте себе, что я ее жалею. Такая деликатная девушка...

Горизонт на минуту задумался. Он искал подходящей цитаты и вдруг выпалил:

— Падающего толкни! И я уверен, мадам Шайбес, что на нее нет никакого спроса.

Исай Саввич, маленький, болезненный, мнительный старичок, но в нужные минуты очень решительный, поддержал Горизонта:

— И очень просто. На нее действительно нет никакого спроса. Представь себе, Анечка, что ее барахло стоит пятьдесят рублей, двадцать пять рублей получит гос-

подин Шацкий, пятьдесят рублей нам с тобой останется. И слава богу, мы с ней развязались! По крайней мере она не будет компрометировать нашего заведения.

Таким-то образом Сонька Руль, минуя рублевое заведение, была переведена в полтинничное, где всякий сброд целыми ночами, как хотел, издевался над девушками. Там требовалось громадное здоровье и большая нервная сила. Сонька однажды задрожала от ужаса ночью, когда Фекла, бабища пудов около шести весу, выскочила на двор за естественной надобностью и крикнула проходившей мимо нее экономке:

— Экономочка! Послушайте: тридцать шестой человек!.. Не забудьте.

К счастью, Соньку беспокоили немного: даже и в этом учреждении она была слишком некрасива. Никто не обращал внимания на ее прелестные глаза, и брали ее только в тех случаях, когда под рукой не было никакой другой. Фармацевт разыскал ее и приходил каждый вечер к ней. Но трусость ли, или специальная еврейская щепетильность, или, может быть, даже физическая брезгливость не позволяла ему взять и увести эту девушку из дома. Он просиживал около нее целые ночи и по-прежнему терпеливо ждал, когда она возвратится от случайного гостя, делал ей сцены ревности и все-таки любил и, торча днем в своей аптеке за прилавком и закатывая какие-нибудь вонючие пилюли, неустанно думал о ней и тосковал.

VI

Сейчас же при входе в загородный кафешантан сияла разноцветными огнями искусственная клумба, с электрическими лампочками вместо цветов, и от нее шла в глубь сада такая же огненная аллея из широких полукруглых арок, сужавшихся к концу. Дальше была широкая, усыпанная желтым песком площадка: налево — открытая сцена, театр и тир, прямо — эстрада для военных музыкантов (в виде раковины) и балаганчики с цветами и пивом, направо — длинная терраса ресторана. Площадку ярко, бледно и мертвенно освещали электрические шары со своих высоких мачт. Об их матовые стекла, обтянутые проволочными сетками, бились

тучи ночных бабочек, тени которых — смутные и большие — реяли внизу, на земле. Взад и вперед ходили попарно уже усталою, волочащеюся походкой голодные женщины, слишком легко, нарядно и вычурно одетые, сохраняя на лицах выражение беспечного веселья или надменной, обиженной неприступности.

В ресторане были заняты все столы, — и над ними плыл сплошной стук ножей о тарелки и пестрый, скачущий волнами говор. Пахло сытным и едким кухонным чадом. Посредине ресторана, на эстраде, играли румыны в красных фраках, все смуглые, белозубые, с лицами усатых, напомаженных и прилизанных обезьян. Дирижер оркестра, наклоняясь вперед и манерно раскачиваясь, играл на скрипке и делал публике непристойно-сладкие глаза — глаза мужчины-проститутки. И все вместе — это обилие назойливых электрических огней, преувеличенно яркие туалеты дам, запахи модных пряных духов, эта звенящая музыка, с произвольными замедлениями темпа, со сладострастными замираниями в переходах, с взвинчиванием в бурных местах, — все шло одно к одному, образуя общую картину безумной и глупой роскоши, обстановку подделки веселого непристойного кутежа.

Наверху, кругом всей залы, шли открытые хоры, на которые, как на балкончики, выходили двери отдельных кабинетов. В одном из таких кабинетов сидело четверо — две дамы и двое мужчин: известная всей России артистка — певица Ровинская, большая красивая женщина с длинными, зелеными, египетскими глазами и длинным, красным, чувственным ртом, на котором углы губ хищно опускались книзу; баронесса Тефтинг, маленькая, изящная, бледная,— ее повсюду видели вместе с артисткой; знаменитый адвокат Рязанов и Володя Чаплинский, богатый светский молодой человек, композитор-дилетант, автор нескольких маленьких романсов и многих злободневных острот, ходивших по городу.

Стены в кабинете были красные с золотым узором. На столе, между зажженными канделябрами, торчали из мельхиоровой вазы, отпотевшей от холода, два белых осмоленных горлышка бутылок, и свет жидким, дрожащим золотом играл в плоских бокалах с вином.

Снаружи у дверей дежурил, прислонясь к стене, лакей, а толстый, рослый, важный метрдотель, у которого на всегда оттопыренном мизинце правой руки сверкал огромный брильянт, часто останавливался у этих дверей и внимательно прислушивался одним ухом к тому, что делалось в кабинете.

Баронесса со скучающим бледным лицом лениво глядела сквозь лорнет вниз, на гудящую, жующую, копошащуюся толпу. Среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин походили на больших, коренастых черных жуков. Ровинская небрежно, но в то же время и пристально глядела вниз, на эстраду и на зрителей, и лицо ее выражало усталость, скуку, а может быть, и то пресыщение всеми зрелищами, какие так свойственны знаменитостям. Ее прекрасные длинные, худые пальцы левой руки лежали на малиновом бархате ложи. Редкостной красоты изумруды так небрежно держались на них, что, казалось, вот-вот свалятся, и вдруг она рассмеялась.

— Посмотрите, — сказала она, — какая смешная фигура, или, вернее сказать, какая смешная профессия. Вот, вот на этого, который играет на «семиствольной цевнице».

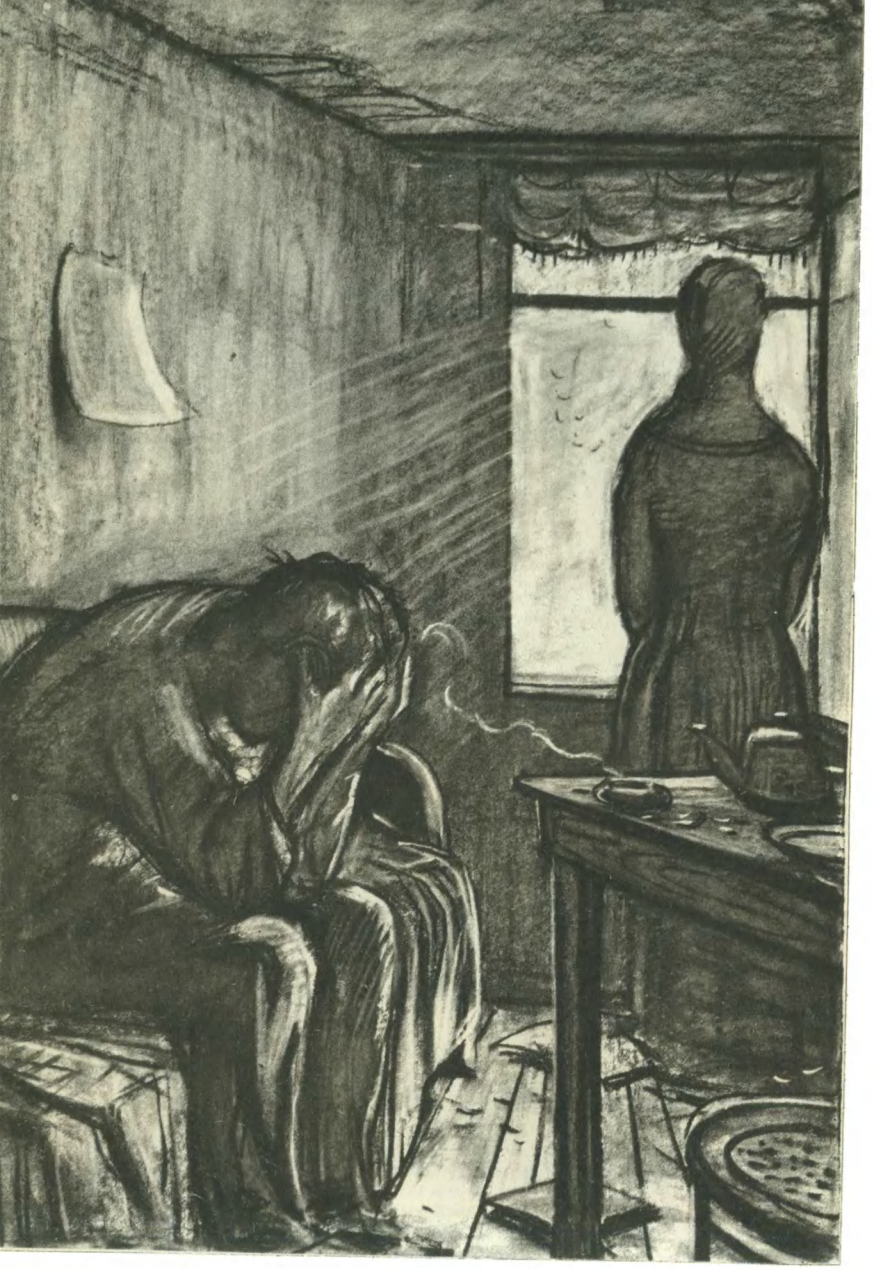
Все поглядели по направлению ее руки. И в самом деле, картина была довольно смешная. Сзади румынского оркестра сидел толстый, усатый человек, вероятно, отец, а может быть, даже и дедушка многочисленного семейства, и изо всех сил свистел в семь деревянных свистулек, склеенных вместе. Так как ему было, вероятно, трудно передвигать этот инструмент между губами, то он с необыкновенной быстротой поворачивал голову то влево, то вправо.

— Удивительное занятие, — сказала Ровинская. — А ну-ка вы, Чаплинский, попробуйте так помотать головой.

Володя Чаплинский, тайно и безнадежно влюбленный в артистку, сейчас же послушно и усердно постарался это сделать, но через полминуты отказался.

— Это невозможно, — сказал он, — тут нужна или долгая тренировка, или, может быть, наследственные способности. Голова кружится.

«ЯМА»



«ЯМА»

Баронесса в это время отрывала лепестки у своей розы и бросала их в бокал, потом, с трудом подавив зевоту, она сказала, чуть-чуть поморщившись:

— Но, боже мой, как скучно развлекаются у вас в К.! Посмотрите: ни смеха, ни пения, ни танцев. Точно какое-то стадо, которое пригнали, чтобы нарочно веселиться!

Рязанов лениво взял свой бокал, отхлебнул немного и ответил равнодушно своим очаровательным голосом:

— Ну, а у вас, в Париже или Ницце, разве веселее? Ведь надо сознаться: веселье, молодость и смех навсегда исчезли из человеческой жизни, да и вряд ли когда-нибудь вернутся. Мне кажется, что нужно относиться к людям терпеливее. Почем знать, может быть, для всех, сидящих тут, внизу, сегодняшний вечер — отдых, праздник?

— Защитительная речь,— вставил со своей спокойной манерой Чаплинский.

Но Ровинская быстро обернулась к мужчинам, и ее длинные изумрудные глаза сузились. А это у нее служило признаком гнева, от которого иногда делали глупости и коронованные особы. Впрочем, она тотчас же сдержалась и продолжала вяло:

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю даже, для чего мы сюда приехали. Ведь зрелищ теперь совсем нет на свете. Вот я, например, видала бои быков в Севилье, Мадриде и Марсели — представление, которое, кроме отвращения, ничего не вызывает. Видала и бокс и борьбу — гадость и грубость. Пришлось мне также участвовать на охоте на тигра, причем я сидела под балдахином на спине большого умного белого слона... словом, вы это хорошо сами знаете. И от всей моей большой, пестрой, шумной жизни, от которой я состарилась...

— О, что вы, Елена Викторовна!— сказал с ласковым упреком Чаплинский.

— Бросьте, Володя, комплименты! Я сама знаю, что еще молода и прекрасна телом, но, право, иногда мне кажется, что мне девяносто лет. Так износилась душа. Я продолжаю. Я говорю, что за всю мою жизнь только три сильных впечатления врезались в мою душу. Пер-

вое — это когда я еще девочкой видела, как кошка кралась за воробьем, и я с ужасом и с интересом следила за ее движениями и за зорким взглядом птицы. До сих пор я и сама не знаю, чему я сочувствовала более: ловкости ли кошки, или увертливости воробья. Воробей оказался проворнее. Он мгновенно взлетел на дерево и начал оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснела бы от стыда, если бы поняла хоть одно слово. А кошка обиженно подняла хвост трубою и старалась сама перед собою делать вид, что ничего особенного не произошло. В другой раз мне пришлось петь в опере дуэт с одним великим артистом...

— С кем? — спросила быстро баронесса.

— Не все ли равно? К чему имена? И вот, когда мы с ним пели, я вся чувствовала себя во власти гения. Как чудесно, в какую дивную гармонию слились наши голоса! Ах! Невозможно передать этого впечатления. Вероятно, это бывает только раз в жизни. Мне по роли нужно было плакать, и я плакала искренними, настоящими слезами. И когда после занавеса он подошел ко мне и погладил меня своей большой горячей рукой по волосам и со своей обворожительно-светлой улыбкой сказал: «Прекрасно! Первый раз в жизни я так пел»... и вот я,— а я очень гордый человек,— я поцеловала у него руку. А у меня еще стояли слезы в глазах...

— А третье? — спросила баронесса, и глаза ее зажглись злыми искрами ревности.

— Ах, третье, — ответила грустно артистка, — третье проще простого. В прошлогоднем сезоне я жила в Ницце и вот видела на открытой сцене, во Фрежюссе, «Кармен» с участием Сесиль Кеттен, которая теперь,— артистка искренно перекрестилась, — умерла... не знаю, право, к счастью или к несчастью для себя?

Вдруг, мгновенно, ее прелестные глаза наполнились слезами и засияли таким волшебным зеленым светом, каким сияет летними теплыми сумерками вечерняя звезда. Она обернула лицо к сцене, и некоторое время ее длинные нервные пальцы судорожно сжимали обивку барьера ложи. Но когда она опять обернулась к своим друзьям, то глаза уже были сухи и на загадочных,

порочных и властных губах блестела непринужденная улыбка.

Тогда Рязанов спросил ее вежливо, нежным, но умышленно спокойным тоном:

— Но ведь, Елена Викторовна, ваша громадная слава, поклонники, рев толпы, цветы, роскошь... Наконец тот восторг, который вы доставляете своим зрителям. Неужели даже это не щекочет ваших нервов?

— Нет, Рязанов,— ответила она усталым голосом,— вы сами не хуже меня знаете, чего это стоит. Наглый интервьюер, которому нужны контрамарки для его знакомых, а кстати, и двадцать пять рублей в конверте. Гимназисты, гимназистки, студенты и курсистки, которые выпрашивают у вас карточки с надписями. Какой-нибудь старый болван в генеральском чине, который громко мне подпевает во время моей арии. Вечный шепот сзади тебя, когда ты проходишь: «Вот она, та самая, знаменитая!» Анонимные письма, наглость закулисных завсегдатаев... да всего и не перечислишь! Ведь, наверное, вас самого часто осаждают судебные психопатки?

— Да,— сказал твердо Рязанов.

— Вот и все. А прибавьте к этому самое ужасное, то, что каждый раз, почувствовав настоящее вдохновение, я тут же мучительно ощущаю сознание, что я притворяюсь и кривляюсь перед людьми... А боязнь успеха соперницы? А вечный страх потерять голос, сорвать его или простудиться? Вечная мучительная возня с горловыми связками? Нет, право, тяжело нести на своих плечах известность.

— Но артистическая слава? — возразил адвокат.— Власть гения! Это ведь истинная моральная власть, которая выше любой королевской власти на свете!

— Да, да, конечно, вы правы, мой дорогой. Но слава, знаменитость сладки лишь издали, когда о них только мечтаешь. Но когда их достиг—то чувствуешь одни их шипы. И зато как мучительно ощущаешь каждый золотник их убыли. И еще я забыла сказать. Ведь мы, артисты, несем каторжный труд. Утром упражнения, днем репетиция, а там едва хватит времени на обед и пора на спектакль. Чудом урвешь часок, чтобы почитать или развлечься, вот как мы с вами. Да и то... развлечение совсем из средних...

Она небрежно и утомленно слегка махнула пальцами руки, лежавшей на барьере.

Володя Чаплинский, взволнованный этим разговором, вдруг спросил:

— Ну, а скажите, Елена Викторовна, чего бы вы хотели, что бы развлекло ваше воображение и скуку?

Она посмотрела на него своими загадочными глазами и тихо, как будто даже немножко застенчиво, ответила:

— В прежнее время люди жили веселее и не знали никаких предрассудков. Вот тогда, мне кажется, я была бы на месте и жила бы полной жизнью. О, древний Рим!

Никто ее не понял, кроме Рязанова, который, не глядя на нее, медленно произнес своим бархатным актерским голосом классическую, всем известную латинскую фразу:

— Ave, Caesar, morituri te salutant! [1].

— Именно! Я вас очень люблю, Рязанов, за то, что вы умница. Вы всегда схватите мысль на лету, хотя должна сказать, что это не особенно высокое свойство ума. И в самом деле, сходятся два человека, вчерашние друзья, собеседники, застольники, и сегодня один из них должен погибнуть. Понимаете, уйти из жизни навсегда. Но у них нет ни злобы, ни страха. Вот настоящее прекрасное зрелище, которое я только могу себе представить!

— Сколько в тебе жестокости,— сказала раздумчиво баронесса.

— Да, уж ничего не поделаешь! Мои предки были всадниками и грабителями. Однако, господа, не уехать ли нам?

Они все вышли из сада. Володя Чаплинский велел крикнуть свой автомобиль. Елена Викторовна опиралась на его руку. И вдруг она спросила:

— Скажите, Володя, куда вы обыкновенно ездите, когда прощаетесь с так называемыми порядочными женщинами?

Володя замялся. Однако он знал твердо, что лгать Ровинской нельзя.

---

[1] Да здравствует Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! *(лат.)*.

— М-м-м... Я боюсь оскорбить ваш слух. М-м-м... К цыганам, например... в ночные кабаре...

— А еще что-нибудь? похуже?

— Право, вы ставите меня в неловкое положение. С тех пор как я в вас так безумно влюблен...

— Оставьте романтику!

— Ну, как сказать...— пролепетал Володя, почувствовав, что он краснеет, не только лицом, но телом, спиной,— ну, конечно, к женщинам. Теперь со мною лично этого, конечно, не бывает...

Ровинская злобно прижала к себе локоть Чаплинского.

— В публичный дом?

Володя ничего не ответил. Тогда она сказала:

— Итак, вот сейчас вы нас туда свезете на автомобиле и познакомите нас с этим бытом, который для меня чужд. Но помните, что я полагаюсь на ваше покровительство.

Остальные двое согласились на это, вероятно, неохотно, но Елене Викторовне сопротивляться не было никакой возможности. Она всегда делала все, что хотела. И потом все они слышали и знали, что в Петербурге светские кутящие дамы и даже девушки позволяют себе из модного снобизма выходки куда похуже той, какую предложила Ровинская.

VII

По дороге на Ямскую улицу Ровинская сказала Володе:

— Вы меня повезете сначала в самое роскошное учреждение, потом в среднее, а потом в самое грязное.

— Дорогая Елена Викторовна,— горячо возразил Чаплинский,— я для вас готов все сделать. Говорю без ложного хвастовства, что отдам свою жизнь по вашему приказанию, разрушу свою карьеру и положение по вашему одному знаку. Но я не рискую вас везти в эти дома. Русские нравы — грубые, а то и просто бесчеловечные нравы. Я боюсь, что вас оскорбят резким, непристойным словом или случайный посетитель сделает при вас какую-нибудь нелепую выходку...

— Ах, боже мой,— нетерпеливо прервала Ровинская,—когда я пела в Лондоне, то в это время за мной многие ухаживали, и я не постеснялась в избранной компании поехать смотреть самые грязные притоны Уайтчепля. Скажу, что ко мне там относились очень бережно и предупредительно. Скажу также, что со мной были в это время двое английских аристократов, лорды, оба спортсмены, оба люди необыкновенно сильные физически и морально, которые, конечно, никогда не позволили бы обидеть женщину. Впрочем, может быть, вы, Володя, из породы трусов?..

Чаплинский вспыхнул:

— О, нет, нет, Елена Викторовна. Я вас предупреждал только из любви к вам. Но если вы прикажете, то я готов идти, куда хотите. Не только в это сомнительное предприятие, но хоть и на самую смерть.

В это время они уже подъехали к самому роскошному заведению на Ямках — к Треппелю. Адвокат Рязанов сказал, улыбаясь своей обычной иронической улыбкой:

— Итак, начинается обозрение зверинца.

Их провели в кабинет с малиновыми обоями, а на обоях повторялся, в стиле «ампир», золотой рисунок в виде мелких лавровых венков. И сразу Ровинская узнала своей зоркой артистической памятью, что совершенно такие же обои были и в том кабинете, где они все четверо только что сидели.

Вышли четыре остзейские немки. Все толстые, полногрудые блондинки, напудренные, очень важные и почтительные. Разговор сначала не завязывался. Девушки сидели неподвижно, точно каменные изваяния, чтобы изо всех сил притвориться приличными дамами. Даже шампанское, которое потребовал Рязанов, не улучшило настроения. Ровинская первая пришла на помощь обществу, обратившись к самой толстой, самой белокурой, похожей на булку, немке. Она спросила вежливо по-немецки:

— Скажите,— откуда вы родом? Вероятно, из Германии?

— Нет, gnädige Frau[1], я из Риги.

— Что же вас заставляет здесь служить? Надеюсь,— не нужда?

---

[1] Сударыня *(нем.)*.

— Конечно, нет, gnädige Frau. Но, понимаете, мой жених Ганс служит кельнером в ресторане-автомате, и мы слишком бедны для того, чтобы теперь жениться. Я отношу мои сбережения в банк, и он делает то же самое. Когда мы накопим необходимые нам десять тысяч рублей, то мы откроем свою собственную пивную, и, если бог благословит, тогда мы позволим себе роскошь иметь детей. Двоих детей. Мальчика и девочку.

— Но послушайте же, meine Fräulein[1],— удивилась Ровинская.— Вы молоды, красивы, знаете два языка...

— Три, мадам,— гордо вставила немка.— Я знаю еще и эстонский. Я окончила городское училище и три класса гимназии.

— Ну вот, видите, видите...—загорячилась Ровинская.— С таким образованием вы всегда могли бы найти место на всем готовом рублей на тридцать. Ну, скажем, в качестве экономки, бонны, старшей приказчицы в хорошем магазине, кассирши... И если ваш будущий жених... Фриц...

— Ганс, мадам...

— Если Ганс оказался бы трудолюбивым и бережливым человеком, то вам совсем нетрудно было бы через три-четыре года стать совершенно на ноги. Как вы думаете?

— Ах, мадам, вы немного ошибаетесь. Вы упустили из виду то, что на самом лучшем месте я, даже отказывая себе во всем, не сумею отложить в месяц более пятнадцати — двадцати рублей, а здесь, при благоразумной экономии, я выгадываю до ста рублей и сейчас же отношу их в сберегательную кассу на книжку. А кроме того, вообразите себе, gnädige Frau, какое унизительное положение быть в доме прислугой! Всегда зависеть от каприза или расположения духа хозяев! И хозяин всегда пристает с глупостями. Пфуй!.. А хозяйка ревнует, придирается и бранится.

— Нет... не понимаю...— задумчиво протянула Ровинская, не глядя немке в лицо, а потупив глаза в пол.— Я много слышала о вашей жизни здесь, в этих... как это называется?.. в домах. Рассказывают что-то ужасное. Что вас принуждают любить самых отвратительных, старых

[1] Девушка *(нем.)*.

и уродливых мужчин, что вас обирают и эксплуатируют самым жестоким образом.

— О, никогда, мадам... У нас, у каждой, есть своя расчетная книжка, где вписывается аккуратно мой доход и расход. За прошлый месяц я заработала немного больше пятисот рублей. Как всегда, хозяйке две трети за стол, квартиру, отопление, освещение, белье... Мне остается больше чем сто пятьдесят, не так ли? Пятьдесят я трачу на костюмы и на всякие мелочи. Сто сберегаю... Какая же это эксплуатация, мадам, я вас спрашиваю? А если мужчина мне совсем не нравится,— правда, бывают чересчур уж гадкие,— я всегда могу сказаться больной, и вместо меня пойдет какая-нибудь из новеньких...

— Но ведь... простите, я не знаю вашего имени...

— Эльза.

— Говорят, Эльза, что с вами обращаются очень грубо... иногда бьют... принуждают к тому, чего вы не хотите и что вам противно?

— Никогда, мадам! — высокомерно уронила Эльза.— Мы все здесь живем своей дружной семьей. Все мы землячки или родственницы, и дай бог, чтобы многим так жилось в родных фамилиях, как нам здесь. Правда, на Ямской улице бывают разные скандалы, и драки, и недоразумения. Но это там... в этих... в рублевых заведениях. Русские девушки много пьют и всегда имеют одного любовника. И они совсем не думают о своем будущем.

— Вы благоразумны, Эльза, — сказала тяжелым тоном Ровинская. — Все это хорошо. Ну, а случайная болезнь? Зараза? Ведь это смерть! А как угадать?

— И опять — нет, мадам. Я не пущу к себе в кровать мужчину, прежде чем не сделаю ему подробный медицинский осмотр... Я гарантирована по крайней мере на семьдесят пять процентов.

— Черт! — вдруг горячо воскликнула Ровинская и стукнула кулаком по столу.— Но ведь ваш Альберт...

— Ганс... — кротко поправила немка.

— Простите... Ваш Ганс, наверное, не очень радуется тому, что вы живете здесь и что вы каждый день изменяете ему?

Эльза поглядела на нее с искренним, живым изумлением.

— Но, gnädige Frau... Я никогда и не изменяла ему! Это другие погибшие девчонки, особенно русские, имеют себе любовников, на которых они тратят свои тяжелые деньги. Но чтобы я когда-нибудь допустила себя до этого? Пфуй!

— Большего падения я не воображала! — сказала брезгливо и громко Ровинская, вставая. — Заплатите, господа, и пойдем отсюда дальше.

Когда они вышли на улицу, Володя взял ее под руку и сказал умоляющим голосом:

— Ради бога, не довольно ли вам одного опыта?

— О, какая пошлость! Какая пошлость!

— Вот я поэтому и говорю, бросим этот опыт.

— Нет, во всяком случае, я иду до конца. Покажите мне что-нибудь среднее, попроще.

Володя Чаплинский, который все время мучился за Елену Викторовну, предложил самое подходящее — зайти в заведение Анны Марковны, до которого всего десять шагов.

Но тут-то их и ждали сильные впечатления. Сначала Симеон не хотел их впускать, и лишь несколько рублей, которые дал ему Рязанов, смягчили его. Они заняли кабинет, почти такой же, как у Треппеля, только немножко более ободранный и полинялый. По приказанию Эммы Эдуардовны согнали в кабинет девиц. Но это было то же самое, что смешать соду и кислоту. А главной ошибкой было то, что пустили туда и Женьку — злую, раздраженную, с дерзкими огнями в глазах. Последней вошла скромная, тихая Тамара со своей застенчивой и развратной улыбкой Монны-Лизы. В кабинете собрался в конце концов почти весь состав заведения. Ровинская уже не рисковала спрашивать, — «как дошла ты до жизни такой?» Но надо сказать, что обитательницы дома встретили ее с внешним гостеприимством. Елена Викторовна попросила спеть их обычные канонные песни, и они охотно спели:

Понедельник наступает,
Мне на выписку идти,
Доктор Красов не пускает,—
Ну, так черт его дери.

И дальше:

Бедная, бедная, бедная я —
Казенка закрыта,
Болит голова...

Любовь шармача
Горяча, горяча,
А проститутка,
Как лед, холодна...
Ха-ха-ха.

Сошлися они
На подбор, на подбор:
Она — проститутка,
Он — карманный вор...
Ха-ха-ха!

Вот утро приходит,
Он о краже хлопочет,
Она же на кровати
Лежит и хохочет...
Ха-ха-ха!

Наутро мальчишку
В сыскную ведут,
Ее ж, проститутку,
Товарищи ждут...
Ха-ха-ха!

И еще дальше арестантскую:

Погиб я, мальчишка,
Погиб навсегда,
А годы за годами —
Проходят лета.

И еще:

Не плачь ты, Маруся,
Будешь ты моя,
Как отбуду призыв,
Женюсь на тебя.

Но тут вдруг, к общему удивлению, расхохоталась толстая, обычно молчаливая Катька. Она была родом из Одессы.

— Позвольте и мне спеть одну песню. Ее поют у нас на Молдаванке и на Пересыпи воры и хипесницы в трактирах.

И ужасным басом, заржавленным и неподатливым голосом она запела, делая самые нелепые жесты, но, очевидно, подражая когда-то виденной ею шансонетной певице третьего разбора:

Ах, пойдю я к «дюковку»,
Сядю я за стол,
Сбрасиваю шляпу,
Кидаю под стол.
Спрасиваю милую,
Что ты будишь пить?
А она мне отвечать:
Голова болить.
Я тебе не спрасюю,
Что в тебе болить,
А я тебе спрасюю,
Что ты будешь пить?
Или же пиво, или же вино,
Или же фиалку, или ничего?

И все обошлось бы хорошо, если бы вдруг не ворвалась в кабинет Манька Беленькая в одной нижней рубашке и в белых кружевных штанишках. С нею кутил какой-то купец, который накануне устраивал райскую ночь, и злосчастный бенедиктин, который на девушку всегда действовал с быстротою динамита, привел ее в обычное скандальное состояние. Она уже не была больше «Манька Маленькая» и не «Манька Беленькая», а была «Манька-Скандалистка». Вбежав в кабинет, она сразу от неожиданности упала на пол и, лежа на спине, расхохоталась так искренно, что и все остальные расхохотались. Да. Но смех этот был недолог... Манька вдруг уселась на полу и закричала:

— Ура, к нам новые девки поступили!

Это было совсем уже неожиданностью. Еще большую бестактность сделала баронесса. Она сказала:

— Я — патронесса монастыря для падших девушек, и поэтому я, по долгу моей службы, должна собирать сведения о вас.

Но тут мгновенно вспыхнула Женька:

— Сейчас же убирайся отсюда, старая дура! Ветошка! Половая тряпка!.. Ваши приюты Магдалины — это хуже, чем тюрьма. Ваши секретари пользуются нами, как собаки падалью. Ваши отцы, мужья и братья приходят к нам, и мы заражаем их всякими болезнями...

Нарочно!.. А они в свою очередь заражают вас. Ваши надзирательницы живут с кучерами, дворниками и городовыми, а нас сажают в карцер за то, что мы рассмеемся или пошутим между собою. И вот, если вы приехали сюда, как в театр, так вы должны выслушать правду прямо в лицо.

Но Тамара спокойно остановила ее:

— Перестань, Женя, я сама... Неужели вы и вправду думаете, баронесса, что мы хуже так называемых порядочных женщин? Ко мне приходит человек, платит мне два рубля за визит или пять рублей за ночь, и я этого ничуть не скрываю ни от кого в мире... А скажите, баронесса, неужели вы знаете хоть одну семейную, замужнюю даму, которая не отдавалась бы тайком либо ради страсти — молодому, либо ради денег— старику? Мне прекрасно известно, что пятьдесят процентов из вас состоят на содержании у любовников, а пятьдесят остальных, из тех, которые постарше, содержат молодых мальчишек. Мне известно также, что многие — ах как многие! — из вас живут со своими отцами, братьями и даже сыновьями, но вы эти секреты прячете в какой-то потайной сундучок. И вот вся разница между нами. Мы — падшие, но мы не лжем и не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжете. Подумайте теперь сами — в чью пользу эта разница?

— Браво, Тамарочка, так их! — закричала Манька, не вставая с полу, растрепанная, белокурая, курчавая, похожая сейчас на тринадцатилетнюю девочку.

— Ну, ну! — подтолкнула и Женька, горя воспламененными глазами.

— Отчего же, Женечка! Я пойду и дальше. Из нас едва-едва одна на тысячу делала себе аборт. А вы все по нескольку раз. Что? Или это неправда? И те из вас, которые это делали, делали не ради отчаяния или жестокой бедности, а вы просто боитесь испортить себе фигуру и красоту — этот ваш единственный капитал. Или вы искали лишь скотской похоти, а беременность и кормление мешали вам ей предаваться!

Ровинская сконфузилась и быстрым шепотом произнесла:

— Faites attention, baronne, que dans sa position cette demoiselle est instruite.

— Figurez-vous, que moi, j'ai aussi remarqué cet étrange visage. Comme si je l'ai déjà vu... est-ce en rêve?.. en demi-delire? ou dans sa petite enfance?

— Ne vous donnez pas la peine de chercher dans vos souvenires, baronne,— вдруг дерзко вмешалась в их разговор Тамара.— Je puis de suite vous venir en aide. Rappelez-vous seulement Kharkoffe, et la chambre d'hotel de Koniakine, l'entrepreneur Solovieitschik, et le ténor di grazzia... A ce moment vous n'étiez pas encore m-me la baronne de [1]... Впрочем, бросим французский язык... Вы были простой хористкой и служили со мной вместе.

— Mais dites moi, au nom de dieu, comment vous trouvez vous ici, mademoiselle Marguerite? [2].

— О, об этом нас ежедневно расспрашивают. Просто взяла и очутилась...

И с непередаваемым цинизмом она спросила:

— Надеюсь, вы оплатите время, которое мы провели с вами?

— Нет, черт вас побрал бы! — вдруг вскрикнула, быстро поднявшись с ковра, Манька Беленькая.

И вдруг, вытащив из-за чулка два золотых, швырнула их на стол.

— Нате!.. Это я вам даю на извозчика. Уезжайте сейчас же, иначе я разобью здесь все зеркала и бутылки...

Ровинская встала и сказала с искренними теплыми слезами на глазах:

— Конечно, мы уедем, и урок mademoiselle Marguerite пойдет нам в пользу. Время ваше будет оплачено — позаботьтесь, Володя. Однако вы так много пели для нас, что позвольте и мне спеть для вас.

---

[1] — Обратите внимание, баронесса, в ее положении эта девушка довольно образованна.

— Представьте, я тоже заметила это странное лицо. Но где я его видела... Во сне?.. В бреду? В раннем детстве?

— Не трудитесь напрягать вашу память, баронесса... Я сейчас приду вам на помощь. Вспомните только Харьков, гостиницу Конякина, антрепренера Соловейчика и одного лирического тенора... В то время вы еще не были баронессой де... *(Перев. с франц. автора.)*

[2] Но скажите, ради бога, как вы очутились здесь, мадемуазель Маргарита? *(Перев. с франц. автора.)*

Ровинская подошла к пианино, взяла несколько аккордов и вдруг запела прелестный романс Даргомыжского:

Расстались гордо мы, ни вздохом, ни словами
Упрека ревности тебе не подала...
Мы разошлись навек, но если бы с тобою
Я встретиться могла!..
Ах, если б я хоть встретиться могла!

Без слез, без жалоб я склонилась пред судьбою...
Не знаю, сделав мне так много в жизни зла,
Любил ли ты меня? но если бы с тобою
Я встретиться могла!
Ах, если б я хоть встретиться могла!

Этот нежный и страстный романс, исполненный великой артисткой, вдруг напомнил всем этим женщинам о первой любви, о первом падении, о позднем прощании на весенней заре, на утреннем холодке, когда трава седа от росы, а красное небо красит в розовый цвет верхушки берез, о последних объятиях, так тесно сплетенных, и о том, как не ошибающееся чуткое сердце скорбно шепчет: «Нет, это не повторится, не повторится!» И губы тогда были холодны и сухи, а на волосах лежал утренний влажный туман.

Замолчала Тамара, замолчала Манька-Скандалистка, и вдруг Женька, самая неукротимая из всех девушек, подбежала к артистке, упала на колени и зарыдала у нее в ногах.

И Ровинская, сама растроганная, обняла ее за голову и сказала:

— Сестра моя, дай я тебя поцелую!

Женька прошептала ей что-то на ухо.

— Да это глупости,— сказала Ровинская,— несколько месяцев лечения, и все пройдет.

— Нет, нет, нет... Я хочу всех их сделать больными. Пускай они все сгниют и подохнут.

— Ах, милая моя,— сказала Ровинская,— я бы на вашем месте этого не сделала.

И вот Женька, эта гордая Женька, стала целовать колени и руки артистки и говорила:

— Зачем же меня люди так обидели?.. Зачем меня так обидели? Зачем? Зачем? Зачем?

Такова власть гения! Единственная власть, которая берет в свои прекрасные руки не подлый разум, а тел-

лую душу человека! Самолюбивая Женька прятала свое лицо в платье Ровинской, Манька Беленькая скромно сидела на стуле, закрыв лицо платком, Тамара, опершись локтем о колено и склонив голову на ладонь, сосредоточенно глядела вниз, а швейцар Симеон, подглядывавший на всякий случай у дверей, таращил глаза от изумления.

Ровинская тихо шептала в самое ухо Женьки:

— Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается так плохо, хоть вешайся, а — глядь — завтра жизнь круто переменилась. Милая моя, сестра моя, я теперь мировая знаменитость. Но если бы ты знала, сквозь какие моря унижений и подлости мне пришлось пройти! Будь же здорова, дорогая моя, и верь своей звезде.

Она нагнулась к Женьке и поцеловала ее в лоб. И никогда потом Володя Чаплинский, с жутким напряжением следивший за этой сценой, не мог забыть тех теплых и прекрасных лучей, которые в этот момент зажглись в зеленых, длинных, египетских глазах артистки.

Компания невесело уехала, но на минуту задержался Рязанов.

Он подошел к Тамаре, почтительно и нежно поцеловал ее руку и сказал:

— Если возможно, простите нашу выходку... Это, конечно, не повторится. Но если я когда-нибудь вам понадоблюсь, то помните, что я всегда к вашим услугам. Вот моя визитная карточка. Не выставляйте ее на своих комодах, но помните, что с этого вечера я — ваш друг.

И он, еще раз поцеловав руку у Тамары, последним спустился с лестницы.

VIII

В четверг, с самого утра, пошел беспрерывный дождик, и вот сразу позеленели обмытые листья каштанов, акаций и тополей. И вдруг стало как-то мечтательно-тихо и медлительно-скучно. Задумчиво и однообразно.

В это время все девушки собрались, по обыкновению, в комнате у Женьки. Но с ней делалось что-то странное. Она не острила, не смеялась, не читала, как всегда, своего обычного бульварного романа, который теперь бесцельно лежал у нее на груди или на животе, но была зла, сосредоточенно-печальна, и в ее глазах

горел желтый огонь, говоривший о ненависти. Напрасно Манька Беленькая, Манька-Скандалистка, которая ее обожала, старалась обратить на себя ее внимание — Женька точно ее не замечала, и разговор совсем не ладился. Было тоскливо. А может быть, на всех на них влиял упорный августовский дождик, зарядивший подряд на несколько недель.

Тамара присела на кровать к Женьке, ласково обняла ее и, приблизив рот к самому ее уху, сказала шепотом:

— Что с тобою, Женечка? Я давно вижу, что с тобою делается что-то странное. И Манька это тоже чувствует. Посмотри, как она извелась без твоей ласки. Скажи. Может быть, я сумею чем-нибудь тебе помочь?

Женька закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Тамара немного отодвинулась от нее, но продолжала ласково гладить ее по плечу.

— Твое дело, Женечка. Я не смею лезть к тебе в душу. Я только потому спросила, что ты — единственный человек, который...

Женька вдруг решительно вскочила с кровати, схватила за руку Тамару и сказала отрывисто и повелительно:

— Хорошо! Выйдем отсюда на минутку. Я тебе все расскажу. Девочки, подождите нас немного.

В светлом коридоре Женька положила руки на плечи подруги и с исказившимся, внезапно побледневшим лицом сказала:

— Ну, так вот, слушай: меня кто-то заразил сифилисом.

— Ах, милая, бедная моя. Давно?

— Давно. Помнишь, когда у нас были студенты? Еще они затеяли скандал с Платоновым? Тогда я в первый раз узнала об этом. Узнала днем.

— Знаешь,— тихо заметила Тамара,— я об этом почти догадывалась, а в особенности тогда, когда ты встала на колени перед певицей и о чем-то говорила с ней тихо. Но все-таки, милая Женечка, ведь надо бы полечиться.

Женька гневно топнула ногой и разорвала пополам батистовый платок, который она нервно комкала в руках.

— Нет! Ни за что! Из вас я никого не заражу. Ты сама могла заметить, что в последние недели я не обе-

даю за общим столом и что сама мою и перетираю посуду. Потому же я стараюсь отвадить от себя Маньку, которую, ты сама знаешь, я люблю искренно, по-настоящему. Но этих двуногих подлецов я нарочно заражаю и заражаю каждый вечер человек по десяти, по пятнадцати. Пускай они гниют, пускай переносят сифилис на своих жен, любовниц, матерей, да, да, и на матерей, и на отцов, и на гувернанток, и даже хоть на прабабушек. Пускай они пропадут все, честные подлецы!

Тамара осторожно и нежно погладила Женьку по голове.

— Неужели ты пойдешь до конца, Женечка?..

— Да. И без всякой пощады. Вам, однако, нечего опасаться меня. Я сама выбираю мужчин. Самых глупых, самых красивых, самых богатых и самых важных, но ни к одной из вас я потом их не пущу. О! Я разыгрываю перед ними такие страсти, что ты бы расхохоталась, если бы увидела. Я кусаю их, царапаю, кричу и дрожу, как сумасшедшая. Они, дурачье, верят.

— Твое дело, твое дело, Женечка,— раздумчиво произнесла Тамара, глядя вниз,—может быть, ты и права. Почем знать? Но скажи, как ты уклонилась от доктора?

Женька вдруг отвернулась от нее, прижалась лицом к углу оконной рамы и внезапно расплакалась едкими, жгучими слезами — слезами озлобления и мести, и в то же время она говорила, задыхаясь и вздрагивая:

— Потому что... потому что... Потому что бог мне послал особенное счастье: у меня болит там, где, пожалуй, никакому доктору не видать. А наш, кроме того, стар и глуп...

И внезапно каким-то необыкновенным усилием воли Женька так же неожиданно, как расплакалась, так и остановила слезы.

— Пойдем ко мне, Тамарочка,— сказала она.— Конечно, ты не будешь болтать лишнее?

— Конечно, нет.

И они вернулись в комнату Женьки, обе спокойные и сдержанные.

В комнату вошел Симеон. Он, вопреки своей природной наглости, всегда относился с оттенком уважения к Женьке. Симеон сказал:

— Так что, Женечка, к Ванде приехали их превосходительство. Позвольте им уйти на десять минут.

Ванда, голубоглазая, светлая блондинка, с большим красным ртом, с типичным лицом литвинки, поглядела умоляюще на Женьку. Если бы Женька сказала: «Нет», то она осталась бы в комнате, но Женька ничего не сказала и даже умышленно закрыла глаза. Ванда покорно вышла из комнаты.

Этот генерал приезжал аккуратно два раза в месяц, через две недели (так же, как и к другой девушке, Зое, приезжал ежедневно другой почетный гость, прозванный в доме директором).

Женька вдруг бросила через себя старую, затрепанную книжку. Ее коричневые глаза вспыхнули настоящим золотым огнем.

— Напрасно вы брезгуете этим генералом,— сказала она.— Я знавала хуже эфиопов. У меня был один гость — настоящий болван. Он меня не мог любить иначе... иначе... ну, скажем просто, он меня колол иголками в грудь... А в Вильно ко мне ходил ксендз. Он одевал меня во все белое, заставлял пудриться, укладывал в постель. Зажигал около меня три свечки. И тогда, когда я казалась ему совсем мертвой, он кидался на меня.

Манька Беленькая вдруг воскликнула:

— Ты правду говоришь, Женька! У меня тоже был один ёлод. Он меня все время заставлял притворяться невинной, чтобы я плакала и кричала. А вот ты, Женечка, самая умная из нас, а все-таки не угадаешь, кто он был...

— Смотритель тюрьмы?

— Бранд-майор.

Вдруг басом расхохоталась Катя:

— А то у меня был один учитель. Он какую-то арифметику учил, я не помню, какую. Он меня все время заставлял думать, что будто бы я мужчина, а он женщина, и чтобы я его насильно... И какой дурак! Представьте себе, девушки, он все время кричал: «Я твоя! Я вся твоя! Возьми меня! Возьми меня!»

— Шамашечкины! — сказала решительным и неожиданно низким контральто голубоглазая проворная Верка,— шамашечкины.

— Нет, отчего же? — вдруг возразила ласковая и скромная Тамара.— Вовсе не сумасшедший, а просто, как и все мужчины, развратник. Дома ему скучно, а здесь за свои деньги он может получить какое хочет удовольствие. Кажется, ясно?

До сих пор молчавшая Женя вдруг одним быстрым движением села на кровать.

— Все вы дуры! — крикнула она.— Отчего вы им все это прощаете? Раньше я и сама была глупа, а теперь заставляю их ходить передо мной на четвереньках, заставляю целовать мои пятки, и они это делают с наслаждением... Вы все, девочки, знаете, что я не люблю денег, но я обираю мужчин, как только могу. Они, мерзавцы, дарят мне портреты своих жен, невест, матерей, дочерей... Впрочем, вы, кажется, видали фотографии в нашем клозете? Но ведь подумайте, дети мои... Женщина любит один раз, но навсегда, а мужчина, точно борзой кобель... Это ничего, что он изменяет, но у него никогда не остается даже простого чувства благодарности ни к старой, ни к новой любовнице. Говорят, я слышала, что теперь среди молодежи есть много чистых мальчиков. Я этому верю, хотя сама не видела, не встречала. А всех, кого видела, все потаскуны, мерзавцы и подлецы. Не так давно я читала какой-то роман из нашей разнесчастной жизни. Это было почти то же самое, что я сейчас говорю.

Вернулась Ванда. Она медленно, осторожно уселась на край Жениной постели, там, где падала тень от лампового колпака. Из той глубокой, хотя и уродливой душевной деликатности, которая свойственна людям, приговоренным к смерти, каторжникам и проституткам, никто не осмелился ее спросить, как она провела эти полтора часа. Вдруг она бросила на стол двадцать пять рублей и сказала:

— Принесите мне белого вина и арбуз.

И, уткнувшись лицом в опустившиеся на стол руки, она беззвучно зарыдала. И опять никто не позволил себе задать ей какой-нибудь вопрос. Только Женька побледнела от злобы и так прикусила себе нижнюю губу, что на ней потом остался ряд белых пятен.

— Да,— сказала она,— вот теперь я понимаю Тамару. Ты слышишь, Тамара, я перед тобой извиняюсь. Я часто смеялась над тем, что ты влюблена в своего вора Сеньку. А вот я теперь скажу, что из всех мужчин самый порядочный — это вор или убийца. Он не скрывает того, что любит девчонку, и, если нужно, сделает для нее преступление — воровство или убийство. А эти, остальные! Все вранье, ложь, маленькая хитрость, разврат исподтишка. У мерзавца три семьи, жена и пятеро детей. Гувернантка и два ребенка за границей. Старшая дочь от первого жениного брака, и от нее ребенок. И это все, все в городе знают, кроме его маленьких детей. Да и те, может быть, догадываются и перешептываются. И, представьте себе, он — почтенное лицо, уважаемое всем миром... Дети мои, кажется, у нас никогда не было случая, чтобы мы пускались друг с другом в откровенности, а вот я вам скажу, что меня, когда мне было десять с половиной лет, моя собственная мать продала в городе Житомире доктору Тарабукину. Я целовала его руки, умоляла пощадить меня, я кричала ему: «Я маленькая!» А он мне отвечал: «Ничего, ничего: подрастешь». Ну, конечно, боль, отвращенье, мерзость... А он потом это пустил, как ходячий анекдот. Отчаянный крик моей души.

— Ну, говорить, так говорить до конца,— спокойно сказала вдруг Зоя и улыбнулась небрежно и печально.— Меня лишил невинности учитель министерской школы Иван Петрович Сус. Просто позвал меня к себе на квартиру, а жена его в это время пошла на базар за поросенком,— было рождество. Угостил меня конфетами, а потом сказал, что одно из двух: либо я должна его во всем слушаться, либо он сейчас же меня выгонит из школы за дурное поведение. А ведь вы сами знаете, девочки, как мы боимся учителей. Здесь они нам не страшны, потому что мы с ними что хотим, то и делаем, а тогда! Тогда ведь он нам казался более чем царь и бог.

— А меня студент. Учил у нас барчуков. Там, где я служила...

— Нет, а я...— воскликнула Нюра, но, внезапно обернувшись назад, к двери, так и осталась с открытым ртом. Поглядев по направлению ее взгляда, Женька всплеснула руками. В дверях стояла Любка, иску-

давшая, с черными кругами под глазами и, точно сомнамбула, отыскивала рукою дверную ручку, как точку опоры.

— Любка, дура, что с тобой?! — закричала громко Женька.— Что?!

— Ну, конечно, что: он взял и выгнал меня.

Никто не сказал ни слова. Женька закрыла глаза руками и часто задышала, и видно было, как под кожей ее щек быстро ходят напряженные мускулы скул.

— Женечка, на тебя только вся и надежда,— сказала с глубоким выражением тоскливой беспомощности Любка.— Тебя так все уважают. Поговори, душенька, с Анной Марковной или с Симеоном... Пускай меня примут обратно.

Женька выпрямилась на постели, вперилась в Любку сухими, горящими, но как будто плачущими глазами и спросила отрывисто:

— Ты ела что-нибудь сегодня?

— Нет. Ни вчера, ни сегодня. Ничего.

— Послушай, Женечка,— тихо спросила Ванда,— а что, если я дам ей белого вина? А Верка покамест сбегает на кухню за мясом. А?

— Делай, как знаешь. Конечно, это хорошо. Да поглядите, девчонки, ведь она вся мокрая. Ах, какая дурища! Ну! Живо! Раздевайся! Манька Беленькая или ты, Тамарочка, дайте ей сухие панталоны, теплые чулки и туфли. Ну, теперь,— обратилась она к Любке,— рассказывай, идиотка, все, что с тобой случилось!

IX

В то раннее утро, когда Лихонин так внезапно и, может быть, неожиданно даже для самого себя увез Любку из веселого заведения Анны Марковны, был перелом лета. Деревья еще стояли зелеными, но в запахе воздуха, листьев и травы уже слегка чувствовался, точно издали, нежный, меланхолический и в то же время очаровательный запах приближающейся осени. С удивлением глядел студент на деревья, такие чистые, невинные и тихие, как будто бы бог, незаметно для людей, рассадил их здесь ночью, и деревья сами с удивлением оглядываются вокруг на спокойную голубую воду,

как будто еще дремлющую в лужах и канавах и под деревянным мостом, перекинутым через мелкую речку, оглядываются на высокое, точно вновь обмытое небо, которое только что проснулось и в заре, спросонок, улыбается розовой, ленивой, счастливой улыбкой навстречу разгоравшемуся солнцу.

Сердце студента ширилось и трепетало: и от красоты этого блаженного утра, и от радости существования, и от сладостного воздуха, освежавшего его легкие после ночи, проведенной без сна в тесном и накуренном помещении. Но еще более умиляла его красота и возвышенность собственного поступка.

«Да, он поступил, как человек, как настоящий человек, в самом высоком смысле этого слова! Вот и теперь он не раскаивается в том, что сделал. Хорошо им (кому это «им», Лихонин и сам не понимал как следует), хорошо им говорить об ужасах проституции, говорить, сидя за чаем с булками и колбасой, в присутствии чистых и развитых девушек. А сделал ли кто-нибудь из коллег какой-нибудь действительный шаг к освобождению женщины от гибели? Ну-ка? А то есть еще и такие, что придет к этой самой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей турусы на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез, и сейчас же сам расплачется и начнет утешать, обнимать, по голове погладит, поцелует сначала в щеку, потом в губы, ну, и известно что! Тьфу! А вот у него, у Лихонина, слово с делом никогда не расходится».

Он обнял Любку за стан и поглядел на нее ласковыми, почти влюбленными глазами, хотя сам подумал сейчас же, что смотрит на нее, как отец или брат.

Любку страшно морил сон, слипались глаза, и она с усилием таращила их, чтобы не заснуть, а на губах лежала та же наивная, детская, усталая улыбка, которую Лихонин заметил еще и там, в кабинете. И из одного угла ее рта слегка тянулась слюна.

— Люба, дорогая моя! Милая, многострадальная женщина! Посмотри, как хорошо кругом! Господи! Вот уже пять лет, как я не видал как следует восхода солнца. То карточная игра, то пьянство, то в университет надо спешить. Посмотри, душенька, вон там заря расцвела. Солнце близко! Это — твоя заря, Любочка! Это

начинается твоя новая жизнь. Ты смело обопрешься на мою сильную руку. Я выведу тебя на дорогу честного труда, на путь смелой, лицом к лицу, борьбы с жизнью!

Любка искоса взглянула на него. «Ишь, хмель-то еще играет,— ласково подумала она.— А ничего,— добрый и хороший. Только немножко некрасивый». И, улыбнувшись полусонной улыбкой, она сказала тоном капризного упрека:

— Да-а! Обма-анете небось? Все вы мужчины такие. Вам бы сперва своего добиться, получить свое удовольствие, а потом нуль внимания!

— Я?! О! Чтобы я?! — воскликнул горячо Лихонин и даже свободной рукой ударил себя в грудь. — Плохо же ты меня знаешь! Я слишком честный человек, чтобы обманывать беззащитную девушку. Нет! Я положу все свои силы и всю свою душу, чтобы образовать твой ум, расширить твой кругозор, заставить твое бедное, исстрадавшееся сердце забыть все раны и обиды, которые нанесла ему жизнь! Я буду тебе отцом и братом! Я оберегу каждый твой шаг! А если ты полюбишь когонибудь истинно чистой, святой любовью, то я благословлю тот день и час, когда вырвал тебя из этого дантова ада!

В продолжение этой пылкой тирады старый извозчик многозначительно, хотя и молча, рассмеялся, и от этого беззвучного смеха тряслась его спина. Старые извозчики очень многое слышат, потому что извозчику, сидящему спереди, все прекрасно слышно, чего вовсе не подозревают разговаривающие седоки, и многое старые извозчики знают из того, что происходит между людьми. Почем знать, может быть, он слышал не раз и более беспорядочные, более возвышенные речи?

Любке почему-то показалось, что Лихонин на нее рассердился или заранее ревнует ее к воображаемому сопернику. Уж слишком он громко и возбужденно декламировал. Она совсем проснулась, повернула к Лихонину свое лицо, с широко раскрытыми, недоумевающими и в то же время покорными глазами, и слегка прикоснулась пальцами к его правой руке, лежавшей на ее талии.

— Не сердитесь, мой миленький. Я никогда не сменю вас на другого. Вот вам, ей-богу, честное слово! Че-

стное слово, что никогда! Разве я не чувствую, что вы меня хочите обеспечить? Вы думаете, разве я не понимаю? Вы же такой симпатичный, хорошенький, молоденький! Вот если бы вы были старик и некрасивый...

— Ах! Ты не про то! — закричал Лихонин и опять высоким слогом начал говорить ей о равноправии женщин, о святости труда, о человеческой справедливости, о свободе, о борьбе против царящего зла.

Из всех его слов Любка не поняла ровно ни одного. Она все-таки чувствовала себя в чем-то виноватой, и вся как-то съежилась, запечалилась, опустила вниз голову и замолчала. Еще немного, и она, пожалуй, расплакалась бы среди улицы, но, к счастью, они в это время подъехали к дому, где квартировал Лихонин.

— Ну, вот мы и дома,— сказал студент.— Стой, извозчик!

А когда расплатился, то не удержался, чтобы не произнести патетически, с рукой, театрально протянутой вперед, прямо перед собой:

И в дом мой смело и спокойно
Хозяйкой полною войди!

И опять непонятная пророческая улыбка съежила старческое коричневое лицо извозчика.

X

Комната, в которой жил Лихонин, помещалась в пятом с половиной этаже. С половиной потому, что есть такие пяти-шести- и семиэтажные доходные дома, битком набитые и дешевые, сверху которых возводятся еще жалкие клоповники из кровельного железа, нечто вроде мансард, или, вернее, скворечников, в которых страшно холодно зимой, а летом жарко, точно на тропиках. Любка с трудом карабкалась наверх. Ей казалось, что вот-вот, еще два шага, и она свалится прямо на ступени лестницы и беспробудно заснет. А Лихонин между тем говорил:

— Дорогая моя! Я вижу, вы устали. Но ничего. Обопритесь на меня. Мы идем все вверх! Все выше и выше! Не это ли символ всех человеческих стремлений? Подруга моя, сестра моя, обопрись на мою руку!

Тут бедной Любке стало еще хуже. Она и так еле-

еле поднималась одна, а ей пришлось еще тащить на буксире Лихонина, который чересчур отяжелел. И это бы еще ничего, что он был грузен, но ее понемногу начинало раздражать его многословие. Так иногда раздражает непрестанный, скучный, как зубная боль, плач грудного ребенка, пронзительное верещанье канарейки, или если кто беспрерывно и фальшиво свистит в комнате рядом.

Наконец они добрались до комнаты Лихонина. Ключа в двери не было. Да обыкновенно ее никогда и не запирали на ключ. Лихонин толкнул дверь, и они вошли. В комнате было темно, потому что занавески были спущены. Пахло мышами, керосином, вчерашним борщом, заношенным постельным бельем, старым табачным дымом. В полутьме кто-то, кого не было видно, храпел оглушительно и разнообразно.

Лихонин приподнял штору. Обычная обстановка бедного холостого студента: провисшая, неубранная кровать со скомканным одеялом, хромой стол и на нем подсвечник без свечи, несколько книжек на полу и на столе, окурки повсюду, а напротив кровати, вдоль другой стены — старый-престарый диван, на котором сейчас спал и храпел, широко раскрыв рот, какой-то чернокудрый и черноусый молодой человек. Ворот его рубахи был расстегнут, и сквозь ее прореху можно было видеть грудь и черные волосы, такие густые и курчавые, какие бывают только у карачаевских барашков.

— Нижерадзе! Эй, Нижерадзе, вставай! — крикнул Лихонин и толкнул спящего в бок.— Князь!

— М-м-м...

— Вставай, я тебе говорю, ишак кавказский, идиот осетинский!

— М-м-м...

— Да будет проклят твой род в лице предков и потомков! Да будут они изгнаны с высот прекрасного Кавказа! Да не увидят они никогда благословенной Грузии! Вставай, подлец! Вставай, дромадер аравийский! Кинтошка!..

Но вдруг, совсем неожиданно для Лихонина, вмешалась Любка. Она взяла его за руку и сказала робко:

— Миленький, зачем же его мучить? Может быть, он спать хочет, может быть, он устал? Пускай поспит.

Уж лучше я поеду домой. Вы мне дадите полтинник на извозчика? Завтра вы опять ко мне приедете. Правда, душенька?

Лихонин смутился. Таким странным ему показалось вмешательство этой молчаливой, как будто сонной девушки. Конечно, он не сообразил того, что в ней говорила инстинктивная, бессознательная жалость к человеку, который недоспал, или, может быть, профессиональное уважение к чужому сну. Но удивление было только мгновенное. Ему стало почему-то обидно. Он поднял свесившуюся до полу руку лежащего, между пальцами которой так и осталась потухшая папироса, и, крепко встряхнув ее, сказал серьезным, почти строгим голосом:

— Слушай же, Нижерадзе, я тебя, наконец, серьезно прошу. Пойми же, черт тебя побери, что я не один, а с женщиной. Свинья!

Случилось точно чудо: лежавший человек вдруг вскочил, точно какая-то пружина необыкновенной мощности мгновенно раскрутилась под ним. Он сел на диване, быстро потер ладонями глаза, лоб, виски, увидал женщину, сразу сконфузился и пробормотал, торопливо застегивая косоворотку:

— Это ты, Лихонин? А я тут тебя дожидался, дожидался и заснул. Попроси незнакомого товарища, чтобы она отвернулась на минутку.

Он поспешно натянул на себя серую студенческую тужурку и взлохматил обеими пятернями свои роскошные черные кудри. Любка, со свойственным всем женщинам кокетством, в каком бы возрасте и положении они ни находились, подошла к осколку зеркала, висевшему на стене, поправить прическу. Нижерадзе искоса, вопросительно, одним движением глаз показал на нее Лихонину.

— Ничего. Не обращай внимания,— ответил тот вслух.— А впрочем, выйдем отсюда. Я тебе сейчас же все расскажу. Извините, Любочка, я только на одну минуту. Сейчас вернусь, устрою вас, а затем испарюсь, как дым.

— Да вы не беспокойте себя,— возразила Любка,— мне и здесь, на диване, будет хорошо. А вы устраивайтесь себе на кровати.

— Нет, это уж не модель, ангел мой! У меня здесь есть один коллега. Я к нему и пойду ночевать. Сию минуту я вернусь.

Оба студента вышли в коридор.

— Что сей сон значит? — спросил Нижерадзе, широко раскрывая свои восточные, немножко бараньи глаза.— Откуда это прелестное дитя, этот товарищ в юбке?

Лихонин многозначительно покрутил головой и сморщился. Теперь, когда поездка, свежий воздух, утро и деловая, будничная, привычная обстановка почти совсем отрезвили его, он начал ощущать в душе смутное чувство какой-то неловкости, ненужности своего внезапного поступка и в то же время что-то вроде бессознательного раздражения и против самого себя и против увезенной им женщины. Он уже предчувствовал тягость совместной жизни, множество хлопот, неприятностей и расходов, двусмысленные улыбки или даже просто бесцеремонные расспросы товарищей, наконец, серьезную помеху во время государственных экзаменов. Но, едва заговорив с Нижерадзе, он сразу устыдился своего малодушия и, начав вяло, к концу опять загарцевал на героическом коне.

— Видишь ли, князь,— сказал он, в смущении вертя пуговицу на тужурке товарища и не глядя ему в глаза,— ты ошибся. Это вовсе не товарищ в юбке, а это... просто я сейчас был с коллегами, был... то есть не был, а только заехал на минутку с товарищами на Ямки, к Анне Марковне.

— С кем? — спросил, оживившись, Нижерадзе.

— Ну, не все ли тебе равно, князь? Был Толпыгин, Рамзес, приват-доцент один — Ярченко, Боря Собашников и другие... не помню. Катались на лодке целый вечер, потом нырнули в кабачару, а уж потом, как свиньи, на Ямки. Я, ты знаешь, человек очень воздержанный. Я только сидел и насасывался коньяком, как губка, с одним знакомым репортером. Ну, а прочие все грехопаднули. И вот поутру отчего-то я совсем размяк. Так мне стало грустно и жалко глядеть на этих несчастных женщин. Подумал я и о том, что вот наши сестры пользуются нашим вниманием, любовью, покровительством, наши матери окружены благоговейным обожани-

ем. Попробуй кто-нибудь сказать им грубое слово, толкнуть, обидеть,— ведь мы горло готовы перегрызть каждому! Не правда ли?

— М-м?..— протянул не то вопросительно, не то выжидательно грузин и скосил глаза вбок.

— Ну вот, я и подумал: а ведь каждую из этих женщин любой прохвост, любой мальчишка, любой развалившийся старец может взять себе на минуту или на ночь, как мгновенную прихоть, и равнодушно еще в лишний, тысяча первый раз осквернить и опоганить в ней то, что в человеке есть самое драгоценное — любовь... Понимаешь, надругаться, растоптать ногами, заплатить за визит и уйти спокойно, ручки в брючки, посвистывая. А ужаснее всего, что это все вошло уже у них в привычку: и ей все равно, и ему все равно. Притупились чувства, померкла душа. Так ведь? А ведь в каждой из них погибает и прекрасная сестра и святая мать. А? Не правда ли?

— Н-на?..— промычал Нижерадзе и опять отвел глаза в сторону.

— Я и подумал: к чему слова и лишние восклицания? К черту лицемерные речи на съездах. К черту аболиционизм, регламентацию (ему вдруг невольно пришли на ум недавние слова репортера) и все эти раздачи священных книг в заведениях и магдалинские приюты! Вот я возьму и поступлю как настоящий честный человек, вырву девушку из омута, внедрю ее в настоящую твердую почву, успокою ее, ободрю, приласкаю.

— Гм! — крякнул Нижерадзе, усмехнувшись.

— Эх, князь! У тебя всегда сальности на уме. Ты же понимаешь, что я не о женщине говорю, а о человеке, не о мясе, а о душе.

— Хорошо, хорошо, душа мой, дальше!

— А дальше то, что я как задумал, так и сделал. Взял ее сегодня от Анны Марковны и привез покамест к себе. А там что бог даст. Научу ее сначала читать, писать, потом открою для нее маленькую кухмистерскую или, скажем, бакалейную лавочку. Думаю, товарищи мне не откажутся помочь. Сердце человеческое, братец мой князь, всякое сердце в согреве, в тепле нуждается. И вот посмотри: через год, через два я возвращу обществу хорошего, работящего, до-

стойного члена, с девственной душой, открытой для всяких великих возможностей... Ибо она отдавала только тело, а душа ее чиста и невинна.

— Це, це, це,— почмокал языком князь.

— Что это значит, ишак тифлисский?

— А купишь ей швейную машинку?

— Почему именно швейную машинку? Не понимаю.

— Всегда, душа мой, так в романах. Как только герой спас бедное, но погибшее создание, сейчас же он ей заводит швейную машинку.

— Перестань говорить глупости,— сердито отмахнулся от него рукой Лихонин.— Паяц!

Грузин вдруг разгорячился, засверкал черными глазами, и в голосе его сразу послышались кавказские интонации.

— Нет, не глупости, душа мой! Тут одно из двух, и все с один и тот же результат. Или ты с ней сойдешься и через пять месяцев выбросишь ее на улицу, и она вернется опять в публичный дом или пойдет на панель. Это факт! Или ты с ней не сойдешься, а станешь ей навязывать ручной или головной труд и будешь стараться развивать ее невежественный, темный ум, и она от скуки убежит от тэбэ и опять очутится либо на панели, либо в публичном доме. Это тоже факт! Впрочем, есть еще третья комбинация. Ты будешь о ней заботиться, как брат, как рыцарь Ланчелот, а она тайком от тебя полюбит другого. Душа мой, поверь мне, что женшшына, покамэст она женшшына, так она — женшшына. И без любви жить не может. Тогда она сбежит от тебя к другому. А другой поиграется немножко с ее телом, а через три месяца выбросит ее на улицу или в публычный дом.

Лихонин глубоко вздохнул. Где-то глубоко, не в уме, а в сокровенных, почти неуловимых тайниках сознания промелькнуло у него что-то похожее на мысль о том, что Нижерадзе прав. Но он быстро овладел собою, встряхнул головой и, протянув руку князю, произнес торжественно:

— Обещаю тебе, что через полгода ты возьмешь свои слова обратно и в знак извинения, чурчхела ты эриванская, бадриджан армавирский, поставишь мне дюжину кахетинского.

— Ва! Идет! — Князь с размаху ударил ладонью по руке Лихонина.— С удовольствием. А если по-моему, то — ты.

— То я. Однако до свиданья, князь. Ты у кого ночуешь?

— Я здесь же, по этому коридору, у Соловьева. А ты, конечно, как средневековый рыцарь, положишь обоюдоострый меч между собой и прекрасной Розамундой?, Да?

— Глупости. Я сам было хотел у Соловьева переночевать. А теперь пойду поброжу по улицам и заверну к кому-нибудь: к Зайцевичу или к Штрумпу. Прощай, князь!

— Постой, постой! — позвал его Нижерадзе, когда он отошел на несколько шагов.— Самое главное я тебе забыл сказать: Парцан провалился!

— Вот как? — удивился Лихонин и тотчас же длинно, глубоко и сладко зевнул.

— Да. Но ничего страшного нет: только одно хранение брошюрятины. Отсидит не больше года.

— Ничего, он хлопец крепкий, не раскиснет.

— Крепкий,— подтвердил князь.

— Прощай!

— До свиданья, рыцарь Грюнвальдус.

— До свиданья, жеребец кабардинский.

XI

Лихонин остался один. В полутемном коридоре пахло керосиновым чадом догоравшей жестяной лампочки и запахом застоявшегося дурного табака. Дневной свет тускло проникал только сверху, из двух маленьких стеклянных рам, проделанных в крыше над коридором.

Лихонин находился в том одновременно расслабленном и приподнятом настроении, которое так знакомо каждому человеку, которому случалось надолго выбиться из сна. Он как будто бы вышел из пределов обыденной человеческой жизни, и эта жизнь стала для него далекой и безразличной, но в то же время его мысли и чувства приобрели какую-то спокойную ясность

и равнодушную четкость, и в этой хрустальной нирване была скучная и томительная прелесть.

Он стоял около своего номера, прислонившись к стене, и точно ощущал, видел и слышал, как около него и под ним спят несколько десятков людей, спят последним крепким утренним сном, с открытыми ртами, с мерным глубоким дыханием, с вялой бледностью на глянцевитых от сна лицах, и в голове его пронеслась давнишняя, знакомая еще с детства мысль о том, как страшны спящие люди,— гораздо страшнее, чем мертвецы.

Потом он вспомнил о Любке. Его подвальное, подпольное, таинственное «я» быстро-быстро шепнуло о том, что надо было бы зайти в комнату и поглядеть, удобно ли девушке, а также сделать некоторые распоряжения насчет утреннего чая, но он сам сделал перед собой вид, что вовсе и не думал об этом, и вышел на улицу.

Он шел, вглядываясь во все, что встречали его глаза, с новым для себя, ленивым и метким любопытством, и каждая черта рисовалась ему до такой степени рельефной, что ему казалось, будто он ощупывает ее пальцами... Вот прошла баба. У нее через плечо коромысло, а на обоих концах коромысла по большому ведру с молоком; лицо у нее немолодое, с сетью морщинок на висках и с двумя глубокими бороздами от ноздрей к углам рта, но ее щеки румяны и, должно быть, тверды на ощупь, а карие глаза лучатся бойкой хохлацкой усмешкой. От движения тяжелого коромысла и от плавной поступи ее бедра раскачиваются ритмично то влево, то вправо, и в их волнообразных движениях есть грубая, чувственная красота.

«Бедовая бабенка, и прожила она пеструю жизнь»,— подумал Лихонин. И вдруг, неожиданно для самого себя, почувствовал и неудержимо захотел эту совсем незнакомую ему женщину, некрасивую и немолодую, вероятно, грязную и вульгарную, но все же похожую, как ему представилось, на крупное яблоко, антоновку-падалку, немного подточенное червем, чуть-чуть полежалое, но еще сохранившее яркий цвет и душистый винный аромат.

Перегоняя его, пронесся пустой черный погребальный катафалк; две лошади в запряжке, а две привязаны

сзади, к задним колонкам. Факельщики и гробовщики, уже с утра пьяные, с красными звероподобными лицами, с порыжелыми цилиндрами на головах, сидели беспорядочной грудой на своих форменных ливреях, на лошадиных сетчатых попонах, на траурных фонарях и ржавыми, сиплыми голосами орали какую-то нескладную песню. «Должно быть, к выносу торопятся, а пожалуй, уже и закончили,— подумал Лихонин,— веселые ребята!» На бульваре он остановился и присел на низенькую деревянную, крашенную зеленым скамейку. Два ряда мощных столетних каштанов уходили вдаль, сливаясь где-то далеко в одну прямую зеленую стрелу. На деревьях уже висели колючие крупные орехи. Лихонин вдруг вспомнил, что в самом начале весны он сидел именно на этом бульваре и именно на этом самом месте. Тогда был тихий, нежный, пурпурно-дымчатый вечер, беззвучно засыпавший, точно улыбающаяся усталая девушка. Тогда могучие каштаны, с листвой широкой внизу и узкой кверху, сплошь были усеяны гроздьями цветов, растущих светлыми, розовыми, тонкими шишками прямо к небу, точно кто-то по ошибке взял и прикрепил на все каштаны, как на люстры, розовые елочные рождественские свечи. И вдруг с необычайной остротой Лихонин почувствовал,— каждый человек неизбежно рано или поздно проходит через эту полосу внутреннего чувства,—что вот уже зреют орехи, а тогда были розовые цветущие свечечки, и что будет еще много весен и много цветов, но той, что прошла, никто и ничто не в силах ему возвратить. Грустно глядя в глубь уходящей густой аллеи, он вдруг заметил, что сентиментальные слезы щиплют ему глаза.

Он встал и пошел дальше, приглядываясь ко всему встречному с неустанным, обостренным и в то же время спокойным вниманием, точно он смотрел на созданный богом мир в первый раз. Мимо него прошла по мостовой артель каменщиков, и все они преувеличенно ярко и цветисто, точно на матовом стекле камер-обскуры, отразились в его внутреннем зрении. И старший рабочий, с рыжей бородой, свалявшейся набок, и с голубыми строгими глазами; и огромный парень, у которого левый глаз затек и от лба до скулы и от носа до виска расплывалось пятно черно-сизого цвета; и мальчишка с наивным, деревенским лицом, с разинутым ртом, как у птенца, без-

вольным, мокрым; и старик, который, припоздавши, бежал за артелью смешной козлиной рысью; и их одежды, запачканные известкой, их фартуки и их зубила — все это мелькнуло перед ним неодушевленной вереницей — цветной, пестрой, но мертвой лентой кинематографа.

Ему пришлось пересекать Ново-Кишиневский базар. Вдруг вкусный жирный запах чего-то жареного заставил его раздуть ноздри. Лихонин вспомнил, что со вчерашнего полдня он еще ничего не ел, и сразу почувствовал голод. Он свернул направо, в глубь базара.

В дни голодовок,— а ему приходилось испытывать их неоднократно,— он приходил сюда на базар и на жалкие, с трудом добытые гроши покупал себе хлеба и жареной колбасы. Это бывало чаще всего зимою. Торговка, укутанная во множество одежд, обыкновенно сидела для теплоты на горшке с угольями, а перед нею на железном противне шипела и трещала толстая домашняя колбаса, нарезанная кусками по четверть аршина длиною, обильно сдобренная чесноком. Кусок колбасы обыкновенно стоил десять копеек, хлеб — две копейки.

Сегодня на базаре было очень много народа. Еще издали, протискиваясь к знакомому любимому ларьку, Лихонин услыхал звуки музыки. Пробившись сквозь толпу, окружавшую один из ларьков сплошным кольцом, он увидал наивное и милое зрелище, какое можно увидеть только на благословенном юге России. Десять или пятнадцать торговок, в обыкновенное время злоязычных сплетниц и неудержимых, неистощимых в словесном разнообразии ругательниц, а теперь льстивых и ласковых подруг, очевидно, разгулялись еще с прошлого вечера, прокутили целую ночь и теперь вынесли на базар свое шумное веселье. Наемные музыканты — две скрипки, первая и вторая, и бубен — наяривали однообразный, но живой, залихватский и лукавый мотив. Одни бабы чокались и целовались, поливая друг друга водкой, другие — разливали ее по рюмкам и по столам, следующие, прихлопывая в ладоши в такт музыке, ухали, взвизгивали и приседали на месте. А посредине круга, на камнях мостовой, вертелась и дробно топталась на месте толстая женщина лет сорока пяти, но еще красивая, с красными мясистыми губами, с влажными, пьяными, точно обмасленными глазами, весело сиявшими под высокими дугами черных

правильных малорусских бровей. Вся прелесть и все искусство ее танца заключались в том, что она то наклоняла вниз головку и выглядывала задорно исподлобья, то вдруг откидывала ее назад и опускала вниз ресницы и разводила руки в стороны, а также в том, как в размер пляске колыхались и вздрагивали у нее под красной ситцевой кофтой огромные груди. Во время пляски она пела, перебирая то каблуками, то носками козловых башмаков:

На вулицы скрыпка грае,
Бас гуде, вымовляе.
Менэ маты не пускае,
А мий милый дожидае.

Это-то и была знакомая Лихонину баба Грипа, та самая, у которой в крутые времена он не только бывал клиентом, но даже кредитовался. Она вдруг узнала Лихонина, бросилась к нему, обняла, притиснула к груди и поцеловала прямо в губы мокрыми, горячими толстыми губами. Потом она размахнула руки, ударила ладонь об ладонь, скрестила пальцы с пальцами и сладко, как умеют это только подольские бабы, заворковала:

— Панычу ж мий, золотко ж мое серебряное, любый мой! Вы ж мене, бабу пьяную, простыте. Ну, що ж? Загуляла! — Она кинулась было целовать ему руку.—Та я же знаю, що вы не гордый, як другие паны. Ну, дайте, рыбонька моя, я ж вам ручку поцелую! Ни, ни, ни! Просю, просю вас!..

— Ну, вот глупости, тетя Грипа! — перебил ее, внезапно оживляясь, Лихонин.— Уж лучше так поцелуемся. Губы у тебя больно сладкие!

— Ах ты, сердынятынько мое! Сонечко мое ясное, яблочко ж мое райское,— разнежилась Грипа,— дай же мне твои бузи! Дай же мне твои бузенятки!..

Она жарко прижала его к своей исполинской груди и опять обслюнявила влажными горячими готтентотскими губами. Потом схватила его за рукав, вывела на середину круга и заходила вокруг него плавно-семенящей походкой, кокетливо изогнув стан и голося:

Ой! хто до кого, а я до Параски,
Бо у мене черт ма в штанив,
А в неи запаски!

И потом вдруг перешла, поддержанная музыкантами, к развеселому малорусскому гопаку:

Ой, чук тай байдуже
Задрипала фартук дуже.
А ты, Прыско, не журысь,
Доки мокро, тай утрысь!
Траляля, траляля...
Спит Хима, тай не чуе,
Що казак с неи ночуе.
Брешешь, Хима, ты все чуешь,
Тылько так соби мандруешь.
Тай, тай, траляляй...

Лихонин, окончательно развеселенный, неожиданно для самого себя вдруг заскакал козлом около нее, точно спутник вокруг несущейся планеты, длинноногий, длиннорукий, сутуловатый и совершенно нескладный. Его выход приветствовали общим, но довольно дружелюбным ржанием. Его усадили за стол, потчевали водкой и колбасой. Он со своей стороны послал знакомого босяка за пивом и со стаканом в руке произнес три нелепых речи: одну — о самостийности Украйны, другую — о достоинстве малорусской колбасы, в связи с красотою и семейственностью малорусских женщин, а третью — почему-то о торговле и промышленности на юге России. Сидя рядом с Грипой, он все пытался обнять ее за талию, и она не противилась этому. Но даже и его длинные руки не могли обхватить ее изумительного стана. Однако она крепко, до боли, тискала под столом его руку своей огромной, горячей, как огонь, мягкой рукою.

В это время между торговками, до сих пор нежно целовавшимися, вдруг промелькнули какие-то старые, неоплаченные ссоры и обиды. Две бабы, наклонившись друг к другу, точно петухи, готовые вступить в бой, подпершись руками в бока, поливали друг дружку самыми посадскими ругательствами.

— Дура, стэрва, собачя дочь! — кричала одна.— Ты не достойна меня от сюда поцеловать.— И, обернувшись тылом к противнице, она громко шлепнула себя ниже спины.—От сюда! Ось!

А другая в ответ визжала бешено:

— Брешешь, курва, бо достойна, достойна!

Лихонин воспользовался минутой. Будто что-то вспомнив, он торопливо вскочил с лавки и крикнул:

— Подождите меня, тетя Грипа, я через три минуты приду! — и нырнул сквозь живое кольцо зрителей.

— Панычу! Панычу! — кричала ему вслед его соседка.— Вы же скорейше назад идыте! Я вам одно словцо маю сказаты.

Зайдя за угол, он некоторое время мучительно старался вспомнить, что такое ему нужно было непременно сделать сейчас, вот сию минуту. И опять в недрах души он знал о том, что именно надо сделать, но медлил сам себе в этом признаться. Был уже яркий, светлый день, часов около девяти-десяти. Дворники поливали улицы из резиновых рукавов. Цветочницы сидели на площадях и у калиток бульваров, с розами, левкоями и нарциссами. Светлый, южный, веселый, богатый город оживлялся. Продребезжала по мостовой железная клетка, наполненная собаками всевозможных мастей, пород и возрастов. На козлах сидело двое гицелей,— или, как они сами себя называют почтительно, «крулевских гицелей», то есть ловцов бродячих собак,— возвращавшихся домой с сегодняшним утренним уловом.

«Она уже, должно быть, проснулась,— оформил, наконец, свою тайную мысль Лихонин,— а если не проснулась, то я тихонько прилягу на диван и посплю».

В коридоре по-прежнему тускло светила и чадила умирающая керосиновая лампа, и водянисто-грязный полусвет едва проникал в узкий длинный ящик. Дверь номера так и осталась незапертой. Лихонин беззвучно отворил ее и вошел.

Слабый синий полусвет лился из прозоров между шторами и окном. Лихонин остановился посреди комнаты и с обостренной жадностью услышал тихое, сонное дыхание Любки. Губы у него сделались такими жаркими и сухими, что ему приходилось не переставая их облизывать. Колени задрожали.

«Спросить, не надо ли ей чего-нибудь»,— вдруг пронеслось у него в голове.

Как пьяный, тяжело дыша, с открытым ртом, шатаясь на трясущихся ногах, он подошел к кровати.

Люба спала на спине, протянув одну голую руку вдоль тела, а другую положив на грудь. Лихонин наклонился к ней ближе, к самому ее лицу. Она дышала ровно и глубоко. Это дыхание молодого здорового тела было, не-

смотря на сон, чисто и почти ароматно. Он осторожно провел пальцами по голой руке и погладил грудь немножко ниже ключиц. «Что я делаю?!» — с ужасом крикнул вдруг в нем рассудок, но кто-то другой ответил за Лихонина: «Я же ничего не делаю. Я только хочу спросить, удобно ли ей было спать и не хочет ли она чаю».

Но Любка вдруг проснулась, открыла глаза, зажмурила их на минуту и опять открыла. Потянулась длинно-длинно и с ласковой, еще не осмыслившейся улыбкой окружила жаркой крепкой рукой шею Лихонина.

— Дуся! Милый,— ласково произнесла женщина воркующим, немного хриплым со сна голосом,— а я тебя ждала, ждала и даже рассердилась. А потом заснула и всю ночь тебя во сне видела. Иди ко мне, моя цыпочка, моя ляленька! — Она притянула его к себе, грудь к груди.

Лихонин почти не противился; он весь трясся, как от озноба, и бессмысленно повторял скачущим шепотом, ляская зубами:

— Нет же, Люба, не надо... Право, не надо, Люба, так... Ах, оставим это, Люба... Не мучай меня. Я не ручаюсь за себя... Оставь же меня, Люба, ради бога!..

— Глупенький мо-ой! — воскликнула она смеющимся, веселым голосом.— Иди ко мне, моя радость! — и преодолевая последнее, совсем незначительное сопротивление, она прижала его рот к своему и поцеловала крепко и горячо, поцеловала искренне, может быть, в первый и последний раз в своей жизни.

«О, подлец! Что я делаю?» — продекламировал в Лихонине кто-то честный, благоразумный и фальшивый.

— Ну, что? Полегшало? — спросила ласково Любка, целуя в последний раз губы Лихонина.— Ах ты, студентик мой!..

XII

С душевной болью, со злостью и с отвращением к себе, и к Любке, и, кажется, ко всему миру, бросился Лихонин, не раздеваясь, на деревянный кособокий пролежанный диван и от жгучего стыда даже заскрежетал зубами. Сон не шел к нему, а мысли все время вертелись около этого дурацкого, как он сам называл увоз Любки, поступка, в котором так противно переплелся скверный водевиль с глубокой драмой. «Все равно,— упрямо твер-

дил он сам себе,— раз я обещался, я доведу дело до конца. И, конечно, то, что было сейчас, никогда-никогда не повторится! Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов? Глубокую, замечательную истину высказал какой-то философ, который утверждал, что ценность человеческой души можно познавать по глубине ее падения и по высоте взлетов. Но все-таки черт бы побрал весь сегодняшний идиотский день, и этого двусмысленного резонера-репортера Платонова, и его собственный, Лихонина, нелепый рыцарский порыв! Точно, в самом деле, все это было не из действительной жизни, а из романа «Что делать?» писателя Чернышевского. И как, черт побери, какими глазами погляжу я на нее завтра?»

У него горела голова, жгло веки глаз, сохли губы. Он нервно курил папиросу за папиросой и часто приподымался с дивана, чтобы взять со стола графин с водой и жадно, прямо из горлышка, выпить несколько больших глотков. Потом каким-то случайным усилием воли ему удалось оторвать свои мысли от прошедшей ночи, и сразу тяжелый сон, без всяких видений и образов, точно обволок его черной ватой.

Он проснулся далеко за полдень, часа в два или в три, и сначала долго не мог прийти в себя, чавкал ртом и озирался по комнате мутными, отяжелевшими глазами. Все, что случилось ночью, точно вылетело из его памяти. Но когда он увидел Любку, которая тихо и неподвижно сидела на кровати, опустив голову и сложив на коленях руки, он застонал и закряхтел от досады и смущения. Теперь он вспомнил все. И в эту минуту он сам на себе испытал, как тяжело бывает утром воочию увидеть результаты сделанной вчера ночью глупости.

— Проснулся, дусенька? — спросила ласково Любка.

Она встала с кровати, подошла к дивану, села в ногах у Лихонина и осторожно погладила его ногу поверх одеяла.

— А я давно уже проснулась и все сидела: боялась тебя разбудить. Очень уж ты крепко спал.

Она потянулась к нему и поцеловала его в щеку. Лихонин поморщился и слегка отстранил ее от себя.

— Подожди, Любочка! Подожди, этого не надо. Понимаешь, совсем, никогда не надо. То, что вчера было, ну,

это случайность. Скажем, моя слабость. Даже более: может быть, мгновенная подлость. Но, ей-богу, поверь мне, я вовсе не хотел сделать из тебя любовницу. Я хотел видеть тебя другом, сестрой, товарищем... Нет, нет, ничего: все сладится, стерпится. Не надо только падать духом. А покамест, дорогая моя, подойди и посмотри немножко в окно: я только приведу себя в порядок.

Любка слегка надула губы и отошла к окну, повернувшись спиной к Лихонину. Всех этих слов о дружбе, братстве и товариществе она не могла осмыслить своим куриным мозгом и простой крестьянской душой. Ее воображению гораздо более льстило, что студент,— все-таки не кто-нибудь, а человек образованный, который может на доктора выучиться, или на адвоката, или на судью,— взял ее к себе на содержание... А вот теперь вышло так, что он только исполнил свой каприз, добился, чего ему нужно, и уже на попятный. Все они таковы, мужчины!

Лихонин поспешно поднялся, плеснул себе на лицо несколько пригоршней воды и вытерся старой салфеткой. Потом он поднял шторы и распахнул обе ставни. Золотой солнечный свет, лазоревое небо, грохот города, зелень густых лип и каштанов, звонки конок, сухой запах горячей пыльной улицы—все это сразу вторгнулось в маленькую чердачную комнатку. Лихонин подошел к Любке и дружелюбно потрепал ее по плечу.

— Ничего, радость моя... Сделанного не поправишь, а вперед наука. Вы еще не спрашивали себе чаю, Любочка?

— Нет, я все вас дожидалась. Да и не знала, кому сказать. И вы тоже хороши. Я ведь слышала, как вы после того, как ушли с товарищем, вернулись назад и постояли у дверей. А со мной даже и не попрощались. Хорошо ли это?

«Первая семейная ссора»,— подумал Лихонин, но подумал беззлобно, шутя.

Умывание, прелесть золотого и синего южного неба и наивное, отчасти покорное, отчасти недовольное лицо Любки и сознание того, что он все-таки мужчина и что ему, а не ей надо отвечать за кашу, которую он заварил,— все это вместе взбудоражило его нервы и заставило взять себя в руки. Он отворил дверь и рявкнул во тьму вонючего коридора:

— Ал-лекса-андра! Самова-ар! Две бу-улки, масла и колбасы! И мерзавчик во-одки!

В коридоре послышалось шлепанье туфель, и старческий голос еще издали зашамкал:

— Чего орешь? Чего орешь-то? Го-го-го! Го-го-го! Точно жеребец стоялый. Чай, не маленький: запсовел уж, а держишь себя, как мальчишка уличный! Ну, чего тебе?

В комнату вошла маленькая старушка, с красновекими глазами, узкими, как щелочки, и с удивительно пергаментным лицом, на котором угрюмо и зловеще торчал вниз длинный острый нос. Это была Александра, давнишняя прислуга студенческих скворечников, друг и кредитор всех студентов, женщина лет шестидесяти пяти, резонерка и ворчунья.

Лихонин повторил ей свое распоряжение и дал рублевую бумажку. Но старуха не уходила, толклась на месте, сопела, жевала губами и недружелюбно глядела на девушку, сидевшую спиной к свету.

— Ты что же, Александра, точно окостенела? — смеясь, спросил Лихонин.— Или залюбовалась? Ну, так знай: это моя кузина, то есть двоюродная сестра, Любовь...— он замялся всего лишь на секунду, но тотчас же выпалил,— Любовь Васильевна, а для меня просто Любочка. Я вот такой еще ее знал,— показал он на четверть аршина от стола.— И за уши драл и шлепал за капризы по тому месту, откуда ноги растут. И там... жуков для нее разных ловил... Ну, однако... однако ты иди, иди, египетская мумия, обломок прежних веков! Чтобы одна нога там, другая здесь!

Но старуха медлила. Топчась вокруг себя, она еле-еле поворачивалась к дверям и не спускала острого, ехидного, бокового взгляда с Любки. И в то же время она бормотала запавшим ртом:

— Двоюродная! Знаем мы этих двоюродных! Много их по Каштановой улице ходит. Ишь кобели несытые!

— Ну, ты, старая барка! Живо и не ворчать! — прикрикнул на нее Лихонин.— А то я тебя, как твой друг, студент Трясов, возьму и запру в уборную на двадцать четыре часа!

Александра ушла, и долго еще слышались в коридоре ее старческие шлепающие шаги и невнятное бормотанье. Она склонна была в своей суровой ворчливой доброте

многое прощать студенческой молодежи, которую она обслуживала уже около сорока лет. Прощала пьянство, картежную игру, скандалы, громкое пение, долги, но, увы, она была девственницей, и ее целомудренная душа не переносила только одного: разврата.

XIII

— Вот и чудесно... И хорошо, и мило,— говорил Лихонин, суетясь около хромоногого стола и без нужды переставляя чайную посуду.— Давно я, старый крокодил, не пил чайку как следует, по-христиански, в семейной обстановке. Садитесь, Люба, садитесь, милая, вот сюда, на диван, и хозяйничайте. Водки вы, верно, по утрам не пьете, а я, с вашего позволения, выпью... Это сразу подымает нервы. Мне, пожалуйста, покрепче, с кусочком лимона. Ах, что может быть вкуснее стакана горячего чая, налитого милыми женскими руками?

Любка слушала его болтовню, немного слишком шумную, чтобы казаться вполне естественной, и ее сначала недоверчивая, сторожкая улыбка смягчалась и светлела. Но с чаем у нее не особенно ладилось. Дома, в глухой деревне, где этот напиток считался еще почти редкостью, лакомой роскошью зажиточных семейств, и заваривался лишь при почетных гостях и по большим праздникам,— там над разливанием чая священнодействовал старший мужчина семьи. Позднее, когда Любка служила «за все» в маленьком уездном городишке сначала у попа, а потом у страхового агента, который первый и толкнул ее на путь проституции, то ей обыкновенно оставляла жидкий, спитой, чуть тепловатый чай с обгрызком сахара сама хозяйка, тощая, желчная, ехидная попадья, или агентиха, толстая, старая, обрюзглая, злая, засаленная, ревнивая и скупая бабища. Поэтому теперь простое дело приготовления чая было ей так же трудно, как для всех нас в детстве уменье отличать левую руку от правой или завязывать веревку петелькой. Суетливый Лихонин только мешал ей и конфузил ее.

— Дорогая моя, искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо

сейчас же слить в полоскательную чашку,— от этого чай становится чище и ароматнее, да и кстати известно, что китайцы — язычники и приготовляют свою траву очень грязно. Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать три с половиной минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться—и у вас, моя дорогая, готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий.

Некрасивое, но миловидное лицо Любки, все пестрое от веснушек, как кукушечье яйцо, немного вытянулось и побледнело.

— Вы уж, ради бога, на меня не сердитесь... Ведь вас Василь Василич?.. Не сердитесь, миленький Василь Василич... Я, право же, скоро выучусь, я ловкая. И что же это вы мне всё — вы да вы? Кажется, не чужие теперь?

Она посмотрела на него ласково. И правда, она сегодня утром в первый раз за всю свою небольшую, но исковерканную жизнь отдала мужчине свое тело — хотя и не с наслаждением, а больше из признательности и жалости, но добровольно, не за деньги, не по принуждению, не под угрозой расчета или скандала. И ее женское сердце, всегда неувядаемое, всегда тянущееся к любви, как подсолнечник к свету, было сейчас чисто и разнежено.

Но Лихонин вдруг почувствовал колючую стыдливую неловкость и что-то враждебное против этой вчера ему незнакомой женщины, теперь — его случайной любовницы. «Начались прелести семейного очага»,— подумал он невольно, однако поднялся со стула, подошел к Любке и, взяв ее за руку, притянул к себе и погладил по голове.

— Дорогая моя, милая сестра моя,— сказал он трогательно и фальшиво,— то, что случилось сегодня, не должно никогда больше повторяться. Во всем виноват только один я, и, если хочешь, я готов на коленях просить у тебя прощения. Пойми же, пойми, что все это вышло помимо моей воли, как-то стихийно, вдруг, внезапно. Я и сам не ожидал, что это будет так! Понимаешь, я очень давно... не знал близко женщины... Во мне проснулся зверь, отвратительный, разнузданный зверь... и... я не устоял. Но, господи, разве так уже велика моя вина? Святые люди, отшельники, затворники, схимники, столпники, пустынники, мученики — не чета мне по крепости

духа,— и они падали в борьбе с искушением дьявольской плоти. Но зато чем хочешь клянусь, что это больше не повторится... Ведь так?

Любка упрямо вырывала его руку из своей. Губы ее немного отторбучились, и опущенные веки часто заморгали.

— Да-а,— протянула она, как ребенок, который упрямится мириться,— я же вижу, что я вам не нравлюсь. Так что ж,— вы мне лучше прямо скажите и дайте немного на извозчика, и еще там, сколько захотите... Деньги за ночь все равно заплачены, и мне только доехать... туда.

Лихонин схватился за волосы, заметался по комнате и задекламировал:

— Ах, не то, не то, не то! Пойми же меня, Люба! Продолжать то, что случилось утром,— это... это свинство, скотство и недостойно человека, уважающего себя. Любовь! Любовь—это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь — громадное, великое чувство, могучее, как мир, а вовсе не валянье в постели. Такой любви нет между нами, Любочка. Если она придет, это будет чудесным счастьем и для тебя и для меня. А пока — я твой друг, верный товарищ на жизненном пути. И довольно, и баста... Я хотя и не чужд человеческих слабостей, но считаю себя честным человеком.

Любка точно завяла. «Он думает, что я хочу, чтобы он на мне женился. И совсем мне это не надо,— печально думала она.— Можно жить и так. Живут же другие на содержании. И, говорят,— гораздо лучше, чем покрутившись вокруг аналоя. Что тут худого? Мирно, тихо, благородно... Я бы ему чулки штопала, полы мыла бы, стряпала... что попроще. Конечно, ему когда-нибудь выйдет линия жениться на богатой. Ну уж, наверно, он так не выбросит на улицу, в чем мать родила. Хоть и дурачок и болтает много, а видно, человек порядочный. Обеспечит все-таки чем-нибудь. А может быть, и взаправду приглядится, привыкнет? Я девица простая, скромная и на измену никогда не согласная. Ведь, говорят, бывает так-то... Надо только вида ему не показывать. А что он опять придет ко мне в постель и придет сегодня же вечером — это как бог свят».

И Лихонин тоже задумался, замолк и заскучал; он уже чувствовал тяготу взятого на себя непосильного подвига.

Поэтому он даже обрадовался, когда в дверь постучали, и на его окрик «войдите» вошли два студента: Соловьев и ночевавший у него Нижерадзе.

Соловьев, рослый и уже тучноватый, с широким румяным волжским лицом и светлой маленькой вьющейся бородкой, принадлежал к тем добрым, веселым и простым малым, которых достаточно много в любом университете. Он делил свои досуги,— а досуга у него было двадцать четыре часа в сутки,—между пивной и шатаньем по бульварам, между бильярдом, винтом, театром, чтением газет и романов и зрелищами цирковой борьбы; короткие же промежутки употреблял на еду, спанье, домашнюю починку туалета, при помощи ниток, картона, булавок и чернил, и на сокращенную, самую реальную любовь к случайной женщине из кухни, передней или с улицы. Как и вся молодежь его круга, он сам считал себя революционером, хотя тяготился политическими спорами, раздорами и взаимными колкостями и, не перенося чтения революционных брошюр и журналов, был в деле почти полным невеждой. Поэтому он не достиг даже самого малого партийного посвящения, хотя иногда ему давались кое-какие поручения вовсе небезопасного свойства, смысл которых ему не уясняли. И не напрасно полагались на его твердую совесть: он все исполнял быстро, точно, со смелой верой в мировую важность дела, с беззаботной улыбкой и с широким презрением к возможной погибели. Он укрывал нелегальных товарищей, хранил запретную литературу и шрифты, передавал паспорта и деньги. В нем было много физической силы, черноземного добродушия и стихийного простосердечия. Он нередко получал из дому, откуда-то из глуши Симбирской или Уфимской губернии, довольно крупные для студента денежные суммы, но в два дня разбрасывал и рассовывал их повсюду с небрежностью французского вельможи XVII столетия, а сам оставался зимою в одной тужурке, с сапогами, реставрированными собственными средствами.

Кроме всех этих наивных, трогательных, смешных возвышенных и безалаберных качеств старого русского студента, уходящего — и бог весть, к добру ли? — в область исторических воспоминаний, он обладал еще одной изумительной способностью — изобретать деньги и устраивать кредиты в маленьких ресторанах и кухмистер-

ских. Все служащие ломбарда и ссудных касс, тайные и явные ростовщики, старьевщики были с ним в самом тесном знакомстве.

Если же по некоторым причинам нельзя было к ним прибегнуть, то и тут Соловьев оставался на высоте своей находчивости. Предводительствуя кучкой обедневших друзей и удрученный своей обычной деловой ответственностью, он иногда мгновенно озарялся внутренним вдохновением, делал издали, через улицу, таинственный знак проходившему со своим узлом за плечами татарину и на несколько секунд исчезал с ним в ближайших воротах. Он быстро возвращался назад без тужурки, в одной рубахе навыпуск, подпоясанный шнурочком, или зимой без пальто, в легоньком костюмчике, или вместо новой, только что купленной форменной фуражки— в крошечном жокейском картузике, чудом державшемся у него на макушке.

Его все любили: товарищи, прислуга, женщины, дети. И все были с ним фамильярны. Особенным благорасположением пользовался он со стороны своих кунаков-татар, которые, кажется, считали его за блаженненького. Они иногда летом приносили ему в подарок крепкий, пьяный кумыс в больших четвертных бутылях, а на байрам приглашали к себе есть молочного жеребенка. Как это ни покажется неправдоподобным, но Соловьев в критические минуты отдавал на хранение татарам некоторые книги и брошюры. Он говорил при этом с самым простым и значительным видом: «То, что я тебе даю,— Великая книга. Она говорит о том, что Аллах Акбар и Магомет его пророк, что много зла и бедности на земле и что люди должны быть милостивы и справедливы друг к другу».

У него были и еще две особенности: он очень хорошо читал вслух и удивительно, мастерски, прямо-таки гениально играл в шахматы, побеждая шутя первоклассных игроков. Его нападение было всегда стремительно и жестоко, защита мудра и осторожна, преимущественно в облическом[1] направлении, уступки противнику исполнены тонкого дальновидного расчета и убийственного коварства. При этом делал он свои ходы точно под влиянием

[1] Обходном (от *лат.* obliguus).

какого-то внутреннего инстинкта или вдохновения, не задумываясь более чем на четыре-пять секунд и решительно презирая почтенные традиции.

С ним неохотно играли, считали его манеру играть дикарской, но все-таки играли иногда на крупные деньги, которые, неизменно выигрывая, Соловьев охотно возлагал на алтарь товарищеских нужд. Но от участия в конкурсах, которые могли бы ему создать положение звезды в шахматном мире, он постоянно отказывался. «У меня нет в натуре ни любви к этой ерунде, ни уважения,— говорил он,— просто я обладаю какой-то механической способностью ума, каким-то психическим уродством. Ну вот как бывают левши. И потому у меня нет ни профессионального самолюбия, ни гордости при победе, ни желчи при проигрыше».

Таков был матерой студент Соловьев. А Нижерадзе приходился ему самым близким товарищем, что не мешало, однако, обоим с утра до вечера зубоскалить друг над другом, спорить и ругаться. Бог ведает, чем и как существовал грузинский князь. Он сам про себя говорил, что обладает способностью верблюда питаться впрок на несколько недель вперед, а потом месяц ничего не есть. Из дому, из своей благословенной Грузии, он получал очень мало, и то больше съестными припасами. На рождество, на пасху или в день именин (в августе) ему присылали,— и непременно через приезжих земляков,— целые клады из корзин с бараниной, виноградом, чурчхелой, колбасами, сушеной мушмалой, рахат-лукумом, бадриджанами и очень вкусными лепешками, а также бурдюки с отличным домашним вином, крепким и ароматным, но отдававшим чуть-чуть овчиной. Тогда князь сзывал к кому-нибудь из товарищей (у него никогда не было своей квартиры) всех близких друзей и земляков и устраивал такое пышное празднество,— по-кавказски «той», — на котором истреблялись дотла дары плодородной Грузии, на котором пели грузинские песни и, конечно, в первую голову «Мравол-джамием» и «Нам каждый гость ниспослан богом, какой бы ни был он страны», плясали без устали лезгинку, размахивая дико в воздухе столовыми ножами, и говорил свои импровизации тулумбаш (или, кажется, он называется тамада?); по большей части говорил сам Нижерадзе.

Говорить он был великий мастер и умел, разгорячась, произносить около трехсот слов в минуту. Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешал, а даже как-то странно, своеобразно украшал ее кавказский акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальдшнепа, то на орлиный клекот. И о чем бы он ни говорил, он всегда сводил монолог на самую прекрасную, самую плодородную, самую передовую, самую рыцарскую и в то же время самую обиженную страну — Грузию. И неизменно цитировал он строки из «Барсовой кожи» грузинского поэта Руставели, уверяя, что эта поэма в тысячу раз выше всего Шекспира, умноженного на Гомера.

Он был хотя и вспыльчив, но отходчив и в обращении женственно-мягок, ласков, предупредителен, не теряя природной гордости... Одно в нем не нравилось товарищам — какое-то преувеличенное, экзотическое женолюбие. Он был непоколебимо, до святости или до глупости убежден в том, что он неотразимо прекрасен собою, что все мужчины завидуют ему, все женщины влюблены в него, а мужья ревнуют... Это хвастливое, навязчивое бабничество ни на минуту, должно быть, даже и во сне, не покидало его. Идя по улице, он поминутно толкал локтем в бок Лихонина, Соловьева или другого спутника и говорил, гричмокивая и кивая назад головой на прошедшую мимо женщину: «Це, це, це... вай-вай! Зам-мэчатытыльный женшшына! Ка-ак она на меня посмотрела. Захочу — моя будет!..»

За ним этот смешной недостаток знали, высмеивали эту его черту добродушно и бесцеремонно, но охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и верности слову, данному мужчине (клятвы женщинам были не в счет), которыми он обладал так естественно. Впрочем, надо сказать, что он пользовался в самом деле большим успехом у женщин. Швейки, модистки, хористки, кондитерские и телефонные барышни таяли от пристального взгляда его тяжелых, сладких и томных черно-синих глаз...

— До-ому сему и всем праведно, мирно и непорочно обитающим в нем...— заголосил было по-протодьяконски Соловьев и вдруг осекся.— Отцы-святители,— забормотал он с удивлением, стараясь продолжать неудачную

шутку.— Да ведь это... Это же... ах, дьявол... это Соня, нет, виноват, Надя... Ну да! Люба от Анны Марковны...

Любка горячо, до слез, покраснела и закрыла лицо ладонями. Лихонин заметил это, понял, прочувствовал смятенную душу девушки и пришел ей на помощь. Он сурово, почти грубо остановил Соловьева.

— Совершенно верно, Соловьев. Как в адресном столе. Люба из Ямков. Прежде — проститутка. Даже больше, еще вчера — проститутка. А сегодня—мой друг, моя сестра. Так на нее пускай и смотрит всякий, кто хоть сколько-нибудь меня уважает. Иначе...

Грузный Соловьев торопливо, искренно и крепко обнял и помял Лихонина.

— Ну, милый, ну, будет... я впопыхах сделал глупость. Больше не повторится. Здравствуйте, бледнолицая сестра моя.— Он широко через стол протянул руку Любке и стиснул ее безвольные, маленькие и короткие пальцы с обгрызенными крошечными ногтями.— Прекрасно, что вы пришли в наш скромный вигвам. Это освежит нас и внедрит в нашу среду тихие и приличные нравы.— Александра! Пива-а! — закричал он громко.— Мы одичали, огрубели, погрязли в сквернословии, пьянстве, лености и других пороках. И все оттого, что были лишены благотворного, умиротворяющего влияния женского общества. Еще раз жму вашу руку. Милую, маленькую руку. Пива!

— Иду,— послышался за дверью недовольный голос Александры.— Иду я. Чего кричишь? На сколько?

Соловьев пошел в коридор объясниться. Лихонин благодарно улыбнулся ему вслед, а грузин по пути благодушно шлепнул его по спине между лопатками. Оба поняли и оценили запоздалую грубоватую деликатность Соловьева.

— Теперь,— сказал Соловьев, возвратившись в номер и садясь осторожно на древний стул,— теперь приступим к порядку дня. Буду ли я вам чем-нибудь полезен? Если вы мне дадите полчаса сроку, я сбегаю на минутку в кофейную и выпотрошу там самого лучшего шахматиста. Словом — располагайте мною.

— Какой вы смешной! — сказала Любка, стесняясь и смеясь. Она не понимала шутливого и необычного слога студента, но что-то влекло ее простое сердце к нему.

— Этого вовсе и не нужно,— вставил Лихонин.— Я покамест еще зверски богат. Мы, я думаю, пойдем все вместе куда-нибудь в трактирчик. Мне надо будет с вами кое о чем посоветоваться. Все-таки — вы для меня самые близкие люди и, конечно, не так глупы и неопытны, как с первого взгляда кажетесь. Затем я пойду попробую устроиться с ее... с Любиным паспортом. Вы подождете меня. Это недолго... Словом, вы понимаете, в чем заключается все это дело, и не будете расточать лишних шуток. Я,— его голос дрогнул сентиментально и фальшиво,— я хочу, чтобы вы взяли на себя часть моей заботы. Идет?

— Ва! Идет! — воскликнул князь (у него вышло «идиот») и почему-то взглянул значительно на Любку и закрутил усы. Лихонин покосился на него. А Соловьев сказал простосердечно:

— И дело. Ты затеял нечто большое и прекрасное, Лихонин. Князь мне ночью говорил. Ну, что же, на то и молодость, чтобы делать святые глупости. Дай мне бутылку, Александра, я сам открою, а то ты надорвешься и у тебя жила лопнет. За новую жизнь, Любочка, виноват... Любовь... Любовь...

— Никоновна. Да зовите, как сказалось... Люба.

— Ну да, Люба. Князь, аллаверды!

— Якши-ол,— ответил Нижерадзе и чокнулся с ним пивом.

— И еще скажу, что я очень за тебя рад, дружище Лихонин,— продолжал Соловьев, поставив стакан и облизывая усы.— Рад и кланяюсь тебе. Именно только ты и способен на такой настоящий русский героизм, выраженный просто, скромно, без лишних слов.

— Оставь... Ну какой героизм,— поморщился Лихонин.

— И правда,— подтвердил Нижерадзе.— Ты все меня упрекаешь, что я много болтаю, а сам какую чепуху развел.

— Все равно! — возразил Соловьев.— Может быть, и витиевато, но все равно! Как староста нашей чердачной коммуны, объявляю Любу равноправным и почетным членом!

Он поднялся, широко простер руку и патетически произнес:

И в дом наш смело и свободно хозяйкой милою войди!

Лихонин ярко вспомнил, что ту же самую фразу он по-актерски сказал сегодня на рассвете, и даже зажмурился от стыда.

— Будет балаганить. Пойдемте, господа. Одевайся, Люба.

XIV

До ресторана «Воробьи» было недалеко, шагов двести. По дороге Любка незаметно взяла Лихонина за рукав и потянула к себе. Таким образом они опоздали на несколько шагов от шедших впереди Соловьева и Нижерадзе.

— Так это вы серьезно, Василь Василич, миленький мой? — спросила она, заглядывая снизу вверх на него своими ласковыми темными глазами.— Вы не шутите надо мной?

— Какие тут шутки, Любочка! Я был бы самым низким человеком, если бы позволял себе такие шутки. Повторяю, что я тебе более чем друг, я тебе брат, товарищ. И не будем об этом больше говорить, а то, что случилось сегодня поутру, это уж, будь покойна, не повторится. И сегодня же я найму тебе отдельную комнату.

Любка вздохнула. Не то, чтобы ее обижало целомудренное решение Лихонина, которому, по правде сказать, она плохо верила, но как-то ее узкий, темный ум не мог даже теоретически представить себе иного отношения мужчины к женщине, кроме чувственного. Кроме того, сказывалось давнишнее, крепко усвоенное в доме Анны Марковны, в виде хвастливого соперничества, а теперь глухое, но искреннее и сердитое недовольство предпочтенной или отвергнутой самки. И Лихонину она почему-то довольно плохо верила, улавливая бессознательно много наигранного, не совсем искреннего в его словах. Вот Соловьев—тот хотя и говорил непонятно, как и прочее большинство знакомых ей студентов, когда они шутили между собой или с девицами в общем зале (отдельно, в комнате, все без исключения мужчины, все, как один, говорили и делали одно и то же), однако Соловьеву она поверила бы скорее и охотнее. Какая-то простота светилась из его широко расставленных, веселых, искристых серых глаз.

Лихонина в «Воробьях» уважали за солидность, добрый нрав и денежную аккуратность. Поэтому ему сейчас же отвели маленький отдельный кабинетик — честь, которой могли похвастаться очень немногие студенты. В этой комнате целый день горел газ, потому что свет проникал только из узенького низа обрезанного потолком окна, из которого можно было видеть только сапоги, ботинки, зонтики и тросточки людей, проходивших по тротуару.

Пришлось присоединить к компании еще одного студента, Симановского, с которым столкнулись у вешалки. «Что это, точно он напоказ меня водит,— подумала Любка,— похоже, что он хвастается перед ними». И, улучив свободную минуту, она шепнула нагнувшемуся над ней Лихонину:

— Миленький, зачем же так много народу? Я ведь такая стеснительная. Совсем не умею компанию поддержать.

— Ничего, ничего, дорогая Любочка,— быстро прошептал Лихонин, задерживаясь в дверях кабинета,— ничего, сестра моя, это всё люди свои, хорошие, добрые товарищи. Они помогут тебе, помогут нам обоим. Ты не гляди, что они иногда шутят и врут глупости. А сердца у них золотые.

— Да уж очень неловко мне, стыдно. Все уж знают, откуда ты меня взял.

— И ничего, ничего! И пусть знают,— горячо возразил Лихонин.— Зачем стесняться своего прошлого, замалчивать его? Через год ты взглянешь смело и прямо в глаза каждому человеку и скажешь: «Кто не падал, тот не поднимался». Идем, идем, Любочка!

Покамест подавали немудреную закуску и заказывали еду, все, кроме Симановского, чувствовали себя неловко и точно связанно. Отчасти причиной этому и был Симановский, бритый человек в пенсне, длинноволосый, с гордо закинутой назад головою и с презрительным выражением в узких, опущенных вниз углами, губах. У него не было близких, сердечных друзей между товарищами, но его мнения и суждения имели среди них значительную авторитетность. Откуда происходила эта его влиятельность, вряд ли кто-нибудь мог бы объяснить себе: от его ли самоуверенной внешности, от умения ли схва-

тить и выразить в общих словах то раздробленное и неясное, что смутно ищется и желается большинством, или оттого, что свои заключения он всегда приберегал к самому нужному моменту. Среди всякого общества много такого рода людей: одни из них действуют на среду софизмами, другие — каменной бесповоротной непоколебимостью убеждений, третьи—широкой глоткой, четвертые—злой насмешкой, пятые — просто молчанием, заставляющим предполагать за собою глубокомыслие, шестые—трескучей внешней словесной эрудицией, иные — хлесткой насмешкой надо всем, что говорят... многие — ужасным русским словом «ерунда!» «Ерунда!» — говорят они презрительно на горячее, искреннее, может быть, правдивое, но скомканное слово. «Почему же ерунда?»—«Потому что чепуха, вздор»,— отвечают они, пожимая плечами, и точно камнем по голове ухлопывают человека. Много еще есть сортов таких людей, главенствующих над робкими, застенчивыми, благородно-скромными и часто даже над большими умами, и к числу их принадлежал Симановский.

Однако к середине обеда языки развязались у всех, кроме Любки, которая молчала, отвечала «да» и «нет» и почти не притрагивалась к еде. Больше всех говорили Лихонин, Соловьев и Нижерадзе. Первый — решительно и деловито, стараясь скрыть под заботливыми словами что-то настоящее, внутреннее, колючее и неудобное. Соловьев — с мальчишеским восторгом, с размашистыми жестами, стуча кулаком по столу. Нижерадзе — с легким сомнением и с недомолвками, точно он знал то, что нужно сказать, но скрывал это. Всех, однако, казалось, захватила, заинтересовала странная судьба девушки, и каждый, высказывая свое мнение, почему-то неизбежно обращался к Симановскому. Он же больше помалкивал и поглядывал на каждого из-под низа стекол пенсне, высоко поднимая для этого голову.

— Так, так, так,— сказал он наконец, пробарабанив пальцами по столу.— То, что сделал Лихонин, прекрасно и смело. И то, что князь и Соловьев идут ему навстречу, тоже очень хорошо. Я, с своей стороны, готов, чем могу, содействовать вашим начинаниям. Но не лучше ли будет, если мы поведем нашу знакомую по пути, так сказать, естественных ее влечений и способностей. Скажите,

дорогая моя,— обратился он к Любке,— что вы знаете, умеете? Ну там работу какую-нибудь или что. Ну там шить, вязать, вышивать.

— Я ничего не знаю,— ответила Любка шепотом, низко опустив глаза, вся красная, тиская под столом свои пальцы.— Я ничего здесь не понимаю.

— А ведь и в самом деле,— вмешался Лихонин,— ведь мы не с того конца начали дело. Разговаривая о ней в ее присутствии, мы только ставим ее в неловкое положение. Ну, посмотрите, у нее от растерянности и язык не шевелится. Пойдем-ка, Люба, я тебя провожу на минутку домой и вернусь через десять минут. А мы покамест здесь без тебя обдумаем, что и как. Хорошо?

— Мне что же, я ничего,— еле слышно ответила Любка.— Я, как вам, Василь Василич, угодно. Только я бы не хотела домой.

— Почему так?

— Мне одной там неудобно. Я уж лучше вас на бульваре подожду, в самом начале, на скамейке.

— Ах, да! — спохватился Лихонин,— это на нее Александра такого страха нагнала. Задам же я перцу этой старой ящерице! Ну, пойдем, Любочка.

Она робко, как-то сбоку, лопаточкой протянула каждому свою руку и вышла в сопровождении Лихонина.

Через несколько минут он вернулся и сел на свое место. Он чувствовал, что без него что-то говорили о нем, и тревожно обежал глазами товарищей. Потом, положив руки на стол, он начал:

— Я знаю вас всех, господа, за хороших, близких друзей,— он быстро и искоса поглядел на Симановского,— и людей отзывчивых. Я сердечно прошу вас прийти мне на помощь. Дело мною сделано впопыхах,— в этом я должен признаться,— но сделано по искреннему, чистому влечению сердца.

— А это главное,— вставил Соловьев.

— Мне решительно все равно, что обо мне станут говорить знакомые и незнакомые, а от своего намерения спасти,— извините за дурацкое слово, которое сорвалось,— от намерения ободрить, поддержать эту девушку я не откажусь. Конечно, я в состоянии нанять ей дешевую комнатку, дать первое время что-нибудь на прокорм, но вот что делать дальше, это меня затрудняет. Дело,

конечно, не в деньгах, которые я всегда для нее нашел бы, но ведь заставить ее есть, пить и притом дать ей возможность ничего не делать — это значит осудить ее на лень, равнодушие, апатию, а там известно, какой бывает конец. Стало быть, нужно ей придумать какое-нибудь занятие. Вот эту-то сторону и надо обмозговать. Понатужьтесь, господа, посоветуйте что-нибудь.

— Надо знать, на что она способна,— сказал Симановский.— Ведь делала же она что-нибудь до поступления в дом.

Лихонин с видом безнадежности развел руками.

— Почти что ничего. Чуть-чуть шить, как и всякая крестьянская девчонка. Ведь ей пятнадцати лет не было, когда ее совратил какой-то чиновник. Подмести комнату, постирать, ну, пожалуй, еще сварить щи и кашу. Больше, кажется, ничего.

— Маловато,— сказал Симановский и прищелкнул языком.

— Да к тому же еще и неграмотна.

— Да это и неважно!—горячо вступился Соловьев.— Если бы мы имели дело с девушкой интеллигентной, а еще хуже полуинтеллигентной, то из всего, что мы собираемся сделать, вышел бы вздор, мыльный пузырь, а здесь перед нами девственная почва, непочатая целина.

— Гы-ы! — заржал двусмысленно Нижерадзе.

Соловьев, теперь уже не шутя, а с настоящим гневом накинулся на него:

— Слушай, князь! Каждую святую мысль, каждое благое дело можно опаскудить и опохабить. В этом нет ничего ни умного, ни достойного. Если ты так по-жеребячьи относишься к тому, что мы собираемся сделать, то вот тебе бог, а вот и порог. Иди от нас!

— Да ведь ты сам только что сейчас в номере...— смущенно возразил князь.

— Да, и я...— Соловьев сразу смягчился и потух,— я выскочил с глупостью и жалею об этом. А теперь я охотно признаю, что Лихонин молодчина и прекрасный человек, и я все готов сделать со своей стороны. И повторяю, что грамотность—дело второстепенное. Ее легко постигнуть шутя. Таким непочатым умом научиться читать, писать, считать, а особенно без школы, в охотку, это как орех разгрызть. А что касается до какого-нибудь ручного

ремесла, на которое можно жить и кормиться, то есть сотни ремесл, которым легко выучиться в две недели.

— Например? — спросил князь.

— А например... например... ну вот, например, делать искусственные цветы. Да, а еще лучше поступить в магазин цветочницей. Милое дело, чистое и красивое.

— Нужен вкус,— небрежно уронил Симановский.

— Врожденных вкусов нет, как и способностей. Иначе бы таланты зарождались только среди изысканного высокообразованного общества, а художники рождались бы только от художников, а певцы от певцов, а этого мы не видим. Впрочем, я не буду спорить. Ну, не цветочница, так что-нибудь другое. Я, например, недавно видал на улице, в магазинной витрине сидит барышня, и перед нею какая-то машинка ножная.

— В-ва! Опять машинка! — сказал князь, улыбаясь и поглядывая на Лихонина.

— Перестань, Нижерадзе,— тихо, но сурово ответил Лихонин.— Стыдно.

— Болван! — бросил ему Соловьев и продолжал.— Так вот, машинка движется взад и вперед, а на ней, на квадратной рамке, натянуто тонкое полотно, и уж я, право, не знаю, как это там устроено, я не понял, но только барышня водит по экрану какой-то металлической штучкой, и у нее выходит чудесный рисунок разноцветными шелками. Представьте себе озеро, все поросшее кувшинками с их белыми венчиками и желтыми тычинками, и кругом большие зеленые листья. А по воде плывут друг другу навстречу два белых лебедя, и сзади темный парк с аллеей, и все это тонко, четко, как акварельная живопись. Я так заинтересовался, что нарочно зашел спросить, что стоит. Оказывается, чуть-чуть дороже обыкновенной швейной машины и продается в рассрочку. А научиться этому искусству может в течение часа каждый, кто немножко умеет шить на простой машине. И имеется множество прелестных оригиналов. А главное, что такую работу очень охотно берут для экранов, альбомов, абажуров, занавесок и для прочей дряни, и деньги платят порядочные.

— Что же, и это дело,— согласился Лихонин и задумчиво погладил бороду.— А я, признаться, вот что хотел. Я хотел открыть для нее... открыть небольшую кухми-

стерскую или столовую, сначала, конечно, самую малюсенькую, но в которой готовилось бы все очень дешево, чисто и вкусно. Ведь многим студентам решительно все равно, где обедать и что есть. В студенческой почти никогда не хватает мест. Так вот, может быть, нам удастся как-нибудь затащить всех знакомых и приятелей.

— Это верно,—согласился князь,—но и непрактично: начнем столоваться в кредит. А ты знаешь, какие мы аккуратные плательщики. В таком деле нужно человека практичного, жоха, а если бабу, то со щучьими зубами, и то непременно за ее спиной должен торчать мужчина. В самом деле, ведь не Лихонину же стоять за выручкой и глядеть, что вдруг кто-нибудь наест, напьет и ускользнет.

Лихонин посмотрел на него прямо и дерзко, но только сжал челюсти и промолчал.

Начал своим размеренным беспрекословным тоном, поигрывая стеклами пенсне, Симановский:

— Намерение ваше прекрасно, господа, нет спору. Но обратили ли вы внимание на одну, так сказать, теневую сторону? Ведь открыть столовую, завести какое-нибудь мастерство—все это требует сначала денег, помощи—так сказать, чужой спины. Денег не жалко — это правда, я согласен с Лихониным,— но ведь такое начало трудовой жизни, когда каждый шаг заранее обеспечен, не ведет ли оно к неизбежной распущенности и халатности и в конце концов к равнодушному пренебрежению к делу. Ведь и ребенок, пока он раз пятьдесят не хлопнется, не научится ходить. Нет, уж если вы действительно хотите помочь этой бедной девушке, то дайте ей возможность сразу стать на ноги, как трудовому человеку, а не как трутню. Правда, тут большой искус, тягость работы, временная нужда, но зато, если она превозможет все это, то она превозможет и остальное.

— Что же ей, по-вашему, в судомойки идти? — спросил с недоверием Соловьев.

— Ну да,— спокойно возразил Симановский,— в судомойки, в прачки, в кухарки. Всякий труд возвышает человека.

Лихонин покачал головой.

— Золотые слова. Сама мудрость вещает вашими устами, Симановский. Судомойкой, кухаркой, горничной, экономкой... но, во-первых, вряд ли она на это способна,

во-вторых, она уже была горничной и вкусила все прелести барских окриков при всех и барских щипков за дверями, в коридоре. Скажите, разве вы не знаете, что девяносто процентов проституции вербуется из числа женской прислуги? И, значит, бедная Люба при первой же несправедливости, при первой неудаче легче и охотнее пойдет туда же, откуда я ее извлек, если еще не хуже, потому что это для нее и не так страшно и привычно, а может быть, даже от господского обращения и в охотку покажется. А кроме того, стоит ли мне, то есть, я хочу сказать, стоит ли нам всем, столько хлопотать, стараться, беспокоиться для того, чтобы, избавив человека от одного рабства, ввергнуть в другое?

— Верно,— подтвердил Соловьев.

— Как хотите,— с презрительным видом процедил Симановский.

— А что касается до меня,— заметил князь,— то я готов, как твой приятель и как человек любознательный, присутствовать при этом опыте и участвовать в нем. Но я тебя еще утром предупреждал, что такие опыты бывали и всегда оканчивались позорной неудачей, по крайней мере те, о которых мы знаем лично, а те, о которых мы знаем только понаслышке, сомнительны в смысле достоверности. Но ты начал дело, Лихонин,— и делай. Мы тебе помощники.

Лихонин ударил ладонью по столу.

— Нет! — воскликнул он упрямо.— Симановский отчасти прав насчет того, что большая опасность для человека, если его водить на помочах. Но не вижу другого исхода. На первых порах помогу ей комнатой и столом... найду нетрудную работу, куплю для нее необходимые принадлежности. Будь что будет! И сделаем все, чтобы хоть немного образовать ее ум, а что сердце и душа у нее прекрасные — в этом я уверен. Не имею никаких оснований для веры, но уверен, почти знаю. Нижерадзе! Не паясничай! — резко крикнул он, бледнея.— Я сдерживался уж много раз при твоих дурацких выходках. Я до сих пор считал тебя за человека с совестью и с чувством. Еще одна неуместная острота, и я переменю о тебе мнение, и знай, что это навсегда.

— Да я же ничего... Я же, право... Зачем кирпичиться, душа мой? Тебе не нравится, что я веселый

человек, ну, замолчу. Давай твою руку, Лихонин, выпьем!

— Ну, ладно, отвяжись. Будь здоров! Только не веди себя мальчишкой, барашек осетинский. Ну, так я продолжаю, господа. Если мы не отыщем ничего, что удовлетворяло бы справедливому мнению Симановского о достоинстве независимого, ничем не поддержанного труда, тогда я все-таки остаюсь при моей системе: учить Любу чему можно, водить в театр, на выставки, на популярные лекции, в музеи, читать вслух, доставлять ей возможность слушать музыку, конечно, понятную. Одному мне, понятно, не справиться со всем этим. Жду от вас помощи, а там что бог даст.

— Что же,— сказал Симановский,— дело новое, незатасканное, и как знать, чего не знаешь,— может быть, вы, Лихонин, сделаетесь настоящим духовным отцом хорошего человека. Я тоже предлагаю свои услуги.

— И я! И я! — поддержали другие двое, и тут же, не выходя из-за стола, четверо студентов выработали очень широкую и очень диковинную программу образования и просвещения Любки.

Соловьев взял на себя обучить девушку грамматике и письму. Чтобы не утомлять ее скучными уроками и в награду за ее успехи, он будет читать ей вслух доступную художественную беллетристику, русскую и иностранную. Лихонин оставил за собою преподавание арифметики, географии и истории.

Князь же сказал простосердечно, без обычной шутливости на этот раз:

— Я, дети мои, ничего не знаю, а что и знаю, то — очень плохо. Но я ей буду читать замечательное произведение великого грузинского поэта Руставели и переводить строчка за строчкой. Признаюсь вам, что я никакой педагог: я пробовал быть репетитором, но меня вежливо выгоняли после второго же урока. Однако никто лучше меня не сумеет научить играть на гитаре, мандолине и зурне.

Нижерадзе говорил совершенно серьезно, и поэтому Лихонин с Соловьевым добродушно рассмеялись, но совсем неожиданно, ко всеобщему удивлению, его поддержал Симановский.

— Князь говорит дело. Умение владеть инструментом, во всяком случае, повышает эстетический вкус да и в жизни иногда бывает подспорьем. Я же, с своей стороны, господа... я предлагаю читать с молодой особой «Капитал» Маркса и историю человеческой культуры. А кроме того, проходить с ней физику и химию.

Если бы не обычный авторитет Симановского и не важность, с которой он говорил, то остальные трое расхохотались бы ему в лицо. Они только поглядели на него выпученными глазами.

— Ну да,— продолжал невозмутимо Симановский,— я покажу ей целый ряд возможных произвести дома химических и физических опытов, которые всегда занимательны и полезны для ума и искореняют предрассудки. Попутно я объясню ей кое-что о строении мира, о свойствах материи. Что же касается до Карла Маркса, то помните, что великие книги одинаково доступны пониманию и ученого и неграмотного крестьянина, лишь бы было понятно изложено. А всякая великая мысль проста.

Лихонин нашел Любку на условленном месте, на бульварной скамеечке. Она очень неохотно шла с ним домой. Как и предполагал Лихонин, ее, давно отвыкшую от будничной, суровой и обильной всякими неприятностями действительности, страшила встреча с ворчливой Александрой, и, кроме того, на нее угнетающе подействовало то, что Лихонин не хотел скрывать ее прошлое. Но она, давно уже потерявшая в учреждении Анны Марковны свою волю, обезличенная, готовая идти вслед за всяким чужим зовом, не сказала ему ни слова и пошла вслед за ним.

Коварная Александра успела уже за это время сбегать к управляющему домом и пожаловаться, что вот, мол, приехал Лихонин с какой-то девицей, ночевал с ней в комнате, а кто она, того Александра не знает, что Лихонин говорит, будто двоюродная сестра, а паспорта не предъявил. Пришлось очень долго, пространно и утомительно объясняться с управляющим, человеком грубым и наглым, который обращался со всеми жильцами дома как с обывателями завоеванного города, и только слегка побаивался студентов, дававших ему иногда суровый

отпор. Умилостивил его Лихонин лишь только тем, что тут же занял для Любки другой номер через несколько комнат от себя, под самым скосом крыши, так что он представлял из себя внутри круто усеченную, низкую, четырехстороннюю пирамиду с одним окошком.

— А все же вы паспорт, господин Лихонин, непременно завтра же предъявите,—настойчиво сказал управляющий на прощанье.— Как вы человек почтенный, работящий, и мы с вами давно знакомы, также и пла́тите вы аккуратно, то только для вас делаю. Времена, вы сами знаете, какие теперь тяжелые. Донесет кто-нибудь, и меня не то что оштрафуют, а и выселить могут из города. Теперь строго.

Вечером Лихонин с Любкой гуляли по Княжескому саду, слушали музыку, игравшую в Благородном собрании, и рано возвратились домой. Он проводил Любку до дверей ее комнаты и сейчас же простился с ней, впрочем, поцеловав ее нежно, по-отечески в лоб. Но через десять минут, когда он уже лежал в постели раздетый и читал государственное право, вдруг Любка, точно кошка, поцарапавшись в дверь, вошла к нему.

— Миленький, душенька! Извините, что я вас побеспокоила. Нет ли у вас иголки с ниткой? Да вы не сердитесь на меня: я сейчас уйду.

— Люба! Я тебя прошу не сейчас, а сию секунду уйти. Наконец я требую!

— Голубчик мой, хорошенький мой,— смешно и жалобно запела Любка,— ну что вы всё на меня кричите?— и, мгновенно дунув на свечку, она в темноте приникла к нему, смеясь и плача.

— Нет, так нельзя, Люба! Так невозможно дальше,— говорил десять минут спустя Лихонин, стоя у дверей, укутанный, как испанский гидальго плащом, одеялом.— Завтра же я найму тебе комнату в другом доме. И вообще, чтобы этого не было! Иди с богом, спокойной ночи! Все-таки ты должна дать честное слово, что у нас отношения будут только дружеские.

— Даю, миленький, даю, даю, даю! — залепетала она, улыбаясь, и быстро чмокнула его сначала в губы, а потом в руку.

Последнее было сделано совсем инстинктивно и, пожалуй, неожиданно даже для самой Любки. Никогда еще

в жизни она не целовала мужской руки, кроме как у попа. Может быть, она хотела этим выразить признательность Лихонину и преклонение перед ним, как перед существом высшим.

XV

Среди русских интеллигентов, как уже многими замечено, есть порядочное количество диковинных людей, истинных детей русской страны и культуры, которые сумеют героически, не дрогнув ни одним мускулом, глядеть прямо в лицо смерти, которые способны ради идеи терпеливо переносить невообразимые лишения и страдания, равные пытке, но зато эти люди теряются от высокомерности швейцара, съеживаются от окрика прачки, а в полицейский участок входят с томительной и робкой тоской. Вот именно таким-то и был Лихонин. На следующий день (вчера было нельзя из-за праздника и позднего времени), проснувшись очень рано и вспомнив о том, что ему нужно ехать хлопотать о Любкином паспорте, он почувствовал себя так же скверно, как в былое время, когда еще гимназистом шел на экзамен, зная, что наверное провалится. У него болела голова, а руки и ноги казались какими-то чужими, ненужными, к тому же на улице с утра шел мелкий и точно грязный дождь. «Всегда вот, когда предстоит какая-нибудь неприятность, непременно идет дождь»,— думал Лихонин, медленно одеваясь.

До Ямской улицы от него было не особенно далеко, не более версты. Он вообще нередко бывал в этих местах, но никогда ему не приходилось идти туда днем, и по дороге ему все казалось, что каждый встречный, каждый извозчик и городовой смотрят на него с любопытством, с укором или с пренебрежением, точно угадывая цель его путешествия. Как и всегда это бывает в ненастное мутное утро, все попадавшиеся ему на глаза лица казались бледными, некрасивыми, с уродливо подчеркнутыми недостатками. Десятки раз он воображал себе все, что он скажет сначала в доме, а потом в полиции, и каждый раз у него выходило по-иному. Сердясь на самого себя за эту преждевременную репетицию, он иногда останавливал себя:

— Ах! Не надо думать, не надо предполагать, что скажешь. Всегда гораздо лучше выходит, когда это делается сразу...

И сейчас же опять в голове у него начинались воображаемые диалоги:

— Вы не имеете права удерживать девушку против ее желания.

— Да, но пускай она сама заявит о своем уходе.

— Я действую по ее поручению.

— Хорошо, но чем вы это можете доказать? — И опять он мысленно обрывал сам себя.

Начался городской выгон, на котором паслись коровы, дощатый тротуар вдоль забора, шаткие мостики через ручейки и канавы. Потом он свернул на Ямскую. В доме Анны Марковны все окна были закрыты ставнями с вырезными посредине отверстиями в форме сердец. Так же были закрыты и все остальные дома безлюдной улицы, опустевшей точно после моровой язвы. Со стесненным сердцем Лихонин потянул рукоятку звонка.

На звонок отворила горничная, босая, с подтыканным подолом, с мокрой тряпкой в руке, с лицом, полосатым от грязи,— она только что мыла пол.

— Мне бы Женьку,— попросил Лихонин несмело.

— Так что барышня Женя заняты с гостем. Еще не просыпались.

— Ну, тогда Тамару.

Горничная посмотрела на него недоверчиво.

— Барышня Тамара — не знаю... Кажется, тоже занята. Да вы как, с визитом или что?

— Ах, не все ли равно. Ну, скажем, с визитом.

— Не знаю. Пойду погляжу. Подождите.

Она ушла, оставив Лихонина в полутемной зале. Голубые пыльные столбы, исходившие из отверстий в ставнях, пронизывали прямо и вкось тяжелый сумрак. Безобразными пятнами выступали из серой мути раскрашенная мебель и слащавые олеографии на стенах. Пахло вчерашним табаком, сыростью, кислятиной и еще чем-то особенным, неопределенным, нежилым, чем всегда пахнут по утрам помещения, в которых живут только временно: *пустые театры, танцевальные залы, аудитории.* Далеко в городе прерывисто дребезжали дрожки. Стенные часы однозвучно тикали за стеной. В странном волнении хо-

дил Лихонин взад и вперед по зале, и потирал, и мял дрожавшие руки, и почему-то сутулился, и чувствовал холод.

«Не нужно было затеивать всю эту фальшивую комедию,— думал он раздраженно.— Нечего уж и говорить о том, что я стал теперь позорной сказкою всего университета. Дернул меня черт! А ведь даже и вчера днем было не поздно, когда она говорила, что готова уехать назад. Дать бы ей только на извозчика и немножко на булавки, и поехала бы, и все было бы прекрасно, и был бы я теперь независим, свободен, и не испытывал бы этого мучительного и позорного состояния духа. А теперь уже поздно отступать. Завтра будет еще позднее, а послезавтра — еще. Отколов одну глупость, нужно ее сейчас же прекратить, а если не сделаешь этого вовремя, то она влечет за собою две других, а те — двадцать новых. Или, может быть, и теперь не поздно? Ведь она же глупа, неразвита и, вероятно, как и большинство из них, истеричка. Она — животное, годное только для еды и для постели! О! Черт! — Лихонин крепко стиснул себе руками щеки и лоб и зажмурился.— И хоть бы я устоял от простого, грубого физического соблазна! Вот, сам видишь, это уже случилось дважды, а потом и пойдет, и пойдет...»

Но рядом с этими мыслями бежали другие, противоположные:

«Но ведь я мужчина! Ведь я господин своему слову. Ведь то, что толкнуло меня на этот поступок, было прекрасно, благородно и возвышенно. Я отлично помню восторг, который охватил меня, когда моя мысль перешла в дело! Это было чистое, огромное чувство. Или это просто была блажь ума, подхлестнутого алкоголем, следствие бессонной ночи, курения и длинных отвлеченных разговоров?»

И тотчас же представлялась ему Любка, представлялась издалека, точно из туманной глубины времен, неловкая, робкая, с ее некрасивым и милым лицом, которое стало вдруг казаться бесконечно родственным, давным-давно привычным и в то же время несправедливо, без повода неприятным.

«Неужели я трус и тряпка?! — внутренне кричал Лихонин и заламывал пальцы.— Чего я боюсь, перед кем стесняюсь? Не гордился ли я всегда тем, что я один хо-

зяин своей жизни? Предположим даже, что мне пришла в голову фантазия, блажь сделать психологический опыт над человеческой душой, опыт редкий, на девяносто девять шансов неудачный. Неужели я должен отдавать кому-нибудь в этом отчет или бояться чьего-либо мнения? Лихонин! Погляди на человечество сверху вниз!»

В комнату вошла Женя, растрепанная, заспанная, в белой ночной кофточке поверх белой нижней юбки.

— А-а! — зевнула она, протягивая Лихонину руку.— Здравствуйте, милый студент! Как ваша Любочка себя чувствует на новоселье? Позовите когда в гости. Или вы справляете свой медовой месяц потихоньку? Без посторонних свидетелей?

— Брось пустое, Женечка. Я насчет паспорта пришел.

— Та-ак. Насчет паспорта,— задумалась Женька.— То есть тут не паспорт, а надо вам взять у экономки бланк. Понимаете, наш обыкновенный проститутский бланк, а уж вам его в участке обменят на настоящую книжку. Только, видите, голубчик, в этом деле я вам буду плохая помощница. Они меня, чего доброго, изобьют, если я сунусь к экономке со швейцаром. А вы вот что сделайте. Пошлите-ка лучше горничную за экономкой, скажите, чтобы она передала, что, мол, пришел один гость, постоянный, по делу, что очень нужно видеть лично. А меня вы извините — я отступаюсь, и не сердитесь, пожалуйста. Сами знаете: своя рубашка ближе к телу. Да что вам здесь в темноте шататься одному? Идите лучше в кабинет. Если хотите, я вам пива туда пришлю. Или, может быть, кофе хотите? А то,— и она лукаво заблестела глазами,— а то, может быть, девочку? Тамара занята, так, может быть, Нюру или Верку?

— Перестаньте, Женя! Я пришел по серьезному и важному вопросу, а вы...

— Ну, ну, не буду, не буду! Это я только так. Вижу, что верность соблюдаете. Это очень благородно с вашей стороны. Так идемте же.

Она повела его в кабинет и, открыв внутренний болт ставни, распахнула ее. Дневной свет мягко и скучно расплескался по красным с золотом стенам, по канделябрам, по мягкой красной вельветиновой мебели.

«Вот здесь это началось»,— подумал Лихонин с тоскливым сожалением.

— Я ухожу,— сказала Женька.— Вы перед ней не очень-то пасуйте и перед Семеном тоже. Собачьтесь с ними вовсю. Теперь день, и они вам ничего не посмеют сделать. В случае чего, скажите прямо, что, мол, поедете сейчас к губернатору и донесете. Скажите, что их в двадцать четыре часа закроют и выселят из города. Они от окриков шелковыми становятся. Ну-с, желаю успеха!

Она ушла. Спустя десять минут в кабинет вплыла экономка Эмма Эдуардовна в сатиновом голубом пеньюаре, дебелая, с важным лицом, расширявшимся от лба вниз к щекам, точно уродливая тыква, со всеми своими массивными подбородками и грудями, с маленькими, зоркими, черными, безресницыми глазами, с тонкими, злыми, поджатыми губами. Лихонин, привстав, пожал протянутую ему пухлую руку, унизанную кольцами, и вдруг подумал брезгливо:

«Черт возьми! Если бы у этой гадины была душа, если бы эту душу можно было прочитать, то сколько прямых и косвенных убийств таятся в ней скрытыми!»

Надо сказать, что, идя в Ямки, Лихонин, кроме денег, захватил с собою револьвер и часто по дороге, на ходу, лазил рукой в карман и ощущал там холодное прикосновение металла. Он ждал оскорбления, насилия и готовился встретить их надлежащим образом. Но, к его удивлению, все, что он предполагал и чего он боялся, оказалось трусливым, фантастическим вымыслом. Дело обстояло гораздо проще, скучнее, прозаичнее и в то же время неприятнее.

— Ja, mein Herr [1],— сказала равнодушно и немного свысока экономка, усаживаясь в низкое кресло и закуривая папиросу.— Вы заплатиль за одна ночь и вместо этого взяль девушка еще на одна день и еще на одна ночь. Also [2], вы должен еще двадцать пять рублей. Когда мы отпускаем девочка на ночь, мы берем десять рублей, а за сутки двадцать пять. Это, как такса. Не угодно ли вам, молодой человек, курить? — Она протянула ему портсигар, и Лихонин как-то нечаянно взял папиросу.

— Я хотел поговорить с вами совсем о другом.

— О! Не беспокойтесь говорить: я все прекрасно понимаю. Вероятно, молодой человек хочет взять эта де-

[1] Да, сударь *(нем.)*.
[2] Стало быть *(нем.)*.

вушка, эта Любка, совсем к себе на задержание или чтобы ее,— как это называется по-русску,— чтобы ее спасай? Да, да, да, это бывает. Я двадцать два года живу в публичный дом, и всегда в самый лучший, приличный публичный дом, и я знаю, что это случается с очень глупыми молодыми людьми. Но только уверяю вас, что из этого ничего не выйдет.

— Выйдет, не выйдет — это уж мое дело,— глухо ответил Лихонин, глядя вниз, на свои пальцы, подрагивавшие у него на коленях.

— О, конечно, ваше дело, молодой студент,— и дряблые щеки и величественные подбородки Эммы Эдуардовны запрыгали от беззвучного смеха.— От души желаю вам на любовь и дружбу, но только вы потрудитесь сказать этой мерзавке, этой Любке, чтобы она не смела сюда и носа показывать, когда вы ее, как собачонку, выбросите на улицу. Пусть подыхает с голоду под забором или идет в полтинничное заведение для солдат!

— Поверьте, не вернется. Прошу вас только дать мне немедленно ее свидетельство.

— Свидетельство? Ах, пожалуйста! Хоть сию минуту. Только вы потрудитесь сначала заплатить за все, что она брала здесь в кредит. Посмотрите, вот ее расчетная книжка. Я ее нарочно взяла с собой. Уж я знала, чем кончится наш разговор.— Она вынула из разреза пеньюара, показав на минутку Лихонину свою жирную, желтую, огромную грудь, маленькую книжку в черном переплете с заголовком: «Счет девицы Ирины Вощенковой в доме терпимости, содержимом Анной Марковной Шайбес, по Ямской улице, в доме № такой-то», и протянула ему через стол. Лихонин перевернул первую страницу и прочитал три или четыре параграфа печатных правил. Там сухо и кратко говорилось о том, что расчетная книжка имеется в двух экземплярах, из которых один хранится у хозяйки, а другой у проститутки, что в обе книжки заносятся все приходы и расходы, что по уговору проститутка получает стол, квартиру, отопление, освещение, постельное белье, баню и прочее и за это выплачивает хозяйке никак не более двух третей своего заработка, из остальных же денег она обязана одеваться чисто и прилично, имея не менее двух выходных платьев. Дальше упоминалось о том, что расплата производится при помощи марок, ко-

торые хозяйка выдает проститутке по получении от нее денег, а счет заключается в конце каждого месяца. И наконец, что проститутка во всякое время может оставить дом терпимости, даже если бы за ней оставался и долг, который, однако, она обязывается погасить на основании общих гражданских законов.

Лихонин ткнул пальцем в последний пункт и, перевернув книжку лицом к экономке, сказал торжествующе:

— Ага! Вот видите: имеет право оставить дом во всякое время. Следовательно, она может во всякое время бросить ваш гнусный вертеп, ваше проклятое гнездо насилия, подлости и разврата, в котором вы...— забарабанил было Лихонин, но экономка спокойно оборвала его:

— О! Я не сомневаюсь в этом. Пускай уходит. Пускай только заплатит деньги.

— А векселя? Она может дать векселя.

— Пст! Векселя! Во-первых, она неграмотна, а во-вторых, что стоят ее векселя? Тьфу! И больше ничего! Пускай она найдет себе поручителя, который бы заслуживал доверие, и тогда я ничего не имею против.

— Но ведь в правилах ничего не сказано о поручителях.

— Мало ли что не сказано! В правилах тоже не сказано, что можно увозить из дому девицу, не предупредив хозяев.

— Но, во всяком случае, вы должны мне будете отдать ее бланк.

— Никогда не сделаю такой глупости! Явитесь сюда с какой-нибудь почтенной особой и с полицией, и пусть полиция удостоверит, что этот ваш знакомый есть человек состоятельный, и пускай этот человек за вас поручится, и пускай, кроме того, полиция удостоверит, что вы берете девушку не для того, чтобы торговать ею или перепродать в другое заведение,— тогда пожалуйста! С руками и ногами!

— Чертовщина! — воскликнул Лихонин.— Но если этим поручителем буду я, я сам! Если я вам сейчас же подпишу векселя...

— Молодой человек! Я не знаю, чему вас учат в разных ваших университетах, но неужели вы меня считаете за такую уже окончательную дуру? Дай бог, чтобы у вас

были, кроме этих, которые на вас, еще какие-нибудь штаны! Дай бог, чтобы вы хоть через день имели на обед обрезки колбасы из колбасной лавки, а вы говорите: вексель! Что вы мне голову морочите?

Лихонин окончательно рассердился. Он вытащил из кармана бумажник и шлепнул его на стол.

— В таком случае я плачу лично и сейчас же!

— Ах, ну это дело другого рода,— сладко, но все-таки с недоверием пропела экономка.— Потрудитесь перевернуть страничку и посмотрите, каков счет вашей возлюбленной.

— Молчи, стерва! — крикнул на нее Лихонин.

— Молчу, дурак,— спокойно отозвалась экономка.

На разграфленных листочках по левой стороне обозначался приход, по правой — расход.

«Получено марками 15-го февраля,— читал Лихонин, — 10 рублей, 16-го — 4 р., 17-го — 12 р., 18-го больна, 19-го больна, 20-го — 6 р., 21-го — 24 р.».

«Боже мой! — с омерзением, с ужасом подумал Лихонин,— двенадцать человек! В одну ночь!»

В конце месяца стояло:

«Итого 330 рублей».

«Господи! Ведь это бред какой-то! Сто шестьдесят пять визитов»,— думал, механически подсчитав, Лихонин и все продолжал перелистывать страницы. Потом он перешел на правые столбцы.

«Сделано платье красное шелковое с кружевам 84 р. Портниха Елдокимова. Матине кружевное 35 р. Портниха Елдокимова. Чулки шелковые 6 пар 36 рублей» и т. д. и т. д. «Дано на извозчика, дано на конфеты, куплено духов» и т. д. и т. д. «Итого 205 рублей». Затем из 330 р. вычиталось 220 р.— доля хозяйки за пансион. Получалась цифра 110 р. Конец месячного расчета гласил:

«Итого, за уплатой портнихе и за прочие предметы ста десяти рублей, за Ириной Вощенковой остается долгу девяносто пять (95) рублей, а с оставшимися от прошлого года четыреста восемнадцатью рублями — пятьсот тринадцать (513) рублей».

Лихонин упал духом. Сначала он пробовал было возмущаться дороговизной поставляемых материалов, но экономка хладнокровно возражала, что это ее совсем не касается, что заведение только требует, чтобы девушка

одевалась прилично, как подобает девице из порядочного, благородного дома, а до остального ему нет дела. Заведение только оказывает ей кредит, уплачивая ее расходы.

— Но ведь это мегера, это паук в образе человека — эта ваша портниха! — кричал исступленно Лихонин.— Ведь она же в заговоре с вами, кровососная банка вы этакая, черепаха вы гнусная! Каракатица! Где у вас совесть?!

Чем он больше волновался, тем Эмма Эдуардовна становилась спокойнее и насмешливее.

— Опять повторяю: это не мое дело. А вы, молодой человек, не выражайтесь, потому что я позову швейцара, и он вас выкинет из дверей.

Лихонину приходилось долго, озверело, до хрипоты в горле торговаться с жестокой женщиной, пока она, наконец, не согласилась взять двести пятьдесят рублей наличными деньгами и на двести рублей векселями. И то только тогда, когда Лихонин семестровым свидетельством доказал ей, что он в этом году кончает и делается адвокатом...

Экономка пошла за билетом, а Лихонин принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Он пересмотрел уже все картинки на стенах: и Леду с лебедем, и купанье на морском берегу, и одалиску в гареме, и сатира, несущего на руках голую нимфу, но вдруг его внимание привлек полузакрытый портьерой небольшой печатный плакат в рамке и за стеклом. Это был свод правил и постановлений, касающихся обихода публичных домов. Он попался впервые на глаза Лихонину, и студент с удивлением и брезгливостью читал эти строки, изложенные мертвым, казенным языком полицейских участков. Там с постыдной деловою холодностью говорилось о всевозможных мероприятиях и предосторожностях против заражений, об интимном женском туалете, об еженедельных медицинских осмотрах и обо всех приспособлениях для них. Лихонин прочитал также о том, что заведение не должно располагаться ближе чем на сто шагов от церквей, учебных заведений и судебных зданий, что содержать дом терпимости могут только лица женского пола, что селиться при хозяйке могут только ее родственники и то исключительно женского пола и не старше семи лет и что как девушки, так и хозяева дома и прислуга должны в

отношениях между собою и также с гостями соблюдать вежливость, тишину, учтивость и благопристойность, отнюдь не позволяя себе пьянства, ругательства и драки. А также и о том, что проститутка не должна позволять себе любовных ласк, будучи в пьяном виде или с пьяным мужчиною, а кроме того, во время известных отправлений. Тут же строжайше воспрещалось проституткам производить искусственные выкидыши. «Какой серьезный и нравственный взгляд на вещи!» — со злобной насмешкой подумал Лихонин.

Наконец дело с Эммой Эдуардовной было покончено. Взяв деньги и написав расписку, она протянула ее вместе с бланком Лихонину, а тот протянул ей деньги, причем во время этой операции оба глядели друг другу в глаза и на руки напряженно и сторожко. Видно было, что оба чувствовали не особенно большое взаимное доверие. Лихонин спрятал документы в бумажник и собирался уходить. Экономка проводила его до самого крыльца, и когда студент уже стоял на улице, она, оставаясь на лестнице, высунулась наружу и окликнула:

— Студент! Эй! Студент!

Он остановился и обернулся

— Что еще?

— А еще вот что. Теперь я должна вам сказать, что ваша Любка дрянь, воровка и больна сифилисом! У нас никто из хороших гостей не хотел ее брать, и все равно, если бы вы не взяли ее, то завтра мы ее выбросили бы вон! Еще скажу, что она путалась со швейцаром, с городовыми, с дворниками и с воришками. Поздравляю вас с законным браком!

— У-у! Гадина! — зарычал на нее Лихонин.

— Болван зеленый! — крикнула экономка и захлопнула дверь.

В участок Лихонин поехал на извозчике. По дороге он вспомнил, что не успел как следует поглядеть на бланк, на этот пресловутый «желтый билет», о котором он так много слышал. Это был обыкновенный белый листочек не более почтового конверта. На одной стороне в соответствующей графе были прописаны имя, отчество и фамилия Любки и ее профессия — «проститутка», а на другой стороне — краткие извлечения из параграфов того плаката, который он только что прочитал,— позорные, лице-

мерные правила о приличном поведении и внешней и внутренней чистоте. «Каждый посетитель,— прочитал он,— имеет право требовать от проститутки письменное удостоверение доктора, свидетельствовавшего ее в последний раз». И опять сентиментальная жалость овладела сердцем Лихонина.

«Бедные женщины! — подумал он со скорбью.— Чего только с вами не делают, как не издеваются над вами, пока вы не привыкнете ко всему, точно слепые лошади на молотильном приводе!»

В участке его принял околоточный Кербеш. Он провел ночь на дежурстве, не выспался и был сердит. Его роскошная, веерообразная рыжая борода была помята. Правая половина румяного лица еще пунцово рдела от долгого лежания на неудобной клеенчатой подушке. Но удивительные ярко-синие глаза, холодные и светлые, глядели ясно и жестко, как голубой фарфор. Окончив допрашивать, переписывать и ругать скверными словами кучу оборванцев, забранных ночью для вытрезвления и теперь отправляемых по своим участкам, он откинулся на спинку дивана, заложил руки за шею и так крепко потянулся всей своей огромной богатырской фигурой, что у него затрещали все связки и суставы. Поглядел он на Лихонина, точно на вещь, и спросил:

— А вам что, господин студент?

Лихонин вкратце изложил свое дело.

— И вот я хочу,— закончил он,— взять ее к себе... как это у вас полагается?.. в качестве прислуги или, если хотите, родственницы, словом... как это делается?..

— Ну, скажем, содержанки или жены,— равнодушно возразил Кербеш и покрутил в руках серебряный портсигар с монограммами и фигурками.— Я решительно ничего не могу для вас сделать... по крайней мере сейчас. Если вы желаете на ней жениться, представьте соответствующее разрешение своего университетского начальства. Если же вы берете на содержание, то подумайте, какая же тут логика? Вы берете девушку из дома разврата для того, чтобы жить с ней в развратном сожительстве.

— Прислугой, наконец,— вставил Лихонин.

— Да и прислугой тоже. Потрудитесь представить свидетельство от вашего квартирохозяина,— ведь, наде-

юсь, вы сами не домовладелец?.. Так вот, свидетельство о том, что вы в состоянии держать прислугу, а кроме того, все документы, удостоверяющие, что вы именно та личность, за которую себя выдаете, например, свидетельство из вашего участка и из университета и все такое прочее. Ведь вы, надеюсь, прописаны? Или, может быть, того?.. Из нелегальных?

— Нет, я прописан! — возразил Лихонин, начиная терять терпение.

— И чудесно. А девица, о которой вы хлопочете?

— Нет, она еще не прописана. Но у меня имеется ее бланк, который вы, надеюсь, обмените мне на ее настоящий паспорт, и тогда я сейчас же пропишу ее.

Кербеш развел руками, потом опять заиграл портсигаром.

— Ничего не могу поделать для вас, господин студент, ровно ничего, покамест вы не представите всех требуемых бумаг. Что касается до девицы, то она, как не имеющая жительства, будет немедленно отправлена в полицию и задержана при ней, если только сама лично не пожелает отправиться туда, откуда вы ее взяли. Имею честь кланяться.

Лихонин резко нахлобучил шапку и пошел к дверям. Но вдруг у него в голове мелькнула остроумная мысль, от которой, однако, ему самому стало противно. И чувствуя под ложечкой тошноту, с мокрыми, холодными руками, испытывая противное щемление в пальцах ног, он опять подошел к столу и сказал, как будто бы небрежно, но срывающимся голосом:

— Виноват, господин околоточный. Я забыл самое главное: один наш общий знакомый поручил мне передать вам его небольшой должок.

— Хм! Знакомый? — спросил Кербеш, широко раскрывая свои прекрасные лазурные глаза.— Это кто же такой?

— Бар... Барбарисов.

— А, Барбарисов? Так, так, так! Помню, помню!

— Так вот, не угодно ли вам принять эти десять рублей?

Кербеш покачал головой, но бумажку не взял.

— Ну и свинья же этот ваш... то есть наш Барбарисов. Он мне должен вовсе не десять рублей, а четверт-

ную. Подлец этакий! Двадцать пять рублей, да еще там мелочь какая-то. Ну, мелочь я ему, конечно, не считаю. Бог с ним! Это, видите ли, бильярдный долг. Я должен сказать, что он, негодяй, играет нечисто... Итак, молодой человек, гоните еще пятнадцать.

— Ну, и жох же вы, господин околоточный! — сказал Лихонин, доставая деньги.

— Помилуйте! — совсем уж добродушно возразил Кербеш.— Жена, дети... Жалованье наше, вы сами знаете, каксе... Получайте, молодой человек, паспортишко. Распишитесь в принятии. Желаю...

Странное дело! Сознание того, что паспорт, наконец, у него в кармане, почему-то вдруг успокоило и опять взбодрило и приподняло нервы Лихонина.

«Что же! — думал он, быстро идя по улице.— Самое начало положено, самое трудное сделано. Держись крепко теперь, Лихонин, и не падай духом! То, что ты сделал,— прекрасно и возвышенно. Пусть я буду даже жертвой этого поступка — все равно! Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды. Я не цирковая собачка, и не дрессированный верблюд, и не первая ученица института благородных девиц. Напрасно только я вчера разболтался с этими носителями просвещения. Вышло глупо, бестактно и во всяком случае преждевременно. Но все поправимо в жизни. Перетерпишь самое тяжелое, самое позорное, а пройдет время, вспомнишь о нем, как о пустяках...»

К его удивлению, Любка не особенно удивилась и совсем не обрадовалась, когда он торжественно показал ей паспорт. Она была только рада опять увидеть Лихонина. Кажется, эта первобытная, наивная душа успела уже прилепиться к своему покровителю. Она кинулась было к нему на шею, но он остановил ее и тихо, почти на ухо спросил:

— Люба, скажи мне... не бойся говорить правду, что бы ни было... Мне сейчас там, в доме, сказали, что будто ты больна одной болезнью... знаешь, такой, которая называется дурной болезнью. Если ты мне хоть сколько-нибудь веришь, скажи, голубчик, скажи, так это или нет?

Она покраснела, закрыла лицо руками, упала на диван и расплакалась.

— Миленький мой! Василь Василич! Васенька! Ей-богу! Вот, ей-богу, никогда ничего подобного! Я всегда была такая осторожная. Я ужасно этого боялась. Я вас так люблю! Я вам непременно бы сказала.— Она поймала его руки, прижала их к своему мокрому лицу и продолжала уверять его со смешной и трогательной искренностью несправедливо обвиняемого ребенка.

И он тотчас же в душе поверил ей.

— Я тебе верю, дитя мое,— сказал он тихо, поглаживая ее волосы. — Не волнуйся, не плачь. Только не будем опять поддаваться нашим слабостям. Ну, случилось — пусть случилось, и больше не повторим этого.

— Как хотите,— лепетала девушка, целуя то его руки, то сукно его сюртука.— Если я вам так не нравлюсь, то, конечно, как хотите.

Однако и в этот же вечер соблазн опять повторился и до тех пор повторялся, пока моменты грехопадения перестали возбуждать в Лихонине жгучий стыд и не обратились в привычку, поглотив и потушив раскаяние.

XVI

Надо отдать справедливость Лихонину: он сделал все, чтобы устроить Любке спокойное и безбедное существование. Так как он знал, что им все равно придется оставить их мансарду, этот скворечник, возвышавшийся над всем городом, оставить не так из-за тесноты и неудобства, как из-за характера старухи Александры, которая с каждым днем становилась все лютее, придирчивее и бранчивее, то он решился снять на краю города, на Борщаговке, маленькую квартиренку, состоявшую из двух комнат и кухни. Квартира попалась ему недорогая, за девять рублей в месяц, без дров. Правда, Лихонину приходилось бегать оттуда очень далеко по его урокам, но он твердо полагался на свою выносливость и здоровье и часто говаривал:

— У меня ноги свои. Жалеть их нечего.

И правда, ходить пешком он был великий мастер. Однажды, ради шутки, положив себе в жилетный карман шагомер, он к вечеру насчитал двадцать верст, что, при-

нимая во внимание необыкновенную длину его ног, равнялось верстам двадцати пяти. А бегать ему надо было довольно-таки много, потому что хлопоты по Любкиному паспорту и обзаведение кое-какою домашнею рухлядью съели весь его случайный карточный выигрыш. Он пробовал было опять приняться за игру, сначала по маленькой, но вскоре убедился, что теперь его карточная звезда вступила в полосу рокового невезения.

Ни для кого из его товарищей уже, конечно, не был тайной настоящий характер его отношений к Любке, но он еще продолжал в их присутствии разыгрывать с девушкой комедию дружеских и братских отношений. Почему-то он не мог или не хотел сознать того, что было бы гораздо умнее и выгоднее для него не лгать, не фальшивить и не притворяться. Или, может быть, он хотя и знал это, но не умел перевести установившегося тона? А в интимных отношениях он неизбежно играл второстепенную, пассивную роль. Инициатива, в виде нежности, ласки, всегда исходила от Любки (она так и осталась Любкой, и Лихонин как-то совсем позабыл о том, что в паспорте сам же прочитал ее настоящее имя — Ирина). Она, еще так недавно отдававшая безучастно или, наоборот, с имитацией знойной страсти свое тело десяткам людей в день, сотням в месяц, привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым, приросла к нему телом, чувством, мыслями. Ей был смешон и занимателен князь, близок душевно и интересно-забавен размашистый Соловьев; к подавляющей авторитетности Симановского она чувствовала суеверный ужас, но Лихонин был для нее одновременно и властелином, и божеством, и, что всего ужаснее, ее собственностью, и ее телесной радостью.

Давно наблюдено, что изжившийся, затасканный мужчина, изгрызанный и изжеванный челюстями любовных страстей, никогда уже не полюбит крепкой и единой любовью, одновременно самоотверженной, чистой и страстной. А для женщины в этом отношении нет ни законов, ни пределов. Это наблюдение в особенности подтверждалось на Любке. Она с наслаждением готова была пресмыкаться перед Лихониным, служить ему как раба, но в то же время хотела, чтобы он принадлежал ей больше, чем стол, чем собачка, чем ночная кофта. И он

оказывался всегда неустойчивым, всегда падающим под натиском этой внезапной любви, которая из скромного ручейка так быстро превратилась в реку и вышла из берегов. И нередко он с горечью и насмешкой думал про себя:

«Каждый вечер я играю роль прекрасного Иосифа, но тот по крайней мере хоть вырвался, оставив в руках у пылкой дамы свое нижнее белье, а когда же я, наконец, освобожусь от своего ярма?»

И тайная вражда к Любке уже грызла его. Все чаще и чаще приходили ему в голову разные коварные планы освобождения. И иные из них были настолько нечестны, что через несколько часов или на другой день, вспоминая о них, Лихонин внутренне корчился от стыда.

«Я падаю нравственно и умственно! — думал иногда он с ужасом.— Недаром же я где-то читал или от кого-то слышал, что связь культурного человека с малоинтеллигентной женщиной никогда не поднимет ее до уровня мужчины, а наоборот, его пригнет и опустит до умственного и нравственного кругозора женщины».

И через две недели она уже совсем перестала волновать его воображение. Он уступал, как насилию, длительным ласкам, просьбам, а часто и жалости.

А между тем, отдохнувшая и почувствовавшая у себя под ногами живую, настоящую почву, Любка стала хорошеть с необыкновенной быстротою, подобно тому как внезапно развертывается после обильного и теплого дождя цветочный бутон, еще вчера почти умиравший. Веснушки сбежали с ее нежного лица, и в темных глазах исчезло недоумевающее, растерянное, точно у молодого галчонка, выражение, и они посвежели и заблестели. Окрепло и налилось тело, покраснели губы. Но Лихонин, видаясь ежедневно с Любкой, не замечал этого и не верил тем комплиментам, которые ей расточали его приятели. «Дурацкие шутки,— думал он, хмурясь.— Дразнятся мальчишки».

Хозяйкой Любка оказалась менее чем посредственной. Правда, она умела сварить жирные щи, такие густые, что в них ложка стояла торчком, приготовить огромные, неуклюжие, бесформенные котлеты и довольно быстро освоилась под руководством Лихонина с великим искусством заваривания чая (в семьдесят пять копеек

фунт), но дальше этого она не шла, потому что, вероятно, каждому искусству и для каждого человека есть свои крайние пределы, которых никак не переступишь. Зато она очень любила мыть полы и исполняла это занятие так часто и с таким усердием, что в квартире скоро завелась сырость и показались мокрицы.

Соблазненный однажды газетной рекламой, Лихонин приобрел для нее в рассрочку чулочно-вязальную машину. Искусство владеть этим инструментом, сулившим, судя по объявлению, три рубля в день чистого заработка его владельцу, оказалось настолько нехитрым, что Лихонин, Соловьев и Нижерадзе легко овладели им в несколько часов, а Лихонин даже ухитрился связать целый чулок необыкновенной прочности и таких размеров, что он оказался бы велик даже для ног Минина и Пожарского, что в Москве, на Красной площади. Одна только Любка никак не могла постигнуть это ремесло. При каждой ошибке или путанице ей приходилось обращаться к содействию мужчин. Но зато делать искусственные цветы она научилась довольно быстро и, вопреки мнению Симановского, делала их очень изящно и с большим вкусом, так что через месяц шляпные и специальные магазины стали покупать у нее работу. И что самое удивительное, она взяла всего два урока у специалистки, а остальному научилась по самоучителю, руководясь только приложенными к нему рисунками. Она не ухитрялась выработать цветов более чем на рубль в неделю, но и эти деньги были ее гордостью, и на первый же вырученный полтинник она купила Лихонину мундштук для курения.

Несколько лет спустя Лихонин сам в душе сознавался с раскаянием и тихой тоской, что этот период времени был самым тихим, мирным и уютным за всю его университетскую и адвокатскую жизнь. Эта неуклюжая, неловкая, может быть, даже глупая Любка обладала какой-то инстинктивной домовитостью, какой-то незаметной способностью создавать вокруг себя светлую, спокойную и легкую тишину. Это именно она достигла того, что квартира Лихонина очень скоро стала милым, тихим центром, где чувствовали себя как-то просто, по-семейному, и отдыхали душою после тяжелых мытарств, нужды и голодания все товарищи Лихонина, которым, как и большинству студентов того времени, приходилось выдерживать

ожесточенную борьбу с суровыми условиями жизни. Вспоминал Лихонин с благодарной грустью об ее дружеской услужливости, об ее скромной и внимательной молчаливости в эти вечера за самоваром, когда так много говорилось, спорилось и мечталось.

С учением дело шло очень туго. Все эти самозванные развиватели, вместе и порознь, говорили о том, что образование человеческого ума и воспитание человеческой души должны исходить из индивидуальных мотивов, но на самом деле они пичкали Любку именно тем, что им самим казалось нужным и необходимым, и старались преодолеть с нею именно те научные препятствия, которые без всякого ущерба можно было бы оставить в стороне.

Так, например, Лихонин ни за что не хотел примириться, обучая ее арифметике, с ее странным, варварским, дикарским или, вернее, детским, самобытным способом считать. Она считала исключительно единицами, двойками, тройками и пятками. Так, например, двенадцать у нее были два раза по две тройки, девятнадцать— три пятерки и две двойки, и надо сказать, что по своей системе она с быстротою счетных костяшек оперировала почти до ста. Дальше идти она не решалась, да, впрочем, ей и не было в этом практической надобности. Тщетно Лихонин старался перевести ее на десятеричную систему. Из этого ничего не получалось кроме того, что он выходил из себя, кричал на Любку, а она глядела на него молча, изумленными, широко открытыми и виноватыми глазами, на которых ресницы от слез слипались длинными черными стрелами. Так же, по капризному складу ума, она сравнительно легко начала овладевать сложением и умножением, но вычитание и деление было для нее непроницаемой стеной. Зато с удивительной быстротой, легкостью и остроумием она умела решать всевозможные устные шутливые задачи-головоломки, да и сама помнила их еще очень много из деревенского тысячелетнего обихода. К географии она была совершенно тупа. Правда, она в сотни раз лучше, чем Лихонин, умела на улице, в саду и в комнате ориентироваться по странам света,— в ней сказывался древний мужицкий инстинкт,— но она упорно отвергала сферичность земли и не признавала горизонта, а когда ей говорили, что земной шар движется в пространстве, она только фыркала. Географи-

ческие карты для нее всегда были непонятной мазней в несколько красок, но отдельные фигуры она запоминала точно и быстро. «Где Италия?» — спрашивал ее Лихонин. «Вот он. Сапог»,— говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. «Швеция и Норвегия?» — «Это собака, которая прыгает с крыши».— «Балтийское море?» — «Вдова стоит на коленях».— «Черное море?» — «Башмак».— «Испания?» — «Толстяк в фуражке. Вот он...» и так далее. С историей дело шло не лучше. Лихонин не учитывал того, что она с ее детской душой, жаждущей вымысла, легко освоилась бы с историческими событиями по разным смешным и героически-трогательным анекдотам, а он, привыкший натаскивать к экзаменам и репетировать гимназистов четвертого или пятого класса, морил ее именами и годами. Кроме того, он был очень нетерпелив, несдержан, вспыльчив, скоро утомлялся, и тайная, обыкновенно скрываемая, но все возраставшая ненависть к этой девушке, так внезапно и нелепо перекосившей всю его жизнь, все чаще и несправедливее срывалась во время этих уроков.

Гораздо большим успехом пользовался, как педагог, Нижерадзе. Его гитара и мандолина всегда висели в столовой, прикрепленные лентами к гвоздям. Любку более влекла гитара своими мягкими теплыми звуками, чем раздражающее металлическое блеяние мандолины. Когда Нижерадзе приходил к ним в гости (раза три или четыре в неделю, вечером), она сама снимала гитару со стены, тщательно вытирала ее платком и передавала ему. Он, повозившись некоторое время с настройкой, откашливался, клал ногу на ногу, небрежно отваливался на спинку стула и начинал горловым, немного хриплым, но приятным и верным тенорком:

Паридетльскай завукэ пацилуя
Разыдался ва начиной тишинее,
Он, пылакая серадаца чаруя,
Дасытупин валюбленной чите.
. . . . . .
За мига савиданья...

И при этом он делал вид, что млеет от собственного пения, зажмуривал глаза, в страстных местах потрясал головою или во время пауз, оторвав правую руку от струн, вдруг на секунду окаменевал и вонзался в глаза

Любки томными, влажными, бараньими глазами. Он знал бесконечное множество романсов, песенок и старинных шутливых штучек. Больше всего нравились Любке всем известные армянские куплеты про Карапета:

У Карапета есть буфет,
На буфете есть конфет,
На конфете есть портрет,—
Этот самый Карапет.

Куплетов этих (они на Кавказе называются «кинтоури» — песня разносчиков) князь знал беспредельно много, но нелепый припев был всегда один и тот же:

Браво, браво, Катенька,
Катерин Петровна,
Не целуй меня в щека,
Целуй на затылкам.

Пел эти куплеты Нижерадзе всегда уменьшенным голосом, сохраняя на лице выражение серьезного удивления к Карапету, а Любка смеялась до боли, до слез, до нервных спазм. Однажды, увлеченная, она не удержалась и стала вторить, и у них пение вышло очень согласное. Мало-помалу, когда постепенно она перестала стесняться князя, они все чаще и чаще пели вместе. У Любки оказалось очень мягкое и низкое, хотя и маленькое, контральто, на котором совсем не оставила следов ее прошлая жизнь с простудами, питьем и профессиональными излишествами. А главное — что уже было случайным курьезным даром божиим—она обладала инстинктивною, прирожденною способностью очень точно, красиво и всегда оригинально вести второй голос. Настало уже то время, под конец их знакомства, когда не Любка князя, а, наоборот, князь ее упрашивал спеть какую-нибудь из любимых народных песен, которых она знала множество. И вот, положив локоть на стол и подперев по-бабьи голову ладонью, она заводила под бережный, тщательный, тихий аккомпанемент:

Ой, да надоели мне ночи, да наскучили,
Со милым, со дружком, быть разлученной!
Ой, не сама ли я, баба, глупость сделала,
Моего дружка распрогневала:
Назвала его горьким пьяницей!..

— Горьким пьяницей! — повторял князь вместе с ней последние слова и уныло покачивал склоненной набок курчавой головой, и оба они старались окончить песню так, чтобы едва уловимый трепет гитарных струн и голоса постепенно стихали и чтобы нельзя было заметить, когда кончился звук и когда настало молчание.

Зато с «Барсовой кожей», сочинением знаменитого грузинского поэта Руставели, князь Нижерадзе окончательно провалился. Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него в том, как она звучала на родном языке, но едва только он начинал нараспев читать свои гортанные, цокающие, харкающие фразы,— Любка сначала долго тряслась от непреодолимого смеха, пока, наконец, не прыскала на всю комнату и разражалась длинным хохотом. Тогда Нижерадзе со злостью захлопывал томик обожаемого писателя и бранил Любку ишаком и верблюдом. Впрочем, они скоро мирились.

Бывали случаи, что на Нижерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Он делал вид, что хочет обнять Любку, выкатывал на нее преувеличенно страстные глаза и театральным изнывающим шепотом произносил:

— Душя мой! Лучший роза в саду Аллаха! Мед и молоко на устах твоих, а дыхание твое лучше, чем аромат шашлыка. Дай мне испить блаженство нирваны из кубка твоих уст, о ты, моя лучшая тифлисская чурчхела!

А она смеялась, сердилась, била его по рукам и угрожала пожаловаться Лихонину.

— Вва! — разводил князь руками.— Что такое Лихонин? Лихонин — мой друг, мой брат и кунак. Но разве он знает, что такое любофф? Разве вы, северные люди, понимаете любофф? Это мы, грузины, созданы для любви. Смотри, Люба! Я тебе покажу сейчас, что такое любофф! — Он сжимал кулаки, выгибался телом вперед и так зверски начинал вращать глазами, так скрежетал зубами и рычал львиным голосом, что Любку, несмотря на то, что она знала, что это шутка, охватывал детский страх, и она бросалась бежать в другую комнату.

Однако надо сказать, что для этого парня, вообще очень невоздержанного насчет легких случайных романов, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные с молоком матери-грузинки, священные адаты от-

носительно жены друга. Да и, должно быть, он понимал,— а надо сказать, что эти восточные человеки, несмотря на их кажущуюся наивность, а может быть, и благодаря ей, обладают, когда захотят, тонким душевным чутьем,— понимал, что, сделав хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, он навсегда лишится этого милого, тихого семейного вечернего уюта, к которому он так привык. А он, который был на «ты» почти со всем университетом, тем не менее чувствовал себя таким одиноким в чужом городе и до сих пор чуждой для него стране!

Больше всего удовольствия доставляли эти занятия Соловьеву. Этот большой, сильный и небрежный человек как-то невольно, незаметно для самого себя, стал подчиняться тому скрытому, неуловимому, изящному обаянию женственности, которое нередко таится под самой грубой оболочкой, в самой жесткой, корявой среде. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствам первобытной, но зато свежей, глубокой и оригинальной души Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Так, например, она, как многие, впрочем, дети, раньше выучилась писать, чем читать. Не она сама, кроткая и уступчивая по натуре, а какое-то особенное свойство ее ума упрямо не хотело при чтении пристегивать гласную к согласной или наоборот; в письме же у нее это выходило. К чистописанию по косым линейкам она, вопреки общему обыкновению учащихся, чувствовала большую склонность: писала, низко склонившись над бумагой, тяжело вздыхала, дула от старания на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подпирала изнутри то одну, то другую щеку языком, Соловьев не прекословил ей и шел следом по тем путям, которые пролагал ее инстинкт. И надо сказать, что он за эти полтора месяца успел привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой к этому случайному, слабому, временному существу. Это была бережная, смешная, великодушная, немного удивленная любовь и бережная забота доброго слона к хрупкому, беспомощному желтопухому цыпленку.

Чтение для них обоих было лакомством, и опять-таки выбором произведений руководил вкус Любки, а Соловьев шел только по его течению и изгибам. Так, напри-

мер, Любка не одолела Дон-Кихота, устала и, наконец, отвернувшись от него, с удовольствием прослушала Робинзона и особенно обильно поплакала над сценой свидания с родственниками. Ей нравился Диккенс, и она очень легко схватывала его светлый юмор, но бытовые английские черты были ей чужды и непонятны. Читали они не раз и Чехова, и Любка свободно, без затруднения вникала в красоту его рисунка, в его улыбку и грусть. Детские рассказы ее умиляли, трогали до такой степени, что смешно и радостно было на нее глядеть. Однажды Соловьев прочитал ей чеховский рассказ «Припадок», в котором, как известно, студент впервые попадает в публичный дом и потом, на другой день, бьется, как в припадке, в спазмах острого душевного страдания и сознания общей виновности. Соловьев сам не ожидал того громадного впечатления, которое на нее произведет эта повесть. Она плакала, бранилась, всплескивала руками и все время восклицала:

— Господи! Откуда он все это берет и как ловко! Ведь точь-в-точь как у нас!

Однажды он принес с собою книжку, озаглавленную: «История Манон Леско и кавалера де Грие, сочинение аббата Прево». Надо сказать, что эту замечательную книгу сам Соловьев читал впервые. Но гораздо глубже и тоньше оценила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество сентиментальности, старомодность письма — все это вместе взятое расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но как будто глазами и всем наивно открытым сердцем радостные, печальные, трогательные и легкомысленные детали этого причудливого бессмертного романа.

«Намерение наше обвенчаться было забыто в Сен-Дени,— читал Соловьев, низко склонив свою кудлатую, золотистую, освещенную абажуром голову над книгой,— мы преступили законы церкви и, не подумав о том, стали супругами».

— Что же это они? Самоволкой, значит? Без попа? Так? — спросила тревожно Любка, отрываясь от своих искусственных цветов.

— Конечно. Так что же? Свободная любовь, и больше никаких. Вот как и вы с Лихониным.

— То я! Это совсем другое дело. Он взял меня, вы сами знаете, откуда. А она — барышня невинная и благородная. Это подлость с его стороны так делать. И, поверьте мне, Соловьев, он ее непременно потом бросит. Ах, бедная девушка! Ну, ну, ну, читайте дальше.

Но уже через несколько страниц все симпатии и сожаления Любки перешли от Манон на сторону обманутого кавалера.

«Впрочем, посещения и уход украдкой г. де Б. приводили меня в смущение. Я вспомнил также небольшие покупки Манон, которые превосходили наши средства. Все это попахивало щедростью нового любовника. Но нет, нет! — повторял я,— невозможно, чтобы Манон изменила мне! Она знает, что я живу только для нее, она прекрасно знает, что я ее обожаю».

— Ах, дурачок, дурачок! — воскликнула Любка.—Да разве же не видно сразу, что она у этого богача на содержании. Ах, она дрянь какая!

И чем дальше развертывался роман, тем более живое и страстное участие принимала в нем Любка. Она ничего не имела против того, что Манон обирала при помощи любовника и брата своих очередных покровителей, а де Грие занимался шулерской игрой в притонах, но каждая ее новая измена приводила Любку в неистовство, а страдания кавалера вызывали у нее слезы. Однажды она спросила:

— Соловьев, милочка, а он кто был, этот сочинитель?

— Это был один французский священник.

— Он был не русский?

— Нет, говорю тебе, француз. Видишь, там у него все: и города французские, и люди с французскими именами.

— Так вы говорите, он был священник? Откуда же он все это знал?

— Да так уж, знал. Раньше он был обыкновенным светским человеком, дворянином, а уж потом стал монахом. Он многое видел в своей жизни. Потом он опять вышел из монахов. Да, впрочем, здесь впереди книжки все о нем подробно написано.

Он прочитал ей биографию аббата Прево. Любка внимательно прослушала ее, многозначительно покачала головою, переспросила в некоторых местах о том, что

ей было непонятно, и, когда он кончил, она задумчиво протянула:

— Так вот он какой! Ужасно хорошо написал. Только зачем она такая подлая? Ведь он вот как ее любит, на всю жизнь, а она постоянно ему изменяет.

— Что же, Любочка, поделаешь? Ведь и она его любила. Только она пустая девчонка, легкомысленная. Ей бы только тряпки, да собственные лошади, да брильянты.

Любка вспыхнула и крепко ударила кулаком об кулак.

— Я бы ее, подлую, в порошок стерла! Тоже это называется любила! Если ты любишь человека, то тебе все должно быть мило от него. Он в тюрьму, и ты с ним в тюрьму. Он сделался вором, а ты ему помогай. Он нищий, а ты все-таки с ним. Что тут особенного, что корка черного хлеба, когда любовь? Подлая она и подлая! А я бы, на его месте, бросила бы ее или, вместо того чтобы плакать, такую задала ей взбучку, что она бы целый месяц с синяками ходила, гадина!

Конца повести она долго не могла дослушать и все разражалась такими искренними горячими слезами, что приходилось прерывать чтение, и последнюю главу они одолели только в четыре приема. И сам чтец не раз прослезился при этом.

Беды и злоключения любовников в тюрьме, насильственное отправление Манон в Америку и самоотверженность де Грие, добровольно последовавшего за нею, так овладели воображением Любки и потрясли ее душу, что она уже забывала делать свои замечания. Слушая рассказ о тихой, прекрасной смерти Манон среди пустынной равнины, она, не двигаясь, с стиснутыми на груди руками глядела на огонь лампы, и слезы часто-часто бежали из ее раскрытых глаз и падали, как дождик, на стол. Но когда кавалер де Грие, пролежавший двое суток около трупа своей дорогой Манон, не отрывая уст от ее рук и лица, начинает, наконец, обломком шпаги копать могилу,— Любка так разрыдалась, что Соловьев напугался и кинулся за водой. Но и успокоившись немного, она долго еще всхлипывала дрожащими распухшими губами и лепетала:

— Ах! Жизнь их была какая разнесчастная! Вот судьба-то горькая какая! И уже кого мне жалеть больше,

я теперь не знаю: его или ее. И неужели это всегда так бывает, милый Соловьев, что как только мужчина и женщина вот так вот влюбятся, как они, то непременно их бог накажет? Голубчик, почему же это? Почему?

XVII

Но, если грузин и добродушный Соловьев служили в курьезном образовании ума и души Любки смягчающим началом против острых шипов житейской премудрости и если Любка прощала педантизм Лихонина ради первой искренней и безграничной любви к нему и прощала так же охотно, как простила бы ему брань, побои или тяжелое преступление,— зато для нее искренним мучением и постоянной длительной тяготой были уроки Симановского. А надо сказать, что он, как назло, был в своих урокак гораздо аккуратнее и точнее, чем всякий педагог, отрабатывающий свои недельные поурочные.

Неопровержимостью своих мнений, уверенностью тона, дидактичностью изложения он так же отнимал волю у бедной Любки и парализовал ее душу, как иногда во время университетских собраний или на массовках он влиял на робкие и застенчивые умы новичков. Он бывал оратором на сходках, он был видным членом по устройству студенческих столовых, он участвовал в записывании, литографировании и издании лекций, он бывал выбираем старостой курса и, наконец, принимал очень большое участие в студенческой кассе. Он был из числа тех людей, которые, после того как оставят студенческие аудитории, становятся вожаками партий, безграничными властителями чистой и самоотверженной совести, отбывают свой политический стаж где-нибудь в Чухломе, обращая острое внимание всей России на свое героически-бедственное положение, и затем, прекрасно опираясь на свое прошлое, делают себе карьеру, благодаря солидной адвокатуре, депутатству или же женитьбе, сопряженной с хорошим куском черноземной земли и с земской деятельностью. Незаметно для самих себя и совсем уже незаметно для постороннего взгляда они осторожно правеют или, вернее, линяют до тех пор, пока не отрастят себе живот, не наживут подагры и болезни печени. Тогда они ворчат на весь мир, говорят, что их не поняли, что их

время было временем святых идеалов. А в семье они деспоты и нередко отдают деньги в рост.

Путь образования Любкиного ума и души был для него ясен, как было ясно и неопровержимо все, что он ни задумывал; он хотел сначала заинтересовать Любку опытами по химии и физике.

«Девственно-женский ум,— размышлял он,— будет поражен, тогда я овладею ее вниманием и от пустяков, от фокусов я перейду к тому, что введет ее в центр всемирного познания, где нет ни суеверия, ни предрассудков, где есть только широкое поле для испытания природы».

Надо сказать, что он был непоследовательным в своих уроках. Он таскал, на удивление Любки, все, что ему попадалось под руки. Однажды приволок к ней большую самодельную шутиху — длинную картонную кишку, наполненную порохом, согнутую в виде гармонии и перевязанную крепко поперек шнуром. Он зажег ее, и шутиха долго с треском прыгала по столовой и по спальне, наполняя комнату дымом и вонью. Любка почти не удивилась и сказала, что это просто фейерверки, и что она это уже видела, и что ее этим не удивишь. Однако попросила позволения открыть окно. Затем он принес большую склянку, свинцовой бумаги, канифоли и кошачий хвост и таким образом устроил лейденскую банку. Разряд хотя и слабый, но все-таки получился.

— Ну тебя к нечистому, сатана! — закричала Любка, почувствовав сухой щелчок в мизинце.

Затем из нагретой перекиси марганца, смешанного с песком, был добыт при помощи аптекарского пузырька, гуттаперчевого конца от эсмарховой кружки, таза, наполненного водой, и банки из-под варенья — кислород. Разожженная пробка, уголь и проволока горели в банке так ослепительно, что глазам становилось больно. Любка хлопала в ладоши и визжала в восторге:

— Господин профессор, еще! Пожалуйста, еще, еще!..

Но когда, соединив в принесенной пустой бутылке из-под шампанского водород с кислородом и обмотав бутыль для предосторожности полотенцем, Симановский велел Любке направить горлышко на горящую свечу, и когда раздался взрыв, точно разом выпалили из четырех пушек, взрыв, от которого посыпалась штукатурка с по-

толка, тогда Любка струсила и, только с трудом оправившись, произнесла дрожащими губами, но с достоинством:

— Вы уж извините меня, пожалуйста, но так как у меня собственная квартира и теперь я вовсе не девка, а порядочная женщина, то прошу больше у меня не безобразничать. Я думала, что вы, как умный и образованный человек, все чинно и благородно, а вы только глупостями занимаетесь. За это могут и в тюрьму посадить.

Впоследствии, много, много спустя, она рассказывала о том, что у нее был знакомый студент, который делал при ней динамит.

Должно быть, в конце концов Симановский, этот загадочный человек, такой влиятельный в своей юношеской среде, где ему приходилось больше иметь дело с теорией, и такой несуразный, когда ему попался практический опыт над живой душой, был просто-напросто глуп, но только умел искусно скрывать это единственное в нем искреннее качество.

Потерпев неудачу в прикладных науках, он сразу перешел к метафизике. Однажды он очень самоуверенно и таким тоном, после которого не оставалось никаких возражений, заявил Любке, что бога нет и что он берется это доказать в продолжение пяти минут. Тогда Любка вскочила с места и сказала ему твердо, что она, хотя и бывшая проститутка, но верует в бога и не позволит его обижать в своем присутствии и что если он будет продолжать такие глупости, то она пожалуется Василию Васильевичу.

— Я ему тоже скажу,— прибавила она плачущим голосом,— что вы, вместо того чтобы меня учить, только болтаете всякую чушь и тому подобную гадость, а сами все время держите руку у меня на коленях. А это даже совсем неблагородно.— И в первый раз за все их знакомство она, раньше робевшая и стеснявшаяся, резко отодвинулась от своего учителя.

Однако Симановский, потерпев несколько неудач, все-таки упрямо продолжал действовать на ум и воображение Любки. Он пробовал ей объяснить теорию происхождения видов, начиная от амебы и кончая Наполеоном. Любка слушала его внимательно, и в глазах ее при этом было умоляющее выражение: «Когда же ты перестанешь

наконец?» Она зевала в платок и потом виновато объясняла: «Извините, это у меня от нервов». Маркс тоже не имел успеха: товар, добавочная стоимость, фабрикант и рабочий, превратившиеся в алгебраические формулы, были для Любки лишь пустыми звуками, сотрясающими воздух, и она, очень искренняя в душе, всегда с радостью вскакивала с места, услышав, что, кажется, борщ вскипел или самовар собирается убежать.

Нельзя сказать, чтобы Симановский не имел успеха у женщин. Его апломб и его веский, решительный тон всегда действовали на простые души, в особенности на свежие, наивно-доверчивые души. От длительных связей он отделывался всегда очень легко: либо на нем лежало громадное ответственное призвание, перед которым семейные любовные отношения — ничто, либо он притворялся сверхчеловеком, которому все позволено (о ты, Ницше, так давно и так позорно перетолкованный для гимназистов!). Пассивное, почти незаметное, но твердо уклончивое сопротивление Любки раздражало и волновало его. Именно раззадоривало его то, что она, прежде всем такая доступная, готовая отдать свою любовь в один день нескольким людям подряд, каждому за два рубля, и вдруг она теперь играет в какую-то чистую и бескорыстную влюбленность!

«Ерунда,— думал он.— Этого не может быть. Она ломается, и, вероятно, я с нею не нахожу настоящего тона».

И с каждым днем он становился требовательнее, придирчивее и суровее. Он вряд ли сознательно, вернее что по привычке, полагался на свое всегдашнее влияние, устрашающее мысль и подавляющее волю, которое ему редко изменяло.

Однажды Любка пожаловалась на него Лихонину:

— Уж очень он, Василий Васильевич, со мной строгий, и ничего я не понимаю, что он говорит, и я больше не хочу с ним учиться.

Лихонин кое-как, с грехом пополам, успокоил ее, но все-таки объяснился с Симановским. Тот ему ответил хладнокровно:

— Как хотите, дорогой мой, если вам или Любе не нравится мой метод, то я готов и отказаться. Моя задача состоит лишь в том, чтобы в ее образование ввести

настоящий элемент дисциплины. Если она чего-нибудь не понимает, то я заставляю ее зубрить наизусть. Со временем это прекратится. Это неизбежно. Вспомните, Лихонин, как нам был труден переход от арифметики к алгебре, когда нас заставляли заменять простые числа буквами, и мы не знали, для чего это делается. Или для чего нас учили грамматике, вместо того чтобы просто рекомендовать нам самим писать повести и стихи?

А на другой же день, склонившись низко под висячим абажуром лампы над телом Любки и обнюхивая ее грудь и под мышками, он говорил ей:

— Нарисуйте треугольник... Ну да, вот так и вот так. Вверху я пишу «Любовь». Напишите просто букву Л, а внизу М и Ж. Это будет: любовь женщины и мужчины.

С видом жреца, непоколебимым и суровым, он говорил всякую эротическую белиберду и почти неожиданно окончил:

— Итак, поглядите, Люба. Желание любить — это то же, что желание есть, пить и дышать воздухом.— Он крепко сжимал ее ляжку гораздо выше колена, и она, опять конфузясь и не желая его обидеть, старалась едва заметно, постепенно отодвинуть ногу.

— Скажите, ну разве будет для вашей сестры, матери или для вашего мужа обидно, что вы случайно не пообедали дома, а зашли в ресторан или в кухмистерскую и там насытили свой голод. Так и любовь. Не больше, не меньше. Физиологическое наслаждение. Может быть, более сильное, более острое, чем всякие другие, но и только. Так, например, сейчас: я хочу вас, как женщину. А вы...

— Да бросьте, господин,— досадливо прервала его Любка.— Ну, что все об одном и том же. Заладила сорока Якова. Сказано вам: нет и нет. Разве я не вижу, к чему вы подбираетесь? А только я на измену никогда не согласна, потому что как Василий Васильевич мой благодетель и я их обожаю всей душой... А вы мне даже довольно противны с вашими глупостями.

Однажды он причинил Любке,— и все из-за своих теоретических начал,— большое и скандальное огорчение. Так как в университете давно уже говорили о том, что Лихонин спас девушку из такого-то дома и теперь занимается ее нравственным возрождением, то этот слух,

естественно, дошел и до учащихся девушек, бывавших в студенческих кружках. И вот не кто иной, как Симановский, однажды привел к Любке двух медичек, одну историчку и одну начинающую поэтессу, которая, кстати, писала уже и критические статьи. Он познакомил их самым серьезным и самым дурацким образом.

— Вот,— сказал он, протягивая руки то по направлению к гостям, то к Любке,— вот, товарищи, познакомьтесь. Вы, Люба, увидите в них настоящих друзей, которые помогут вам на вашем светлом пути, а вы,— товарищи Лиза, Надя, Саша и Рахиль,— вы отнеситесь как старшие сестры к человеку, который только что выбился из того ужасного мрака, в который ставит современную женщину социальный строй.

Он говорил, может быть, и не так, но во всяком случае приблизительно в этом роде. Любка краснела, протягивала барышням в цветных кофточках и в кожаных кушаках руку, неуклюже сложенную всеми пальцами вместе, потчевала их чаем с вареньем, поспешно давала им закуривать, но, несмотря на все приглашения, ни за что не хотела сесть. Она говорила: «Да-с, нет-с, как изволите». И когда одна из барышень уронила на пол платок, она кинулась торопливо поднимать его.

Одна из девиц, красная, толстая и басистая, у которой всего-навсего были в лице только пара красных щек, из которых смешно выглядывал намек на вздернутый нос и поблескивала из глубины пара черных изюминок-глазок, все время рассматривала Любку с ног до головы, точно сквозь воображаемый лорнет, водя по ней ничего не говорящим, но презрительным взглядом. «Да ведь я ж никого у ней не отбивала»,— подумала виновато Любка. Но другая была настолько бестактна, что,— может быть, для нее в первый раз, а для Любки в сотый,— начала разговор о том, как она попала на путь проституции. Эта была барышня суетливая, бледная, очень хорошенькая, воздушная, вся в светлых кудряшках, с видом избалованного котенка и даже с розовым кошачьим бантиком на шее.

— Но скажите, кто же был этот подлец... который первый... ну, вы понимаете?..

В уме Любки быстро мелькнули образы прежних ее подруг — Женьки и Тамары, таких гордых, смелых и на-

уодчивых,— о, гораздо умнее, чем эти девицы,— и она почти неожиданно для самой себя вдруг сказала резко:

— Их много было. Я уже забыла. Колька, Митька, Володька, Сережка, Жоржик, Трошка, Петька, а еще Кузька да Гуська с компанией. А почему вам интересно?

— Да... нет... то есть я, как человек, который вам вполне сочувствует.

— А у вас любовник есть?

— Простите, я не понимаю, что вы говорите. Господа, нам пора идти.

— То есть как это вы не понимаете? Вы когда-нибудь с мужчиной спали?

— Товарищ Симановский, я не предполагала, что вы нас приведете к такой особе. Благодарю вас. Чрезвычайно мило с вашей стороны!

Любке было только трудно преодолеть первый шаг. Она была из тех натур, которые долго терпят, но быстро срываются, и ее, обыкновенно такую робкую, нельзя было узнать в этот момент.

— А я знаю! — кричала она в озлоблении.— Я знаю, что и вы такие же, как и я! Но у вас папа, мама, вы обеспечены, а если вам нужно, так вы и ребенка вытравите,— многие так делают. А будь вы на моем месте,— когда жрать нечего, и девчонка еще ничего не понимает, потому что неграмотная, а кругом мужчины лезут, как кобели,— то и вы бы были в публичном доме! Стыдно так над бедной девушкой изголяться,— вот что!

Попавший в беду Симановский сказал несколько общих утешительных слов таким рассудительным басом, каким в старинных комедиях говорили благородные отцы, и увел своих дам.

Но ему суждено было сыграть еще одну, очень постыдную, тяжелую и последнюю роль в свободной жизни Любки.

Она давно уже жаловалась Лихонину на то, что ей тяжело присутствие Симановского, но Лихонин не обращал на женские пустяки внимания: был силен в нем пустошный, выдуманный фразерский гипноз этого человека повелений. Есть влияния, от которых освободиться трудно, почти невозможно. С другой стороны, он уже давно тяготился сожительством с Любкой. Часто он думал про

себя: «Она заедает мою жизнь, я пошлею, глупею, я растворился в дурацкой добродетели; кончится тем, что я женюсь на ней, поступлю в акциз, или в сиротский суд, или в педагоги, буду брать взятки, сплетничать и сделаюсь провинциальным гнусным сморчком. И где же мои мечты о власти ума, о красоте жизни, общечеловеческой любви и подвигах?»— говорил он иногда даже вслух и теребил свои волосы. И потому, вместо того чтобы внимательно разобраться в жалобах Любки, он выходил из себя, кричал, топал ногами, а терпеливая, кроткая Любка смолкала и удалялась в кухню, чтобы там выплакаться.

Теперь все чаще и чаще, после семейных ссор, в минуты примирения, он говорил Любке:

— Дорогая Люба, мы с тобой не подходим друг к другу, пойми это. Смотри: вот тебе сто рублей, поезжай домой. Родные тебя примут, как свою. Поживи, осмотрись. Я приеду за тобой через полгода, ты отдохнешь, и, конечно, все грязное, скверное, что привито тебе городом, отойдет, отомрет. И ты начнешь новую жизнь самостоятельно, без всякой поддержки, одинокая и гордая!

Но разве сделаешь что-нибудь с женщиной, которая полюбила в первый и, конечно, как ей кажется, в последний раз? Разве ее убедишь в необходимости разлуки? Разве для нее существует логика?

Благоговея всегда перед твердостью слов и решений Симановского, Лихонин, однако, догадывался и чутьем понимал истинное его отношение к Любке, и в своем желании освободиться, стряхнуть с себя случайный и непосильный груз он ловил себя на гаденькой мысли: «Она нравится Симановскому, а ей разве не все равно: он, или я, или третий? Объяснюсь-ка я с ним начистоту и уступлю ему Любку по-товарищески. Но ведь не пойдет дура. Визг подымет».

«Или хоть бы застать их как-нибудь вдвоем,— думал он дальше,— в какой-нибудь решительной позе... поднять крик, сделать скандал... Благородный жест... немного денег и... убежать».

Он теперь часто по несколько дней не возвращался домой и потом, придя, переживал мучительные часы женских допросов, сцен, слез, даже истерических припадков. Любка иногда тайком следила за ним, когда он уходил

из дома, останавливалась против того подъезда, куда он входил, и часами дожидалась его возвращения для того, чтобы упрекать его и плакать на улице. Не умея читать, она перехватывала его письма и, не решаясь обратиться к помощи князя или Соловьева, копила их у себя в шкафчике вместе с сахаром, чаем, лимоном и всякой другой дрянью. Она уже дошла до того, что в сердитые минуты угрожала ему серной кислотой.

«Черт бы ее побрал,— размышлял Лихонин в минуты «коварных планов».— Все равно, пусть даже между ними ничего нет. А все-таки возьму и сделаю страшную сцену ему и ей».

И он декламировал про себя:

«Ах, так!.. Я тебя пригрел на своей груди, и что же я вижу? Ты платишь мне черной неблагодарностью... А ты, мой лучший товарищ, ты посягнул на мое единственное счастье!.. О нет, нет, оставайтесь вдвоем, я ухожу со слезами на глазах. Я вижу, что я лишний между вами! Я не хочу препятствовать вашей любви и т. д. и т. д.».

И вот именно эти мечты, затаенные планы, такие мгновенные, случайные и в сущности подлые,— из тех, в которых люди потом самим себе не признаются,— вдруг исполнились. Был очередной урок Соловьева. К его большому счастью, Любка наконец-таки прочитала почти без запинки: «Хороша соха у Михея, хороша и у Сысоя... ласточка... качели... дети любят бога...» И в награду за это Соловьев прочитал ей вслух «О купце Калашникове и опричнике Кирибеевиче». Любка от восторга скакала в кресле, хлопала в ладоши. Ее всю захватила красота этого монументального, героического произведения. Но ей не пришлось высказать полностью своих впечатлений. Соловьев торопился на деловое свидание. И тотчас же навстречу Соловьеву, едва обменявшись с ним в дверях приветствием, пришел Симановский. У Любки печально вытянулось лицо и надулись губы. Уж очень противен стал ей за последнее время этот педантичный учитель и грубый самец.

На этот раз он начал лекцию на тему о том, что для человека не существует ни законов, ни прав, ни обязанностей, ни чести, ни подлости и что человек есть величина самодовлеющая, ни от кого и ни от чего не зависимая.

— Можно быть богом, можно быть и глистом, солитером — это все равно.

Он уже хотел перейти к теории любовных чувств, но, к сожалению, от нетерпения поспешил немного: он обнял Любку, притянул к себе и начал ее грубо тискать. «Она опьянеет от ласки. Сдастся!» — думал расчетливый Симановский. Он добивался прикоснуться губами к ее рту для поцелуя. но она кричала и фыркала в него слюнями. Вся наигранная деликатность оставила ее.

— Убирайся, черт паршивый, дурак, свинья, сволочь, я тебе морду разобью!..

К ней вернулся весь лексикон заведения, но Симановский, потеряв пенсне, с перекошенным лицом глядел на нее мутными глазами и городил что попало:

— Дорогая моя... все равно... секунда наслаждения!.. Мы сольемся с тобою в блаженстве!.. Никто не узнает!.. Будь моею!..

Как раз в эту минуту и вошел в комнату Лихонин.

Конечно, в душе он сам себе не сознавался в том, что сию минуту сделает гадость, он лишь только как-то сбоку, издали подумал о том, что его лицо бледно и что его слова сейчас будут трагичны и многозначительны.

— Да! — сказал он глухо, точно актер в четвертом действии драмы, и, опустив бессильно руки, закачал упавшим на грудь подбородком.— Я всего ожидал, только не этого. Тебе я извиняю, Люба,— ты пещерный человек, но вы, Симановский... Я считал вас... впрочем, и до сих пор считаю за порядочного человека. Но я знаю, что страсть бывает иногда сильнее доводов рассудка. Вот здесь есть пятьдесят рублей, я их оставляю для Любы, вы мне, конечно, вернете потом, я в этом не сомневаюсь. Устройте ее судьбу... Вы умный, добрый, честный человек, а я («Подлец!» — мелькнул у него в голове чей-то явственный голос), я ухожу, потому что не выдержу больше этой муки. Будьте счастливы.

Он выхватил из кармана и эффектно бросил свой бумажник на стол, потом схватился за волосы и выбежал из комнаты...

Это был все-таки для него наилучший выход. И сцена разыгралась именно так, как он о ней мечтал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Все это очень длинно и сбивчиво рассказала Любка, рыдая на Женькином плече. Конечно, эта трагикомическая история выходила в ее личном освещении совсем не так, как она случилась на самом деле.

Лихонин, по ее словам, взял ее к себе только для того, чтобы увлечь, соблазнить, попользоваться, сколько хватит, ее глупостью, а потом бросить. А она, дура, сделалась и взаправду в него влюбимшись, а так как она его очень ревновала ко всем этим кудлатым в кожаных поясах, то он и сделал подлость: нарочно подослал своего товарища, сговорился с ним, а тот начал обнимать Любку, а Васька вошел, увидел и сделал большой скандал и выгнал Любку на улицу.

Конечно, в ее передаче были почти равные две части правды и неправды, но так по крайней мере все ей представлялось.

Рассказала она также с большими подробностями и о том, как, очутившись внезапно без мужской поддержки или вообще без чьего-то бы ни было крепкого постороннего влияния, она наняла комнату в плохонькой гостинице, в захолустной улице, как с первого же дня коридорный, обстрелянная птица, тертый калач, покушался ею торговать, даже не спрося на это ее разрешения, как она переехала из гостиницы на частную квартиру, но и там ее настигла опытная старуха-сводня, которыми кишат дома, обитаемые беднотой.

Значит, даже и при спокойной жизни было в лице, в разговоре и во всей манере Любки что-то особенное, специфическое, для ненаметанного глаза, может быть, и совсем незаметное, но для делового чутья ясное и неопровержимое, как день.

Но случайная, короткая искренняя любовь дала ей силу, которой она сама от себя не ожидала, силу сопротивляться неизбежности вторичного падения. В своем героическом мужестве она дошла до того, что сделала даже несколько публикаций в газетах о том, что ищет место горничной за все. Однако у нее не было никакой рекомендации. К тому же ей приходилось при найме иметь

дело исключительно с женщинами, а те тоже каким-то внутренним безошибочным инстинктом угадывали в ней старинного врага — совратительницу их мужей, братьев, отцов и сыновей.

Домой ехать ей не было ни смысла, ни расчета. Ее родной Васильковский уезд отстоит всего в пятнадцати верстах от губернского города, и молва о том, что она поступила в такое заведение, уже давно проникла через земляков в деревню. Об этом писали в письмах и передавали устно те деревенские соседи, которым случалось ее видеть и на улице и у самой Анны Марковны,— швейцары и номерные гостиниц, лакеи маленьких ресторанов, извозчики, мелкие подрядчики. Она знала, чем пахла бы эта слава, если бы она вернулась в родные места. Лучше было повеситься, чем это переносить.

Она была нерасчетлива и непрактична в денежных делах, как пятилетний ребенок, и в скором времени осталась без копейки, а возвращаться назад в публичный дом было страшно и позорно. Но соблазны уличной проституции сами собой подвертывались и на каждом шагу лезли в руки. По вечерам, на главной улице, ее прежнюю профессию сразу безошибочно угадывали старые закоренелые уличные проститутки. То и дело одна из них, поравнявшись с нею, начинала сладким, заискивающим голосом:

— Что это вы, девица, ходите одне? Давайте будем подругами, давайте ходить вместе. Это завсегда удобнее. Которые мужчины хочут провести приятно время с девушками, всегда любят, чтобы завести компанию вчетвером.

И тут же опытная, искусившаяся вербовщица сначала вскользь, а потом уж горячо, от всего сердца, начинала расхваливать все удобства житья у своей хозяйки — вкусную пищу, полную свободу выхода, возможность всегда скрыть от хозяйки квартиры излишек сверх положенной платы. Тут же, кстати, говорилось много злого и обидного по поводу женщин закрытых домов, которых называли «казенными шкурами», «казенными», «благородными девицами». Любка знала цену этим насмешкам, потому что в свою очередь жилицы публичных домов тоже с величайшим презрением относятся к уличным проституткам, обзывая их «босявками» и «венеричками».

Понятно, в конце концов случилось то, что должно было случиться. Видя в перспективе целый ряд голодных дней, а в глубине их — темный ужас неизвестного будущего, Любка согласилась на очень учтивое приглашение какого-то приличного маленького старичка, важного, седенького, хорошо одетого и корректного. За этот позор Любка получила рубль, но не смела протестовать: прежняя жизнь в доме совсем вытравила в ней личную инициативу, подвижность и энергию. Потом несколько раз подряд он и совсем ничего не заплатил.

Один молодой человек, развязный и красивый, в фуражке с приплюснутыми полями, лихо надетой набекрень, в шелковой рубашке, опоясанной шнурком с кисточками, тоже повел ее с собой в номера, спросил вина и закуску, долго врал Любке о том, что он побочный сын графа и что он первый бильярдист во всем городе, что его любят все девки и что он из Любки тоже сделает фартовую «маруху». Потом он вышел из номера на минутку, как бы по своим делам, и исчез навсегда. Суровый косоглазый швейцар довольно долго, молча, с деловым видом, сопя и прикрывая Любкин рот рукой, колотил ее. Но, наконец, убедившись, должно быть, что вина не ее, а гостя, отнял у нее кошелек, в котором было рубль с мелочью, и взял под залог ее дешевенькую шляпку и верхнюю кофточку.

Другой, очень недурно одетый мужчина лет сорока пяти, промучив девушку часа два, заплатил за номер и дал ей восемьдесят копеек; когда же она стала жаловаться, он со зверским лицом приставил к самому ее носу огромный рыжеволосый кулак и сказал решительно:

— Поскули у меня еще... Я тебе поскулю... Вот вскричу сейчас полицию и скажу, что ты меня обокрала, когда я спал. Хочешь? Давно в части не была?

И ушел.

И таких случаев было много.

В тот день, когда ее квартирные хозяева — лодочник с женой — отказали ей в комнате и просто-напросто выкинули ее вещи на двор и когда она без сна пробродила всю ночь по улицам, под дождем, прячась от городовых,— только тогда с отвращением и стыдом решилась она обратиться к помощи Лихонина. Но Лихонина уже

не было в городе: он малодушно уехал в тот же день, когда несправедливо обиженная и опозоренная Любка убежала с квартиры. И вот наутро ей и пришла в голову последняя отчаянная мысль— возвратиться в публичный дом и попросить там прощения.

— Женечка, вы такая умная, такая смелая, такая добрая, попросите за меня Эмму Эдуардовну, экономочка вас послушает,— умоляла она Женьку, и целовала ее голые плечи, и мочила их слезами.

— Никого она не послушает,— мрачно ответила Женька.— И надо тебе было увязаться за таким дураком и подлецом.

— Женечка, ведь вы же сами мне посоветовали,— робко возразила Любка.

— Посоветовала... Ничего я тебе не советовала. Что ты врешь на меня как на мертвую... Ну да ладно — пойдем.

Эмма Эдуардовна уже давно знала о возвращении Любки и даже видела ее в тот момент, когда она проходила, озираясь, через двор дома. В душе она вовсе не была против того, чтобы принять обратно Любку. Надо сказать, что и отпустила она ее только потому, что соблазнилась деньгами, из которых половину присвоила себе. Да к тому же рассчитывала, что при теперешнем сезонном наплыве новых проституток у нее будет большой выбор, в чем, однако, она ошиблась, потому что сезон круто прекратился. Но во всяком случае она твердо решила взять Любку. Только надо было для сохранения и округления престижа как следует напугать ее.

— Что-о? — заорала она на Любку, едва выслушав ее смущенный лепет.— Ты хочешь, чтобы тебя опять приняли?.. Ты там черт знает с кем валялась по улицам, под заборами, и ты опять, сволочь, лезешь в приличное, порядочное заведение!.. Пфуй, русская свинья! Вон!..

Любка ловила ее руки, стремясь поцеловать, но экономка грубо их выдергивала. Потом, вдруг побледнев, с перекошенным лицом, закусив наискось дрожащую нижнюю губу, Эмма расчетливо и метко, со всего размаха

ударила Любку по щеке, отчего та опустилась на колени, но тотчас же поднялась, задыхаясь и заикаясь от рыданий.

— Миленькая, не бейте... Дорогая же вы моя, не бейте...

И опять упала, на этот раз плашмя, на пол.

И это систематическое, хладнокровное, злобное избиение продолжалось минуты две. Женька, смотревшая сначала молча, со своим обычным злым, презрительным видом, вдруг не выдержала: дико завизжала, кинулась на экономку, вцепилась ей в волосы, сорвала шиньон и заголосила в настоящем истерическом припадке:

— Дура!.. Убийца!.. Подлая сводница!.. Воровка!..

Все три женщины голосили вместе, и тотчас же ожесточенные вопли раздались по всем коридорам и каморкам заведения. Это был тот общий припадок великой истерии, который овладевает иногда заключенными в тюрьмах, или то стихийное безумие (raptus), которое охватывает внезапно и повально весь сумасшедший дом, отчего бледнеют даже опытные психиатры.

Только спустя час порядок был водворен Симеоном и пришедшими к нему на помощь двумя товарищами по профессии. Крепко досталось всем тринадцати девушкам, а больше других Женьке, пришедшей в настоящее исступление. Избитая Любка до тех пор пресмыкалась перед экономкой, покамест ее не приняли обратно. Она знала, что Женькин скандал рано или поздно отзовется на ней жестокой отплатой. Женька же до самой ночи сидела, скрестив по-турецки ноги, на своей постели, отказалась от обеда и выгоняла вон всех подруг, которые заходили к ней. Глаз у нее был ушиблен, и она прикладывала к нему усердно медный пятак. Из-под разорванной сорочки краснела на шее длинная поперечная царапина, точно след от веревки. Это содрал ей кожу в борьбе Симеон. Она сидела так одна, с глазами, которые светились в темноте, как у дикого зверя, с раздутыми ноздрями, с судорожно двигавшимися скулами, и шептала злобно:

— Подождите же... Постойте, проклятые,— я вам покажу... Вы еще увидите... У-у, людоеды...

Но когда зажгли огни и младшая экономка Зося постучала ей в дверь со словами: «Барышня, одеваться!..

В залу!» — она быстро умылась, оделась, припудрила синяк, замазала царапину белилами и розовой пудрой и вышла в залу, жалкая, но гордая, избитая, но с глазами, горевшими нестерпимым озлоблением и нечеловеческой красотой.

Многие люди, которым приходилось видеть самоубийц за несколько часов до их ужасной смерти, рассказывают, что в их облике в эти роковые предсмертные часы они замечали какую-то загадочную, таинственную, непостижимую прелесть. И все, кто видели Женьку и в эту ночь, и на другой день в немногие часы, подолгу, пристально и удивленно останавливались на ней взглядом.

И всего страннее (это была одна из мрачных проделок судьбы), что косвенным виновником ее смерти, последней песчинкой, которая перетягивает вниз чашу весов, явился не кто иной, как милый, добрейший кадет Коля Гладышев...

II

Коля Гладышев был славный, веселый, застенчивый парнишка, большеголовый, румяный, с белой, смешной, изогнутой, точно молочной, полоской на верхней губе, под первым пробившимся пушком усов, с широко расставленными синими наивными глазами и такой стриженый, что из-под его белокурой щетинки, как у породистого йоркширского поросенка, просвечивала розовая кожа. Это именно с ним прошлой зимой играла Женька не то в материнские отношения, не то как в куклы и совала ему яблочко или пару конфеток на дорогу, когда он уходил из дома терпимости, корчась от стыда.

В этот раз, когда он пришел, в нем сразу, после долгого житья в лагерях, чувствовалась та быстрая перемена возраста, которая так неуловимо и быстро превращает мальчика в юношу. Он уже окончил кадетский корпус и с гордостью считал себя юнкером, хотя с отвращением еще ходил в кадетской форме. Он вырос, стал стройнее и ловче; лагерная жизнь пошла ему в пользу. Говорил он басом, и в эти месяцы к его величайшей гордости нагрубли у него соски грудей, самый главный—он уже знал об этом — и безусловный признак мужской зрелости. Ге-

перь для него покамест, до строевых строгостей военного училища, было время обольстительной полусвободы. Уже дома ему разрешили официально, при взрослых, курить, и даже сам отец подарил ему кожаный портсигар с его монограммой, а также, в подъеме семейной радости, определил ему пятнадцать рублей месячного жалованья.

Именно здесь — у Анны Марковны — он и узнал впервые женщину, ту же Женьку.

Падение невинных душ в домах терпимости или у уличных одиночек совершается гораздо чаще, чем обыкновенно думают. Когда об этом щекотливом деле расспрашивают не только зеленых юношей, но даже и почетных пятидесятилетних мужчин, почти дедушек, они вам наверное скажут древнюю трафаретную ложь о том, как их соблазнила горничная или гувернантка. Но это — одна из тех длительных и идущих назад, в глубину прошедших десятилетий, странных лжей, которые почти не подмечены ни одним из профессиональных наблюдателей и во всяком случае никем не описаны.

Если каждый из нас попробует положить, выражаясь пышно, руку на сердце и смело дать себе отчет в прошлом, то всякий поймает себя на том, что однажды, в детстве, сказав какую-нибудь хвастливую или трогательную выдумку, которая имела успех, и повторив ее поэтому еще два, и пять, и десять раз, он потом не может от нее избавиться во всю свою жизнь и повторяет совсем уже твердо никогда не существовавшую историю, твердо до того, что в конце концов верит в нее. Со временем и Коля рассказывал своим товарищам о том, что его соблазнила его двоюродная тетка — светская молодая дама. Надо, однако, сказать, что интимная близость к этой даме, большой, черноглазой, белолицей, сладко пахнувшей южной женщине, действительно существовала, но существовала только в Колином воображении в те печальные, трагические и робкие минуты одиноких половых наслаждений, через которые проходят из всех мужчин если не сто процентов, то во всяком случае девяносто девять.

Испытав очень рано механические половые возбуждения, приблизительно с девяти или девяти с половиною лет, Коля совсем не имел ни малейшего понятия о том,

что такое из себя представляет тот конец влюбленности и ухаживания, который так ужасен, если на него поглядеть въявь, со стороны, или если его объяснять научно. К несчастью, около него в то время не было ни одной из теперешних прогрессивных и ученых дам, которые, отвернув шею классическому аисту и вырвав с корнем капусту, под которой находят детей, рекомендуют в лекциях, в сравнениях и уподоблениях беспощадно и даже чуть ли не графическим порядком объяснять детям великую тайну любви и зарождения.

Надо сказать, что в то отдаленное время, о котором идет речь, закрытые заведения — мужские пансионы и мужские институты, а также кадетские корпуса — представляли из себя какие-то тепличные рассадники. Попечение об уме и нравственности мальчуганов старались по возможности вверять воспитателям, чиновникам-формалистам, и вдобавок нетерпеливым, вздорным, капризным в своих симпатиях и истеричным, точно старые девы, классным дамам. Теперь иначе. Но в то время мальчики были предоставлены самим себе. Едва оторванные, говоря фигурально, от материнской груди, от ухода преданных нянек, от утренних и вечерних ласк, тихих и сладких, они хотя и стыдились всякого проявления нежности, как «бабства», но их неудержимо и сладостно влекло к поцелуям, прикосновениям, беседам на ушко.

Конечно, внимательное, заботливое отношение, купанье, упражнения на свежем воздухе,— именно не гимнастика, а вольные упражнения, каждому по своей охотке,— всегда могли бы отдалить приход этого опасного периода или смягчить и образумить его.

Повторяю, *тогда* этого не было.

Жажда семейной ласки, материнской, сестриной, нянькиной ласки, так грубо и внезапно оборванной, обратилась в уродливые формы ухаживания (точь-в-точь как в женских институтах «обожание») за хорошенькими мальчиками, за «мазочками»; любили шептаться по углам и, ходя под ручку или обнявшись в темных коридорах, говорить друг другу на ухо несбыточные истории о приключениях с женщинами. Это была отчасти и потребность детства в сказочном, а отчасти и просыпавшаяся чувственность. Нередко какой-нибудь пятнадцатилет-

ний пузырь, которому только впору играть в лапту или уписывать жадно гречневую кашу с молоком, рассказывал, начитавшись, конечно, кой-каких романишек, о том, что теперь каждую субботу, когда отпуск, он ходит к одной красивой вдове-миллионерше, и о том, как она страстно в него влюблена, и как около их ложа всегда стоят фрукты и драгоценное вино, и как она любит его неистово и страстно.

Тут, кстати, подоспела и неизбежная полоса затяжного запойного чтения, через которую, конечно, проходили каждый мальчик и каждая девочка. Как бы ни был строг в этом отношении классный надзор, все равно юнцы читали, читают и будут читать именно то, что им не позволено. Здесь есть особенный азарт, шик, прелесть запретного. Уже в третьем классе ходили по рукам рукописные списки Баркова, подложного Пушкина, юношеские грехи Лермонтова и других: «Первая ночь», «Вишня», «Лука», «Петергофский праздник», «Уланша», «Горе от ума», «Поп» и т. д.

Но, как это ни может показаться странным, выдуманным или парадоксальным, однако и эти сочинения, и рисунки, и похабные фотографические карточки не возбуждали сладостного любопытства. На них глядели, как на проказу, на шалость и на прелесть контрабандного риска. В кадетской библиотеке были целомудренные выдержки из Пушкина и Лермонтова, весь Островский, который только смешил, и почти весь Тургенев, который и сыграл в жизни Коли главную и жестокую роль. Как известно, у покойного великого Тургенева любовь всегда окружена дразнящей завесой, какой-то дымкой, неуловимой, запретной, но соблазнительной: девушки у него предчувствуют любовь, и волнуются от ее приближения, и стыдятся свыше меры, и дрожат, и краснеют. Замужние женщины или вдовы совершают этот мучительный путь несколько иначе: они долго борются с долгом, или с порядочностью, или с мнением света, и, наконец,— ах!— падают со слезами, или — ах!— начинают бравировать, или, что еще чаще, неумолимый рок прерывает ее или его жизнь в самый — ах!— нужный момент, когда созревшему плоду недостает только легкого дуновения ветра, чтобы упасть. И все его персонажи все-таки жаждут этой постыдной любви, светло плачут и радостно смеются

от нее, и она заслоняет для них весь мир. Но так как мальчики думают совершенно иначе, чем мы, взрослые, и так как все запретное, все недосказанное или сказанное по секрету имеет в их глазах громадный, не только сугубый, но трегубый интерес, то, естественно, что из чтения они выводили смутную мысль, что взрослые что-то скрывают от них.

Да и то надо сказать, разве Коля, подобно большинству его сверстников, не видал, как горничная Фрося, такая краснощекая, вечно веселая, с ногами твердости стали (он иногда, развозившись, хлопал ее по спине), как она однажды, когда Коля случайно быстро вошел в папин кабинет, прыснула оттуда во весь дух, закрыв лицо передником, и разве он не видал, что в это время у папы было лицо красное, с сизым, как бы удлинившимся носом, и Коля подумал: «Папа похож на индюка». Разве у того же папы Коля, отчасти по свойственной всем мальчикам проказливости и озорству, отчасти от скуки, не открыл случайно в незапертом ящике папиного письменного стола громадную коллекцию карточек, где было представлено именно то, что приказчики называют увенчанием любви, а светские оболтусы — неземною страстью.

И разве он не видал, что каждый раз перед визитом благоухающего и накрахмаленного Павла Эдуардовича, какого-то балбеса при каком-то посольстве, с которым мама, в подражание модным петербургским прогулкам на Стрелку, ездила на Днепр глядеть на то, как закатывается солнце на другой стороне реки, в Черниговской губернии,— разве он не видел, как ходила мамина грудь и как рдели ее щеки под пудрой, разве он не улавливал в эти моменты много нового и странного, разве он не слышал ее голос, совсем чужой голос, как бы актерский, нервно прерывающийся, беспощадно злой к семейным и прислуге и вдруг нежный, как бархат, как зеленый луг под солнцем, когда приходил Павел Эдуардович. Ах, если бы мы, люди, умудренные опытом, знали о том, как много и даже чересчур много знают окружающие нас мальчуганы и девчонки, о которых мы обыкновенно говорим:

— Ну, что стесняться Володи (или Пети, или Кати?..) Ведь они маленькие. Они ничего не понимают!..

Также не напрасно прошла для Гладышева и история его старшего брата, который только что вышел из военного училища в один из видных гренадерских полков и, находясь в отпуску до той поры, когда ему можно будет расправить крылья, жил в двух отдельных комнатах в своей семье. В то время у них служила горничная Нюша, которую иногда шутя называли синьорита Анита, прелестная черноволосая девушка, которую, если бы переменять на ней костюмы, можно было бы по наружности принять и за драматическую актрису, и за принцессу крови, и за политическую деятельницу. Мать Коли явно покровительствовала тому, что Колин брат полушутя, полусерьезно увлекался этой девушкой. Конечно, у нее был один только святой материнский расчет: если уже суждено Бореньке пасть, то пускай он отдаст свою чистоту, свою невинность, свое первое физическое влечение не проститутке, не потаскушке, не искательнице приключений, а чистой девушке. Конечно, ею руководило только бескорыстное, безрассудное, истинно материнское чувство. Коля в то время переживал эпоху льяносов, пампасов, апачей, следопытов и вождя по имени «Черная Пантера» и, конечно, внимательно следил за романом брата и делал свои, иногда чересчур верные, иногда фантастические умозаключения. Через шесть месяцев он из-за двери был свидетелем, вернее, слушателем возмутительной сцены. Генеральша, всегда такая приличная и сдержанная, кричала в своем будуаре на синьориту Аниту, топала ногами и ругалась извозчичьими словами: синьорита была беременна на пятом месяце. Если бы она не плакала, то, вероятно, ей просто дали бы отступного и она ушла бы благополучно, но она была влюблена в молодого паныча, ничего не требовала, а только голосила, и потому ее удалили при помощи полиции.

В классе пятом-шестом многие из товарищей Коли уже вкусили от древа познания зла. В эту пору у них в корпусе считалось особенным хвастливым мужским шиком называть все сокровенные вещи своими именами. Аркаша Шкарин заболел не опасной, но все-таки венерической болезнью, и он стал на целых три месяца предметом поклонения всего старшего возраста (тогда еще не было рот). Многие же посещали публичные дома, и, право, о своих кутежах они рассказывали гораздо красивее

и шире, чем гусары времен Дениса Давыдова. Эти дебоши считались ими последней точкой молодечества и взрослости.

И вот однажды не то что уговорили Гладышева, а вернее, он сам напросился поехать к Анне Марковне: так слабо он сопротивлялся соблазну. Этот вечер он вспоминал всегда с ужасом, с отвращением и смутно, точно какой-то пьяный сон. С трудом вспоминал он, как для храбрости пил он на извозчике отвратительно пахнувший настоящими постельными клопами ром, как его мутило от этого пойла, как он вошел в большую залу, где огненными колесами вертелись огни люстр и канделябров на стенах, где фантастическими розовыми, синими, фиолетовыми пятнами двигались женщины и ослепительно-пряным, победным блеском сверкала белизна шей, грудей и рук. Кто-то из товарищей прошептал одной из этих фантастических фигур что-то на ухо. Она подбежала к Коле и сказала:

— Послушайте, хорошенький кадетик, товарищи вот говорят, что вы еще невинный... Идем... Я тебя научу всему...

Фраза была сказана ласково, но эту фразу стены заведения Анны Марковны слышали уже несколько тысяч раз. Дальше произошло то, что было настолько трудно и больно вспоминать, что на половине воспоминаний Коля уставал и усилием воли возвращал воображение к чему-нибудь другому. Он только помнил смутно вращающиеся и расплывающиеся круги от света лампы, настойчивые поцелуи, смущающие прикосновения, потом внезапную острую боль, от которой хотелось и умереть в наслаждении, и закричать от ужаса, и потом он сам с удивлением видел свои бледные, трясущиеся руки, которые никак не могли застегнуть одежды.

Конечно, все мужчины испытывали эту первоначальную tristia post coitus, но эта великая нравственная боль, очень серьезная по своему значению и глубине, весьма быстро проходит, оставаясь, однако, у большинства надолго, иногда на всю жизнь, в виде скуки и неловкости после известных моментов. В скором времени Коля свыкся с нею, осмелел, освоился с женщиной и очень радовался тому, что когда он приходил в заведение, то все девушки, а раньше всех Верка, кричат:

— Женечка, твой любовник пришел!

Приятно было, рассказывая об этом товарищам, пощипывать воображаемый ус.

III

Было еще рано — часов девять августовского дождливого вечера. Освещенная зала в доме Анны Марковны почти пустовала. Только у самых дверей сидел, застенчиво и неуклюже поджав под стул ноги, молоденький телеграфный чиновник и старался завести с толстомясой Катькой тот светский, непринужденный разговор, который полагается в приличном обществе за кадрилью, в антрактах между фигурами. Да длинноногий старый Ванька-Встанька блуждал по комнате, присаживаясь то к одной, то к другой девице и занимая их своей складной болтовней.

Когда Коля Гладышев вошел в переднюю, то первая его узнала круглоглазая Верка, одетая в свой обычный жокейский костюм. Она завертелась вокруг самой себя, запрыгала, захлопала в ладоши и закричала:

— Женька, Женька, иди скорее, к тебе твой любовничек пришел. Кадетик... Да хорошенький какой!

Но Женьки в это время не было в зале: ее уже успел захватить толстый обер-кондуктор.

Этот пожилой, степенный и величественный человек, тайный продавец казенных свечей, был очень удобным гостем, потому что никогда не задерживался в доме более сорока минут, боясь пропустить свой поезд, да и то все время поглядывал на часы. Он за это время аккуратно выпивал четыре бутылки пива и, уходя, непременно давал полтинник девушке на конфеты и Симеону двадцать копеек на чай.

Коля Гладышев был не один, а вместе с товарищем-одноклассником Петровым, который впервые переступал порог публичного дома, сдавшись на соблазнительные уговоры Гладышева. Вероятно, он в эти минуты находился в том же диком, сумбурном, лихорадочном состоянии, которое переживал полтора года тому назад и сам Коля, когда у него тряслись ноги, пересыхало во рту, а огни ламп плясали перед ним кружащимися колесами.

Симеон принял от них шинели и спрятал отдельно, в сторонку, так, чтобы не было видно погон и пуговиц.

Надо сказать, что этот суровый человек, не одобрявший студентов за их развязную шутливость и непонятный слог в разговоре, не любил также, когда появлялись в заведении вот такие мальчики в форме.

— Ну, что хорошего? — мрачно говорил он порою своим коллегам по профессии.— Придет вот такой шибздик, да и столкнется нос к носу со своим начальством? Трах, и закрыли заведение! Вот как Лупендиху три года тому назад. Это, конечно, ничего, что закрыли — она сейчас же его на другое имя перевела,— а как приговорили ее на полтора месяца в арестный дом на высидку, так стало ей это в ха-арошую копеечку. Одному Кербешу четыреста пришлось отсыпать... А то еще бывает: наварит себе такой подсвинок какую-нибудь болезнь и расхнычется: «Ах, папа! Ах, мама! Умираю!» — «Говори, подлец, где получил?» — «Там-то...» Ну и потянут опять на цугундер: суди меня, судья неправедный!

— Проходите, проходите,— сказал он кадетам сурово.

Кадеты вошли, жмурясь от яркого света. Петров, выпивший для храбрости, пошатывался и был бледен. Они сели под картиной «Боярский пир», и сейчас же к ним присоединились с обеих сторон две девицы — Верка и Тамара.

— Угостите покурить, прекрасный брюнетик! — обратилась Верка к Петрову и точно нечаянно приложила к его ноге свою крепкую, плотно обтянутую белым трико, теплую ляжку.— Какой вы симпатичненький!..

— А где же Женя? — спросил Гладышев Тамару.— Занята с кем-нибудь?

Тамара внимательно поглядела ему в глаза,— поглядела так пристально, что мальчику даже стало не по себе и он отвернулся.

— Нет. Зачем же занята? Только у нее сегодня весь день болела голова: она проходила коридором, а в это время экономка быстро открыла дверь и нечаянно ударила ее в лоб,— ну и разболелась голова. Целый день она, бедняжка, лежит с компрессом. А что? Или не терпится? Подождите, минут через пять выйдет. Останетесь ею очень довольны.

Верка приставала к Петрову:

— Дусенька, миленький, какой же вы ляленька! Обожаю таких бледных брунетов: они ревнивые и очень горячие в любви.

И вдруг запела вполголоса:

Не то брунетик,
Не то мой светик,
Он не обманет, не продасть.
Он терпит муки,
Пальто и брюки —
Он все для женщины отдасть.

— Как вас зовут, мусенька?

— Георгием,— ответил сиплым кадетским басом Петров.

— Жоржик! Жорочка! Ах, как очень приятно!

Она приблизилась вдруг к его уху и прошептала с лукавым лицом:

— Жорочка, пойдем ко мне.

Петров потупился и уныло пробасил:

— Я не знаю... Вот как товарищ скажет...

Верка громко расхохоталась:

— Вот так штука! Скажите, младенец какой! Таких, как вы, Жорочка, в деревне давно уж женят, а он: «Как товарищ!» Ты бы еще у нянюшки или у кормилки спросился! Тамара, ангел мой, вообрази себе: я его зову спать, а он говорит: «Как товарищ!» Вы что же, господин товарищ, гувернан ихний?

— Не лезь, черт! — неуклюже, совсем как кадет перед ссорой, пробурчал басом Петров.

К кадетам подошел длинный, вихлястый, еще больше поседевший Ванька-Встанька и, склонив свою длинную узкую голову набок и сделав умильную гримасу, запричитал:

— Господа кадеты, высокообразованные молодые люди, так сказать, цветы интеллигенции, будущие фельцихместеры [1], не одолжите ли старичку, аборигену здешних злачных мест, одну добрую старую папиросу? Нищ есмь. Омниа меа мекум порто [2]. Но табачок обожаю.

И получив папиросу, вдруг сразу встал в развязную,

---

[1] Генералы (от *нем.* Feldzeugmeister).

[2] Все свое ношу с собой (*лат.*).

непринужденную позу, отставил вперед согнутую правую ногу, подперся рукою в бок и запел дряблой фистулой:

Бывало, задавал обеды,
Шампанское лилось рекой,
Теперь же нету корки хлеба,
На шкалик нету, братец мой.

Бывало, захожу в «Саратов»,
Швейцар бежит ко мне стрелой,
Теперь же гонят все по шее.
На шкалик дай мне, братец мой.

— Господа! — вдруг патетически воскликнул Ванька-Встанька, прервав пение и ударив себя в грудь.— Вот вижу я вас и знаю, что вы — будущие генералы Скобелев и Гурко, но и я ведь тоже в некотором отношении военная косточка. В мое время, когда я учился на помощника лесничего, все наше лесное ведомство было военное, и потому, стучась в усыпанные брильянтами золотые двери ваших сердец, прошу: пожертвуйте на сооружение прапорщику таксации малой толики spiritus vini, его же и монаси приемлют.

— Ванька! — крикнула с другого конца толстая Катька,— покажи молодым офицерам молнию, а то, гляди, только даром деньги берешь, дармоед верблюжий!

— Сейчас! — весело отозвался Ванька-Встанька.— Ясновельможные благодетели, обратите внимание. Живые картины. Гроза в летний июньский день. Сочинение непризнанного драматурга, скрывшегося под псевдонимом Ваньки-Встаньки. Картина первая.

«Был прекрасный июньский день. Палящие лучи полуденного солнца озаряли цветущие луга и окрестности...»

Ваньки-Встанькина донкихотская образина расплылась в морщинистую сладкую улыбку, и глаза сузились полукругами.

«... Но вот вдали на горизонте показались первые облака. Они росли, громоздились, как скалы, покрывая мало-помалу голубой небосклон...»

Постепенно с Ваньки-Встанькиного лица сходила улыбка, и оно делалось все серьезнее и суровее.

«...Наконец тучи заволокли солнце... Настала зловещая темнота...»

Ванька-Встанька сделал совсем свирепую физиономию.

«...Упали первые капли дождя...»

Ванька забарабанил пальцами по спинке стула.

«...В отдалении блеснула первая молния...»

Правый глаз Ваньки-Встаньки быстро моргнул, и дернулся левый угол рта.

«...Затем дождь полил как из ведра, и сверкнула вдруг ослепительная молния...»

И с необыкновенным искусством и быстротой Ванька-Встанька последовательным движением бровей, глаз, носа, верхней и нижней губы изобразил молниеносный зигзаг.

«...Раздался потрясающий громовой удар —трррру-у-у. Вековой дуб упал на землю, точно хрупкая тростинка...»

И Ванька-Встанька с неожиданной для его лет легкостью и смелостью, не сгибая ни колен, ни спины, только угнув вниз голову, мгновенно упал, прямо как статуя, на пол, но тотчас же ловко вскочил на ноги.

«...Но вот гроза постепенно утихает. Молния блещет все реже. Гром звучит глуше, точно насытившийся зверь,— ууу-ууу... Тучи разбегаются. Проглянули первые лучи солнышка...»

Ванька-Встанька сделал кислую улыбку.

«...И вот, наконец, дневное светило снова засияло над омытой землей...»

И глупейшая блаженная улыбка снова разлилась по старческому лицу Ваньки-Встаньки.

Кадеты дали ему по двугривенному. Он положил их на ладонь, другой рукой сделал в воздухе пасс, сказал: ейн, цвей, дрей, щелкнул двумя пальцами — и монеты исчезли.

— Тамарочка, это нечестно,— сказал он укоризненно.— Как вам не стыдно у бедного отставного почти обер-офицера брать последние деньги? Зачем вы их спрятали сюда?

И опять щелкнув пальцами, он вытащил монеты из Тамариного уха.

— Сейчас я вернусь, не скучайте без меня,—успокоил он молодых людей,— а ежели вы меня не дождетесь, то я буду не особенно в претензии. Имею честь!..

— Ванька-Встанька!—крикнула ему вдогонку Манька Беленькая,— купи-ка мне на пятнадцать копеек конфет... помадки на пятнадцать копеек. На, держи!

Ванька-Встанька чисто поймал на лету брошенный пятиалтынный, сделал комический реверанс и, нахлобучив набекрень форменную фуражку с зелеными кантами, исчез.

К кадетам подошла высокая старая Генриетта, тоже попросила покурить и, зевнув, сказала:

— Хоть бы потанцевали вы, молодые люди, а то барышни сидят-сидят, аж от скуки дохнут.

— Пожалуйста, пожалуйста! — согласился Коля.— Сыграйте вальс и там что-нибудь.

Музыканты заиграли. Девушки закружились одна с другой, по обыкновению, церемонно, с вытянутыми прямо спинами и с глазами, стыдливо опущенными вниз.

Коля Гладышев, очень любивший танцевать, не утерпел и пригласил Тамару: он еще с прошлой зимы знал, что она танцует легче и умелее остальных. Когда он вертелся в вальсе, то сквозь залу, изворотливо пробираясь между парами, незаметно проскользнул поездной толстый обер-кондуктор. Коля не успел его заметить.

Как ни приставала Верка к Петрову, его ни за что не удалось стянуть с места. Теперь недавний легкий хмель совсем уже вышел из его головы, и все страшнее, все несбыточнее и все уродливее казалось ему то, для чего он сюда пришел. Он мог бы уйти, сказать, что ему здесь ни одна не нравится, сослаться на головную боль, что ли, но он знал, что Гладышев не выпустит его, а главное — казалось невыносимо тяжелым встать с места и пройти одному несколько шагов. И, кроме того, он чувствовал, что не в силах заговорить с Колей об этом.

Окончили танцевать. Тамара с Гладышевым опять уселись рядом.

— Что же, в самом деле, Женька до сих пор не идет? — спросил нетерпеливо Коля.

Тамара быстро поглядела на Верку с непонятным для непосвященного вопросом в глазах. Верка быстро опустила вниз ресницы. Это означало: да, ушел...

— Я пойду сейчас, позову ее,— сказала Тамара.

— Да что вам ваша Женька так уж полюбилась,— сказала Генриетта.— Взяли бы меня.

— Ладно, в другой раз,— ответил Коля и нервно закурил.

Женька еще не начинала одеваться. Она сидела у зеркала и припудривала лицо.

— Ты что, Тамарочка? — спросила она.

— Пришел к тебе кадет твой. Ждет.

— Ах, это прошлогодний бебешка... а ну его.

— Да и то правда. А поздоровел как мальчишка, похорошел, вырос... один восторг! Так если не хочешь, я сама пойду.

Тамара увидела в зеркало, как Женька нахмурила брови.

— Нет, ты подожди, Тамара, не надо. Я посмотрю. Пошли мне его сюда. Скажи, что я нездорова, скажи, что голова болит.

— Я уж и так ему сказала, что Зося отворила дверь неудачно и ударила тебя по голове и что ты лежишь с компрессом. Но только стоит ли, Женечка?

— Стоит, не стоит — это дело не твое, Тамара,— грубо ответила Женька.

Тамара спросила осторожно:

— Неужели тебе совсем, совсем-таки не жаль?

— А тебе меня не жаль? — И она провела по красной полосе, перерезавшей ее горло.— А тебе себя не жаль? А эту Любку разнесчастную не жаль? А Пашку не жаль? Кисель ты клюквенный, а не человек!

Тамара улыбнулась лукаво и высокомерно:

— Нет, когда настоящее дело, я не кисель. Ты это, пожалуй, скоро увидишь, Женечка. Только не будем лучше ссориться — и так не больно сладко живется. Хорошо, я сейчас пойду и пришлю его к тебе.

Когда она ушла, Женька уменьшила огонь в висячем голубом фонарике, надела ночную кофту и легла. Минуту спустя вошел Гладышев, а вслед за ним Тамара, тащившая за руку Петрова, который упирался и не поднимал головы от пола. А сзади просовывалась розовая, остренькая, лисья мордочка косоглазой экономки Зоси.

— Вот и прекрасно,— засуетилась экономка.— Прямо глядеть сладко: два красивых паныча и две сличных паненки. Прямо букет. Чем вас угощать, молодые люди? Пива или вина прикажете?

У Гладышева было в кармане много денег, столько, сколько еще ни разу не было за его небольшую жизнь — целых двадцать пять рублей, и он хотел кутнуть. Пиво он пил только из молодечества, но не выносил его горького вкуса и сам удивлялся, как это его пьют другие. И потому брезгливо, точно старый кутила, оттопырив нижнюю губу, он сказал недоверчиво:

— Да ведь у вас, наверное, дрянь какая-нибудь?

— Что вы, что вы, красавчик! Самые лучшие господа одобряют... Из сладких — кагор, церковное, тенериф, а из французских — лафит... Портвейн тоже можно. Лафит с лимонадом девочки очень обожают.

— А почем?

— Не дороже денег. Как всюду водится в хороших заведениях: бутылка лафита — пять рублей, четыре бутылки лимонаду по полтиннику — два рубля, и всего только семь...

— Да будет тебе, Зося,— равнодушно остановила ее Женька,— стыдно мальчиков обижать. Довольно и пяти. Видишь, люди приличные, а не какие-нибудь...

Но Гладышев покраснел и с небрежным видом бросил на стол десятирублевую бумажку.

— Что там еще разговаривать. Хорошо, принесите.

— Я заодно уж и деньги возьму за визит. Вы как, молодые люди — на время или на ночь? Сами знаете таксу: на время — по два рубля, на ночь — по пяти.

— Ладно, ладно. На время,— перебила, вспыхнув, Женька.— Хоть в этом-то поверь.

Принесли вино. Тамара выклянчила, кроме того, пирожных. Женька попросила позволения позвать Маньку Беленькую. Сама Женька не пила, не вставала с постели и все время куталась в серый оренбургский платок, хотя в комнате было жарко. Она пристально глядела, не отрываясь, на красивое, загоревшее, ставшее таким мужественным лицо Гладышева.

— Что с тобою, милочка? — спросил Гладышев, садясь к ней на постель и поглаживая ее руку.

— Ничего особенного... Голова немного болит. Ударилась.

— Да ты не обращай внимания.

— Да вот увидела тебя, и уж мне полегче стало. Что давно не был у нас?

— Никак нельзя было урваться — лагери. Сама знаешь... По двадцать верст приходилось в день отжаривать. Целый день ученье и ученье: полевое, строевое, гарнизонное. С полной выкладкой. Бывало, так измучаешься с утра до ночи, что к вечеру ног под собой не слышишь... На маневрах тоже были... Не сахар...

— Ах вы бедненькие! — всплеснула вдруг руками Манька Беленькая.— И за что это вас, ангелов таких, мучают? Кабы у меня такой брат был, как вы, или сын — у меня бы просто сердце кровью обливалось. За ваше здоровье, кадетик!

Чокнулись. Женька все так же внимательно разглядывала Гладышева.

— А ты, Женечка? — спросил он, протягивая стакан.

— Не хочется,— ответила она лениво,— но, однако, барышни, попили винца, поболтали,— пора и честь знать.

— Может быть, ты останешься у меня на всю ночь? — спросила она Гладышева, когда другие ушли.— Ты, миленький, не бойся: если у тебя денег не хватит, я за тебя доплачу. Вот видишь, какой ты красивый, что для тебя девчонка даже денег не жалеет,— засмеялась она.

Гладышев обернулся к ней: даже и его ненаблюдательное ухо поразил странный тон Женьки,— не то печальный, не то ласковый, не то насмешливый.

— Нет, душенька, я бы очень был рад, мне самому хотелось бы остаться, но никак нельзя: обещал быть дома к десяти часам.

— Ничего, милый, подождут: ты уже совсем взрослый мужчина. Неужели тебе надо слушаться кого-нибудь?.. А впрочем, как хочешь. Может быть, свет совсем потушить, или и так хорошо? Ты как хочешь, — с краю или у стенки?

— Мне безразлично,— ответил он вздрагивающим голосом и, обняв рукой горячее, сухое тело Женьки,

потянулся губами к ее лицу. Она слегка отстранила его.

— Подожди, потерпи, голубчик,— успеем еще нацеловаться. Полежи минуточку... так вот... тихо, спокойно... не шевелись...

Эти слова, страстные и повелительные, действовали на Гладышева, как гипноз. Он повиновался ей и лег на спину, положив руки под голову. Она приподнялась немного, облокотилась и, положив голову на согнутую руку, молча, в слабом полусвете, разглядывала его тело, такое белое, крепкое, мускулистое, с высокой и широкой грудной клеткой, с стройными ребрами, с узким тазом и с мощными выпуклыми ляжками. Темный загар лица и верхней половины шеи резкой чертой отделялся от белизны плеч и груди.

Гладышев на секунду зажмурился. Ему казалось, что он ощущает на себе, на лице, на всем теле этот напряженно-пристальный взгляд, который как бы касался его кожи и щекотал ее, подобно паутинному прикосновению гребенки, которую сначала потрешь о сукно,— ощущение тонкой, невесомой живой материи.

Он открыл глаза и увидел совсем близко от себя большие, темные, жуткие глаза женщины, которая ему показалась теперь совсем незнакомой.

— Что ты смотришь, Женя? — спросил он тихо.— О чем думаешь?

— Миленький мой мальчик!.. Ведь правда: тебя Колей звать?

— Да.

— Не сердись на меня, исполни, пожалуйста, один мой каприз: закрой опять глаза.... нет, совсем, крепче, крепче... Я хочу прибавить огонь и поглядеть на тебя хорошенько. Ну вот, так... Если бы ты знал, как ты красив теперь... сейчас вот... сию секунду. Потом ты загрубеешь, и от тебя станет пахнуть козлом, а теперь от тебя пахнет медом и молоком... и немного каким-то диким цветком. Да закрой же, закрой глаза!

Она прибавила свет, вернулась на свое место и села в своей любимой позе — по-турецки. Оба молчали. Слышно было, как далеко, за несколько комнат, тренькало разбитое фортепиано, несся чей-то вибрирующий смех, а с другой стороны — песенка и быстрый веселый

разговор. Слов не было слышно. Извозчик громыхал где-то по отдаленной улице...

«И вот я его сейчас заражу, как и всех других,— думала Женька, скользя глубоким взглядом по его стройным ногам, красивому торсу будущего атлета и по закинутым назад рукам, на которых, выше сгиба локтя, выпукло, твердо напряглись мышцы.— Отчего же мне так жаль его? Или оттого, что он хорошенький? Нет. Я давно уже не знаю этих чувств. Или оттого, что он — мальчик? Ведь еще год тому назад с небольшим я совала ему в карман яблоки, когда он уходил от меня ночью. Зачем я тогда не сказала ему того, что могу и смею сказать теперь? Или все равно он не поверил бы мне? Рассердился бы? Пошел бы к другой? Ведь рано или поздно каждого мужчину ждет эта очередь... А то, что он покупал меня за деньги,— разве это простительно? Или он поступал так, как и все они, сослепу?..»

— Коля! — сказала она тихо,— открой глаза.

Он повиновался, открыл глаза, повернулся к ней, обвил рукой ее шею, притянул немного к себе и хотел поцеловать в вырез рубашки — в грудь. Она опять нежно, но повелительно отстранила его.

— Нет, подожди, подожди,— выслушай меня... еще минутку. Скажи мне, мальчик, зачем ты к нам сюда ходишь,— к женщинам?

Коля тихо и хрипло рассмеялся.

— Какая ты глупая! Ну зачем же все ходят? Разве я тоже не мужчина? Ведь, кажется, я в таком возрасте, когда у каждого мужчины созревает... ну, известная потребность... в женщине... Ведь не заниматься же мне всякой гадостью!

— Потребность? Только потребность? Значит, вот так же, как в той посуде, которая стоит у меня под кроватью?

— Нет, отчего же? — ласково смеясь, возразил Коля.— Ты мне очень нравилась... с самого первого раза. Если хочешь, я даже... немножко влюблен в тебя... по крайней мере ни с кем с другими я не оставался.

— Ну, хорошо! А тогда, в первый раз, неужели потребность?

— Нет, пожалуй, что и не потребность, но как-то смутно хотелось женщины... Товарищи уговорили... Многие уже раньше меня ходили сюда... Вот и я...

— А что, тебе не стыдно было в первый раз?

Коля смутился: весь этот допрос был ему неприятен, тягостен. Он чувствовал, что это не пустой, праздный постельный разговор, так хорошо ему знакомый из его небольшого опыта, а что-то другое, более важное.

— Положим... не то что стыдно... ну, а все-таки же было неловко. Я тогда выпил для храбрости.

Женя опять легла на бок, оперлась локтем и опять сверху поглядывала на него близко и пристально.

— А скажи, душенька,— спросила она еле слышно, так, что кадет с трудом разбирал ее слова,— скажи еще одно: а то, что ты платил деньги, эти поганые два рубля,— понимаешь! — платил за любовь, за то, чтобы я тебя ласкала, целовала, отдавала бы тебе свое тело,— за это платить тебе не стыдно было? никогда?

— Ах, боже мой! Какие странные вопросы задаешь ты сегодня! Но ведь все же платят деньги! Не я, так другой заплатил бы, — не все ли тебе равно?

— А ты любил кого-нибудь, Коля? Признайся! Ну хоть не по-настоящему, а так... в душе... Ухаживал? Подносил цветочки какие-нибудь... под ручку прогуливался при луне? Было ведь?

— Ну да,— сказал Коля солидным басом.— Мало ли какие глупости бывают в молодости! Понятное дело...

— Какая-нибудь двоюродная сестренка? Барышня воспитанная? Институтка? Гимназисточка?.. Ведь было?

— Ну да, конечно,— у всякого это бывало.

— Ведь ты бы ее не тронул?.. Пощадил бы? Ну, если бы она тебе сказала: возьми меня, но только дай мне два рубля,— что бы ты сказал ей?

— Не понимаю я тебя, Женька! — рассердился вдруг Гладышев.— Что ты ломаешься! Какую-то комедию разыгрываешь! Ей-богу, я сейчас оденусь и уйду.

— Подожди, подожди, Коля! Еще, еще один, последний, самый-самый последний вопрос.

— Ну тебя! — недовольно буркнул Коля.

— А ты никогда не мог себе представить... ну, представь сейчас хоть на секунду... что твоя семья вдруг

обеднела, разорилась... Тебе пришлось бы зарабатывать хлеб перепиской или там, скажем, столярным или кузнечным делом, а твоя сестра свихнулась бы, как и все мы... да, да, твоя, твоя родная сестра... соблазнил бы ее какой-нибудь болван, и пошла бы она гулять... по рукам... что бы ты сказал тогда?

— Чушь!.. Этого быть не может!..— резко оборвал ее Коля.— Ну, однако, довольно,— я ухожу!

— Уходи, сделай милость! У меня там, у зеркала, в коробочке от шоколада, лежат десять рублей,— возьми их себе. Мне все равно не нужно. Купи на них маме пудреницу черепаховую в золотой оправе, а если у тебя есть маленькая сестра, купи ей хорошую куклу. Скажи: на память от одной умершей девки. Ступай, мальчишка!

Коля, нахмурившись, злой, одним толчком ловко сбитого тела соскочил с кровати, почти не касаясь ее. Теперь он стоял на коврике у постели голый, стройный, прекрасный — во всем великолепии своего цветущего юношеского тела.

— Коля! — позвала его тихо, настойчиво и ласково Женька.— Колечка!

Он обернулся на ее зов и коротко, отрывисто вдохнул в себя воздух, точно ахнул: он никогда еще в жизни не встречал нигде, даже на картинах, такого прекрасного выражения нежности, скорби и женственного молчаливого упрека, какое сейчас он видел в глазах Женьки, наполненных слезами. Он присел на край кровати и порывисто обнял ее вокруг обнаженных смуглых рук.

— Не будем же ссориться, Женечка,— сказал он нежно.

И она обвилась вокруг него, положила руки на шею, а голову прижала к его груди. Так они помолчали несколько секунд.

— Коля,— спросила Женя вдруг глухо,— а ты никогда не боялся заразиться?

Коля вздрогнул. Какой-то холодный, омерзительный ужас шевельнулся и прополз у него в душе. Он ответил не сразу.

— Конечно, это было бы страшно... страшно... спаси бог! Да ведь я только к тебе одной хожу, только к тебе! Ты бы, наверное, сказала мне?..

— Да, сказала бы, — произнесла она задумчиво. И тут же прибавила быстро, сознательно, точно взвесив смысл своих слов.— Да, конечно, конечно, сказала бы! А ты не слыхал когда-нибудь, что это за штука болезнь, которая называется сифилисом?

— Конечно, слышал... Нос проваливается...

— Нет, Коля, не только нос! Человек заболевает весь: заболевают его кости, жилы, мозги... Говорят иные доктора такую ерунду, что можно от этой болезни вылечиться. Чушь! Никогда не вылечишься! Человек гниет десять, двадцать, тридцать лет. Каждую секунду его может разбить паралич, так что правая половина лица, правая рука, правая нога умирают, живет не человек, а какая-то половинка. Получеловек-полутруп. Большинство из них сходит с ума. И каждый понимает... каждый человек... каждый такой зараженный понимает, что, если он ест, пьет, целуется, просто даже дышит,— он не может быть уверенным, что не заразит сейчас кого-нибудь из окружающих, самых близких — сестру, жену, сына... У всех сифилитиков дети родятся уродами, недоносками, зобастыми, чахоточными, идиотами. Вот, Коля, что такое из себя представляет эта болезнь! А теперь,— Женька вдруг быстро выпрямилась, крепко схватила Колю за голые плечи, повернула его лицом к себе, так что он был почти ослеплен сверканием ее печальных, мрачных, необыкновенных глаз,— а теперь, Коля, я тебе скажу, что я уже больше месяца больна этой гадостью. Вот оттого-то я тебе и не позволяла поцеловать себя...

— Ты шутишь!.. Ты нарочно дразнишь меня, Женя!...— бормотал злой, испуганный и растерявшийся Гладышев.

— Шучу?.. Иди сюда!

Она резко заставила его встать на ноги, зажгла спичку и сказала:

— Теперь смотри внимательно, что я тебе покажу...

Она широко открыла рот и поставила огонь так, чтобы он освещал ей гортань. Коля поглядел и отшатнулся.

— Ты видишь эти белые пятна? Это — сифилис, Коля! Понимаешь,— сифилис в самой страшной, са-

мой тяжелой степени. Теперь одевайся и благодари бога.

Он, молча и не оглядываясь на Женьку, стал торопливо одеваться, не попадая ногами в одежду. Руки его тряслись, и нижняя челюсть прыгала так, что зубы стучали нижние о верхние, а Женька говорила с поникнутой головой:

— Слушай, Коля, это твое счастье, что ты попал на честную женщину, другая бы не пощадила тебя. Слышишь ли ты это? Мы, которых вы лишаете невинности и потом выгоняете из дома, а потом платите нам два рубля за визит, мы всегда — понимаешь ли ты? — она вдруг подняла голову,— мы всегда ненавидим вас и никогда не жалеем!

Полуодетый Коля вдруг бросил свой туалет, сел на кровать около Женьки и, закрыв ладонями лицо, расплакался искренно, совсем по-детски...

— Господи, господи,— шептал он,— ведь это правда!.. Какая же это подлость!.. И у нас, у нас дома было это: была горничная Нюша... горничная... ее еще звали синьоритой Анитой... хорошенькая... и с нею жил брат... мой старший брат... офицер... и когда он уехал, она стала беременная и мать выгнала ее... ну да,— выгнала... вышвырнула из дома, как половую тряпку... Где она теперь? И отец... отец... Он тоже с гор... горничной.

И полуголая Женька, эта Женька-безбожница, ругательница и скандалистка, вдруг поднялась с постели, стала перед кадетом и медленно, почти торжественно перекрестила его.

— Да хранит тебя господь, мой мальчик! — сказала она с выражением глубокой нежности и благодарности.

И тотчас же побежала к двери, открыла ее и крикнула:

— Экономка!

На зов ее пришла Зося.

— Вот что, экономочка,— распорядилась Женька,— подите узнайте, пожалуйста, кто из них свободен — Тамара или Манька Беленькая. И свободную пришлите сюда.

Коля проворчал что-то сзади, но Женька нарочно не слушала его.

— Да поскорее, пожалуйста, экономочка, будь такая добренькая.

— Сейчас, сейчас, барышня.

— Зачем, зачем ты это делаешь, Женя? — спросил Гладышев с тоской.— Ну для чего это?.. Неужели ты хочешь рассказать?..

— Подожди, это не твое дело... Подожди, я ничего не сделаю неприятного для тебя.

Через минуту пришла Манька Беленькая в своем коричневом, гладком, умышленно скромном и умышленно обтянутом коротком платье гимназистки.

— Ты что меня звала, Женя? Или поссорились?

— Нет, не поссорились, Манечка, а у меня очень голова болит,— ответила спокойно Женька,— и поэтому мой дружок находит меня очень холодной! Будь добренькая, Манечка, останься с ним, замени меня!

— Будет, Женя, перестань, милая! — тоном искреннего страдания возразил Коля.— Я все, все понял, не нужно теперь... Не добивай же меня!..

— Ничего не понимаю, что случилось,— развела руками легкомысленная Манька.— Может быть, угостите чем-нибудь бедную девочку?

— Ну, иди, иди! — ласково отправила ее Женька.— Я сейчас приду. Мы пошутили.

Уже одетые, они долго стояли в открытых дверях, между коридором и спальней, и без слов, грустно глядели друг на друга. И Коля не понимал, но чувствовал, что в эту минуту в его душе совершается один из тех громадных переломов, которые властно сказываются на всей жизни.

Потом он крепко пожал Жене руку и сказал:

— Прости!.. Ты простишь меня, Женя? Простишь?..

— Да, мой мальчик!.. Да, мой хороший!.. Да... Да...

Она нежно, тихо, по-матерински погладила его низко стриженную жесткую голову и слегка подтолкнула его в коридор.

— Куда же ты теперь? — спросила она вдогонку, полуоткрыв дверь...

— Я сейчас возьму товарища и домой.

— Как знаешь!.. Будь здоров, миленький!

— Прости меня!.. Прости меня!..— еще раз повторил Коля, протягивая к ней руки.

— Я уже сказала, мой славный мальчик... И ты меня прости... Больше ведь не увидимся!..

И она, затворив дверь, осталась одна.

В коридоре Гладышев замялся, потому что он не знал, как найти тот номер, куда удалился Петров с Тамарой. Но ему помогла экономка Зося, пробегавшая мимо него очень быстро и с очень озабоченным, встревоженным видом.

— Ах, не до вас тут! — огрызнулась она на вопрос Гладышева.— Третья дверь налево.

Коля подошел к указанной двери и постучался. В комнате послышалась какая-то возня и шепот. Он постучался еще раз.

— Керковиус, отвори! Это я — Солитеров.

Среди кадетов, отправлявшихся в подобного рода экспедиции, всегда было условлено называть друг друга вымышленными именами. Это была не так конспирация, или уловка против бдительности начальства, или боязнь скомпрометировать себя перед случайным семейным знакомым, как своего рода игра в таинственность и переодевание,— игра, ведшая свое начало еще с тех времен, когда молодежь увлекается Густавом Эмаром, Майн-Ридом и сыщиком Лекоком.

— Нельзя! — послышался из-за двери голос Тамары.— Нельзя входить. Мы заняты.

Но ее сейчас же перебил басистый голос Петрова:

— Пустяки! Она врет. Входи. Можно!

Коля отворил дверь.

Петров сидел на стуле одетый, но весь красный, суровый, с надутыми по-детски губами, с опущенными глазами.

— Тоже и товарища привели — нечего сказать! — заговорила Тамара насмешливо и сердито.— Я думала, он в самом деле мужчина, а это — девчонка какая-то! Скажите, пожалуйста, жалко ему свою невинность потерять. Тоже нашел сокровище! Да возьми назад, возьми свои два рубля! — закричала она вдруг на Петрова и швырнула на стол две монеты.— Все равно отдашь их горняшке какой-нибудь! А то на перчатки себе прибереги, суслик!

— Да что же вы ругаетесь! — бурчал Петров, не поднимая глаз.— Ведь я вас не ругаю. Зачем же вы первая ругаетесь? Я имею полное право поступать, как я хочу.

Но я провел с вами время, и возьмите себе. А насильно я не хочу. И с твоей стороны, Гладышев... то бишь, Солитеров, совсем это нехорошо. Я думал, она порядочная девушка, а она все лезет целоваться и бог знает что делает...

Тамара, несмотря на свою злость, расхохоталась.

— Ах ты, глупыш, глупыш! Ну, не сердись — возьму я твои деньги. Только смотри: сегодня же вечером пожалеешь, плакать будешь. Ну, не сердись, не сердись, ангел, давай помиримся. Протяни мне руку, как я тебе.

— Идем, Керковиус,— сказал Гладышев.— До свидания, Тамара!

Тамара опустила деньги, по привычке всех проституток, в чулок и пошла проводить мальчиков.

Еще в то время, когда они проходили коридором, Гладышева поразила странная, молчаливая, напряженная суета в зале, топот ног и какие-то заглушенные, вполголоса, быстрые разговоры.

Около того места, где они только что сидели под картиной, собрались все обитатели дома Анны Марковны и несколько посторонних людей. Они стояли тесной кучкой, наклонившись вниз. Коля с любопытством подошел и, протиснувшись немного, заглянул между головами: на полу, боком, как-то неестественно скорчившись, лежал Ванька-Встанька. Лицо у него было синее, почти черное. Он не двигался и лежал странно маленький, съежившись, с согнутыми ногами. Одна рука была у него поджата под грудь, а другая откинута назад.

— Что с ним? — спросил испуганно Гладышев.

Ему ответила Нюрка, заговорив быстрым, прерывающимся шепотом:

— Ванька-Встанька только что пришел сюда... Отдал Маньке конфеты, а потом стал нам загадывать армянские загадки... «Синего цвета, висит в гостиной и свистит...» Мы никак не могли угадать, а он говорит: «Селедка»... Вдруг засмеялся, закашлялся и начал валиться на бок, а потом — хлоп на землю и не движется... Послали за полицией... Господи, вот страсть-то какая!.. Ужасно я боюсь упокойников!..

— Подожди!— остановил ее Гладышев.— Надо пощупать лоб: может быть, еще жив...

Он сунулся было вперед, но пальцы Симеона, точно железные клещи, схватили его выше локтя и оттащили назад.

— Нечего, нечего разглядывать,— сурово приказал Симеон,— идите-ка, панычи, вон отсюда! Не место вам здесь: придет полиция, позовет вас в свидетели,— тогда вас из военной гимназии — киш, к чертовой матери! Идите-ка подобру-поздорову!

Он проводил их до передней, сунул им в руки шинели и прибавил еще более строго:

— Ну, теперь — гэть бегом!.. Живо! Чтобы духу вашего не было! А другой раз придете, так и вовсе не пустю. Тоже — умницы! Дали старому псу на водку,— вот и околел.

— Ну, ты не больно-то! — ершом налетел на него Гладышев.

— Что не больно?..— закричал вдруг бешено Симеон, и его черные безбровые и безресницые глаза сделались такими страшными, что кадеты отшатнулись.— Я тебя так съезжу по сусалам, что ты папу-маму говорить разучишься! Ноги из заду выдерну. Ну, мигом! А то козырну по шее!

Мальчики спустились с лестницы.

В это время наверх поднимались двое мужчин в суконных картузах набекрень, в пиджаках нараспашку, один в синей, другой в красной рубахах навыпуск под расстегнутыми пиджаками — очевидно, товарищи Симеона по профессии.

— Что,— весело крикнул один из них снизу, обращаясь к Симеону,— каюк Ваньке-Встаньке?

— Да, должно быть, амба,— ответил Симеон.— Надо пока что, хлопцы, выбросить его на улицу, а то пойдут духи цепляться. Черт с ним, пускай думают, что напился пьян и подох на дороге.

— А ты его... не того?.. не пришил?

— Ну вот глупости! Было бы за что. Безвредный был человек. Совсем ягненок. Так, должно быть, пора ему своя пришла.

— И нашел же место, где помереть! Хуже-то не мог придумать? — сказал тот, что был в красной рубахе.

— Это уж верно! — подтвердил другой.— Жил смешно и умер грешно. Ну, идем что ли, товарищ!

Кадеты бежали, что есть мочи. Теперь в темноте фигура скорчившегося на полу Ваньки-Встаньки с его синим лицом представлялась им такой страшной, какими кажутся покойники в ранней молодости, да если о них еще вспоминать ночью, в темноте.

IV

С утра моросил мелкий, как пыль, дождик, упрямый и скучный. Платонов работал в порту над разгрузкой арбузов. На заводе, где он еще с лета предполагал устроиться, ему не повезло: через неделю уже он поссорился и чуть не подрался со старшим мастером, который был чрезвычайно груб с рабочими. С месяц Сергей Иванович перебивался кое-как, с хлеба на воду, где-то на задворках Темниковской улицы, таская время от времени в редакцию «Отголосков» заметки об уличных происшествиях или смешные сценки из камер мировых судей. Но черное газетное дело давно уже опостылело ему. Его всегда тянуло к приключениям, к физическому труду на свежем воздухе, к жизни, совершенно лишенной хотя бы малейшего намека на комфорт, к беспечному бродяжничеству, в котором человек, отбросив от себя всевозможные внешние условия, сам не знает, что с ним будет завтра. И поэтому, когда с низовьев Днепра потянулись первые баржи с арбузами, он охотно вошел в артель, в которой его знали еще с прошлого года и любили за веселый нрав, за товарищеский дух и за мастерское умение вести счет.

Работа шла дружно и ловко. На каждой барже работало одновременно четыре партии, каждая — из пяти человек. Первый номер доставал арбуз из баржи и передавал его второму, стоявшему на борту. Второй бросал его третьему, стоявшему уже на набережной, третий перекидывал четвертому, а четвертый подавал пятому, который стоял на подводе и укладывал арбузы — то темнозеленые, то белые, то полосатые — в ровные блестящие ряды. Работа эта чистая, веселая и очень спорая. Когда подбирается хорошая партия, то любо смотреть, как арбузы летят из рук в руки, ловятся с цирковой быстротой и удачей и вновь и вновь, без перерыва, летят, чтобы в конце концов наполнить телегу. Трудно бывает только

новичкам, которые еще не наловчились, не вошли в особенное чувство темпа. И не так трудно ловить арбуз, как суметь бросить его.

Платонов хорошо помнил свои первые прошлогодние опыты. Какая ругань, ядовитая, насмешливая, грубая, посыпалась на него, когда на третьем или на четвертом разе он зазевался и замедлил передачу: два арбуза, не брошенные в такт, с сочным хрустом разбились о мостовую, а окончательно растерявшийся Платонов уронил и тот, который держал в руках. На первый раз к нему отнеслись мягко, на второй же день за каждую ошибку стали вычитать с него по пяти копеек за арбуз из общей дележки. В следующий раз, когда это случилось, ему пригрозили без всякого расчета сейчас же вышвырнуть его из партии. Платонов и теперь еще помнил, как внезапная злоба охватила его: «Ах, так? Черт вас побери! — подумал он.— Чтобы я еще стал жалеть ваши арбузы! Так вот нате, нате!..» Эта вспышка как будто мгновенно помогла ему. Он небрежно ловил арбузы, так же небрежно их перебрасывал и, к своему удивлению, вдруг почувствовал, что именно теперь-то он весь со своими мускулами, зрением и дыханием вошел в настоящий пульс работы, и понял, что самым главным было вовсе не думать о том, что арбуз представляет собой какую-то стоимость, и тогда все идет хорошо. Когда он, наконец, совсем овладел этим искусством, то долгое время оно служило для него своего рода приятной и занимательной атлетической игрой. Но и это прошло. Он дошел, наконец, до того, что стал чувствовать себя безвольным, механически движущимся колесом общей машины, состоявшей из пяти человек и бесконечной цепи летящих арбузов.

Теперь он был вторым номером. Наклоняясь ритмически вниз, он, не глядя, принимал в обе руки холодный, упругий, тяжелый арбуз, раскачивал его вправо и, тоже почти не глядя или глядя только краем глаза, швырял его вниз и сейчас же опять нагибался за следующим арбузом. И ухо его улавливало в это время, как чмок-чмок... чмок-чмок... шлепались в руках пойманные арбузы, и тотчас же нагибался вниз и опять бросал, с шумом выдыхая из себя воздух — гхе... гхе...

Сегодняшняя работа была очень выгодной: их ар-

тель, состоявшая из сорока человек, взялась, благодаря большой спешке, за работу не поденно, а сдельно, поподводно. Старосте — огромному, могучему полтавцу Заворотному — удалось чрезвычайно ловко обойти хозяина, человека молодого и, должно быть, еще не очень опытного. Хозяин, правда, спохватился позднее и хотел переменить условия, но ему вовремя отсоветовали опытные бахчевники. «Бросьте. Убьют»,— сказали ему просто и твердо. Вот из-за этой-то удачи каждый член артели зарабатывал теперь до четырех рублей в сутки. Все они работали с необыкновенным усердием, даже с какой-то яростью, и если бы возможно было измерить каким-нибудь прибором работу каждого из них, то, наверно, по количеству сделанных пудо-футов она равнялась бы рабочему дню большого воронежского битюга.

Однако Заворотный и этим был недоволен — он все поторапливал и поторапливал своих хлопцев. В нем говорило профессиональное честолюбие: он хотел довести ежедневный заработок каждого члена артели до пяти рублей на рыло. И весело, с необычайной легкостью мелькали от пристани до подводы, вертясь и сверкая, мокрые зеленые и белые арбузы, и слышались их сочные всплески о привычные ладони.

Но вот в порту на землечерпательной машине раздался длинный гудок. Ему отозвался другой, третий на реке, еще несколько на берегу, и долго они ревели вместе мощным разноголосым хором.

— Ба-а-а-ст-а-а! — хрипло и густо, точь-в-точь как паровозный гудок, заревел Заворотный.

И вот последние чмок-чмок — и работа мгновенно остановилась.

Платонов с наслаждением выпрямил спину, и выгнул ее назад, и расправил затекшие руки. Он с удовольствием подумал о том, что уже переболел ту первую боль во всех мускулах, которая так сказывается в первые дни, когда с отвычки только что втягиваешься в работу. А до этого дня, просыпаясь по утрам в своем логовище на Темниковской,— тоже по условному звуку фабричного гудка,— он в первые минуты испытывал такие страшные боли в шее, спине, в руках и ногах, что ему казалось, будто только чудо сможет заставить его встать и сделать несколько шагов.

— Иди-и-и обед-а-ть! — завопил опять Заворотный.

Крючники сходили к воде, становились на колени или ложились ничком на сходнях или на плотах и, зачерпывая горстями воду, мыли мокрые разгоревшиеся лица и руки. Тут же на берегу, в стороне, где еще осталось немного травы, расположились они к обеду: положили в круг десяток самых спелых арбузов, черного хлеба и двадцать тараней. Гаврюшка Пуля уже бежал с полуведерной бутылкой в кабак и пел на ходу солдатский сигнал к обеду:

Бери ложку, тащи бак,
Нету хлеба, лопай так.

Босой мальчишка, грязный и такой оборванный, что на нем было гораздо больше голого собственного тела, чем одежды, подбежал к артели.

— Который у вас тут Платонов? — спросил он, быстро бегая вороватыми глазами.

Сергей Иванович назвал себя:

— Я — Платонов, а тебя как дразнят?

— Тут за углом, за церковью, тебя барышня какая-то ждет... На̀ записку тебе.

Артель густо заржала.

— Чего рты-то порасстегивали, дурачье! — сказал спокойно Платонов.— Давай сюда записку.

Это было письмо от Женьки, написанное круглым, наивным, катящимся детским почерком и не очень грамотное.

«Сергей Иваныч. Простите, что я вас без — покою. Мне нужно с вами поговорить по очень, очень важному делу. Не стала бы трвожить, если бы Пустяки. Всего только на 10 минут. Известная вам Женька от Анны Марковны».

Платонов встал.

— Я пойду ненадолго,— сказал он Заворотному.— Как начнете, буду на месте.

— Тоже дело нашел,— лениво и презрительно отозвался староста.— На это дело ночь есть... Иди, иди, кто ж тебя держит. А только как начнем работать, тебя не будет, то нонешний день не в счет. Возьму любого босяка. А сколько он наколотит кавунов,— тоже с тебя.. не думал я, Платонов, про тебя, что ты такой кобель...

Женька ждала его в маленьком скверике, приютившемся между церковью и набережной и состоявшем из десятка жалких тополей. На ней было серое цельное выходное платье, простая круглая соломенная шляпа с черной ленточкой. «А все-таки, хоть и скромно оделась,— подумал Платонов, глядя на нее издали своими привычно прищуренными глазами,— а все-таки каждый мужчина пройдет мимо, посмотрит и непременно три-четыре раза оглянется: сразу почувствует особенный тон».

— Здравствуй, Женька! Очень рад тебя видеть,— приветливо сказал он, пожимая руку девушки.— Вот уж не ждал-то!

Женька была скромна, печальна и, видимо, чем-то озабочена. Платонов это сразу понял и почувствовал.

— Ты меня извини, Женечка, я сейчас должен обедать,— сказал он,— так, может быть, ты пойдешь вместе со мной и расскажешь, в чем дело, а я заодно успею поесть. Тут неподалеку есть скромный кабачишко. В это время там совсем нет народа, и даже имеется маленькое стойлице вроде отдельного кабинета,— там нам с тобой будет чудесно. Пойдем! Может быть, и ты что-нибудь скушаешь.

— Нет, я есть не буду,— ответила Женька хрипло,— и я недолго тебя задержу... несколько минут. Надо посоветоваться, поговорить, а мне не с кем.

— Очень хорошо... Идем же! Чем только могу, готов всем служить. Я тебя очень люблю, Женька!

Она поглядела на него грустно и благодарно.

— Я это знаю, Сергей Иванович, оттого и пришла.

— Может быть, денег нужно? Говори прямо. У меня у самого немного, но артель мне поверит вперед.

— Нет, спасибо... Совсем не то. Я уж там, куда пойдем, все разом расскажу.

В темноватом низеньком кабачке, обычном притоне мелких воров, где торговля производилась только вечером, до самой глубокой ночи, Платонов занял маленькую полутемную каморку.

— Дай мне мяса вареного, огурцов, большую рюмку водки и хлеба,— приказал он половому.

Половой — молодой малый с грязным лицом, курносый, весь такой засаленный и грязный, как будто его

только что вытащили из помойной ямы,— вытер губы и сипло спросил:

— На сколько копеек хлеба?

— На сколько выйдет.

Потом он рассмеялся:

— Неси как можно больше,— потом посчитаемся... И квасу!..

— Ну, Женя, говори, какая у тебя беда... Я уж по лицу вижу, что беда или вообще что-то кислое... Рассказывай!

Женька долго теребила свой носовой платок и глядела себе на кончики туфель, точно собираясь с силами. Ею овладела робость — никак не приходили на ум нужные, важные слова. Платонов пришел ей на помощь:

— Не стесняйся, милая Женя, говори все, что есть! Ты ведь знаешь, что я человек свой и никогда не выдам. А может быть, и впрямь что-нибудь хорошее посоветую. Ну, бух с моста в воду — начинай!

— Вот я именно и не знаю, как начать-то,— сказала Женька нерешительно.— Вот что, Сергей Иванович, больная я... Понимаете? — нехорошо больна... Самою гадкою болезнью... Вы знаете,— какой?

— Дальше! — сказал Платонов, кивнув головой.

— И давно это у меня... больше месяца... может быть, полтора... Да, больше чем месяц, потому что я только на троицу узнала об этом...

Платонов быстро потер лоб рукой.

— Подожди, я вспомнил... Это в тот день, когда я там был вместе со студентами... Не так ли?

— Верно, Сергей Иванович, так...

— Ах, Женька,— сказал Платонов укоризненно и с сожалением.— А ведь знаешь, что после этого двое студентов заболели... Не от тебя ли?

Женька гневно и презрительно сверкнула глазами.

— Может быть, и от меня... Почем я знаю? Их много было... Помню, вот этот был, который еще все лез с вами подраться... Высокий такой, белокурый, в пенсне...

— Да, да... Это — Собашников. Мне передавали... Это он... Ну, этот еще ничего—фатишка! А вот другой,— того мне жаль. Я хоть давно его знаю, но как-то никогда не справлялся толком об его фамилии... Помню только, что фамилия происходит от какого-то города — Полян-

ска... Звенигородска... Товарищи его звали Рамзес... Когда врачи,— он к нескольким врачам обращался,— когда они сказали ему бесповоротно, что он болен люэсом, он пошел домой и застрелился... И в записке, которую он написал, были удивительные слова, приблизительно такие: «Я полагал весь смысл жизни в торжестве ума, красоты и добра; с этой же болезнью я не человек, а рухлядь, гниль, падаль, кандидат в прогрессивные паралитики. С этим не мирится мое человеческое достоинство. Виноват же во всем случившемся, а значит, и в моей смерти, только один я, потому что, повинуясь минутному скотскому влечению, взял женщину без любви, за деньги. Потому я и заслужил наказание, которое сам на себя налагаю...» Мне его очень жаль...— прибавил Платонов тихо.

Женька раздула ноздри.

— А мне вот ни чуточки.

— Напрасно... Ты теперь, малый, уйди. Когда нужно будет, я тебя покричу,— сказал Платонов услужающему.— Совсем напрасно, Женечка! Это был необыкновенно крупный и сильный человек. Такие попадаются один на сотни тысяч. Я не уважаю самоубийц. Чаще всего это мальчишки, которые стреляются и вешаются по пустякам, подобно ребенку, которому не дали конфетку, и он бьется назло окружающим об стену. Но перед его смертью я благоговейно и с горечью склоняю голову. Он был умный, щедрый, ласковый человек, внимательный ко всем и, как видишь, слишком строгий к себе.

— А мне это решительно все равно,— упрямо возразила Женька,— умный или глупый, честный или нечестный, старый или молодой,— я их всех возненавидела! Потому что,— погляди на меня,— что я такое? Какая-то всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место. Подумай, Платонов, ведь тысячи, тысячи человек брали меня, хватали, хрюкали, сопели надо мной, и всех тех, которые были, и тех, которые могли бы еще быть на моей постели,— ах! как ненавижу я их всех! Если бы могла, я осудила бы их на пытку огнем и железом!.. Я велела бы...

— Ты злая и гордая, Женя,— тихо сказал Платонов.

— Я была и не злая и не гордая... Это только теперь. Мне не было десяти лет, когда меня продала родная мать, и с тех пор я пошла гулять по рукам... Хоть бы кто-

нибудь во мне увидел человека! Нет!.. Гадина, отребье, хуже нищего, хуже вора, хуже убийцы!.. Даже палач...— у нас и такие бывают в заведении,— и тот отнесся бы ко мне свысока, с омерзением: я — ничто, я — публичная девка! Понимаете ли вы, Сергей Иванович, какое это ужасное слово? Пу-бли-чная!.. Это значит ничья: ни своя, ни папина, ни мамина, ни русская, ни рязанская, а просто — публичная! И никому ни разу в голову не пришло подойти ко мне и подумать: а ведь это тоже человек, у него сердце и мозг, он о чем-то думает, что-то чувствует, ведь он сделан не из дерева и набит не соломой, трухой или мочалкой! И все-таки это чувствую только я. Я, может быть, одна из всех, которая чувствует ужас своего положения, эту черную вонючую, грязную яму. Но ведь все девушки, с которыми я встречалась и с которыми вот теперь живу,— поймите, Платонов, поймите меня! — ведь они ничего не сознают!.. Говорящие, ходящие куски мяса! И это еще хуже, чем моя злоба!..

— Ты права!— тихо сказал Платонов,— и вопрос этот такой, что с ним всегда упрешься в стену. Вам никто не поможет...

— Никто, никто!..— страстно воскликнула Женька.— Помнишь ли,— при тебе это было: увез студент нашу Любку...

— Как же, хорошо помню!.. Ну и что же?

— А то, что вчера она вернулась обтрепанная, мокрая... Плачет... Бросил, подлец!.. Поиграл в доброту, да и за щеку! Ты, говорит,— сестра! Я, говорит, тебя спасу, я тебя сделаю человеком...

— Неужели так?

— Так!.. Одного человека я видела, ласкового и снисходительного, без всяких кобелиных расчетов,— это тебя. Но ведь ты совсем другой. Ты какой-то странный. Ты все где-то бродишь, ищешь чего-то... Вы простите меня, Сергей Иванович, вы блаженненький какой-то!.. Вот потому-то я к вам и пришла, к вам одному!..

— Говори, Женечка...

— И вот, когда я узнала, что больна, я чуть с ума не сошла, от злобы, задохлась от злобы... Я подумала: вот и конец, стало быть, нечего жалеть больше, не о чем печалиться, нечего ждать... Крышка!.. Но за все, что я перенесла,— неужели нет отплаты? Неужели нет справед-

ливости на свете? Неужели я не могу наслаждаться хоть местью? — за то, что я никогда не знала любви, о семье знаю только понаслышке, что меня, как паскудную собачонку, подзовут, погладят и потом сапогом по голове — пошла прочь! — что меня сделали из человека, равного всем им, не глупее всех, кого я встречала, сделали половую тряпку, какую-то сточную трубу для их пакостных удовольствий? Тьфу!.. Неужели за все за это я должна еще принять и такую болезнь с благодарностью?.. Или я раба? Бессловесный предмет?.. Вьючная кляча?.. И вот, Платонов, тогда-то я решила заражать их всех — молодых, старых, бедных, богатых, красивых, уродливых,— всех, всех, всех!..

Платонов, давно уже отставивший от себя тарелку, глядел на нее с изумлением и даже больше —почти с ужасом. Ему, видевшему в жизни много тяжелого, грязного, порою даже кровавого,— ему стало страшно животным страхом перед этим напряжением громадной неизлившейся ненависти. Очнувшись, он сказал:

— Один великий французский писатель рассказывает о таком случае. Пруссаки завоевали французов и всячески издевались над ними: расстреливали мужчин, насиловали женщин, грабили дома, поля сжигали... И вот одна красивая женщина, француженка, очень красивая, заразившись, стала назло заражать всех немцев, которые попадали к ней в объятья. Она сделала больными целые сотни, может быть, даже тысячи... И когда она умирала в госпитале, она с радостью и с гордостью вспоминала об этом... Но ведь то были враги, попиравшие ее отечество и избивавшие ее братьев... Но ты, ты, Женечка?..

— А я всех, именно всех! Скажите мне, Сергей Иванович, по совести только скажите, если бы вы нашли на улице ребенка, которого кто-то обесчестил, надругался над ним... ну, скажем, выколол бы ему глаза, отрезал уши,— и вот вы бы узнали, что этот человек сейчас проходит мимо вас и что только один бог, если только он есть, смотрит на вас в эту минуту с небеси,— что бы вы сделали?

— Не знаю,— ответил глухо и потупившись Платонов, но он побледнел, и пальцы его под столом судорожно сжались в кулаки.— Может быть, убил бы его...

— Не «может быть», а наверно! Я вас знаю, я вас чувствую. Ну, а теперь подумайте: ведь над каждой из нас так надругались, когда мы были детьми!.. Детьми! — страстно простонала Женька и закрыла на мгновение глаза ладонью.— Об этом ведь, помнится, и вы как-то говорили у нас, чуть ли не в тот самый вечер, на троицу... Да, детьми, глупыми, доверчивыми, слепыми, жадными, пустыми... И не можем мы вырваться из своей ямки... куда пойдешь? Что сделаешь?.. И вы не думайте, пожалуйста, Сергей Иванович, что во мне сильна злоба только к тем, кто именно меня, лично меня обижали... Нет, вообще ко всем нашим гостям, к этим кавалерам, от мала до велика... Ну и вот я решилась мстить за себя и за своих сестер. Хорошо это или нет?..

— Женечка, я, право, не знаю... Я не могу... я ничего не смею сказать... Я не понимаю.

— Но и не в этом главное... А главное вот в чем... Я их заражала и не чувствовала ничего — ни жалости, ни раскаяния, ни вины перед богом или перед отечеством. Во мне была только радость, как у голодного волка, который дорвался до крови... Но вчера случилось что-то, чего и я не могу понять. Ко мне пришел кадет, совсем мальчишка, глупый, желторотый... Он ко мне ходил еще с прошлой зимы... И вот вдруг я пожалела его... Не оттого, что он был очень красив и очень молод, и не оттого, что он всегда был очень вежлив, пожалуй, даже нежен. Нет, у меня бывали и такие и такие, но я не щадила их: я с наслаждением отмечала их, точно скотину, раскаленным клеймом... А этого я вдруг пожалела... Я сама не понимаю — почему? Я не могу разобраться. Мне казалось, что это все равно, что украсть деньги у дурачка, у идиотика, или ударить слепого, или зарезать спящего... Если бы он был какой-нибудь заморыш, худосочный или поганенький, блудливый старикашка, я не остановилась бы. Но он был здоровый, крепкий, с грудью и с руками, как у статуи... и я не могла... Я отдала ему деньги, показала ему свою болезнь, словом, была дура дурой. Он ушел от меня... расплакался... И вот со вчерашнего вечера я не спала. Хожу как в тумане... Стало быть,— думаю я вот теперь,— стало быть, то, что я задумала — моя мечта заразить их всех, заразить их отцов, матерей, сестер, невест,— хоть весь мир,— стало быть, это все было глупо-

стью, пустой фантазией, раз я остановилась?.. Опять-та̀ки я ничего не понимаю... Сергей Иванович, вы такой умный, вы так много видели в жизни,— помогите же мне найти теперь себя!..

— Не знаю, Женечка! — тихо произнес Платонов.— Не то, что я боюсь говорить тебе или советовать, но я совсем ничего не знаю. Это выше моего рассудка... выше совести...

Женя скрестила пальцы с пальцами и нервно хрустнула ими.

— И я не знаю... Стало быть, то, что я думала,— неправда?.. Стало быть, мне остается только одно... Эта мысль сегодня утром пришла мне в голову...

— Не делай, не делай этого, Женечка!.. Женя!..— быстро перебил ее Платонов.

— ...Одно: повеситься...

— Нет, нет, Женя, только не это!.. Будь другие обстоятельства, непреоборимые, я бы, поверь, смело сказал тебе: ну что же, Женя, пора кончить базар... Но тебе вовсе не это нужно... Если хочешь, я подскажу тебе один выход, не менее злой и беспощадный, но который, может быть, во сто раз больше насытит твой гнев...

— Какой это? — устало спросила Женя, сразу точно увядшая после своей вспышки.

— А вот какой... Ты еще молода, и, по правде я тебе скажу, ты очень красива, то есть ты можешь быть, если захочешь, необыкновенно эффектной... Это даже больше, чем красота. Но ты еще никогда не знала размеров и власти своей наружности, а главное, ты не знаешь, до какой степени обаятельны такие натуры, как ты, и как они властно приковывают к себе мужчин и делают из них больше чем рабов и скотов... Ты гордая, ты смелая, ты независимая, ты умница... Я знаю, ты много читала, предположим, даже дрянных книжек, но все-таки читала, у тебя язык совсем другой, чем у других. При удачном обороте жизни ты можешь вылечиться, ты можешь уйти из этих «Ямков» на свободу. Тебе стоит только пальцем пошевельнуть, чтобы видеть у своих ног сотни мужчин, покорных, готовых для тебя на подлость, на воровство, на растрату... Владей ими на тугих поводьях, с жестоким хлыстом в руках!.. Разоряй их, своди с ума, пока у тебя хватит желания и энергии!.. Посмотри, ми-

лая Женя, кто ворочает теперь жизнью, как не женщины! Вчерашняя горничная, прачка, хористка раскусывают миллионные состояния, как тверская баба подсолнушки. Женщина, едва умеющая подписать свое имя, влияет иногда через мужчину на судьбу целого королевства. Наследные принцы женятся на вчерашних потаскушках, содержанках... Женечка, вот тебе простор для твоей необузданной мести, а я полюбуюсь тобою издали... А ты,— ты замешана именно из этого теста — хищницы, разорительницы... Может быть, не в таком размахе, но ты бросишь их себе под ноги.

— Нет,— слабо улыбнулась Женька.— Я думала об этом раньше... Но выгорело во мне что-то главное. Нет у меня сил, нет у меня воли, нет желаний... Я вся какая-то пустая внутри, трухлявая... Да вот, знаешь, бывает гриб такой — белый, круглый,— сожмешь его, а оттуда нюхательный порошок сыплется. Так и я. Все во мне эта жизнь выела, кроме злости. Да и вялая я, и злость моя вялая... Опять увижу какого-нибудь мальчишку, пожалею, опять буду казниться. Нет, уж лучше так...

Она замолчала. И Платонов не знал, что сказать. Стало обоим тяжело и неловко. Наконец Женька встала и, не глядя на Платонова, протянула ему холодную, слабую руку.

— Прощайте, Сергей Иванович! Простите, что я отняла у вас время... Что же, я сама вижу, что вы помогли бы мне, если бы сумели... Но уж, видно, тут ничего не попишешь. Прощайте!..

— Только глупости не делай, Женечка! Умоляю тебя!..

— Ладно уж! — сказала она и устало махнула рукой.

Выйдя из сквера, они разошлись, но, пройдя несколько шагов, Женька вдруг окликнула его:

— Сергей Иванович, а Сергей Иванович!..

Он остановился, обернулся, подошел к ней.

— Ванька-Встанька у нас вчера подох в зале. Прыгал-прыгал, а потом вдруг и окочурился... Что ж, по крайней мере легкая смерть! И еще я забыла вас спросить, Сергей Иванович... Это уж последнее... Есть бог или нет?

Платонов нахмурился.

— Что я тебе отвечу? Не знаю. Думаю, что есть, но не такой, как мы его воображаем. Он — больше, мудрее, справедливее...

— А будущая жизнь? Там, после смерти? Вот, говорят, рай есть или ад? Правда это? Или ровно ничего? Пустышка? Сон без сна? Темный подвал?

Платонов молчал, стараясь не глядеть на Женьку.

Ему было тяжело и страшно.

— Не знаю,— сказал он, наконец, с усилием.— Не хочу тебе врать.

Женька вздохнула и улыбнулась жалкой, кривой улыбкой.

— Ну, спасибо, мой милый. И на том спасибо... Желаю вам счастья. От души. Ну, прощайте...

Она отвернулась от него и стала медленно, колеблющейся походкой взбираться в гору.

Платонов как раз вернулся на работу вовремя. Босячня, почесываясь, позевывая, разминая свои привычные вывихи, становилась по местам. Заворотный издали своими зоркими глазами увидал Платонова и закричал на весь порт:

— Поспел-таки, сутулый черт!.. А я уж хотел тебя за хвост и из компании вон... Ну, становись!..

— И кобель же ты у меня, Сережка!..— прибавил он ласково.— Хоша бы ночью, а то,— гляди-ка, среди бела дня захороводил...

V

Суббота была обычным днем докторского осмотра, к которому во всех домах готовились очень тщательно и с трепетом, как, впрочем, готовятся и дамы из общества, собираясь с визитом к врачу-специалисту: старательно делали свой интимный туалет и непременно надевали чистое нижнее белье, даже по возможности более нарядное. Окна на улицу были закрыты ставнями, а у одного из тех окон, что выходили во двор, поставили стол с твердым валиком под спину.

Все девушки волновались... «А вдруг болезнь, которую сама не заметила?.. А там — отправка в больницу, позор, скука больничной жизни, плохая пища, тяжелое лечение...»

Только Манька Большая, или иначе Манька-Крокодил, Зоя и Генриетта — тридцатилетние, значит, уже старые по ямскому счету проститутки, все видевшие, ко всему притерпевшиеся, равнодушные в своем деле, как белые жирные цирковые лошади, оставались невозмутимо спокойными. Манька-Крокодил даже часто говорила о самой себе:

— Я огонь и воду прошла и медные трубы... Ничто уже больше ко мне не прилипнет.

Женька с утра была кротка и задумчива. Подарила Маньке Беленькой золотой браслет, медальон на тоненькой цепочке со своей фотографией и серебряный нашейный крестик. Тамару упросила взять на память два кольца: одно — серебряное раздвижное о трех обручах, в средине сердце, а под ним две руки, которые сжимали одна другую, когда все три части кольца соединялись, а другое — из золотой тонкой проволоки с альмандином.

— А мое белье, Тамарочка, отдай Аннушке, горничной. Пусть выстирает хорошенько и носит на здоровье, на память обо мне.

Они были вдвоем в комнате Тамары. Женька с утра еще послала за коньяком и теперь медленно, точно лениво, тянула рюмку за рюмкой, закусывая лимоном с кусочком сахара. В первый раз это наблюдала Тамара и удивлялась, потому что всегда Женька была не охотница до вина и пила очень редко и то только по принуждению гостей.

— Что это ты сегодня так раздарилась? — спросила Тамара.— Точно умирать собралась или в монастырь идти?..

— Да я и уйду,— ответила вяло Женька.— Скучно мне, Тамарочка!..

— Кому же весело из нас?

— Да нет!.. Не то что скучно, а как-то мне все — все равно... Гляжу вот я на тебя, на стол, на бутылку, на свои руки, ноги и думаю, что все это одинаково и все ни к чему... Нет ни в чем смысла... Точно на какой-то старой-престарой картине. Вот смотри: идет по улице солдат, а мне все равно, как будто завели куклу и она двигается... И что мокро ему под дождем, мне тоже все равно... И что он умрет, и я умру, и ты, Тамара, умрешь,— тоже

в этом я не вижу ничего ни страшного, ни удивительного... Так все для меня просто и скучно...

Женька помолчала, выпила еще рюмку, пососала сахар и, все еще глядя на улицу, вдруг спросила:

— Скажи мне, пожалуйста, Тамара, я вот никогда еще тебя об этом не спрашивала, откуда ты к нам поступила сюда, в дом? Ты совсем не похожа на всех нас, ты все знаешь, у тебя на всякий случай есть хорошее, умное слово... Вон и по-французски как ты тогда говорила хорошо! А никто из нас о тебе ровно ничего не знает... Кто ты?

— Милая Женечка, право, не стоит... Жизнь как жизнь... Была институткой, гувернанткой была, в хоре пела, потом тир в летнем саду держала, а потом спуталась с одним шарлатаном и сама научилась стрелять из винчестера... По циркам ездила,— американскую амазонку изображала. Я прекрасно стреляла... Потом в монастырь попала. Там пробыла года два... Много было у меня... Всего не упомнишь... Воровала.

— Много ты пожила... пестро...

— Мне и лет-то немало. Ну, как ты думаешь,— сколько?

— Двадцать два, двадцать четыре?..

— Нет, ангел мой! Тридцать два ровно стукнуло неделю тому назад. Я, пожалуй что, старше всех вас здесь у Анны Марковны. Но только ничему я не удивлялась, ничего не принимала близко к сердцу. Как видишь, не пью никогда... Занимаюсь очень бережно уходом за своим телом, а главное — самое главное — не позволяю себе никогда увлекаться мужчинами...

— Ну, а Сенька твой?..

— Сенька — это особая статья: сердце бабье глупое, нелепое... Разве оно может жить без любви? Да и не люблю я его, а так... самообман... А впрочем, Сенька мне скоро очень понадобится.

Женька вдруг оживилась и с любопытством поглядела на подругу:

— Но здесь-то, в этой дыре, как ты застряла? — умница, красивая, обходительная такая...

— Долго рассказывать... Да и лень... Попала я сюда из-за любви: спуталась с одним молодым человеком и делала с ним вместе революцию. Ведь мы всегда так

поступаем, женщины: куда милый смотрит, туда и мы, что милый видит, то и мы... Не верила я душой-то в его дело, а пошла. Льстивый был человек, умный, говорун, красавец... Только оказался он потом подлецом и предателем. Играл в революцию, а сам товарищей выдавал жандармам. Провокатором был. Как его убили и разоблачили, так с меня и вся дурь соскочила. Однако пришлось скрываться... Паспорт переменила. Тут мне посоветовали, что легче всего прикрыться желтым билетом... А там и пошло!.. Да и здесь я вроде как на подножном корму: придет время, удастся у меня минутка — уйду!

— Куда? — с нетерпением спросила Женя.

— Свет велик... А я жизнь люблю!.. Вот я так же и в монастыре: жила, жила, пела антифоны и задостойники, пока не отдохнула, не соскучилась вконец, а потом сразу — хоп! и в кафешантан... Хорош скачок? Так и отсюда... В театр пойду, в цирк, в кордебалет... а больше, знаешь, тянет меня, Женечка, все-таки воровское дело... Смелое, опасное, жуткое и какое-то пьяное... Тянет!.. Ты не гляди на меня, что я такая приличная и скромная и могу казаться воспитанной девицей. Я совсем-совсем другая.

У нее вдруг ярко и весело вспыхнули глаза.

— Во мне дьявол живет!

— Хорошо тебе!— задумчиво и с тоской произнесла Женя,— ты хоть хочешь чего-нибудь, а у меня душа дохлая какая-то... Вот мне двадцать лет, а душа у меня старушечья, сморщенная, землей пахнет... И хоть пожила бы толком!.. Тьфу!.. Только слякоть какая-то была.

— Брось, Женя, ты говоришь глупости. Ты умна, ты оригинальна, у тебя есть та особенная сила, перед которой так охотно ползают и пресмыкаются мужчины. Уходи отсюда и ты. Не со мной, конечно,— я всегда одна,— а уйди сама по себе.

Женька покачала головой и тихо, без слез, спрятала свое лицо в ладонях.

— Нет,— отозвалась она глухо после долгого молчания,— нет, у меня это не выходит: изжевала меня судьба!.. Не человек я больше, а какая-то поганая жвачка... Эх! — вдруг махнула она рукой.— Выпьем-ка, Женечка, лучше коньячку,—обратилась она сама к себе,—и пососем лимончик!.. Брр... гадость какая!.. И где это Аннушка

всегда такую мерзость достанет? Собаке шерсть если помазать, так облиняет... И всегда, подлая, полтинник лишний возьмет. Раз я как-то спрашиваю ее: «Зачем деньги копишь?» — «А я, говорит, на свадьбу коплю. Что же, говорит, будет мужу моему за радость, что я ему одну свою невинность преподнесу! Надо еще сколько-нибудь сотен приработать». Счастливая она!.. Тут у меня, Тамара, денег немножко есть, в ящичке под зеркалом, ты ей передай, пожалуйста...

— Да что ты, дура, помирать, что ли, хочешь? — резко, с упреком сказала Тамара.

— Нет, я так, на всякий случай... Возьми-ка, возьми деньги! Может быть, меня в больницу заберут... А там, как знать, что произойдет? Я мелочь себе оставила на всякий случай... А что же, если и в самом деле, Тамарочка, я захотела бы что-нибудь над собой сделать, неужели ты стала бы мешать мне?

Тамара поглядела на нее пристально, глубоко и спокойно. Глаза Женьки были печальны и точно пусты. Живой огонь погас в них, и они казались мутными, точно выцветшими, с белками, как лунный камень.

— Нет,— сказала, наконец, тихо, но твердо Тамара.— Если бы из-за любви — помешала бы, если бы из-за денег — отговорила бы, но есть случаи, когда мешать нельзя. Способствовать, конечно, не стала бы, но и цепляться за тебя и мешать тебе тоже не стала бы.

В это время по коридору пронеслась с криком быстроногая экономка Зося:

— Барышни, одеваться! Доктор приехал... Барышни, одеваться!.. Барышни, живо!..

— Ну, иди, Тамара, иди! — ласково сказала Женька, вставая.— Я к себе зайду на минутку,— я еще не переодевалась, хотя, правда, это тоже все равно. Когда будут меня вызывать, и если я не поспею, крикни, сбегай за мной.

И, уходя из Тамариной комнаты, она как будто невзначай обняла ее за плечо и ласково погладила.

Доктор Клименко — городской врач — приготовлял в зале все необходимое для осмотра: раствор сулемы, вазелин и другие вещи, и все это расставлял на отдельном маленьком столике. Здесь же у него лежали и белые бланки девушек, заменявшие им паспорта, и общий ал-

фавитный список. Девушки, одетые только в сорочки, чулки и туфли, стояли и сидели в отдалении. Ближе к столу стояла сама хозяйка — Анна Марковна, и немножко сзади ее — Эмма Эдуардовна и Зося.

Доктор, старый, опустившийся, грязноватый, ко всему равнодушный человек, надел криво на нос пенсне, поглядел в список и выкрикнул:

— Александра Будзинская!..

Вышла нахмуренная, маленькая, курносая Нина. Сохраняя на лице сердитое выражение и сопя от стыда, от сознания своей собственной неловкости и от усилий, она неуклюже взлезла на стол. Доктор, щурясь через пенсне и поминутно роняя его, произвел осмотр.

— Иди!.. Здорова.

И на оборотной стороне бланка отметил: «Двадцать восьмого августа, здорова» — и поставил каракульку. И, когда еще не кончил писать, крикнул:

— Вощенкова Ирина!..

Теперь была очередь Любки. Она за эти прошедшие полтора месяца своей сравнительной свободы успела уже отвыкнуть от еженедельных осмотров, и когда доктор завернул ей на грудь рубашку, она вдруг покраснела так, как умеют краснеть только очень стыдливые женщины,— даже спиной и грудью.

За нею была очередь Зои, потом Маньки Беленькой, затем Тамары и Нюрки, у которой Клименко нашел гонорею и велел отправить ее в больницу.

Доктор производил осмотр с удивительной быстротой. Вот уже около двадцати лет как ему приходилось каждую неделю по субботам осматривать таким образом несколько сотен девушек, и у него выработалась та привычная техническая ловкость и быстрота, спокойная небрежность в движениях, которая бывает часто у цирковых артистов, у карточных шулеров, у носильщиков и упаковщиков мебели и у других профессионалов. И производил он свои манипуляции с таким же спокойствием, с каким гуртовщик или ветеринар осматривают в день несколько сотен голов скота, с тем хладнокровием, какое не изменило ему дважды во время обязательного присутствия при смертной казни.

Думал ли он когда-нибудь о том, что перед ним живые люди, или о том, что он является последним и самым

главным звеном той страшной цепи, которая называется узаконенной проституцией?..

Нет! Если и испытывал, то, должно быть, в самом начале своей карьеры. Теперь перед ним были только голые животы, голые спины и открытые рты. Ни одного экземпляра из этого ежесубботнего безликого стада он не узнал бы впоследствии на улице. Главное, надо было как можно скорее окончить осмотр в одном заведении, чтобы перейти в другое, третье, десятое, двадцатое...

— Сусанна Райцына! — выкрикнул, наконец, доктор.

Никто не подходил к столу.

Все обитательницы дома переглянулись и зашептались.

— Женька... Где Женька?..

Но ее не было среди девушек.

Тогда Тамара, только что отпущенная доктором, выдвинулась немного вперед и сказала:

— Ее нет. Она не успела еще приготовиться. Извините, господин доктор. Я сейчас пойду позову ее.

Она побежала в коридор и долго не возвращалась. Следом за нею пошла сначала Эмма Эдуардовна, потом Зося, несколько девушек и даже сама Анна Марковна.

— Пфуй! Что за безобразие!..— говорила в коридоре величественная Эмма Эдуардовна, делая негодующее лицо.— И вечно эта Женька!.. Постоянно эта Женька!.. Кажется, мое терпение уже лопнуло...

Но Женьки нигде не было — ни в ее комнате, ни в Тамариной. Заглянули в другие каморки, во все закоулки... Но и там ее не оказалось.

— Надо поглядеть в ватере... Может быть, она там? — догадалась Зоя.

Но это учреждение было заперто изнутри на задвижку. Эмма Эдуардовна постучалась в дверь кулаком.

— Женя, да выходите же вы! Что это за глупости?!

И, возвысив голос, крикнула нетерпеливо и с угрозой:

— Слышишь, ты, свинья?.. Сейчас же иди — доктор ждет.

Не было никакого ответа.

Все переглянулись со страхом в глазах, с одной и той же мыслью в уме.

Эмма Эдуардовна потрясла дверь за медную ручку, но дверь не поддалась.

— Сходите за Симеоном!—распорядилась Анна Марковна.

Позвали Симеона... Он пришел, по обыкновению, заспанный и хмурый. По растерянным лицам девушек и экономок он уже видел, что случилось какое-то недоразумение, в котором требуется его профессиональная жестокость и сила. Когда ему объяснили, в чем дело, он молча взялся своими длинными обезьяньими руками за дверную ручку, уперся в стену ногами и рванул.

Ручка осталась у него в руках, а сам он, отшатнувшись назад, едва не упал спиной на пол.

— А-а, черт! — глухо заворчал он.— Дайте мне столовый ножик.

Сквозь щель двери столовым ножом он прощупал внутреннюю задвижку, обстругал немного лезвием края щели и расширил ее так, что мог просунуть, наконец, туда кончик ножа, и стал понемногу отскребать назад задвижку. Все следили за его руками, не двигаясь, почти не дыша. Слышался только скрип металла о металл.

Наконец Симеон распахнул дверь.

Женька висела посреди ватерклозета на шнурке от корсета, прикрепленном к ламповому крюку. Тело ее, уже неподвижное после недолгой агонии, медленно раскачивалось в воздухе и описывало вокруг своей вертикальной оси едва заметные обороты влево и вправо. Лицо ее было сине-багрово, и кончик языка высовывался между прикушенных и обнаженных зубов. Снятая лампа валялась здесь же на полу.

Кто-то истерически завизжал, и все девушки, как испуганное стадо, толпясь и толкая друг друга в узком коридоре, голося и давясь истерическими рыданиями, кинулись бежать.

На крики пришел доктор... Именно, *пришел*, а не прибежал. Увидев, в чем дело, он не удивился и не взволновался: за свою практику городского врача он насмотрелся таких вещей, что уже совсем одеревенел и окаменел к человеческим страданиям, ранам и смерти. Он приказал Симеону приподнять немного вверх труп Женьки и сам, забравшись на сиденье, перерезал шнурок. Для проформы он приказал отнести Женьку в ее бывшую ком-

нату и пробовал при помощи того же Симеона произвести искусственное дыхание, но минут через пять махнул рукой, поправил свое скривившееся на носу пенсне и сказал:

— Позовите полицию составить протокол.

Опять пришел Кербеш, опять долго шептался с хозяйкой в ее маленьком кабинетике и опять захрустел в кармане новой сторублевкой.

Протокол был составлен в пять минут, и Женьку, такую же полуголую, какой она повесилась, отвезли в наемной телеге в анатомический театр, окутав и прикрыв ее двумя рогожами.

Эмма Эдуардовна первая нашла записку, которую оставила Женька у себя на ночном столике. На листке, вырванном из приходо-расходной книжки, обязательной для каждой проститутки, карандашом, наивным круглым детским почерком, по которому, однако, можно было судить, что руки самоубийцы не дрожали в последние минуты, было написано:

«В смерти моей прошу никого не винить. Умираю оттого, что заразилась, и еще оттого, что все люди подлецы и что жить очень гадко. Как разделить мои вещи, об этом знает Тамара. Я ей сказала подробно».

Эмма Эдуардовна обернулась назад к Тамаре, которая в числе других девушек была здесь же, и с глазами, полными холодной зеленой ненависти, прошипела:

— Так ты знала, подлая, что она собиралась сделать?.. Знала, гадина?.. Знала и не сказала?..

Она уже замахнулась, чтобы, по своему обыкновению, жестко и расчетливо ударить Тамару, но вдруг так и остановилась с разинутым ртом и с широко раскрывшимися глазами. Она точно в первый раз увидела Тамару, которая глядела на нее твердым, гневным, непереносимо-презрительным взглядом и медленно, медленно подымала снизу и, наконец, подняла в уровень с лицом экономки маленький, блестящий белым металлом предмет.

VI

В тот же день вечером совершилось в доме Анны Марковны очень важное событие: все учреждение с землей и с домом, с живым и мертвым инвентарем и со всеми

человеческими душами перешло в руки Эммы Эдуардовны.

Об этом уже давно поговаривали в заведении, но, когда слухи так неожиданно, тотчас же после смерти Женьки, превратились в явь, девицы долго не могли прийти в себя от изумления и страха. Они хорошо знали, испытав на себе власть немки, ее жестокий, неумолимый педантизм, ее жадность, высокомерие и, наконец, ее извращенную, требовательную, отвратительную любовь то к одной, то к другой фаворитке. Кроме того, ни для кого не было тайной, что из шестидесяти тысяч, которые Эмма Эдуардовна должна была уплатить прежней хозяйке за фирму и за имущество, треть принадлежала Кербешу, который давно уже вел с толстой экономкой полудружеские, полуделовые отношения. От соединения двух таких людей, бесстыдных, безжалостных и алчных, девушки могли ожидать для себя всяких напастей.

Анна Марковна так дешево уступила дом не только потому, что Кербеш, если бы даже и не знал за нею некоторых темных делишек, все-таки мог в любое время подставить ей ножку и съесть без остатка. Предлогов и зацепок к этому можно было найти хоть по сто каждый день, и иные из них грозили бы не одним только закрытием дома, а, пожалуй, и судом.

Но, притворяясь, охая и вздыхая, плачась на свою бедность, болезни и сиротство, Анна Марковна в душе была рада и такой сделке. Да и то сказать: она давно уже чувствовала приближение старческой немощи вместе со всякими недугами и жаждала полного, ничем не смущаемого добродетельного покоя. Все, о чем Анна Марковна не смела и мечтать в ранней молодости, когда она сама еще была рядовой проституткой,— все пришло к ней теперь своим чередом, одно к одному: почтенная старость, дом — полная чаша на одной из уютных, тихих улиц, почти в центре города, обожаемая дочь Берточка, которая не сегодня-завтра должна выйти замуж за почтенного человека, инженера, домовладельца и гласного городской думы, обеспеченная солидным приданым и прекрасными драгоценностями... Теперь можно спокойно, не торопясь, со вкусом, сладко обедать и ужинать, к чему Анна Марковна всегда питала большую слабость, выпить после обеда хорошей домашней крепкой вишневки, а по вечерам по-

играть в преферанс по копейке с уважаемыми знакомыми пожилыми дамами, которые хоть никогда и не показывали вида, что знают настоящее ремесло старушки, но на самом деле отлично его знали и не только не осуждали ее дела, но даже относились с уважением к тем громадным процентам, которые она зарабатывала на капитал. И этими милыми знакомыми, радостью и утешением безмятежной старости, были: одна содержательница ссудной кассы, другая — хозяйка бойкой гостиницы около железной дороги, третья — владелица небольшого, но очень ходкого, хорошо известного между крупными ворами ювелирного магазина и так далее. И про них, в свою очередь, Анна Марковна знала и могла бы рассказать несколько темных и не особенно лестных анекдотов, но в их среде было не принято говорить об источниках семейного благополучия — ценились только ловкость, смелость, удача и приличные манеры.

Но и кроме того у Анны Марковны, довольно ограниченной умом и не особенно развитой, было какое-то удивительное внутреннее чутье, которое всю жизнь позволяло ей инстинктивно, но безукоризненно избегать неприятностей и вовремя находить разумные пути. Так и теперь, после скоропостижной смерти Ваньки-Встаньки и последовавшего на другой день самоубийства Женьки, она своей бессознательно-проницательной душой предугадала, что судьба, до сих пор благоволившая к ее публичному дому, посылавшая удачи, отводившая всякие подводные мели, теперь собирается повернуться спиною. И она первая отступила.

Говорят, что незадолго до пожара в доме или до крушения корабля умные, нервные крысы стаями перебираются в другое место. Анной Марковной руководило то же крысиное, звериное пророческое чутье. И она была права: тотчас же после смерти Женьки над домом, бывшим Анны Марковны Шайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, точно нависло какое-то роковое проклятие: смерти, несчастия, скандалы так и падали на него беспрестанно, все учащаясь, подобно кровавым событиям в шекспировских трагедиях, как, впрочем, это было и во всех остальных домах Ям.

И одной из первых, через неделю после ликвидации дела, умерла сама Анна Марковна. Впрочем, это часто

случается с людьми, выбитыми из привычной тридцатилетней колеи: так умирают военные герои, вышедшие в отставку,— люди несокрушимого здоровья и железной воли; так сходят быстро со сцены бывшие биржевые дельцы, ушедшие счастливо на покой, но лишенные жгучей прелести риска и азарта; так быстро старятся, опускаются и дряхлеют покинувшие сцену большие артисты... Смерть ее была смертью праведницы. Однажды за преферансом она почувствовала себя дурно, просила подождать, сказала, что вернется через минутку, прилегла в спальне на кровать, вздохнула глубоко и перешла в иной мир, со спокойным лицом, с мирной старческой улыбкой на устах. Исай Саввич — верный товарищ на ее жизненном пути, немного забитый, всегда игравший второстепенную, подчиненную роль, — пережил ее только на месяц.

Берточка осталась единственной наследницей. Она обратила очень удачно в деньги уютный дом и также и землю где-то на окраине города, вышла, как и предполагалось, очень счастливо замуж и до сих пор убеждена, что ее отец вел крупное коммерческое дело по экспорту пшеницы через Одессу и Новороссийск в Малую Азию.

Вечером того дня, когда труп Жени увезли в анатомический театр, в час, когда ни один даже случайный гость еще не появлялся на Ямской улице, все девушки, по настоянию Эммы Эдуардовны, собрались в зале. Никто из них не осмелился роптать на то, что в этот тяжелый день их, еще не оправившихся от впечатлений ужасной Женькиной смерти, заставят одеться, по обыкновению, в дико-праздничные наряды и идти в ярко освещенную залу, чтобы танцевать, петь и заманивать своим обнаженным телом похотливых мужчин.

Наконец в залу вошла и сама Эмма Эдуардовна. Она была величественнее, чем когда бы то ни было,— одетая в черное шелковое платье, из которого, точно боевые башни, выступали ее огромные груди, на которые ниспадали два жирных подбородка, в черных шелковых митенках, с огромной золотой цепью, трижды обмотанной вокруг шеи и кончавшейся тяжелым медальоном, висевшим на самом животе.

— Барышни!..— начала она внушительно,— я должна... Встать! — вдруг крикнула она повелительно.— Когда я говорю, вы должны стоя выслушивать меня.

Все переглянулись с недоумением: такой приказ был новостью в заведении. Однако девушки встали одна за другой, нерешительно, с открытыми глазами и ртами.

— Sie sollen...[1] вы должны с этого дня оказывать мне то уважение, которое вы обязаны оказывать вашей хозяйке,— важно и веско начала Эмма Эдуардовна.— Начиная от сегодня, заведение перешло законным порядком от нашей доброй и почтенной Анны Марковны ко мне, Эмме Эдуардовне Тицнер. Я надеюсь, что мы не будем ссориться и вы будете вести себя, как разумные, послушные и благовоспитанные девицы. Я вам буду вместо родная мать, но только помните, что я не потерплю ни лености, ни пьянства, ни каких-нибудь фантазий или какой-нибудь беспорядок. Добрая мадам Шайбес, надо сказать, держала вас слишком на мягких вожжах. О-о, я буду гораздо строже. Дисциплина über alles...[2] раньше всего. Очень жаль, что русский народ, ленивый, грязный и глупый, не понимает этого правила, но не беспокойтесь, я вас научу к вашей же пользе. Я говорю «к вашей пользе» потому, что моя главная мысль — убить конкуренцию Треппеля. Я хочу, чтобы мой клиент был положительный мужчина, а не какой-нибудь шарлаган и оборванец, какой-нибудь там студент или актерщик. Я хочу, чтобы мои барышни были самые красивые, самые благовоспитанные, самые здоровые и самые веселые во всем городе. Я не пожалею никаких денег, чтобы завести шикарную обстановку, и у вас будут комнаты с шелковой мебелью и с настоящими прекрасными коврами. Гости у вас не будут уже требовать пива, а только благородные бордоские и бургундские вина и шампанское. Помните, что богатый, солидный, пожилой клиент никогда не любит вашей простой, обыкновенной, грубой любви. Ему нужен кайенский перец, ему нужно не ремесло, а искусство, и этому вы скоро научитесь. У Треппеля берут три рубля за визит и десять рублей за ночь... Я поставлю так, что вы будете получать пять рублей за визит и двадцать

---

[1] Вы должны... *(нем.)*.
[2] Выше всего... *(нем.)*.

пять за ночь. Вам будут дарить золото и брильянты. Я устрою так, что вам не нужно будет переходить в заведения низшего сорта und so weiter...[1] вплоть до солдатского грязного притона. Нет! У каждой из вас будут откладываться и храниться у меня ежемесячные взносы и откладываться на ваше имя в банкирскую контору, где на них будут расти проценты и проценты на проценты. И тогда, если девушка почувствует себя усталой или захочет выйти замуж за порядочного человека, в ее распоряжении всегда будет небольшой, но верный капитал. Так делается в лучших заведениях Риги и повсюду за границей. Пускай никто не скажет про меня, что Эмма Эдуардовна — паук, мегера, кровососная банка. Но за непослушание, за леность, за фантазии, за любовников на стороне я буду жестоко наказывать и, как гадкую сорную траву, выброшу вон на улицу или еще хуже. Теперь я все сказала, что мне нужно. Нина, подойди ко мне. И вы все остальные подходите по очереди.

Нинка нерешительно подошла вплотную к Эмме Эдуардовне и даже отшатнулась от изумления: Эмма Эдуардовна протягивала ей правую руку с опущенными вниз пальцами и медленно приближала ее к Нинкиным губам.

— Целуй!..— внушительно и твердо произнесла Эмма Эдуардовна, прищурившись и откинув голову назад в великолепной позе принцессы, вступающей на престол.

Нинка была так растеряна, что правая рука ее дернулась, чтобы сделать крестное знамение, но она исправилась, громко чмокнула протянутую руку и отошла в сторонку. Следом за нею также подошли Зоя, Генриетта, Ванда и другие. Одна Тамара продолжала стоять у стены, спиной к зеркалу, к тому зеркалу, в которое так любила, бывало, прохаживаясь взад и вперед по зале, заглядывать, любуясь собой, Женька.

Эмма Эдуардовна остановила на ней повелительный, упорный взгляд удава, но гипноз не действовал. Тамара выдержала этот взгляд, не отворачиваясь, не мигая, но без всякого выражения на лице. Тогда новая хозяйка

---

[1] И так далее... (*нем.*),

опустила руку, сделала на лице нечто похожее на улыбку и сказала хрипло:

— А с вами, Тамара, мне нужно поговорить немножко отдельно, с глазу на глаз. Пойдемте!

— Слушаю, Эмма Эдуардовна! — спокойно ответила Тамара.

Эмма Эдуардовна пришла в маленький кабинетик, где когда-то любила пить кофе с топлеными сливками. Анна Марковна, села на диван и указала Тамаре место напротив себя. Некоторое время женщины молчали, испытующе, недоверчиво оглядывая друг друга.

— Вы правильно поступили, Тамара,— сказала, наконец, Эмма Эдуардовна.— Вы умно сделали, что не подошли, подобно этим овцам, поцеловать у меня руку. Но все равно я вас до этого не допустила бы, я тут же при всех хотела, когда вы подойдете ко мне, пожать вам руку и предложить вам место первой экономки,— вы понимаете? — моей главной помощницы— и на очень выгодных для вас условиях.

— Благодарю вас...

— Нет, подождите, не перебивайте меня. Я выскажусь до конца, а потом вы выскажете ваши за и против. Но объясните вы мне, пожалуйста, когда вы утром прицеливались в меня из револьвера, что вы хотели? Неужели убить меня?

— Наоборот, Эмма Эдуардовна,— почтительно возразила Тамара,— наоборот: мне показалось, что вы хотели ударить меня.

— Пфуй! Что вы, Тамарочка!.. Разве вы не обращали внимания, что за все время нашего знакомства я никогда не позволила себе не то что ударить вас, но даже обратиться к вам с грубым словом... Что вы, что вы?.. Я вас не смешиваю с этим русским быдлом... Слава богу, я — человек опытный и хорошо знающий людей. Я отлично вижу, что вы по-настоящему воспитанная барышня, гораздо образованнее, например, чем я сама. Вы тонкая, изящная, умная. Вы знаете иностранные языки. Я убеждена в том, что вы даже недурно знаете музыку. Наконец, если признаться, я немножко... как бы вам сказать... всегда была немножко влюблена в вас. И вот вы меня хотели застрелить! Меня, человека, который мог бы быть вам отличным другом! Ну что вы на это скажете?

— Но... ровно ничего, Эмма Эдуардовна,— возразила Тамара самым кротким и правдоподобным тоном.— Все было очень просто. Я еще раньше нашла под подушкой у Женьки револьвер и принесла, чтобы вам передать его. Я не хотела вам мешать, когда вы читали письмо, но вот вы обернулись ко мне, и я протянула вам револьвер и хотела сказать: поглядите, Эмма Эдуардовна, что я нашла,— потому что, видите ли, меня ужасно поразило, как это покойная Женя, имея в распоряжении револьвер, предпочла такую ужасную смерть, как повешение? Вот и все!

Густые, страшные брови Эммы Эдуардовны поднялись кверху, глаза весело расширились, и по ее щекам бегемота расплылась настоящая, неподдельная улыбка. Она быстро протянула обе руки Тамаре.

— И только это? О, mein Kind![1] А я думал... мне бог знает что представилось! Дайте мне ваши руки, Тамара, ваши милые белые ручки и позвольте вас прижать auf mein Herz, на мое сердце, и поцеловать вас.

Поцелуй был так долог, что Тамара с большим трудом и с отвращением едва высвободилась из объятий Эммы Эдуардовны.

— Ну, а теперь о деле. Итак, вот мои условия: вы будете экономкой, я вам даю пятнадцать процентов из чистой прибыли. Обратите внимание, Тамара: пятнадцать процентов. И, кроме того, небольшое жалованье — тридцать, сорок, ну, пожалуй, пятьдесят рублей в месяц. Прекрасные условия — не правда ли? Я глубоко уверена, что не кто другой, как именно вы, поможете мне поднять дом на настоящую высоту и сделать его самым шикарным не то что в нашем городе, но и во всем юге России. У вас вкус, понимание вещей!.. Кроме того, вы всегда сумеете занять и расшевелить самого требовательного, самого неподатливого гостя. В редких случаях, когда очень богатый и знатный господин — по-русски это называется один «карась», а у нас Freier,— когда он увлечется вами,— ведь вы такая красивая, Тамарочка (хозяйка поглядела на нее туманными, увлажненными глазами),— то я вовсе не запрещаю вам провести с ним весело время, только упирать всегда на то, что вы не имеете права по

---

[1] О, мое дитя! *(нем.)*

своему долгу, положению und so weiter, und so weiter... Aber sagen Sie bitte[1], объясняетесь ли вы легко по-немецки?

— Die deutsche Sprache beherrsche ich in geringerem Grade, als die französische; indes kann ich stets in einer Salon-Plauderei mitmachen.

— O, wunderbar!.. Sie haben eine entzückende Rigaer Aussprache, die beste aller deutschen Aussprachen. Und also,— fahren wir in unserer Sprache fort. Sie klingt viel süsser meinem Ohr, die Muttersprache. Schön?

— Schön.

— Am Ende werden Sie nachgeben, dem Anschein nach ungern, unwillkürlich, von der Laune des Augenblicks hingerissen,— und, was die Hauptsache ist, lautlos, heimlich vor mir. Sie verstehen? Dafür zahlen Narren ein schweres Geld. Übrigens brauche ich Sie wohl nicht zu lehren.

— Ja, gnädige Frau. Sie sprechen gar kluge Dinge. Doch das ist schon keine Plauderei mehr, sondern eine ernste Unterhaltung...[2] И поэтому мне удобнее, если вы перейдете на русский язык... Я готова вас слушаться.

— Дальше!.. Я только что говорила насчет любовника. Я вам не смею запрещать этого удовольствия, но будем благоразумными: пусть он не появляется сюда или появляется как можно реже. Я вам дам выходные дни, когда вы будете совершенно свободны. Но лучше, если бы вы совсем обошлись без него. Это послужит к вашей же пользе. Это только тормоз и ярмо. Говорю вам по своему личному опыту. Подождите, через три-четыре года

---

[1] И так далее, и так далее... Но скажите, пожалуйста... (*нем.*).

[2] Немецким языком я владею немножко хуже, чем французским, но могу всегда поддержать салонную болтовню.

— О, чудесно!.. У вас очаровательный рижский выговор, самый правильный из всех немецких. Итак, мы будем продолжать на моем языке. Это мне гораздо слаще — родной язык. Хорошо?

— Хорошо!

— В конце концов вы уступите как будто бы нехотя, как будто невольно, как будто от увлеченья, минутного каприза и — главное дело — потихоньку от меня. Вы понимаете? За это дураки платят огромные деньги. Впрочем, кажется, мне вас не приходится учить.

— Да, сударыня. Вы говорите очень умные вещи. Но это уж не болтовня, а серьезный разговор... *(Перевод с нем. автора.)*

мы так расширим дело, что у вас уже будут солидные деньги, и тогда я возьму вас в дело полноправным товарищем. Через десять лет вы еще будете молоды и красивы, и тогда берите и покупайте мужчин сколько угодно. К этому времени романтические глупости совсем выйдут из вашей головы, и уже не вас будут выбирать, а вы будете выбирать с толком и с чувством, как знаток выбирает драгоценные камни. Вы согласны со мной?

Тамара опустила глаза и чуть-чуть улыбнулась.

— Вы говорите золотые истины, Эмма Эдуардовна. Я брошу моего, но не сразу. На это мне нужно будет недели две. Я постараюсь, чтобы он не являлся сюда. Я принимаю ваше предложение.

— И прекрасно! — сказала Эмма Эдуардовна, вставая.— Теперь заключим наш договор одним хорошим, сладким поцелуем.

И она опять обняла и принялась взасос целовать Тамару, которая со своими опущенными глазами и наивным нежным лицом казалась теперь совсем девочкой. Но, освободившись, наконец, от хозяйки, она спросила по-русски:

— Вы видите. Эмма Эдуардовна, что я во всем согласна с вами, но за это прошу вас исполнить одну мою просьбу. Она вам ничего не будет стоить. Именно, надеюсь, вы позволите мне и другим девицам проводить покойную Женю на кладбище.

Эмма Эдуардовна сморщилась.

— О, если хотите, милая Тамара, я ничего не имею против вашей прихоть. Только для чего? Мертвому человеку это не поможет и не сделает его живым. Выйдет только одна лишь сентиментальность... Но хорошо! Только ведь вы сами знаете, что по вашему закону самоубийц не хоронят или,— я не знаю наверное,— кажется, бросают в какую-то грязную яму за кладбищем.

— Нет, уж позвольте мне сделать самой, как я хочу. Пусть это будет моя прихоть, но уступите ее мне, милая, дорогая, прелестная Эмма Эдуардовна! Зато я обещаю вам, что это будет последняя моя прихоть. После этого я буду как умный и послушный солдат в распоряжении талантливого генерала.

— Is'gut! [1] — сдалась со вздохом Эмма Эдуардовна.— Я вам, дитя мое, ни в чем не могу отказать. Дайте я пожму вашу руку. Будем вместе трудиться и работать для общего блага.

И, отворив дверь, она крикнула через залу в переднюю: «Симеон!» Когда же Симеон появился в комнате, она приказала ему веско и торжественно:

— Принесите нам сюда полбутылки шампанского, только настоящего — Rederer demi sec и похолоднее. Ступай живо! — приказала она швейцару, вытаращившему на нее глаза.— Мы выпьем с вами, Тамара, за новое дело, за наше прекрасное и блестящее будущее.

Говорят, что мертвецы приносят счастье. Если в этом суеверии есть какое-нибудь основание, то в эту субботу оно сказалось как нельзя яснее: наплыв посетителей был необычайный даже и для субботнего времени. Правда, девицы, проходя коридором мимо бывшей Женькиной комнаты, учащали шаги, боязливо косились туда краем глаза, а иные даже крестились. Но к глубокой ночи страх смерти как-то улегся, обтерпелся. Все комнаты были заняты, а в зале не переставая заливался новый скрипач —молодой, развязный, бритый человек, которого где-то отыскал и привел с собой бельмистый тапер.

Назначение Тамары в экономки было принято с холодным недоумением, с молчаливой сухостью. Но, выждав время, Тамара успела шепнуть Маньке Беленькой:

— Послушай, Маня! Ты скажи им всем, чтобы они не обращали внимания на то, что меня выбрали экономкой. Это так нужно. А они пусть делают что хотят, только бы не подводили меня. Я им по-прежнему — друг и заступница... А дальше видно будет.

VII

На другой день, в воскресенье, у Тамары было множество хлопот. Ею овладела твердая и непреклонная мысль похоронить покойного друга наперекор всем обстоятельствам так, как хоронят самых близких людей—по-христиански, со всем печальным торжеством чина погребения мирских человек.

---

[1] Ну хорошо! (*нем.*).

Она принадлежала к числу тех странных натур, которые под внешним ленивым спокойствием, небрежной молчаливостью и эгоистичной замкнутостью таят в себе необычайную энергию, всегда точно дремлющую в полглаза, берегущую себя от напрасного расходования, но готовую в один момент оживиться и устремиться вперед, не считаясь с препятствиями.

В двенадцать часов она на извозчике спустилась вниз в старый город, проехала в узенькую улицу, выходящую на ярмарочную площадь, и остановилась около довольно грязной чайной, велев извозчику подождать. В чайной она справилась у рыжего, остриженного в скобку, с маслеными пробором на голове мальчика, не приходил ли сюда Сенька-Вокзал? Услужающий мальчишка, судя по его изысканной и галантной готовности, давно уже знавший Тамару, ответил, что «никак нет-с; оне — Семен Игнатич — еще не были и, должно быть, не скоро еще будут, потому как оне вчера в «Трансвале» изволили кутить, играли на бильярде до шести часов утра, и что теперь оне, по всем вероятиям, дома, в номерах «Перепутье», и что ежели барышня прикажут, то к ним можно сей минуту спорхнуть».

Тамара попросила бумаги и карандаш и тут же написала несколько слов. Затем отдала половому записку вместе с полтинником на чай и уехала.

Следующий визит был к артистке Ровинской, жившей, как еще раньше знала Тамара, в самой аристократической гостинице города — «Европе», где она занимала несколько номеров подряд.

Добиться свидания с певицей было не очень-то легко: швейцар внизу сказал, что Елены Викторовны, кажется, нет дома, а личная горничная, вышедшая на стук Тамары, объявила, что у барыни болит голова и что она никого не принимает. Пришлось опять Тамаре написать на клочке бумаги:

«Я к Вам являюсь от той, которая однажды в доме, не называемом громко, плакала, стоя перед Вами на коленях, после того, как Вы спели романс Даргомыжского. Тогда Вы так чудесно приласкали ее. Помните? Не бойтесь,— ей теперь не нужна ничья помощь: она вчера умерла. Но Вы можете сделать в ее память одно очень серьезное дело, которое Вас

почти совсем не затруднит. Я же — именно та особа, которая позволила сказать несколько горьких истин бывшей с Вами тогда баронессе Т., в чем до сих пор раскаиваюсь и извиняюсь».

— Передайте! — приказала она горничной.

Та вернулась через две минуты:

— Барыня просит вас. Очень извиняются, что им нездоровится и что оне примут вас не совсем одетые.

Она проводила Тамару, открыла перед нею дверь и тихо затворила ее.

Великая артистка лежала на огромной тахте, покрытой прекрасным текинским ковром и множеством шелковых подушечек и цилиндрических мягких ковровых валиков. Ноги ее были укутаны серебристым нежным мехом. Пальцы рук, по обыкновению, были украшены множеством колец с изумрудами, притягивавшими глаза своей глубокой и нежной зеленью.

У артистки был сегодня один из ее нехороших, черных дней. Вчера утром вышли какие-то нелады с дирекцией, а вечером публика приняла ее не так восторженно, как бы ей хотелось, или, может быть, это ей просто показалось, а сегодня в газетах дурак-рецензент, который столько же понимал в искусстве, сколько корова в астрономии, расхвалил в большой заметке ее соперницу Титанову. И вот Елена Викторовна уверила себя в том, что у нее болит голова, что в висках у нее нервный тик, а сердце нет-нет и вдруг точно упадет куда-то.

— Здравствуйте, моя дорогая! — сказала она немножко в нос, слабым, бледным голосом, с расстановкой, как говорят на сцене героини, умирающие от любви и от чахотки.— Присядьте здесь. Я рада вас видеть... Только не сердитесь,— я почти умираю от мигрени и от моего несчастного сердца. Извините, что говорю с трудом. Кажется, я перепела и утомила голос...

Ровинская, конечно, вспомнила и безумную эскападу[1] того вечера и оригинальное, незабываемое лицо Тамары, но теперь, в дурном настроении, при скучном прозаическом свете осеннего дня, это приключе-

---

[1] Выходку (от *франц.* escapade).

ние показалось ей ненужной бравадой, чем-то искусственным, придуманным и колюче-постыдным. Но она была одинаково искренней как в тот странный, кошмарный вечер, когда она властью таланта повергла к своим ногам гордую Женьку, так и теперь, когда вспомнила об этом с усталостью, ленью и артистическим пренебрежением. Она, как и многие отличные артисты, всегда играла роль, всегда была не самой собой и всегда смотрела на свои слова, движения, поступки, как бы глядя на самое себя издали, глазами и чувствами зрителей.

Она томно подняла с подушки свою узкую, худую, прекрасную руку и приложила ее ко лбу, и таинственные, глубокие изумруды зашевелились, как живые, и засверкали теплым, глубоким блеском.

— Я сейчас прочитала в вашей записке, что эта бедная... простите, имя у меня исчезло из головы...

— Женя.

— Да-да, благодарю вас! Я теперь вспомнила. Она умерла? Отчего же?

— Она повесилась... вчера утром, во время докторского осмотра...

Глаза артистки, такие вялые, точно выцветшие, вдруг раскрылись и чудом ожили и стали блестящими и зелеными, точно ее изумруды, и в них отразилось любопытство, страх и брезгливость.

— О, боже мой! Такая милая, такая своеобразная, красивая, такая пылкая!.. Ах, несчастная, несчастная!.. И причиной этому было?..

— Вы знаете... болезнь. Она говорила вам.

— Да, да... Помню, помню... Но повеситься!.. Какой ужас!.. Ведь я советовала ей тогда лечиться. Теперь медицина делает чудеса. Я сама знаю нескольких людей, которые совсем... ну, совсем излечились. Это знают все в обществе и принимают их... Ах, бедняжка, бедняжка!..

— Вот я и пришла к вам, Елена Викторовна. Я бы не посмела вас беспокоить, но я как в лесу, и мне не к кому обратиться. Вы тогда были так добры, так трогательно внимательны, так нежны к нам... Мне нужен только ваш совет и, может быть, немножко ваше влияние, ваша протекция.

— Ах, пожалуйста, голубушка!.. Что могу, я все... Ах, моя бедная голова! И потом это ужасное известие... Скажите же, чем я могу помочь вам?

— Признаться, я и сама еще не знаю,— ответила Тамара.— Видите ли, ее отвезли в анатомический театр. Но пока составили протокол, пока дорога, да там еще прошло время для приема,— вообще, я думаю, что ее не успели еще вскрыть... Мне бы хотелось, если только это возможно, чтобы ее не трогали. Сегодня — воскресенье, может быть, отложат до завтра, а покамест можно что-нибудь сделать для нее.

— Не умею вам сказать, милая... Подождите!.. Нет ли у меня кого-нибудь знакомого из профессоров, из медицинского мира?.. Подождите,— я потом посмотрю в своих записных книжках. Может быть, удастся что-нибудь сделать.

— Кроме того,— продолжала Тамара,— я хочу ее похоронить... На свой счет... Я к ней была при ее жизни привязана всем сердцем.

— Я с удовольствием помогу вам в этом материально...

— Нет, нет!.. Тысячи раз благодарю вас!.. Я все сделаю сама. Я бы не постеснялась прибегнуть к вашему доброму сердцу, но это... вы поймете меня... это нечто вроде обета, который дает человек самому себе и памяти друга. Главное затруднение в том,— как бы нам похоронить ее по христианскому обряду. Она была, кажется, неверующая или совсем плохо веровала. И я тоже разве только случайно иногда перекрещу лоб. Но я не хочу, чтобы ее зарывали, точно собаку, где-то за оградой кладбища, молча, без слов, без пения... Я не знаю, разрешат ли ее похоронить как следует — с певчими, с попами? Потому-то я прошу у вас помощи советом. Или, может, вы направите меня куда-нибудь?..

Теперь артистка мало-помалу заинтересовалась и уже забывала о своей усталости, и о мигрени, и о чахоточной героине, умирающей в четвертом акте. Ей уже рисовалась роль заступницы, прекрасная фигура гения, милостивого к падшей женщине. Это оригинально, экстравагантно и в то же время так театрально-трогательно! Ровинская, подобно многим своим собратьям, не пропускала ни одного дня, и если бы возможно

было, то не пропускала бы даже ни одного часа без того, чтобы не выделяться из толпы, не заставлять о себе говорить: сегодня она участвовала в лжепатриотической манифестации, а завтра читала с эстрады в пользу ссыльных революционеров возбуждающие стихи, полные пламени и мести. Она любила продавать цветы на гуляньях, в манежах и торговать шампанским на больших балах. Она заранее придумывала острые словечки, которые на другой же день подхватывались всем городом. Она хотела, чтобы повсюду и всегда толпа глядела бы только на нее, повторяла ее имя, любила ее египетские зеленые глаза, хищный и чувственный рот, ее изумруды на худых и нервных руках.

— Я не могу сейчас всего сообразить как следует,— сказала она, помолчав.— Но если человек чего-нибудь сильно хочет, он достигнет, а я хочу всей душой исполнить ваше желание. Постойте, постойте!.. Кажется, мне приходит в голову великолепная мысль. Ведь тогда, в тот вечер, если не ошибаюсь, с нами были, кроме меня и баронессы...

— Я их не знаю... Один из них вышел из кабинета позднее вас всех. Он поцеловал мою руку и сказал, что если он когда-нибудь понадобится, то всегда к моим услугам, и дал мне свою карточку, но просил ее никому не показывать из посторонних... А потом все это как-то прошло и забылось. Я как-то никогда не удосужилась справиться, кто был этот человек, а вчера искала карточку и не могла найти...

— Позвольте, позвольте!.. Я вспомнила! — оживилась вдруг артистка.— Ага,— воскликнула она, быстро поднимаясь с тахты,— это был Рязанов... Да, да, да... Присяжный поверенный Эраст Андреевич Рязанов. Сейчас мы все устроим. Чудесная мысль!

Она повернулась к маленькому столику, на котором стоял телефонный аппарат, и позвонила:

— Барышня, пожалуйста, тринадцать восемьдесят пять... Благодарю вас... Алло!.. Попросите Эраста Андреевича к телефону... Артистка Ровинская... Благодарю вас... Алло!.. Это вы, Эраст Андреевич? Хорошо, хорошо, но теперь дело не в ручках. Свободны ли вы?.. Бросьте глупости!.. Дело серьезное. Не можете ли вы ко мне приехать на четверть часа?.. Нет, нет... Да... Толь-

ко как доброго и умного человека. Вы клевещете на себя... Ну и прекрасно!.. Я не особенно одета, но у меня оправдание — страшная головная боль... Нет,— дама, девушка... Сами увидите, приезжайте скорее. Спасибо! До свидания!..

— Он сейчас приедет,— сказала Ровинская, вешая трубку.— Он милый и ужасно умный человек. Ему возможно все, даже почти невозможное для человека... А покамест... простите — ваше имя?

Тамара замялась, но потом сама улыбнулась над собой:

— Да не стоит вам беспокоиться, Елена Викторовна. Mon nom de geurre[1] Тамара, а так — Анастасия Николаевна. Все равно,— зовите хоть Тамарой... Я больше привыкла...

— Тамара!.. Это так красиво!.. Так вот, mademoiselle Тамара, может быть, вы не откажетесь со мной позавтракать? Может быть, и Рязанов с нами...

— Некогда, простите.

— Это очень жаль!.. Надеюсь, в другой раз когда-нибудь... А может быть, вы курите? — и она подвинула к ней золотой портсигар, украшенный громадной буквой Е из тех же обожаемых ею изумрудов.

Очень скоро приехал Рязанов.

Тамара, не разглядевшая его как следует в тот вечер, была поражена его наружностью. Высокого роста, почти атлетического сложения, с широким, как у Бетховена, лбом, опутанным небрежно-художественно черными с проседью волосами, с большим мясистым ртом страстного оратора, с ясными, выразительными, умными, насмешливыми глазами, он имел такую наружность, которая среди тысяч бросается в глаза,— наружность покорителя душ и победителя сердец, глубоко-честолюбивого, еще не пресыщенного жизнью, еще пламенного в любви и никогда не отступающего перед красивым безрассудством... «Если бы меня судьба не изломала так жестоко,— подумала Тамара, с удовольствием следя за его движениями,— то вот человек, которому я бросила бы свою жизнь шутя, с наслаждением, с улыбкой, как бросают возлюбленному сорванную розу...»

---

[1] Мой псевдоним *(франц.)*.

Рязанов поцеловал руку Ровинской, потом с непринужденной простотой поздоровался с Тамарой и сказал:

— Мы знакомы еще с того шального вечера, когда вы поразили нас всех знанием французского языка и когда вы говорили... То, что вы говорили, было — между нами — парадоксально, но зато как это было сказано!.. До сих пор я помню тон вашего голоса, такой горячий, выразительный... Итак... Елена Викторовна,— обратился он опять к Ровинской, садясь на маленькое низкое кресло без спинки,— чем я могу быть вам полезен? Располагайте мною.

Ровинская опять с томным видом приложила концы пальцев к вискам.

— Ах, право, я так расстроена, дорогой мой Рязанов,— сказала она, умышленно погашая блеск своих прекрасных глаз,— потом моя несчастная голова... Потрудитесь передать мне с того столика пирамидон... Пусть mademoiselle Тамара вам все расскажет. Я не могу, не умею... Это так ужасно!..

Тамара коротко, толково передала Рязанову всю печальную историю Женькиной смерти, упомянула и о карточке, оставленной адвокатом, и о том, как она благоговейно хранила эту карточку, и — вскользь — о его обещании помочь в случае нужды.

— Конечно, конечно,— вскричал Рязанов, когда она закончила, и тотчас же заходил взад и вперед по комнате большими шагами, ероша по привычке и отбрасывая назад свои живописные волосы.— Вы совершаете великолепный, сердечный, товарищеский поступок! Это хорошо!.. Это очень хорошо!.. Я ваш... Вы говорите — разрешение о похоронах... Гм!.. Дай бог памяти!..

Он потер лоб рукой.

— Гм... гм... Если не ошибаюсь — Номоканон, правило сто семьдесят... сто семьдесят... сто семьдесят... восьмое... Позвольте, я его, кажется, помню наизусть!.. Позвольте!.. Да, так! «Аще убиет сам себя человек, не поют над ним, ниже поминают его, разве аще бяше изумлен, сиречь вне ума своего»... Гм... Смотри святого Тимофея Александрийского... Итак, милая барышня, первым делом... Вы говорите, что с петли она была снята вашим доктором, то есть городским врачом... Фамилия?..

— Клименко.

— Кажется, я с ним встречался где-то... Хорошо!.. Кто в вашем участке околоточный надзиратель?

— Кербеш.

— Ага, знаю... Такой крепкий, мужественный малый, с рыжей бородой веером... Да?

— Да, это — он.

— Прекрасно знаю! Вот уж по ком каторга давно тоскует!.. Раз десять он мне попадался в руки и всегда, подлец, как-то увертывался. Скользкий, точно налим... Придется дать ему барашка в бумажке. Ну-с! И затем анатомический театр... Вы когда хотите ее похоронить?

— Правда, я не знаю... Хотелось бы поскорее... Если возможно, сегодня.

— Гм... Сегодня... Не ручаюсь — вряд ли успеем... Но вот вам моя памятная книжка. Вот хотя бы на этой странице, где у меня знакомые на букву Т, — так и напишите: Тамара и ваш адрес. Часа через два я вам дам ответ. Это вас устраивает? Но опять повторяю, что, должно быть, вам придется отложить похороны до завтра... Потом,— простите меня за бесцеремонность,— нужны, может быть, деньги?

— Нет, благодарю вас! — отказалась Тамара.— Деньги есть. Спасибо за участие!.. Мне пора. Благодарю вас сердечно, Елена Викторовна!..

— Так ждите же через два часа,— повторил Рязанов, провожая ее до дверей.

Тамара не сразу поехала в дом. Она по дороге завернула в маленькую кофейную на Католической улице. Там дожидался ее Сенька-Вокзал — веселый малый с наружностью красивого цыгана, не черно, а синеволосый, черноглазый, с желтыми белками, решительный и смелый в своей работе, гордость местных воров, большая знаменитость в их мире, изобретатель, вдохновитель и вождь.

Он протянул ей руку, не поднимаясь с места. Но в том, как бережно, с некоторым насилием усадил ее на место, видна была широкая добродушная ласка.

— Здравствуй, Тамарка! Давно тебя не видал, соскучился... Хочешь кофе?

— Нет! Дело... Завтра хороним Женьку... Повесилась она...

— Да, я читал в газете,— небрежно процедил Сенька.— Все равно!..

— Достань мне сейчас пятьдесят рублей.

— Тамарочка, марушка моя,— ни копейки!..

— Я тебе говорю — достань! — повелительно, но не сердясь, приказала Тамара.

— Ах ты господи!.. Твоих-то я не трогал, как обещался, но ведь — воскресенье... Сберегательные кассы закрыты!..

— Пускай!.. Заложи книжку! Вообще делай что хочешь!..

— Зачем тебе это, душенька ты моя?

— Не все ли равно, дурак?.. На похороны.

— Ах! Ну, ладно уж! — вздохнул Сенька.— Так я лучше тебе вечером бы сам привез... Право, Тамарочка?.. Очень мне невтерпеж без тебя жить! Уж так-то бы я тебя, мою милую, расцеловал, глаз бы тебе сомкнуть не дал!.. Или прийти?..

— Нет, нет!.. Ты сделай, Сенечка, как я тебя прошу!.. Уступи мне. А приходить тебе нельзя — я теперь экономка.

— Вот так штука!..— протянул изумленный Сенька и даже свистнул.

— Да. И ты покамест ко мне не ходи... Но потом, потом, голубчик, что хочешь... Скоро всему конец!

— Ах, не томила бы ты меня! Развязывай скорей!

— И развяжу! Подожди недельку еще, милый! Порошки достал?

— Порошки — пустяк! — недовольно ответил Сенька.— Да и не порошки, а пилюли.

— И ты верно говоришь, что в воде они сразу распустятся?

— Верно. Сам видал.

— Но он не умрет? Послушай, Сеня, не умрет? Это верно?..

— Ничего ему не сделается... Подрыхает только... Ах, Тамарка! — воскликнул он страстным шепотом и даже вдруг крепко, так, что суставы затрещали, потянулся от нестерпимого чувства,— кончай, ради бога, скорей!.. Сделаем дело и — айда! Куда хочешь, голуб-

ка! Весь в твоей воле: хочешь — на Одессу подадимся, хочешь — за границу. Кончай скорей!..

— Скоро, скоро...

— Ты только мигни мне, и я уж готов... с порошками, с инструментами, с паспортами... А там — угуу-у! поехала машина! Тамарочка! Ангел мой!.. Золотая, брильянтовая!..

И он, всегда сдержанный, забыв, что его могут увидеть посторонние, хотел уже обнять и прижать к себе Тамару.

— Но, но!..— быстро и ловко, как кошка, вскочила со стула Тамара.— Потом... потом, Сенечка, потом, миленький!.. Вся твоя буду — ни отказу, ни запрету. Сама надоем тебе... Прощай, дурачок мой!

И, быстрым движением руки взъерошив ему черные кудри, она поспешно вышла из кофейни.

VIII

На другой день, в понедельник, к десяти часам утра, почти все жильцы дома бывшего мадам Щайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, поехали на извозчиках в центр города, к анатомическому театру,— все, кроме дальновидной, многоопытной Генриетты, трусливой и бесчувственной Нинки и слабоумной Пашки, которая вот уже два дня как не вставала с постели, молчала и на обращенные к ней вопросы отвечала блаженной, идиотской улыбкой и каким-то невнятным животным мычанием. Если ей не давали есть, она и не спрашивала, но если приносили, то ела с жадностью, прямо руками. Она стала такой неряшливой и забывчивой, что ей приходилось напоминать о некоторых естественных отправлениях во избежание неприятностей. Эмма Эдуардовна не высылала Пашку к ее постоянным гостям, которые Пашку спрашивали каждый день. С нею и раньше бывали такие периоды ущерба сознания, однако они продолжались недолго, и Эмма Эдуардовна решила на всякий случай переждать. Пашка была настоящим кладом для заведения и его поистине ужасной жертвой.

Анатомический театр представлял из себя длинное, одноэтажное темно-серое здание, с белыми обрамка-

ми вокруг окон и дверей. Было в самой внешности его что-то низкое, придавленное, уходящее в землю, почти жуткое. Девушки одна за другой останавливались у ворот и робко проходили через двор в часовню, приютившуюся на другом конце двора, в углу, окрашенную в такой же темно-серый цвет с белыми обводами.

Дверь была заперта. Пришлось идти за сторожем. Тамара с трудом разыскала плешивого, древнего старика, заросшего, точно болотным мхом, свалянной серой щетиной, с маленькими слезящимися глазами и огромным, в виде лепешки, бугорчатым красно-сизым носом.

Он отворил огромный висячий замок, отодвинул болт и открыл ржавую, поющую дверь. Холодный влажный воздух вместе со смешанным запахом каменной сырости, ладана и мертвечины дохнул на девушек. Они попятились назад, тесно сбившись в робкое стадо. Одна Тамара пошла, не колеблясь, за сторожем.

В часовне было почти темно. Осенний свет скупо проникал сквозь узенькое, как бы тюремное окошко, загороженное решеткой. Два-три образа без риз, темные и безликие, висели на стенах. Несколько простых дощатых гробов стояли прямо на полу, на деревянных переносных дрогах. Один посредине был пуст, и открытая крышка лежала рядом.

— Кака-така ваша-то? — спросил сипло сторож и понюхал табаку.— В лицо-то знаете, ай нет?

— Знаю.

— Ну, так мотри! Я тебе их всех покажу. Может быть, эта?..

И он снял с одного из гробов крышку, еще не заколоченную гвоздями. Там лежала одетая кое-как в отребья морщинистая старуха с отекшим синим лицом. Левый глаз у нее был закрыт, а правый таращился и глядел неподвижно и страшно, уже потерявши свой блеск и похожий на залежавшуюся слюду.

— Говоришь — не эта? Ну, мотри... На тебе еще! — сказал сторож и одного за другим показывал, открывая крышки, покойников, — все, должно быть, голытьбу: подобранных на улице, пьяных, раздавленных, изувеченных и исковерканных, начавших разлагаться. У некоторых уже пошли по рукам и лицам сине-зеленые

пятна, похожие на плесень,— признаки гниения. У одного мужчины, безносого, с раздвоенной пополам верхней заячьей губой, копошились на лице, изъеденном язвами, как маленькие, белые точки, черви. Женщина, умершая от водянки, целой горой возвышалась из своего дощатого ложа, выпирая крышку.

Все они наскоро после вскрытия были зашиты, починены и обмыты замшелым сторожем и его товарищами. Что им было за дело, если порою мозг попадал в желудок, а печенью начиняли череп и грубо соединяли его при помощи липкого пластыря с головой?! Сторожа ко всему привыкли за свою кошмарную, неправдоподобную, пьяную жизнь, да и, кстати, у их безгласных клиентов почти никогда не оказывалось ни родных, ни знакомых...

Тяжелый дух падали, густой, сытный и такой липкий, что Тамаре казалось, будто он, точно клей, покрывает все живые поры ее тела, стоял в часовне.

— Слушайте, сторож,— спросила Тамара,— что это у меня все трещит под ногами?

—Трыш-шит? — переспросил сторож и почесался.— А вши, должно быть,— сказал он равнодушно.— На мертвяках этого зверья всегда страсть сколько распложается!.. Да ты кого ищешь-то — мужика аль бабу?

— Женщину,— ответила Тамара.

— И эти все, значит, не твои?

— Нет, все чужие.

— Ишь ты!.. Значит, мне в мертвецкую иттить. Когда привезли-то ее?

— В субботу, дедушка,— и Тамара при этом достала портмоне.— В субботу днем. На-ко тебе, почтенный, на табачок!

— Это дело! В субботу, говоришь, днем? А что на ей было?

— Да почти ничего: ночная кофточка, юбка нижняя... и то и то белое.

— Та-ак! Должно, двести семнадцатый номер... Звать-то как?

— Сусанна Райцына.

— Пойду погляжу,— может, и есть. Ну-ко вы, мамзели,—обратился он к девицам, которые тупо жались в

дверях, загораживая свет.—Кто из вас похрабрее? Коли третьего дня ваша знакомая приехала, то, значит, теперича она лежит в том виде, как господь бог сотворил всех человеков—значит, без никого... Ну, кто из вас побойчее будет? Кто из вас две пойдут? Одеть ее треба...

— Иди, что ли, ты, Манька,— приказала Тамара подруге, которая, похолодев и побледнев от ужаса и отвращения, глядела на покойников широко открытыми светлыми глазами.— Не бойся, дура,— я с тобой пойду! Кому ж идти, как не тебе?!

— Я что ж?.. Я что ж? — пролепетала Манька Беленькая едва двигавшимися губами.— Пойдем. Мне все равно.

Мертвецкая была здесь же, за часовней,— низкий, уже совсем темный подвал, в который приходилось спускаться по шести ступенькам.

Сторож сбегал куда-то и вернулся с огарком и затрепанной книгой. Когда он зажег свечку, то девушки увидели десятка два трупов, которые лежали прямо на каменном полу правильными рядами — вытянутые, желтые, с лицами, искривленными предсмертными судорогами, с раскроенными черепами, со сгустками крови на лицах, с оскаленными зубами.

— Сейчас... сейчас...— говорил сторож, водя пальцем по рубрикам.— Третьего дня... стало быть, в субботу... в субботу... Как, говоришь фамилия-то?

— Райцына, Сусанна,— ответила Тамара.

— Рай-цына, Сусанна...— точно пропел сторож.— Райцына, Сусанна. Так и есть. Двести семнадцать.

Нагибаясь над покойниками и освещая их оплывшим и каплющим огарком, он переходил от одного к другому. Наконец, он остановился около трупа, на ноге которого было написано чернилами большими черными цифрами: 217.

— Вот эта самая! Давайте-ка я ее вынесу в колидорчик да сбегаю за ее барахлом... Подождите!..

Он, кряхтя, но все-таки с легкостью, удивительною для его возраста, поднял труп Женьки за ноги и взвалил его на спину головой вниз, точно это была мясная туша или мешок с картофелем.

В коридоре было чуть посветлее, и когда сторож опустил свою ужасную ношу на пол, то Тамара на мгнове-

ние закрыла лицо руками, а Манька отвернулась и заплакала.

— Коли что надо, вы скажите,— поучал сторож.— Ежели обряжать как следует покойницу желаете, то можем все достать, что полагается,— парчу, венчик, образок, саван, кисею,— все держим... Из одежды можно купить что... Туфли вот тоже...

Тамара дала ему денег и вышла на воздух, пропустив вперед себя Маньку.

Через несколько времени принесли два венка: один от Тамары из астр и георгинов с надписью на белой ленте черными буквами: «Жене — от подруги», другой был от Рязанова, весь из красных цветов; на его красной ленте золотыми литерами стояло: «Страданием очистимся». От него же пришла и коротенькая записка с выражением соболезнования и с извинением, что он не может приехать, так как занят неотложным деловым свиданием.

Потом пришли приглашенные Тамарой певчие, пятнадцать человек из самого лучшего в городе хора.

Регент в сером пальто и в серой шляпе, весь какой-то серый, точно запыленный, но с длинными прямыми усами, как у военного, узнал Верку, сделал широкие, удивленные глаза, слегка улыбнулся и подмигнул ей. Раза два-три в месяц, а то и чаще посещал он с знакомыми духовными академиками, с такими же регентами, как и он, и с псаломщиками Ямскую улицу и, по обыкновению, сделав полную ревизию всем заведениям, всегда заканчивал домом Анны Марковны, где выбирал неизменно Верку.

Был он веселый и подвижной человек, танцевал оживленно, с исступлением, и вывертывал такие фигуры во время танцев, что все присутствующие кисли от смеха.

Вслед за певчими приехал нанятый Тамарой катафалк о двух лошадях, черный, с белыми султанами, и при нем пять факельщиков. Они же привезли с собой глазетовый белый гроб и пьедестал для него, обтянутый черным коленкором. Не спеша, привычно-ловкими движениями, они уложили покойницу в гроб, покрыли ее лицо кисеей, занавесили труп парчой и зажгли свечи: одну в изголовье и две в ногах.

Теперь, при желтом колеблющемся свете свечей, стало яснее видно лицо Женьки. Синева почти сошла с него,

оставшись только кое-где на висках, на носу и между глаз пестрыми, неровными, змеистыми пятнами. Между раздвинутыми темными губами слегка сверкала белизна зубов и еще виднелся кончик прикушенного языка. Из раскрытого ворота на шее, принявшей цвет старого пергамента, виднелись две полосы: одна темная — след веревки, другая красная — знак царапины, нанесенной во время схватки с Симеоном,— точно два страшных ожерелья. Тамара подошла и английской булавкой зашпилила кружева воротничка у самого подбородка.

Пришло духовенство: маленький, седенький священник в золотых очках, в скуфейке; длинный, высокий, жидковолосый дьякон с болезненным, странно-темным и желтым лицом, точно из терракоты, и юркий длиннополый псаломщик, оживленно обменявшийся на ходу какими-то веселыми, таинственными знаками со своими знакомыми из певчих.

Тамара подошла к священнику.

— Батюшка,— спросила она,— как вы будете отпевать: всех вместе или порознь?

— Отпеваем всех купно,— ответил священник, целуя епитрахиль и выпрастывая из ее прорезей бороду и волосы.— Это обыкновенно. Но по особому желанию и по особому соглашению можно и отдельно. Какою смертью преставилась почившая?

— Самоубийца она, батюшка.

— Гм... самоубийца?... А знаете ли, молодая особа, что по церковным канонам самоубийцам отпевания не полагается... не надлежит? Конечно, исключения бывают — по особому ходатайству...

— Вот здесь, батюшка, у меня есть свидетельство из полиции и от доктора... Не в своем она уме была... В припадке безумия...

Тамара протянула священнику две бумаги, присланные ей накануне Рязановым, и сверх них три кредитных билета по десять рублей.— Я вас попрошу, батюшка, все как следует, по-христиански. Она была прекрасный человек и очень много страдала. И уж будьте так добры, вы и на кладбище ее проводите и там еще панихидку...

— До кладбища проводить можно, а на самом кладбище не имею права служить,— там свое духовенство... А также вот что, молодая особа: ввиду того, что мне еще

раз придется возвращаться за остальными, так вы уж того... еще десяточку прибавьте.

И, приняв из рук Тамары деньги, священник благословил кадило, подаваемое псаломщиком, и стал обходить с каждением тело покойницы. Потом, остановившись у нее в головах, он кротким, привычно-печальным голосом возгласил:

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно!

Псаломщик зачастил: «Святый боже», «Пресвятую троицу» и «Отче наш», как горох просыпал.

Тихо, точно поверяя какую-то глубокую, печальную, сокровенную тайну, начали певчие быстрым сладостным речитативом: «Со духи праведных скончавшихся душу рабы твоея. Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, я же у тебе, человеколюбче».

Псаломщик разнес свечи, и они теплыми, мягкими, живыми огоньками, одна за другой, зажглись в тяжелом, мутном воздухе, нежно и прозрачно освещая женские лица.

Согласно лилась скорбная мелодия, и, точно вздохи опечаленных ангелов, звучали великие слова:

«Упокой, боже, рабу твою и учини ее в раи, идеже лицы святых господи и праведницы сияют, яко светила, усопшую рабу твою упокой, презирая ея вся согреше-е-ения».

Тамара вслушивалась в давно знакомые, но давно уже слышанные слова и горько улыбалась. Вспомнились ей страстные, безумные слова Женьки, полные такого безысходного отчаяния и неверия... Простит ей или не простит всемилостивый, всеблагий господь ее грязную, угарную, озлобленную, поганую жизнь? Всезнающий, неужели отринешь ты ее — жалкую бунтовщицу, невольную развратницу, ребенка, произносившего хулы на светлое, святое имя твое? Ты — доброта, ты — утешение наше!

Глухой, сдержанный плач, вдруг перешедший в крик, раздался в часовне: «Ох, Женечка!» Это, стоя на коленях и зажимая себе рот платком, билась в слезах Манька Беленькая. И остальные подруги тоже вслед за нею опустились на колени, и часовня наполнилась вздохами, сдавленными рыданиями и всхлипываниями...

«Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю

туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми, яко земля еси и в землю отыдеши».

Тамара стояла неподвижно с суровым, точно окаменевшим лицом. Свет свечки тонкими золотыми спиралями сиял в ее бронзово-каштановых волосах, а глаза не отрывались от очертаний Женькиного влажно-желтого лба и кончика носа, которые были видны Тамаре с ее места.

«Земля еси и в землю отыдеши...» — повторила она в уме слова песнопения.— Неужели только и будет, что одна земля и ничего больше? И что лучше: ничто или хоть бы что-нибудь, даже хоть самое плохонькое, но только чтобы существовать?»

А хор, точно подтверждая ее мысли, точно отнимая у нее последнее утешение, говорил безнадежно: «А може вси человецы пойдем...»

Пропели «Вечную память», задули свечи, и синие струйки растянулись в голубом от ладана воздухе. Священник прочитал прощальную молитву и затем, при общем молчании, зачерпнул лопаточкой песок, поданный ему псаломщиком, и посыпал крестообразно на труп сверх кисеи. И говорил он при этом великие слова, полные суровой, печальной неизбежности таинственного мирового закона: «Господня земля и исполнение ее вселенная и вси живущии на ней».

До самого кладбища проводили девушки свою умершую подругу. Дорога туда шла как раз пересекая въезд на Ямскую улицу. Можно было бы свернуть по ней налево, и это вышло бы почти вдвое короче, но по Ямской обыкновенно покойников не возили.

Тем не менее почти из всех дверей повысыпали на перекресток их обитательницы, в чем были: в туфлях на босу ногу, в ночных сорочках, с платочками на головах; крестились, вздыхали, утирали глаза платками и краями кофточек.

Погода разошлась... Ярко светило холодное солнце с холодного, блестевшего голубой эмалью неба, зеленела последняя трава, золотились, розовели и рдели увядшие листья на деревьях... И в хрустально-чистом холодном воздухе торжественно, величаво и скорбно разносились стройные звуки: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» И какой жаркой, ничем ненасытимой жаждой жизни, какой тоской по мгно-

венной, уходящей, подобно сну, радости и красоте бытия, каким ужасом перед вечным молчанием смерти звучал древний напев Иоанна Дамаскина!

Потом короткая лития на могиле, глухой стук земли о крышку гроба... небольшой свежий холмик...

— Вот и конец! — сказала Тамара подругам, когда они остались одни.— Что ж, девушки, — часом позже, часом раньше!.. Жаль мне Женьку!.. Страх как жаль!.. Другой такой мы уже не найдем, а все-таки, дети мои, ей в ее яме гораздо лучше, чем нам в нашей... Ну, последний крест — и пойдем домой!..

И, когда они уже все приближались к своему дому, Тамара вдруг задумчиво произнесла странные, зловещие слова:

— Да и недолго нам быть вместе без нее: скоро всех нас разнесет ветром куда попало. Жизнь хороша!.. Посмотрите: вон солнце, голубое небо... Воздух какой чистый... Паутинки летают — бабье лето... Как на свете хорошо!.. Одни только мы — девки — мусор придорожный.

Девушки тронулись в путь. Но вдруг откуда-то сбоку, из-за памятников, отделился рослый, крепкий студент. Он догнал Любку и тихо притронулся к ее рукаву. Она обернулась и увидела Соловьева. Лицо ее мгновенно побледнело, глаза расширились и губы задрожали.

— Уйди! — сказала она тихо с беспредельной ненавистью.

— Люба... Любочка...— забормотал Соловьев.— Я тебя искал... искал... Я... ей-богу, я не как тот... как Лихонин... Я с чистым сердцем... хоть сейчас, хоть сегодня...

— Уйди! — еще тише произнесла Любка.

— Я серьезно... я серьезно... Я не с глупостями, я жениться...

— Ах, тварь! — вдруг взвизгнула Любка и быстро, крепко, по-мужски ударила Соловьева по щеке ладонью.

Соловьев постоял немного, слегка пошатываясь. Глаза у него были мученические... Рот полуоткрыт, со скорбными складками по бокам.

— Уйди! Уйди! Не могу вас всех видеть! — кричала с бешенством Любка.— Палачи! Свиньи!

Соловьев внезапно закрыл лицо ладонями, круто повернулся и пошел назад, без дороги, нетвердыми шагами, точно пьяный.

IX

И в самом деле, слова Тамары оказались пророческими: прошло со дня похорон Жени не больше двух недель, но за этот короткий срок разразилось столько событий над домом Эммы Эдуардовны, сколько их не приходилось иногда и на целое пятилетие.

На другой же день пришлось отправить в богоугодное заведение — в сумасшедший дом — несчастную Пашку, которая окончательно впала в слабоумие. Доктора сказали, что никакой нет надежды на то, чтобы она когда-нибудь поправилась. И в самом деле, она, как ее положили в больнице на полу, на соломенный матрац, так и не вставала с него до самой смерти, все более и более погружаясь в черную, бездонную пропасть тихого слабоумия, но умерла она только через полгода от пролежней и заражения крови.

Следующая очередь была за Тамарой.

С полмесяца она исправляла свои обязанности экономки, была все время необыкновенно подвижна, энергична и необычно взвинчена чем-то своим, внутренним, что крепко бродило в ней. В один из вечеров она исчезла и совсем не возвратилась в заведение....

Дело в том, что у нее был в городе длительный роман с одним нотариусом — пожилым, довольно богатым, но весьма скаредным человеком. Знакомство у них завязалось еще год тому назад, когда они вместе случайно ехали на пароходе в загородный монастырь и разговорились. Нотариуса пленила умная, красивая Тамара, ее загадочная, развратная улыбка, ее занимательный разговор, ее скромная манера держать себя. Она тогда же наметила для себя этого пожилого человека с живописными сединами, с барскими манерами, бывшего правоведа и человека хорошей семьи. Она не сказала ему о своей профессии — ей больше нравилось мистифицировать его. Она лишь туманно, в немногих словах намекнула на то, что она — замужняя дама из среднего общества, что она несчастна в семейной жизни, так как муж ее — игрок и деспот, и что даже судьбою ей отказано в таком утешении. как дети. На прощание она отказалась провести вечер с нотариусом и не хотела встречаться с ним, но зато позволила писать ей в почтамт до востребования, на вымышленное

имя. Между ними завязалась переписка, в которой нотариус щеголял слогом и пылкостью чувств, достойными героев Поля Бурже. Она держалась все того же замкнутого, таинственного тона.

Потом, тронувшись просьбами нотариуса о встрече, она назначила ему свидание в Княжеском саду, была мила, остроумна и томна, но поехать с ним куда-нибудь отказалась.

Так она мучила своего поклонника и умело разжигала в нем последнюю страсть, которая иногда бывает сильнее и опаснее первой любви. Наконец, этим летом, когда семья нотариуса уехала за границу, она решилась посетить его квартиру и тут в первый раз отдалась ему со слезами, с угрызениями совести и в то же время с такой пылкостью и нежностью, что бедный нотариус совершенно потерял голову: он весь погрузился в ту старческую любовь, которая уже не знает ни разума, ни оглядки, которая заставляет человека терять последнее — боязнь казаться смешным.

Тамара была очень скупа на свидания. Это еще больше разжигало ее нетерпеливого друга. Она соглашалась принять от него букет цветов, скромный завтрак в загородном ресторане, но возмущенно отказывалась от всяких дорогих подарков и вела себя так умело и тонко, что нотариус никогда не осмеливался предложить ей денег. Когда он однажды заикнулся об отдельной квартире и о других удобствах, она поглядела ему в глаза так пристально, надменно и сурово, что он, как мальчик, покраснел в своих живописных сединах и целовал ее руки, лепеча несвязные извинения.

Так играла с ним Тамара и все более и более нащупывала под собой почву. Она уже знала теперь, в какие дни хранятся у нотариуса в его несгораемом железном шкафу особенно крупные деньги. Однако она не торопилась, боясь испортить дело неловкостью или преждевременностью.

И вот как раз теперь этот давно ожидаемый срок подошел: только что кончилась большая контрактовая ярмарка, и все нотариальные конторы совершали ежедневно сделки на громадные суммы. Тамара знала, что нотариус отвозил обычно залоговые и иные деньги в банк по субботам, чтобы в воскресенье быть совершенно свобод-

ным. И вот потому-то в пятницу днем нотариус получил от Тамары следующее письмо:

«Милый мой, обожаемый царь Соломон! Твоя Суламифь, твоя девочка из виноградника, приветствует тебя жгучими поцелуями... Милый, сегодня у меня праздник, и я бесконечно счастлива. Сегодня я свободна так же, как и ты. *Он* уехал в Гомель на сутки по делам, и я хочу сегодня провести у тебя весь вечер и *всю* ночь. Ах, мой возлюбленный! Всю жизнь я готова провести на коленях перед тобой! Я не хочу ехать никуда. Мне давно надоели загородные кабачки и кафешантаны. Я хочу тебя, только тебя... тебя... тебя одного! Жди же меня вечером, моя радость, часов около десяти — одиннадцати! Приготовь очень много холодного белого вина, дыню и засахаренных каштанов. Я сгораю, я умираю от желания! Мне кажется, я измучаю тебя! Я не могу ждать! У меня кружится голова, горит лицо и руки холодные, как лед. Обнимаю. Твоя *Валентина*».

В тот же вечер, часов около одиннадцати, она искусно навела в разговоре нотариуса на то, чтобы он показал ей его несгораемый ящик, играя на его своеобразном денежном честолюбии. Быстро скользнув глазами по полкам и по выдвижным ящикам, Тамара отвернулась с ловко сделанным зевком и сказала:

— Фу, скука какая!

И, обняв руками шею нотариуса, прошептала ему губами в самые губы, обжигая горячим дыханием:

— Запри, мое сокровище, эту гадость! Пойдем... Пойдем!..

И вышла первая в столовую.

— Иди же сюда, Володя! — крикнула она оттуда.— Иди скорей! Я хочу вина и потом любви, любви, любви без конца!.. Нет! Пей все, до самого дна! Так же, как мы выпьем сегодня до дна нашу любовь!

Нотариус чокнулся с нею и залпом выпил свой стакан. Потом он пожевал губами и заметил:

— Странно... Вино сегодня как будто горчит.

— Да!— согласилась Тамара и внимательно посмотрела на любовника.— Это вино всегда чуть-чуть горьковато. Это уж такое свойство рейнских вин...

— Но сегодня особенно сильно,— сказал нотариус.— Нет, спасибо, милая,— я не хочу больше!

Через пять минут он заснул, сидя в кресле, откинувшись на его спинку головой и отвесив нижнюю челюсть. Тамара выждала некоторое время и принялась его будить. Он был недвижим. Тогда она взяла зажженную свечу и, поставив ее на подоконник окна, выходившего на улицу, вышла в переднюю и стала прислушиваться, пока не услышала легких шагов на лестнице. Почти беззвучно отворила она дверь и пропустила Сеньку, одетого настоящим барином, с новеньким кожаным саквояжем в руках.

— Готово? — спросил вор шепотом.

— Спит,— ответила так же тихо Тамара.— Смотри, вот и ключи.

Они вместе прошли в кабинет к несгораемому шкафу. Осмотрев замок при помощи ручного фонарика, Сенька вполголоса выругался:

— Черт бы его побрал, старую скотину!.. Я так и знал, что замок с секретом. Тут надо знать буквы... Придется плавить электричеством, а это черт знает сколько времени займет.

— Не надо,— возразила торопливо Тамара.— Я знаю слово... подсмотрела. Подбирай: з-е-н-и-т. Без твердого знака.

Через десять минут они вдвоем спустились с лестницы, прошли нарочно по ломаным линиям несколько улиц и только в старом городе наняли извозчика на вокзал и уехали из города с безукоризненными паспортами помещика и помещицы дворян Ставницких. О них долго не было ничего слышно, пока, спустя год, Сенька не попался в Москве на крупной краже и не выдал на допросе Тамару. Их обоих судили и приговорили к тюремному заключению.

Вслед за Тамарой настала очередь наивной, доверчивой и влюбчивой Верки. Она давно уже была влюблена в полувоенного человека, который сам себя называл гражданским чиновником военного ведомства. Фамилия его была — Дилекторский. В их отношениях Верка была обожающей стороной, а он, как важный идол, снисходительно принимал поклонение и приносимые дары. Еще с конца лета Верка заметила, что ее возлюбленный становится все холоднее и небрежнее и, говоря с нею, живет мыслями где-то далеко-далеко... Она терзалась, рев-

новала, расспрашивала, но всегда получала в ответ какие-то неопределенные фразы, какие-то зловещие намеки на близкое несчастие, на преждевременную могилу...

В начале сентября он, наконец, признался ей, что растратил казенные деньги, большие, что-то около трех тысяч, и что его дней через пять будут ревизовать, и ему, Дилекторскому, грозит позор, суд и, наконец, каторжные работы... Тут гражданский чиновник военного ведомства зарыдал, схватившись за голову, и воскликнул:

— Моя бедная мать!.. Что с нею будет? Она не перенесет этого унижения... Нет! Во сто тысяч раз лучше смерть, чем эти адские мучения ни в чем неповинного человека.

Хотя он и выражался, как и всегда, стилем бульварных романов (чем главным образом и прельстил доверчивую Верку), но театральная мысль о самоубийстве, однажды возникшая, уже не покидала его.

Как-то днем он долго гулял с Веркой по Княжескому саду. Уже сильно опустошенный осенью, этот чудесный старинный парк блистал и переливался пышными тонами расцветившейся листвы: багряным, пурпуровым, лимонным, оранжевым и густым вишневым цветом старого устоявшегося вина, и казалось, что холодный воздух благоухал, как драгоценное вино. И все-таки тонкий отпечаток, нежный аромат смерти веял от кустов, от травы, от деревьев.

Дилекторский разнежился, расчувствовался, умилился над собой и заплакал. Поплакала с ним и Верка.

— Сегодня я убью себя! — сказал, наконец, Дилекторский.— Кончено!..

— Родной мой, не надо!.. Золото мое, не надо!..

— Нельзя, — ответил мрачно Дилекторский. — Проклятые деньги!.. Что дороже — честь или жизнь?!

— Дорогой мой...

— Не говори, не говори, Анета! (Он почему-то предпочитал простому имени Верки — аристократическое, им самим придуманное, Анета). Не говори. Это решено!

— Ах, если бы я могла помочь тебе! — воскликнула горестно Верка.— Я бы жизнь отдала!.. Каждую каплю крови!..

— Что жизнь?! —с актерским унынием покачал головой Дилекторский.— Прощай, Анета!.. Прощай!..

Девушка отчаянно закачала головой:

— Не хочу!.. Не хочу!.. Не хочу!.. Возьми меня!.. И я с тобой!..

Поздно вечером Дилекторский занял номер дорогой гостиницы. Он знал, что через несколько часов, может быть, минут, и он и Верка будут трупами, и потому, хотя у него в кармане было всего-навсего одиннадцать копеек, распоряжался широко, как привычный, заправский кутила: он заказал стерляжью уху, дупелей и фрукты и ко всему этому кофе, ликеров и две бутылки замороженного шампанского. Он и в самом деле был убежден, что застрелится, но думал как-то наигранно, точно немножко любуясь со стороны своей трагической ролью и наслаждаясь заранее отчаянием родни и удивлением сослуживцев. А Верка, как сказала внезапно, что пойдет на самоубийство вместе со своим возлюбленным, так сразу и укрепилась в этой мысли. И ничего не было для Верки страшного в грядущей смерти. «Что ж, разве лучше так подохнуть, под забором?! А тут с милым вместе! По крайней мере сладкая смерть!..» И она неистово целовала своего чиновника, смеялась и с растрепанными курчавыми волосами, с блестящими глазами была хороша, как никогда.

Наступил, наконец, последний торжественный момент.

— Мы с тобой насладились, Анета... Выпили чашу до дна и теперь, по выражению Пушкина, должны разбить кубок! — сказал Дилекторский.— Ты не раскаиваешься, о моя дорогая?..

— Нет, нет!..

— Ты готова?

— Да! — прошептала она и улыбнулась.

— Тогда отвернись к стене и закрой глаза!

— Нет, нет, милый, не хочу так!.. Не хочу! Иди ко мне! Вот так! Ближе, ближе!.. Дай мне твои глаза, я буду смотреть в них. Дай мне твои губы — я буду тебя целовать, а ты... Я не боюсь!.. Смелей!.. Целуй крепче!..

Он убил ее и когда посмотрел на ужасное дело своих рук, то вдруг почувствовал омерзительный, гнусный, подлый страх. Полуобнаженное тело Верки еще трепетало на постели. Ноги у Дилекторского подогнулись от ужаса, но рассудок притворщика, труса и мерзавца бодрствовал: у него хватило все-таки настолько мужества, что-

бы оттянуть у себя на боку кожу над ребрами и прострелить ее. И когда он падал, неистово закричав от боли, от испуга и от грома выстрела, то по телу Верки пробежала последняя судорога.

А через две недели после смерти Верки погибла и наивная, смешливая, кроткая, скандальная Манька Беленькая. Во время одной из обычных на Ямках общих крикливых свалок, в громадной драке, кто-то убил ее, ударив пустой тяжелой бутылкой по голове. Убийца так и остался неразысканным.

Так быстро совершались события на Ямках, в доме Эммы Эдуардовны, и почти ни одна из его жилиц не избегла кровавой, грязной или постыдной участи.

Последним, самым грандиозным и в то же время самым кровавым несчастием был разгром, учиненный на Ямках солдатами.

Двух драгунов обсчитали в рублевом заведении, избили и выкинули ночью на улицу. Те, растерзанные, в крови, вернулись в казармы, где их товарищи, начав с утра, еще догуливали свой полковой праздник. И вот не прошло и получаса, как сотня солдат ворвалась в Ямки и стала сокрушать дом за домом. К ним присоединилась сбежавшаяся откуда-то несметная толпа золоторотцев, оборванцев, босяков, жуликов, сутенеров. Во всех домах были разбиты стекла и искрошены рояли. Перины распарывали и выбрасывали пух на улицу, и еще долго потом — дня два — летали и кружились над Ямками, как хлопья снега, бесчисленные пушинки. Девок, простоволосых, совершенно голых, выгоняли на улицу. Трех швейцаров избили до смерти. Растрясли, запакостили и растерзали на куски всю шелковую и плюшевую обстановку Треппеля. Разбили, кстати, и все соседние трактиры и пивные.

Пьяное, кровавое, безобразное побоище продолжалось часа три, до тех пор, пока наряженным воинским частям вместе с пожарной командой не удалось, наконец, оттеснить и рассеять озверевшую толпу. Два полтинничных заведения были подожжены, но пожар скоро затушили. Однако на другой же день волнение вновь вспыхнуло, на этот раз уже во всем городе и окрестностях. Совсем неожиданно оно приняло характер еврейского погрома, который длился дня три, со всеми его ужасами и бедствиями.

А через неделю последовал указ генерал-губернатора о немедленном закрытии домов терпимости как на Ямках, так и на других улицах города. Хозяйкам дали только недельный срок для устроения своих имущественных дел.

Уничтоженные, подавленные, разграбленные, потерявшие все обаяние прежнего величия, смешные и жалкие, спешно укладывались старые, поблекшие хозяйки и жирнолицые сиплые экономки. И через месяц только название напоминало о веселой Ямской улице, о буйных, скандальных, ужасных Ямках.

Впрочем, и название улицы вскоре заменилось другим, более приличным, дабы загладить и самую память о прежних беспардонных временах.

И все эти Генриетты-Лошади, Катьки Толстые, Лельки-Хорьки и другие женщины, всегда наивные и глупые, часто трогательные и забавные, в большинстве случаев обманутые и исковерканные дети, разошлись в большом городе, рассосались в нем. Из них народился новый слой общества — слой гулящих уличных проституток-одиночек. И об их жизни, такой же жалкой и нелепой, но окрашенной другими интересами и обычаями, расскажет когда-нибудь автор этой повести, которую он все-таки посвящает юношеству и матерям.

КАПИТАН

— Благодарю вас, господин. Если вы позволите... я не пью пива... Стакан рому,— это так... Ну вот, я и продолжаю. Вы спрашиваете, как я попал на корабль «Утренняя звезда»? Да очень просто! Чего только не предпримешь, когда тебе двадцать четыре года, а ты холост и свободен, как ветер? В то время я околачивался в Новороссийске. Прекрасная бухта, только не осенью, когда там свирепствует норд-ост — по-местному, Бора. Тут-то я и попал на этот несчастный барк, у которого было два фока, две грот-мачты и, конечно, бизань — пять мачт. Это было огромное старое судно, чуть ли не допотопного типа, видевшее очень многое на своем веку. Оно могло вобрать в свои огромные внутренности около пятнадцати тысяч тонн груза и несло на себе парусов приблизительно около двух тысяч квадратных аршин. Должен откровенно сказать, что призвания к морскому делу у меня никакого не было, а просто меня повлекла проказливость и молодая любовь к приключениям.

Команда собралась на барке чрезвычайно пестрая: несколько греков, два итальянца, чех, два турка, негр — остальных я теперь уже не могу вспомнить, и человек пятнадцать русских. Начальство состояло из капитана, двух штурманов и боцмана. Боцман мне казался самой замечательной фигурой на корабле. Это был краснорожий, маленький, но чрезвычайно широкоплечий человек с бритыми усами и с бородой, растущей как будто из горла. Ноги он всегда держал раскорякою от постоянного хождения по палубе. В том случае, когда обижали

команду, он стоял за нее, как родной отец, а в других случаях, в наших личных матросских делах, он был истинным деспотом. До сих пор я помню первый урок, который он преподал мне в управлении бегучим такелажем. Это было в Средиземном море, где нас всех страшно закачало. Совершенно измученный, я отдаю долг природе, перегнувшись с большими усилиями через поручни борта,— а вы, может быть, сами знаете, как тяжело мутит новичков? И вдруг слышу за своей спиной суровый окрик, вроде, например, такого:

— Эй! Марс-фалы лиселя подтянуть! Потравить шкоты!

Клянусь богом!.. Благодарю вас, господин, если уж вы так любезны, то вместо пива еще один небольшой стакан рому... Клянусь богом, что я ничего не понял из его приказания, но когда боцман меня ударил сзади концом веревки, чуть-чуть выше ног и чуть-чуть ниже спины, то я, как встрепанный, взобрался на ванты и сделал что-то такое, что, вероятно, теперь для меня физически невозможно. Повторяю вам, молодость и находчивость крепко отстаивают свою жизнь. Когда же я спустился вниз, то боцман добродушно сказал мне:

— Надо крепить не бабьим узлом, а морским,— и тут же показал мне, как делается морской узел: сначала в правую сторону, а потом в левую.

Затем он хлестнул меня по плечам этой же самой веревкой с узлом,— удовольствие не из приятных,— и сказал:

— Из тебя может быть толк, мальчишка,— и вдруг почему-то перевел по-английски: — little scout.

Это обращение на английском языке удивило меня еще более, чем отеческое внушение, потому что имя и фамилия боцмана были — Иван Карпяго. Впрочем, надо сказать, что на «Утренней звезде» все мы ругались и богохульствовали на всевозможных языках, хотя всегда и неизменно соблюдали одно правило: не обижать Николая-угодника, чудотворца мирликийского.

Был очень интересным человеком и капитан, преждевременно поседелый, лет сорока, человек железной энергии. (Впоследствии он спас своей находчивостью и несокрушимой волей жизнь и судну и всем нам, тридцати человекам команды.) На ненаблюдательного человека он,

пожалуй, мог произвести впечатление лентяя. В то время, когда наше плавание шло благополучно, он полусидел, полулежал на юте в своем излюбленном плетеном кресле-качалке, пил замороженное белое вино и время от времени бросал своему огромному сенбернару «Prego» (по-итальянски — «прошу») куски льда, которые пес ловил и глотал с жадностью. Говорил и бранился капитан, кажется, на всех человеческих языках, но так как состав команды был наполовину русским, он предпочитал командовать большею частью по-русски.

В Новороссийске работа у нас была легкая. Там на горе стоит зерновый элеватор, этажей в двенадцать высоты, а из самого верхнего этажа, по наклонному желобу, чуть ли не в версту длиною, льется беспрерывным золотым потоком тяжелое, полновесное зерно, вливается к нам прямо в трюм и заполняет весь корабль, заставляя его постепенно погружаться в воду. Нам приходилось только разравнивать лопатами его тяжелые груды, причем мы утопали в зерне по самые колени и чихали от пыли.

Наконец, когда барк принял столько груза, сколько он мог вместить, и даже, кажется, немножко более, потому что он осел в воду ниже ватерлинии, мы тронулись в путь. По правде сказать, величественное зрелище представляет из себя пятимачтовый парусник, когда все его паруса выпуклы и напружены. А ты, стоя на рее, с гордостью сознаешь, что тобой любуются с других судов старые специалисты.

Плавание наше до Ливерпуля было совсем благополучно. Правда, в «Бискайке» нас сильно потрепало, хотя мы и шли с уменьшенными парусами. Дело в том, что, несмотря на брезенты, покрывавшие зерно, оно тяжело перекатывалось в трюме с боку на бок и валяло «Утреннюю звезду». Но это продолжалось не более суток, а через два дня мы уже были в Ливерпуле.

Благодарю! За ваше здоровье, сэр! Вы, может быть, знаете, а если не знаете, то, конечно, поверите мне, что самое необузданное существо — это матрос с парусника, добравшийся, наконец, до берега и спущенный на него с корабля в большом порту! Узенькие улицы... налево и направо бары... женщины всех национальностей и повсюду тайные притоны для игры, любви и драки. Тут-

то я и закрутился. Четверо суток совершенно выпали из моей жизни и представляются мне теперь каким-то черным пятном, провалом в неизвестность. Словом, проснувшись на барке, на матросской койке, я с удивлением услышал знакомый плеск моря о деревянные борта судна, беготню и крики команды, а когда вылез на палубу, то с ужасом убедился, что я нахожусь на той же «Утренней звезде». Во мне проснулась гордость свободного человека, и я пошел объясняться к старшему штурману. Тот отослал меня к капитану. Этот хладнокровный человек сунул мне под самый нос контракт, в котором значилось, что я обязался служить на «Утренней звезде» ровно три года и что получил в задаток двадцать фунтов стерлингов. Я отлично знал, что во всех карманах моего платья нет ни одного пенса, но на всякий случай, во имя человеческих прав, попробовал сделать капитану довольно грубое замечание. Однако я не успел его докончить, потому что уже лежал на палубе и выплевывал изо рта верхние передние зубы. Вот посмотрите, господин, где они раньше были.

Когда я поднялся на ноги, капитан, совсем не потерявший своего обычного спокойного вида, сказал мне:

— Болван! Мы уже в расстоянии ста миль от Англии. Тебе не нужно было напиваться как свинье до того, чтобы забыть о контракте! А если ты еще позволишь себе разговаривать, я просто-напросто прикажу выбросить тебя за борт с твоими фунтами стерлингов. Понял?

Конечно, я понял как нельзя лучше. И даже вспомнил в эту минуту лицо креолки, которая в кабачке поила меня чем-то густым, терпким и сладким, от чего я, должно быть, и впал в беспамятство.

Шли мы опять Средиземным морем и через Суэцкий канал в Индийский океан. Груз у нас теперь был железный: земледельческие машины, веялки, жатвенницы, паровые плуги и так далее. Весь этот груз мы должны были доставить в Австралию, в Мельбурн.

Ах, не беспокойтесь, господин,— у меня есть ром, и мне этого достаточно. Вы спрашиваете, что было дальше? Дальше вышли большие неприятности. В Индийском океане между, так приблизительно, седьмым и девятым градусом мы попали в штиль. Вы сами понимаете, что

при безветрии парусное судно совершенно беззащитно. И мы две недели простояли на одном месте, в полосе, где не было даже течения. Тут пошло несчастье за несчастьем. Живой скот, который мы забрали с собою, весь переколел от какой-то странной болезни: не то чумы, не то ящура, не то оспы. Капитан приказал всех животных выбросить за борт, на съедение акулам. Потом от страшной тропической жары у нас загнила и испортилась пресная вода. Мы пробовали ее кипятить, но из этого ничего путного не выходило. Вскоре вышел не только хлеб, но и сухари. Тогда на обед нам стали давать какую-то вонючую болтушку из воды и консервов. Мы, русская матросня, называли это кушанье бурдой, а еще бурдымагой. Ах, если бы вы знали, господин, какая это зверская штука стоять среди моря, не видеть берегов, бездействовать, прислушиваться к урчанию в собственном расстроенном желудке и вдобавок так париться под лучами тропического солнца, что даже уж и пот не выступает из тела. Все мы разнервничались до последней степени. Как взбесившиеся от жары собаки, ходили мы друг вокруг друга, рычали, оскаливали зубы, все чаще и чаще слышались между нами злые, оскорбительные слова:

— Goddam thou! (Проклятье!)

— Thou are man of forest! (Ты дикарь!)

— Porca Madonna putana! (Совсем невозможное для перевода итальянское ругательство).

— Тебе не быть моряком, а играть в цигу!

— Ты не стоишь того, что ты ешь!

Вдобавок надо еще сказать, что вместе с нами шел из Ливерпуля в качестве кока какой-то поляк, который столько же понимал в кулинарном искусстве, сколько бегемот в модных танцах. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что он был раньше политическим преступником, может быть, анархистом. Гордый, высокомерный, молчаливый и, судя по лицу, несомненно интеллигентный человек. Однажды, в порыве бессознательного, стихийного раздражения, которое охватило нас всех, как эпидемия, младший штурман ударил его по лицу. В ту же ночь кем-то было разбито стекло компаса и вырвана бесследно магнитная стрелка. Мы, команда, конечно, знали, кто это сделал, но молчали из особого чувства товарищест-

ва,— товарищества, которое можно вполне понять и оценить только на море. А надо сказать, что запасного компаса не оказалось, потому что более запущенного судового хозяйства, чем на барке «Утренняя звезда», не было, кажется, нигде в мире, во всем торговом флоте.

Как раз через день после этого случая паруса затрепетали и надулись. Приятно было вдыхать в себя освежевший ветер, и все мы как-то подобрели и размякли. Однако из всех нас, бывших на судне, вероятно, только капитан Юд и боцман Иван Карпяго понимали кое-что в том, что нам предстояло дальше. После штиля почти всегда начинается циклон, в который мы и попали,— если не в самый центр, то во всяком случае очень близко к нему. Сгрудились тучи, подул ураган, и мы понеслись куда-то во мрак и неизвестность, точно нас сзади гнали тысячи дьяволов. Если я вам попробую рассказать об этом шабаше моря, ветра, дождя и громыханий на небе, то вы не поверите. Ну, представьте себе волны вышиною с восьмиэтажный дом или вообразите себе ледяные горы, на которые то поднимаешься, то опускаешься, как на салазках. Волны обхватывают палубу и сбивают людей с ног, точно это не люди-богочеловеки, а мусор и щепки. После шести часов огромных усилий мы остались только с двумя мачтами — средним гротом и бизанью. Остальные три сломало ураганом, и мы с нечеловеческими усилиями едва смогли их обрубить топорами и выбросить за борта, которые они исковеркали своим падением. Кроме того, у нас ударом волны сорвало руль. В трюме оказалась пробоина, под которую с неимоверной трудностью подвели пластырь.

Ах! Клянусь вам богом, даже до сих пор, когда во время бессонницы я вспоминаю эту ужасную ночь, я весь покрываюсь холодным потом от страха...

Вместо того чтобы надеть чистые рубашки и приготовиться к смерти, мы разбили камбуз и вылакали весь ром, находившийся в бочонках. Давнишнее озлобление, испуг, отчаяние, опьянение превратили нас в зверей. Не помню кто — думаю, что тот же поляк, наш повар,—первый подал злостную мысль, и вот мы, почти вся команда, загнали боцмана Карпягу на бак и приказали ему свистать сигнал:

— Все наверх! Капитана за борт кидать!

Сопротивляться велению команды, да еще торгового судна, да еще парусника, вряд ли отважится даже самый непреклонный боцман, и он засвистал в свою боцманскую трубку.

Все мы разъяренной толпой, пьяные, возбужденные, испуганные близостью смерти, с ругательствами почти на всех языках Европы выскочили на палубу. Капитан стоял на своем мостике. Казалось, он совсем не потерял своего обычного хладнокровия, но все мы, увидев у него в руке большой кольтовский револьвер, остановились на две или на три минуты и только лаяли на него, как трусливые псы.

Он крикнул на нас сверху вниз:

— Пьяная сволочь! Трусы! Двенадцать человек из вас я убью наверняка, а остальные будут завтра же повешены мною на ноках.— И тут же, почти не целясь, он выстрелил, и наш таинственный кок упал на доски палубы с пробитым насквозь черепом. И почти в тот же момент — точно смерть этого человека была умиротворительной жертвой — кто-то из команды радостно воскликнул:

— Земля, с левого борта!!

Благодарю вас, будьте здоровы. Но только оказалось, что это вовсе не земля, а длинный коралловый бар, на который нас несло с ужасающей скоростью. И через несколько мгновений мы увидели огромные гребни белой пены, перекатывающейся через рифы, и услышали грозный рев морского прибоя.

Тут я остро и мучительно почувствовал, как смерть заглянула мне в глаза своими пустыми глазницами. Но тут-то капитан и показал себя человеком громадной власти, знания, находчивости и необычайной красоты. Он вдруг закричал голосом, который заглушил даже рев бурунов:

— Живо пошел все по вантам! Поворот на фордевинд!!!

И почти мгновенно, точно толкнутые чудесной волей этого человека, мы уже рассыпались по двум оставшимся мачтам, готовые сделать этот опаснейший из маневров, какие только бывают в практике мореходства.

И, правда, мы его сделали, только слегка черкнув килем по мелководью. Ах! Если бы вы знали, как нас валя-

ли тогда волны и ветер! Поистине, должно быть, Николай-угодник сжалился над нашими грешными телами и грязными душами!

Через четверть часа, а может быть, и через полчаса — в эти моменты борьбы со смертью разве можно расчислить время? — мы опять повернулись спиною к ветру и прежним бешеным ходом понеслись бог знает куда. И надо сказать, что гений капитана и его колоссальное счастье помогли нам. Мы с бешеной скоростью попали на громадную волну, перескочили через сравнительно глубокое место и очутились в тихом, почти спокойном водном пространстве достаточной глубины. И почти тотчас же засияли нам навстречу огни какого-то селения. Потом оказалось, что это был остров Гальмагера (Джимоло)...

Мы спокойно спустили якорь и стали покорно зализывать раны, нанесенные морем «Утренней звезде». У всех нас, вероятно, было то же ощущение, как у меня: стыд перед капитаном и вечная благодарность ему. Все это случилось как раз в ночь под рождество, а мы чувствовали себя как висельники.

Утром капитан поручил начальство над судном старшему помощнику и съехал на берег. Должно быть, он не был уверен в том, насколько глубока бухта. Но мы думали совсем иное, и не один из нас в часы долгого мучительного ожидания облюбовал себе нок, на котором ему скоро придется болтаться. Тут же мы узнали от штурмана, что капитан сам в продолжение нашего бедствия под тропиками питался той же бурдымагой, как и мы, и пил такую же гнилую воду. Повторяю, что хорошего мы для себя ничего не ожидали. И вот представьте себе наше удивление. Вдали показывается шлюпка. Все мы следим за нею и за ее ходом с громадным напряжением. Морские глаза зоркие. Издали замечаем, что капитана на ней нет. Очевидно, он остался в городе. Но шлюпка подходит все ближе и ближе. И вдруг мы раскрываем рты от изумления: со шлюпки доносится какой-то странный визг, всхлипывание и рычание. Короче сказать, вскоре мы убедились в том, что это взвизгивают две огромных свиньи, у которых связаны передние и задние ноги. Что руководило великодушным сердцем капитана, я до сих пор понять не могу. Кроме свиней, в шлюпке оказалось пуда три прекрасного кукурузного хлеба, два пуда баранины,

пять битых гусей, бочонок свежей прохладной воды, два бочонка прекрасного английского пива и неведомо откуда добытый пломпудинг.

Когда наверх по трапу взобрался Иван Карпяго, не то веселый, не то строгий, но, кажется, чего-то уже хвативший спиртного в городе, мы кинулись к нему с расспросами:

— Что капитан? Как капитан? Что говорил?

Он ответил нам, самодовольно разглаживая бороду, которую он носил под англичанина:

— Капитан поздравляет вас с рождеством, посылает вам провизию, а также пива и рому, чтобы вы опохмелились после вчерашнего.

Мы не могли поднять глаз друг на друга. Уж, право, лучше было бы болтаться на ноке, чем быть подавленным величием души этого человека.

Замечательно, что во все время, пока мы чинились, а потом сдавали наши земледельческие машины в Мельбурне и пока шли обратно в Ливерпуль, приняв громадный груз живых баранов, он никому не вспомнил прежней ссоры. Но зато вряд ли на каком-нибудь судне когда-нибудь испытывали люди такое беспредельное обожание, как мы к нашему капитану. Не было, мне кажется, ни одного из матросов, который по первому его жесту без всякого колебания не прыгнул бы за борт. И вот, появись он теперь между нами и прикажи мне сделать геройский поступок или преступление,— я не задумаюсь ни на одну секунду исполнить его волю.

А он все время, как будто ни в чем не бывало, лежал на своем кресле-качалке, пил белое вино и кидал куски льда своему сенбернару «Prego».

ВИННАЯ БОЧКА

В тот год ялтинский сезон был особенно многолюден и роскошен. Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый — самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенно приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные. Они не ездят верхом, не пьют шампанского, не кокетничают с проводниками, селятся где-нибудь над Ялтой: в Аутке, в Ай-Василе, или Дерикое, или в татарских деревушках, и главная их слабость — посылать домой, на Север, открытки с видами Ялты, с восторженными описаниями красот Крыма. На огромных неуклюжих дилижансах «Бебеш» они ездят осматривать окрестности: Лесничество, Уч-Кош, Ай-Петри, Учан-су, Симеиз, Суук-су, Гурзуф, Алупку и другие. Местные жители, татары, у которых главное занятие — высасывать кровь из туристов, смотрят на эту публику свысока и обращаются с нею грубо и пренебрежительно.

Само собою разумеется, что шелковый сезон — более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире: многие ездят в горы верхом, но перед тем, как заказать лошадь, довольно-таки долго торгуются. В городском курзале начинаются балы, а в парке по вечерам играет прекрасный струн-

ный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все нужное и ненужное возрастают вдвое и втрое.

Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей великого поста, с пасхой и фоминой неделей. Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты; другие — в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку; а третьи — их большинство — потому, что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства. Природы, конечно, никто не замечает. А надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым, весь в бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный, освеженный волшебным морским воздухом,— поистине прекрасен.

В это время уже не торгуются с татарами, а просто нанимают верховых лошадей и проводника на весь сезон. О ценах никогда не спрашивают. Заказывают заранее по телеграфу несколько комнат в самых шикарных отелях и сыплют золото горстями налево и направо с такой милой бесцеремонностью, точно играют морскими гальками.

Вот в один из этих бархатных сезонов, о котором благодаря его блеску старожилы вспоминают чуть ли не до сих пор, приехал в Ялту Игнатий Игнатьевич Лешедко, товарищ прокурора из Петербурга, молодой человек, со связями, стоящий уже «на виду» (несмотря на свою молодость, он успел «зафиксировать» тридцать шесть смертных приговоров) и не особенно стесняющийся денежными средствами. По какой-то счастливой случайности ему удалось занять номер в самой шикарной гостинице — «Россия»,— правда, на самом верху, но марка отеля чего-нибудь да стоит!

Быстро завязались знакомства. Так быстро, как это бывает только в Ялте: два-три человека, с которыми он встречался в обществе, хотя и мимоходом, один миллионер-золотопромышленник, которого Лешедко прошлой зимой обвинял,—и, надо сказать, совсем неудачно,—зна-

менитый певец, который хотя при первой встрече и не узнал прокурора, но сделал вид, что очень обрадован, и с милой актерской улыбкой, крепко пожимая руку Лешедко, пропел:

— Ка-ак же, ка-ак же, батенька! Еще бы не узнать. Рад, чрезвычайно рад увидеть вас. Ну, что новенького? Простите, ради бога: забыл имя и отчество. Ах, да! Ну, конечно, Игнатий Игнатьевич. Я сам хотел так сказать, но, знаете, боязнь переврать как-нибудь... неудобно, неприятно.

Были также в Ялте две шикарные петербургские кокотки, знакомые прокурору по Медведю, Аквариуму и Эрнесту, Манька-Кудлашка и Надька-Драма. Но с ними он не считал нужным раскланиваться, хотя при встрече всегда боязливо отводил вбок глаза или начинал пристально рассматривать магазинные витрины. Когда же ему приходилось во время случайных встреч быть в присутствии знакомой дамы, он весь замирал и холодел от ужаса. В самом деле, что стоит этим отчаянным существам вдруг крикнуть ему вслед:

— Здравствуй, Игнашка! Стыдно не узнавать своих друзей! Вспомни, как ты не заплатил Зинке проигранные на пари сто рублей!

А главным образом потому, что в это время он был заинтересован прелестной женщиной, баронессой Менцендорф, вдовой тридцати лет, пышной красавицей, взбалмошной, капризной и ребячливой. Была ли это любовь,— трудно сказать. В душу современных молодых людей, а в особенности товарищей прокурора, делающих большую, видную карьеру, не влезешь. Вернее всего предположить, что была здесь отчасти чувственность, отчасти самолюбивое удовольствие показываться повсюду в обществе блестящей светской женщины, которая своими туалетами от Пакена, именем, эффектной красотой и пленительной, грациозной эксцентричностью завоевала высокое звание царицы сезона, отчасти,— кто знает? — и миллионы прекрасной баронессы имели какую-нибудь притягательную силу.

Ежедневно составлялись пикники, кавалькады, поездки верхом или в легоньких колясках-плетенках. Лешедко чувствовал, что на него глядят благосклонно, и между ним и баронессой уже как будто наклевывался

отдаленный, невинный флирт. Казалось, судьба явно улыбалась ему, но три вещи смущали прокурора.

Первое — это то, что он плохо сидел на лошади. Стоя на земле, он был не только корректен, но, пожалуй, даже красив: хорошего роста, стройный, в синих тугих рейтузах, в форменной фуражке, в белоснежном коротком кителе, почти открывавшем его зад, с пенсне на носу, со стеком в руке, которым непринужденно похлопывал себя по лакированным сапогам, со своим выхоленным лицом породистого щенка. Но на лошади он окончательно проигрывал свои внешние достоинства. Еще когда лошадь шла шагом, ему удавалось принять, в подражание знакомым офицерам гвардейской кавалерии, натянутую, но сравнительно приличную посадку. Но когда кавалькада пускалась рысью или галопом, то душа прокурора уходила в пятки, шапка съезжала на затылок, локти болтались, как у деревенских мальчишек, которые скачут в ночное на неоседланных клячах, ноги то уходили по самые каблуки в стремена, то совсем выскакивали из стремян, и приходилось поневоле хвататься за гриву. «Черт возьми! — думал он в эти тяжелые минуты.— Что за глупость скакать как ошалелые! Спешить нам некуда — над нами не каплет. Положительно глупая затея!»

Неприятнее всего было то, что баронесса Анна Владимировна бесцеремонно и громко смеялась над его «своеобразной», как она говорила, манерой ездить. Правда, она же на балах выбирала постоянным кавалером Лешедко, который, надо отдать ему справедливость, танцевал непринужденно, с большой легкостью и держался чрезвычайно изящно.

Вторая неприятность заключалась в том, что ему никогда не удавалось остаться наедине с прелестной баронессой. Она всегда была окружена молодежью, пожилыми людьми и даже превосходительными старцами, и все это были сливки ялтинских гостей. Как ни старался Лешедко урвать хоть несколько минут тайного и пылкого разговора с Анной Владимировной,— этого ему никогда не удавалось. А третья беда, самая главная, состояла в том, что свита баронессы, рабски послушная ее фантазиям и причудам, вела безумно широкий образ жизни, и за ними поневоле приходилось Лешедко тянуться с та-

ким усердием, что, казалось, вот-вот лопнут жилы или кости выйдут из суставов. А сезон между тем крепчал и крепчал, и цена на все поднималась с такой же быстротой, как ртуть в градуснике, который держат над горящей лампой.

«Нет, — размышлял порою Лешедко по утрам, когда пил кофе, просматривал ресторанные счета и занимался отделкою своих ногтей.— Нет, черт возьми! Я иду неправильным путем. Необходимо сделать что-нибудь смелое, героическое, необыкновенное, что всегда так покоряет мечтательное сердце женщины! Но что? Что?»

Однажды утром прибежал снизу мальчишка-комми, в коричневой куртке, сплошь усеянной сверху донизу золотыми пуговицами.

— Вам записка от баронессы.

Это случилось в первый раз, что Анна Владимировна написала ему. С некоторым волнением он разорвал длинный конверт с вензелем на левом верхнем углу, потянул в себя, нервно раздувая ноздри, странный волнующий аромат, которым благоухал сложенный вдвое листок бристольского картона с золотым обрезом, и прочитал следующее:

«Зайдите ко мне на минутку. У меня есть для вас очень интересное предложение».

В гостиной у Анны Владимировны он застал еще одного посетителя, и тотчас же радость его души померкла. Это был самый популярнейший человек во всей Ялте, Яков Сергеевич Калинович, очень удачливый врач, а также прекрасный беллетрист старинной, немного тенденциозной, но благородной школы. Кроме того, это был неутомимый пешеход. Как только у него вырывалось несколько свободных дней, он пускался в путь, шагая такими огромными шагами, что за ним, пожалуй, не угналась бы почтовая лошадь, и на ходу он все время разговаривал сам с собой: «Да. Нет. Глупо. Да. Неправильно. К черту!» И бил при этом палкой по встречным камням.

Благодаря этой страсти к путешествиям он всех знал, и его все знали. На всем крымском побережье, от Судака до Балаклавы, все уважали его как знающего врача,

любили как честного и душевного писателя, и кто только не передразнивал его манеру заикаться при страстных идейных спорах и при этом вытягивать подбородок из воротника и вылезать руками из манжет.

Он сидел на низеньком мягком пуфе, причем колени его длинных пешеходных ног упирались ему чуть не в подбородок. Поздоровавшись с Лешедко, с которым он был знаком уже давно, доктор Калинович продолжал начатую речь:

— Значит, вы согласны? Так не будем же откладывать дела в дальний ящик. Почему делать завтра то, что можно сделать сегодня? Кста-ати, я приглашен именно на сегодня. Конечно, вы всегда можете по-поехать и сами. Вас, без сомнения, примет все виноделие с распростертыми объятиями и примет, стоя на коленях. Я, если позволите, с удовольствием буду вам сопу-путствовать. Но сегодня совсем исключительное дело. Мне как-то удалось вылечить жену заведующего погребом от довольно тяжелой болезни. С тех пор этот немец раз уже двадцать упрашивал меня поехать в его погреба и осмотреть их. Он все соблазнял меня каким-то необыкновенным вином, оставшимся еще от того времени, когда массандрские винные погреба не принадлежали правительству, а составляли частную собственность. От того времени осталось всего лишь несколько десятков очаровательнейших вин. И в скла-д-ах виноделия так и называют эту коллекцию «Воронцовский музей». Выпить такого вина считает за громадную честь самый избалованный дегустатор. Да и помимо того, мы увидим очень много интересного. Ну что же, согласны, восхитительная?

Через час большое общество, кто верхом, кто в экипажах, мчалось по массандрской дороге, поднимая клубы мелкой белой горячей пыли. Дорога шла все время в гору, обрамленная с обеих сторон сплошной изгородью крымских «каменных» дубов, опутанных плющом. В скором времени прибыли в Массандру и въехали в широкий двор виноделия. Их встретили почти все служащие там чиновники удельного ведомства. Популярность Якова Сергеевича и обаятельность баронессы сделали то, что все они наперерыв старались показать компании все, что есть в Массандре достопримечательного: тоннель, проходящий чуть ли не за версту в глубь горы, где

температура зимой и летом стоит одинаковая, не колеблясь даже на сотую градуса, полтора миллиона бутылок разных вин, уже вполне готовых для продажи. Они стоят по обеим сторонам тоннеля в виде массивных, бесконечных призм, бочки для купажа, имеющие в себе более тысячи ведер, с днищами в два человеческих роста вышиной. Потом показали им весь сложный процесс мытья бутылок, наполнения, закупоривания, запечатывания, вплоть до наклейки ярлыка; все это быстро, бесшумно, с непостижимой механической ловкостью исполнялось многими десятками работников и работниц, одетых в одинаковые тиковые полосатые передники. Но, однако, в погребе было сыро и холодно, и баронесса, одетая весьма легко, в полупрозрачное кружевное платье, первая поежилась плечами и попросилась наверх, на солнце.

Тотчас же была устроена дегустация, то есть проба вин, которая всегда происходит в передней комнате погреба. Там стояла приятная прохлада, и южное солнце ласково и весело вторгалось сквозь открытые широкие двустворные двери. Все уселись вокруг длинного стола. Он вместо скатерти был покрыт сплошным толстым стеклом. Сначала гостям дали расписаться в огромной посетительской книге, потом началось то священнодействие, которое называется дегустацией. Надо сказать, что это развлечение принадлежит к числу самых тяжелых и для непривычного человека гибельных. Сначала подавали легкое белое вино, потом легкое красное, и не одного типа, а нескольких, затем красное тяжелое и белое крепкое. Потом в таком же порядке следовали вина ароматные, вина типа марсалы, портвейн, херес всевозможных наименований, Asti Spumante, мускатное и в заключение ликерные: Lacryma Christi и розовая наливка. У всех в скором времени закружились головы, а главный рабочий (купер), по указанию начальства, таскал все новые и новые бутылки. Ужаснее всего было то, что к этой чудовищной смеси не подавалось никаких закусок. Хотя бы сыр или орехи! Истинные виноделы презирают эти вещи и называют их пренебрежительно «бисквитами для пьяниц». Закружились головы даже у самих хозяев, из которых каждый, конечно, считал себя тонким знатоком вин, и заплелись языки. Они щеголяли перед посетительница-

ми, и уж, конечно, главным образом перед Анной Владимировной, самыми удивительными, самыми непонятными характеристиками вин:

— Это вино кулантное. Это вино не успело еще опомниться. Это — вкусовое, а то — больше питьевое. Строптивое винишко, но ничего — обыграется. Лафит немножко бесхарактерный, брыкливое вино, обещающее, буржуазное, горьковатое, типа лоз St.-Estèphe, и так далее.

В заключение, по таинственному знаку, сделанному старшим виноделом, рабочий отправился куда-то на несколько минут и вернулся с корзинкой, в которой, точно любимый ребенок, покоилась пыльная бутылка. И в самом деле, человек, принесший вино, был похож по-настоящему на старую, заботливую, влюбленную в младенца няньку: так осторожно и плавно он шел, стараясь не делать туловищем ни одного лишнего движения, так благоговейно держал он корзину на полупротянутых вперед руках.

Вино поставили в декантер (род станка, который механически, от вращения рукоятки, опускает горлышко бутылки и подымает ее низ для того, чтобы не взболтать и не замутить драгоценную жидкость).

— Да, мои господа,— сказал торжественно главный винодел, а кстати, его фамилия была Келлер,— это вино шестьдесят третьего года. Приготовьте ваше внимание.

Но тут произошло нечто невероятное и почти ужасное. Милый, добродушный доктор Калинович вдруг вспомнил те далекие времена, когда он, еще будучи в Москве студентом, пировал в «Праге» и был знаменит тем между товарищами, что безошибочно определял на свет добротность и свежесть пива. Он вдруг выхватил драгоценную бутылку из декантера, схватил ее за горлышко, перевернул вверх дном и стал разглядывать ее на свет с видом знатока. Виноделы, все как один, закричали от ужаса и негодования: старший рабочий, по-тамошнему купер, застонал, побледнел и закрыл лицо руками. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Но дело все-таки кое-как уладилось. Купера попросили принести новую бутылку, а разболтанную отправить на место, чтобы она там полежала еще лет десять. Вторая бутылка была раз-

лита благополучно, так же как и третья. Вино было совсем светлое, точно в стакане воды раздавили одну или две ягодки малины. Да и пахло оно малиной. Но действие его было смертоносное. Когда кончили четвертую бутылку, то никого из всей компании, кроме впившихся виноделов да Анны Владимировны, не было трезвого. Впрочем, это слишком мягкое выражение. Вернее сказать, что все были совершенно пьяны и больше всех прокурор. В это-то несчастное время внимание баронессы привлекла одна из виденных ею раньше тысячеведерных бочек. Бочка была пуста, и внизу ее днища зияло тьмой правильное квадратное отверстие, шести вершков в высоту и шести в ширину. Баронесса наклонилась к нему и крикнула в бочку:

— У-у! У-у-у!

И глухой рев, такой, каким, должно быть, ревели на заре человечества диплодоки или ихтиозавры, ответил ей из бочки.

— Скажите, господа, для чего эта дырка? — спросила баронесса.

Виноделы тотчас же услужливо объяснили ей, что сквозь это отверстие пролезает человек, когда является необходимость вычистить бочку изнутри, потому что на внутренних стенках отлагаются осадки слоем до трех вершков.

— Но это же невозможно! — вскричала баронесса.— Я убеждена, что двенадцатилетний мальчик не пролезет в эту щель.

— Нет, отчего же? Трофимов,— крикнул он какому-то рабочему,— полезай!

Долговязый рыжий малый, вовсе уж не худощаво сложенный, неловко вышел вперед, снял пиджачишко и остался в короткой синей рубашке, подпоясанной ремнем, снял ремень, потом нагнулся к дверке, вытянул вперед правую руку и тесно прижал к ней голову и таким образом боком стал протискивать в отверстие сначала руку с головой, потом правое плечо, потом левое плечо с ребрами и так, подобно ужу, минуты в полторы был уже в бочке, а через минуту он вернулся обратно.

Баронесса дала ему золотой и сказала с удивлением:

— Клянусь богом, я бы никогда этому не поверила, господа!

— Э-тя уд-дивительно,— сказал князь Абашидзе, старинный, безнадежный поклонник баронессы.

— Конечно, никто из вас этого, господа, не сделает,— продолжала баронесса.— Хотите, я обещаю поцелуй тому, кто сделает то же самое?

Лешедко мгновенно сорвался с места, причем его порядком-таки мотнуло в сторону.

— Это сделаю я! — И он с размаху ударил себя в грудь.

— Ах, боже мой! Но ваш новый, прекрасный белоснежный китель!

— Это пустяки! Впрочем, может быть, дамы позволят мне снять его?

И вот, оставшись без кителя, прокурор так же, как и рабочий, встал на колени перед отверстием, так же тесно прижал голову к вытянутой руке и начал протискиваться в бочку. Вероятно, у пьяных есть какой-то особенный бог, который им помогает. Минут через десять он уже вполз до поясницы так, что остались видны только его ноги. Он дрыгнул ими судорожно раз двадцать и исчез из глаз публики. Сначала из бочки ничего не было слышно. Потом раздалось какое-то мрачное, глухое рычание, которое нельзя было слышать без страха. Потом к этим нечеловеческим звукам присоединился топот, как будто по мостовой проезжала артиллерия. Баронесса с любопытством приникла ухом к лазейке и сказала с удивлением:

— Знаете что, господа? Он поет кэк-уок и пляшет. Allo! Allo! Игнатий Игнатьевич! Хорошо вам там, во чреве кита?

— Бу-у-у! — пронеслось из бочки.

Лицо старшего винодела вдруг сделалось серьезным.

— Однако, знаете, господа! Пора, пожалуй, прекратить эту шутку. Лучше выпить десять бутылок вина, чем надышаться этими спиртными испарениями. Ведь там, кроме винного угара, нет ни одного клочка свежего воздуха.

Он подошел к отверстию и крикнул:

— Послушайте, как вас? Ваше благородие! Однако вылезайте! Как бы с вами чего худого не случилось. Нам придется отвечать. Приз свой вы заслужили, ну и до-

вольно. Да вылезайте же, черт вас возьми! Или я прикажу вас вывести насильно!

Из квадратной лазейки показалось бледное, вспотевшее лицо Лешедки. Пенсне на носу уже не было, а глаза смотрели мутно, раскосо и бессмысленно... А ртом он ловил воздух, как судак, извлеченный из воды. Язык его бормотал что-то бессмысленное, не имеющее ничего общего с звуками человеческой речи.

— Да слушайте же, несчастный человек! Вытяните вперед руку, прижмите к ней поближе голову. Теперь протискивайтесь!

Прокурор, которому еще говорил инстинкт, попробовал это сделать, но застрял теменем в отверстии,— и ни взад ни вперед! С большим усилием винодел и купер, наконец, вытащили его до шеи, но дальше они не могли ничего поделать. Воротничок, галстук, великолепные, шитые золотом подтяжки мешали ему двинуться хоть на дюйм вперед.

— Ай! Черт!.. Вы мне руку оторвете! — закричал жалобно прокурор.

— В таком случае нам остается только одно,— посоветовал кто-то многоопытный и сообразительный,— пусть рабочий влезет в бочку и попробует его протиснуть сзади.

— Эй, вы, Диоген! Ступайте назад. Трофимов! Полезай в бочку и помоги барину выбраться.

Рабочий с прежней быстротой и ловкой неуклюжестью исчез в лазейке. Вскоре опять на свет божий показалась плачевная физиономия, с помутившимися от страха и опьянения глазами и с красной ссадиной поперек лба. По-прежнему купер и винодел потянули его за руку и за голову. Истязуемый прокурор истерически визжал. По-видимому, он совсем лишился дара человеческой речи. Да и сказывалось ужасное опьянение винными испарениями. Он настолько ослабел и размяк, что не только ничем не мог помочь усилиям своих спасателей, но, наоборот, тормозил их.

— Тащи его назад, Трофимов! — в бешенстве закричал винодел.— Тащи назад сейчас же! Да дергай же, тебе говорят!

В третий раз скрылся прокурор в глубокой мгле бочки. Винодел крикнул в окошечко:

— Раздевай его! Слышишь! Что?! Да говори же ясней!.. Ну да, раздевай совсем догола!

И вот из темного квадрата, точно в силу какого-то волшебства, полетели галстук, воротник, панталоны, лакированные сапоги...

— Я предложил бы дамам удалиться,— посоветовал кто-то из посетителей.

Те послушались и вышли на свежий воздух. Зрелище становилось страшным. Вслед за ними вышли и дамские кавалеры. Когда виноделы, рабочие и доктор остались одни, то они перестали церемониться с телом бедного Лешедко. Но и раздетый буквально догола, он ни за что не хотел вылезать из бочки.

— Господа,— сказал серьезным тоном доктор.— Я не позволю в моем присутствии мучить человека. Будьте осторожнее.

— Стойте! — закричал купер.— Я придумал: смажем мы его машинным маслом. Грищенко! Беги ко мне на квартиру, принеси машинное масло. Да живо! Смотри, как бы наш барин не окочурился в самом деле.

Принесши масло, сунули его в лазейку Трофимову, и долго было слышно из бочки чье-то кряхтение, чьи-то взвизгивания и шлепки по голому телу. Наконец, в четвертый раз показалась из бочки голова прокурора, еще более беспомощного, чем раньше. Но машинное масло и дружный натиск трех раздраженных этой нелепой историей людей сделали свое дело. Вытащенный до поясницы, прокурор выскочил из бочки, точно пробка из бутылки с теплым шампанским.

Ах, если бы многочисленные преступники, которых прокурор в свое время закатал на каторгу и в арестантские роты, видели его в эту минуту! Они прониклись бы к нему жалостью. Еле стоявший на ногах, голый, весь блестящий от масла, весь в ссадинах и кровоподтеках, с головой, беспомощно склоненной на правый бок, пахнущий нефтью, он в эту минуту был поистине достоин сожаления. Даже виноделы почувствовали к нему сострадание. Они быстро достали откуда-то простыни, мохнатые полотенца и половики, вытерли и высушили бедное, израненное тело прокурора, заботливо одели его, смыв с костюма винные пятна, и бережно снесли до экипажа. Оказалось, вся компания, кроме доктора, уехала,

оставив друзьям, однако, на всякий случай экипаж. Ввалившийся в него прокурор тотчас же заснул в материнских объятиях Якова Сергеевича и так и не просыпался до самой Ялты.

А наутро, весь разбитый, со страшной головной болью, терзаемый жгучим стыдом и муками похмелья, он собрал свои вещи, расплатился и сел на первый попавшийся пароход, который отходил...

Впрочем, не все ли равно теперь было товарищу прокурора Лешедко, куда отходил его пароход?

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

Когда он рассказывал мне эту историю,— а рассказывал он ее не раз,— я не узнавал моего электрического капитана (капитаном его называли не без основания за то, что он был отставным капитаном, уволенным из полка для пользы службы, а электрическим—потому, что он занимал какую-то мелкую должность в конторе общества электрического освещения). Его глаза, обыкновенно мутные и уклончивые, делались ясными и твердыми. Его всегда сиплый голос старинного алкоголика звучал вдруг такими нежными, глубокими тонами, каких я никогда не ожидал от него услышать, и весь он на эти несколько минут как будто бы проникался внутренним сиянием, делающим человека, даже совсем низко павшего, прекрасным.

— Это случилось так. Три батальона нашего полка стояли в самом омерзительном из грязных губернских городов юго-западного края, а один из батальонов поочередно посылали на осень, зиму и весну на пограничную черту, за шестьдесят верст от штаба полка. Батальон, вы сами понимаете... это — четыреста человек солдат и пятнадцать офицеров, включая сюда батальонного командира и трех подпрапорщиков. Конечно, за долгую зиму мы все уже успели друг с другом перессориться. Это явление наблюдается и в тюрьмах, и в долгих пароходных рейсах, и в больших семьях, и вообще всюду, где люди осуждены на вынужденное длительное, скучное сожительство. Выходили фамильные ссоры, сплетни, обид-

ные недоразумения, проще — то, что называется в провинции, на севере — «контрами», на востоке — «козьими потягушками», а на юго-западе — «суспициями». Местные жители — католики и меннониты — или чуждались нас, или мы сами, храня свое офицерское достоинство, считали неудобным входить с ними в близкое знакомство. Местная же аристократия, преимущественно польские графы, совсем не обращали на нас внимания, на наши визиты отвечали оскорбительно учтивыми трехминутными визитами и затем забывали о нашем существовании. Что же мудреного, что мы, молодые офицеры, коротали длинные зимние вечера в гостях поочередно друг у друга, пили в ужасающем количестве омерзительную водку, взятую в кредит из еврейских шинков, закусывали ее микроскопическим кусочком сала поджаренного и под аккомпанемент вдребезги разбитой гитары пели старинные, давно забытые миром куплеты...

...Когда случится нам заехать
На грязный постоялый двор,
То, не садясь еще обедать,
Мы к рюмке обращаем взор.
Тогда мы все люли-люли
Готовы петь крамбамбули.
Крам-бам-бим-бамбули,
Крам-бам-були.

Когда мне изменяет дева,
Недолго я о том грущу;
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу.
Тогда мы все люли, люли...

А то еще пели мы и нежные песни. Вот, например...

Тут капитан вдруг расчувствовался, всхлипнул от слез и запел самым, вероятно, фальшивым голосом на свете:

Пче-олка злата-ая,
Что-о ты шумишь?..
Все вкруг летая,
Про-очь не летишь...

Ну да ладно... не в этом дело. Я увлекся воспоминаниями. И вот, знаете, наступили рождественские праздники, и все офицеры нашего батальона, начиная от командира и кончая самым беспардонным тридцатипяти-

летним фендриком, потянулись в город. Женатые к женам и детям — согласитесь, они ведь не могли с собою брать их в гнусное местечко, где все дома — мазанки из глины и коровьего помета и где нет ни одного врача на случай болезни. Холостые задолго еще перед рождеством мечтали о балах в гражданском клубе и в офицерском собрании, о ярко освещенных теплых залах, о музыке, о танцах, о прелестных женских и девичьих лицах, телах и улыбках, а кое-кто и о зеленом столике, за которым можно прометать банк и оставить всех партнеров без единой копейки. Соблазн взять отпуск на рождество был так велик, что младшие офицеры решили бросить между собою жребий: кому ехать, кому оставаться в местечке по долгу службы. Но я сказал, что без всякого жребия с удовольствием останусь здесь. Этому удивились. Тогда я пояснил, что думаю воспользоваться несколькими свободными днями для того, чтобы без помехи подзубрить тактику, французский язык и уставы. Я в то время готовился в академию генерального штаба, поэтому мне охотно поверили и оставили меня в покое, с эгоистичной поспешностью и с фальшивыми сожалениями.

Теперь, говоря высоким штилем, «бросая ретроспективный взгляд» на мое прошлое, я понять не могу, что их всех так влекло в эту грязную губернскую трущобу, в сравнении с которой какой-нибудь Конотоп или какая-нибудь Чухлома кажутся столичными европейскими городами: однообразность жизни? бледность воображения? скука? тоска по людям?.. Нет, нет, я не смею осуждать их, спаси меня бог! Я только издали гляжу на вещи и события.

На весь батальон нас осталось только двое офицеров: командир седьмой роты Плисов и я, безусый субалтерн. Но Плисов давно уже лежал в постели, снедаемый последними натисками жестокой чахотки, и таким образом я очутился фактически властителем над жизнью и смертью четырехсот человек солдат, а также и всего местного населения.

Не будь одного обстоятельства, о котором я сейчас скажу, я бы не отказал себе в удовольствии поставить солдатам несколько ведер водки, раздать им боевые патроны, объявить по телеграфу войну соседнему государ-

ству и вторгнуться в его пределы, подобно Ермаку, чтобы потом положить новую завоеванную землю к подножию монаршего престола. Но меня увлекла совсем другая мысль. Нежная и беспокойная. Дело в том, что у командира пятой роты, у которого я был под начальством, у капитана Терехова, была жена... Нет, вернее, не жена... Видите ли, у нее был где-то законный муж, и они жили просто так... свободно... не в особенно пылкой любви, благодаря долговременной связи, но в прочной дружбе и взаимном самоуважении. Была она этакая маленькая, но крепкая, великолепно сложенная женщина, с огромными серыми глазами, с крошечными прелестными ручками и ножками, страстная, живая насмешница, с открытым и пылким характером, остроумная, участливая к чужой беде — словом, очаровательная женщина и чудесный товарищ.

Конечно, вы из моих слов уже понимаете, что я был в нее влюблен со всем бешеным неистовством двадцатидвухлетнего подпоручика. Я почти каждый день старался посещать их, пользуясь для этого всякими поводами: служебными, дружескими и иными. Она бывала со мной неизменно кокетлива, ласкова, предупредительна и дружелюбно насмешлива. Впрочем, иногда я замечал в ее серых глазах, в самых синих зрачках, какие-то желтые топазовые искры, не то сердитые, не то вопрошающие. Я стеснялся, робел, прятал руки под стол, не зная, куда их девать, а по ночам нарочно ходил мимо ее окна раз по двадцати туда и обратно и шептал вслух какие-то дурацкие монологи. О, сколько раз я хотел ей сказать: «Обожаемая Анна Петровна, единственная радость моей жизни, моя первая и последняя любовь, если бы вы знали, как я вас люблю!» Но трусость или застенчивость, а может, и просто тогдашнее незнание женского сердца мешали мне сделать это.

И вот на рождестве как раз представился удобный случай. Ее сердечный друг капитан Терехов не устоял перед соблазном доброго винта, с присыпкой винтящимися коронками и тройными штрафами, перед хорошим ужином с выпивкой, с песнями и с полковыми сплетнями. Он уехал в резиденцию полкового штаба, сказав десяток лицемерных слов и оставив жену на несколько дней одинокой, скучающей на попечение двух денщиков.

Анна Петровна, вероятно, с удовольствием поехала бы вместе с ним потанцевать, повеселиться, поужинать, но вы сами знаете офицерское общество... оно чопорно даже в Царевококшайске. Незаконный брак! Помилуйте!

Поэтому не удивительно, что вечером двадцать шестого декабря я получил от Анны Петровны записку приблизительно такого содержания:

«Отчего вы меня не навестите? Я безумно скучаю. Мне уже надоело раскладывать пасьянсы. Придите поболтать и сыграть партию в пикет. А я вас за это угощу запеканкой».

Конечно, я понесся к ней со скоростью бешеной кошки. Я только и ждал этого приглашения... И вот... уютная комната, мягкий свет висячей лампы из-под домодельного абажура, шуточная игра в карты, невинное, хотя немного высокомерное кокетство, сладкое густое вино. Душа моя блаженствует и мурлычет, точно кот на завалинке... но вдруг входит тереховский денщик и докладывает:

— Так что, ваше благородие, до вашего благородия пришел денщик его высокоблагородия капитана Плисова. Их послали барыня. Барыня говорит, что их высокоблагородие чи дуже заболели, чи умерли.

Плисовский денщик подтвердил то же самое.

— Ротный лежит и не подает голоса. Обе барыни, и старая и молодая, боятся войти. И я сам спугался, аж подколенки трясутся.

— Почему не сбегал к доктору Бергеру? (У нас при батальоне своего военного доктора не было, а на все местечко существовал всего лишь один врач Бергер, старик семидесяти лет.)

— Бегал, ваше благородие. Евонная прислуга только и сказала, что после девяти часов вечера доктор никого не принимает.

Ах, черт! Надо было одеваться и идти. Но меня остановила Анна Петровна:

— Подождите немножко. Я тоже с вами. Я, может быть, буду чем-нибудь полезна.

Мы пошли. Я вел ее под руку. Было градусов восемнадцать — двадцать мороза и притом сильный ветер. Дорога к Плисовым шла все время в гору. Я должен был прилагать много усилий, чтобы удержать себя и мою спутницу от падения.

Первое, что я увидел в квартире Плисовых,— это его жену и тещу, которые, трясясь от ужаса, забились в какой-то чулан или кладовку около кухни. Мадам Плисова была высокая костлявая женщина, в пенсне, с маленьким лицом мартышки, полковая Мессалина, через любвеобильное сердце которой прошли все молодые, вновь назначенные в полк подпоручики, в том числе год тому назад и я... А мамаша, ну представьте себе мартышку вчетверо старее, злую и важную. Младшая из них (надо сказать, что она у нас была в полку самая страстная театральная любительница) кинулась ко мне и, трагически ломая себе руки, закатывая к небу глаза и хрустя пальцами, вскричала:

— Ради бога! О, ради самого создателя. Только вы один и можете нам помочь! Мы не могли достать врача.

— В Одессе к твоим услугам была бы тысяча врачей,— сказала басом и в нос мамаша.

— Мы не могли... Я вас прошу и заклинаю всем, что вам дорого... Войдите и посмотрите, что с ним! Мы слабые женщины и растерялись от ужаса!

Я попросил Анну Петровну успокоить, насколько это в ее силах, слабых женщин и вышел в другую комнату. На узенькой холостой постели, прикрытый до пояса одеялом, лежал капитан. Голова его покоилась высоко на трех подушках. Глаза были открыты, но неподвижны и глядели с жуткой пристальностью. Из левого угла рта вытекла и запеклась на шее и на белой ночной рубашке вначале узкая, а потом все более и более широкая красная струя крови. Я положил руку ему на лоб. Но так как на улице было холодно, а я шел к Плисовым без перчаток, то не мог уловить разницу между температурой его тела и моих пальцев. Тогда я попросил, чтобы мне дали возможность согреть руки. Для меня открыли заслонку печки. Однако тут же я вспомнил, что надо в этих случаях пощупать пульс. Увы! Пульс и температура с убедительностью сказали мне, что душа капитана покинула его бренное тело.

Вдова и теща тотчас же, точно по команде, подняли громкий вопль. Бог весть откуда-то, точно из-под земли, явились в комнаты две грязные, толстые и чуть ли не пьяные старухи. Они с привычной ловкостью раздели капитана догола, и я сам помог им положить его на пол. С цир-

ковой быстротой они намылили труп мыльной мочалкой, окатили водой, вытерли простынями и одели в чистое нижнее белье. Ах, никогда я не забуду этого ужасного желтого тела, этих ног и рук, подобных членам скелета, обтянутого желтой кожей, этих ребер, выпирающих наружу, как у дохлой лошади.

Старухи справились с брюками сравнительно легко. И мундир они надели на него благополучно, но застегнуть крючки им никак не удавалось. Пришлось опять мне прийти к ним на помощь. Ну-ка, попробуйте когда-нибудь застегивать покойника на крючки мундира, и вы узнаете, что это за штука! Я ничего не мог поделать с этим упрямцем. Тогда я сказал мысленно сам себе: «Милый Гермоген! Неизбежно придется надавить ногой ему на живот. Но, очевидно, у него скопились в желудке газы. Поэтому будь готов к тому, мой ангел, что покойник неожиданно может рявкнуть. Итак, держи себя в руках».

И правда, когда я с громадными усилиями, надавив коленом на живот покойника, застегивал последнюю петлю мундира, труп капитана вдруг зарычал. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Но в это время вошла Анна Петровна, спокойно закрыла глаза покойнику и положила на них два медных пятака.

Мои обязанности были окончены. Я должен был проводить Анну Петровну домой. Во всю дорогу мы ничего не говорили. Когда мы остановились у дверей ее дома, она сказала:

— Зайдите на минутку ко мне. Я вам предложу стакан вина. Мне, право, жутко остаться сейчас одной.

Самые серьезные моменты в жизни как-то туго запоминаются. Смутно помню, что я стоял, прислонившись к теплой печке и грея об нее озябшие руки,— мне казалось, что на них запечатлелся холод умершего человеческого тела. Анна Петровна ходила взад и вперед по комнате, зябко кутаясь в оренбургский платок.

— Смерть! Какая гадость: жил человек, мыслил, страдал, надеялся, любил, ревновал. И вдруг ничего от него не остается, кроме падали! Что за ужасный закон! И всего страшнее — его неизбежность.

Она вдруг подошла ко мне близко, совсем близко. Руки ее были опущены вдоль тела. Ее ресницы трепетали, и губы полуоткрылись над прекрасными неправильно-

го строения зубами. Мне казалось, что я чувствую тепло, исходящее от ее тела, и слышу аромат ее волос и кожи. Потом... неожиданным быстрым движением она обвила свои руки вокруг моей шеи и прижалась к моим губам своими жаркими открытыми губами...

А потом, уже под утро, провожая меня до передней со свечой в руках, она сказала мне в то время, когда я надевал пальто и калоши:

— Мой милый... Запомните твердо: наша ночь была первой и должна остаться последней. Это был праздник, победа жизни над смертью. Прошу вас, не бывайте у нас больше. Великих моментов нельзя повторять, как и нельзя передразнивать вдохновение. Сначала, я знаю, вам будет тяжело и обидно, но когда вы станете старше и мудрее, вы поймете, как я сейчас глубоко права.

И вот, в то время, когда я целовал ее руку, она нежно и холодно, по-матерински, поцеловала меня в лоб.

Наутро я посетил моего покойного товарища. Он лежал уже в гробу. Над ним тщетно старались выжать слезы вдова и теща. А его лицо улыбалось улыбкой какого-то неземного блаженства. Ну, что ж! Я с вами откровенен... мне стыдно и страшно было вспоминать, что вчера я почти ту же безвольную, спокойную и блаженную улыбку видел на губах Анны Петровны, когда она подошла ко мне так близко, близко, вплотную...

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Иван Иванович Семенюта — вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он — самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда бывал козлищем отпущения за целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюту как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит:

— О! Земнют, скверный мальчишка! Au mur! К стеньи!

И бедного, ни в чем не повинного Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.

— Ученичок развращенный! Ар-ха-ро-вец... Позорище заведения!.. У-бо-и-ще!.. Ос-то-лоп!..

И потом заканчивал деловым холодным тоном:

— После обеда в карцер на трое суток. До рождества без отпуска (заведение было закрытое), а если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища.

Затем звонкий щелчок в лоб и грозное: «Пшол! Козли-ще!»

И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора, производили ли набег на соседние огороды,— всегда в критический момент молодые разбойники успевали разбежаться и скрыться, а скромный, тихий Семенюта, не принимавший никакого участия в проделке, оказывался роковым образом непременно поблизости к месту преступления. И опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы:

— У-бо-и-ще!.. Ар-ха-ро-вец!.. Ос-то-лоп!..

Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына:

— Не губите мальчика. Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый. Только он робкий очень и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посеките его.

Семенюту довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, дали ему аттестат об окончании шести классов.

Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто «полудемисезон», заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке, у торговцев «вручную». Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек.

Оставалось искать место. Но место «не выходило» — таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме: мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но мать

поклонилась псаломщику, поклонилась и кастелянше, и те милостиво позволили Семенюте спать у них на общей кухне, на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе.

Наконец-то через год с лишком нашлось место писца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать с четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный, Ювеналий Евпсихиевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка.

Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влег в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные писцы относились к нему холодно: немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. «Анахорет сирийский»,— решили про него.

Семенюта был счастлив: скромная комнатка, вроде скворечника, на самом чердаке, обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, по-видимому, оценило его усердие. На другой год службы он получил должность журналиста и прибавку в пять рублей к жалованью, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать кое-что в сберегательную кассу. Но тут-то среди аркадского благополучия судьба и явила ему свой свирепый образ.

Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся, по обыкновению, в семь, усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних.

Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе

какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из товарищей глядели на него искоса, с неприязнью, другие — с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли.

Тревога его росла с каждой минутой. В одиннадцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго, вполголоса: «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами, точно в кошмаре, поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослуживцев.

Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом, ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде.

— Подойдите, Семенюта,— сказал директор после того, как Семенюта низко поклонился.— Скажите, зачем вы это сделали?

— Что, ваше превосходительство?

— Вы сами лучше меня знаете, что. Зачем вы взломали ящик от экзекуторского стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги? Не извольте отпираться. Нам все известно.

— Я... ваше превосходительство... Я... Я... Я, ей-богу...

Начальник, очень либеральный, сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по столу кулаком:

— Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались одни. Оставались до часу. Кроме вас, во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда.

Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени.

— Ваше... Ей-богу, честное слово... ваше... Пускай меня матерь божия, Николай-угодник, если я... ваше превосходительство!

— Встаньте,— брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул.— Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе. Я ведь знаю, что у вас после растраты или *кражи* (начальник жестоко подчеркнул это слово), что у вас первым делом — трактир или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что, если кто-нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте.

И он надавил кнопку электрического звонка.

Вот уже три года как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, которая покупает у рыбаков корзинками мелкую рыбку-уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом углу целый день стучит, сидя на липке, молоточком сапожник Иван Николаевич, по будням мягкий, ласковый, веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец, в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница.

Чем существует Семенюта,— он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску, с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклевывается переписка. Главное же его занятие — это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове, точно

взъерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.

Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на пасху, на троицу и на тринадцатое августа.

Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек,— пять копеек на баню, пять на цирюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезгливой жалостью в сердце. Их фамилии: одного — Пшонкин, а другого — Масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты.

Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.

— Что? Плохо, брат Семенюта? — спрашивает Масса.

— На бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.

— А ты не делал бы, чего не полагается.

— Николай Степанович... видит бог... не я... как перед истинным,— не я.

— Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.

— Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот, если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.

— Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?

— Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня... старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не бог весть какие, но все-таки пятьсот рублей... Это не Макара в спину целовать.

— Ну, ну, бери, бери, бог с тобой.

И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.

— Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?

Гордый Никита молчит, точно окаменев.

— Как здоровье мамаши? — спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.

Швейцар заявляет:

— А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.

Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма. Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи,— запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, неопределенный, цвелый запах чистой, опрятной старости, запах земли — все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью.

Вот, наконец, палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати — казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!

— Конкордия Сергеевна, к вам пришли.

— Никак Ванечка?

Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязанья.

— Ванёчек! Милый! Ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И во сне тебя сегодня видела.

Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик, постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые, иссохшие, узловатые руки трясутся.

Проходит мимо степенная старая горничная, «покоевая девушка», лет пятидесяти, в синем форменном платье и белом переднике.

— Домнушка! — говорит немного искательно Конкордия Сергеевна.— Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь, Ванюшка ко мне в гости приехал.

Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте.

— Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали. И мамаша-то все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу, сию минуту-с.

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые не переставая наносит беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни.

— Вид у тебя неважный, Ванёк,— говорит старушка и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе.— Побледнел ты, усталый какой-то.

— Что поделаешь, маман! Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру делать?

— Не утомляйся уж очень-то, Ванюша.

— Ничего, маман, я двужильный. Зато на пасху получу коллежского, и прибавку, и наградные. Тогда конче-

но ваше здешнее прозябание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе. И будет у нас не житье, а рай. Я на службу, вы — хозяйка.

Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин.

— Дай-то бог, дай-то бог, Ваничёк. Только бы бог тебе послал здоровья и терпенья. Вид-то у тебя...

— Ничего. Выдержим, маман!

Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским «прикомандированным» шалопаям, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», «мамусенькой», «мамочкой», и всегда на «ты». Но в названии «маман» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное, опавшее, покоробленное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость.

Домна приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит.

Конкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышиными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семенюту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются:

— Господи! Ванечка! И не узнать совсем,— какой большой стал. А я ведь вас вон этаким, этаким помню. Отчаянный был мальчик — герой. Так вас все и звали: генерал Скобелев. Меня все дразнил «Перпетуя Измегуевна», а покойницу Гололобову, Надежду Федоровну, — «серенькая бабушка с хвостиком». Как теперь помню.

Конкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее кистью руки.

— И спасибо... Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо. Идите, идите.

— Как у нас дела, маман? — спрашивает Семенюта, прихлебывая чай внакладку.

— Что ж. Мое дело старческое. Давно пора бы туда... Вот с дочками плохо. Ты-то, слава богу, на дороге, на ви-

ду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дому отбился. Играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит. Бьет Катеньку. С железной дороги его, кажется, скоро прогонят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет, подлец.

— Да уж, маман, правда ваша,— подлец.

— Тсс... тише... Не говори так вслух...— шепчет мать.— Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да. А у Зоеньки... уж, право, не знаю, хуже ли, лучше ли? Ее Стасенька и добрый, и ласковый... Ну, да они все, поляки, ласые, а вот насчет бабья — сущий кобель, прости господи. Все деньги на них, бесстыдник, сорит. Катается на лихачах, подарки там разные... А Зоя, дурища, до сих пор влюблена, как кошка! Не понимаю, что за глупость! На днях нашла у него в письменном столе,— ключ подобрала,— нашла карточки, которые он снимал со своих Дульциней в самом таком виде... знаешь... без ничего. Ну, Зоя и отравилась опиумом... Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное да неприятное. Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только тсс... потише — здесь и стены имеют уши.

Семенюта призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливее.

Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту, товарищи любят. Правда, Трактатов и Преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им! У них ни знаний, ни соображения. И какое же образование: один выгнан из семинарии, а другой — просто хулиган. А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально. Столоначальник с ним за руку. На днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь столоначальника, Любочка, подошла к нему с другой барышней. «Что хотите: розу или ландыш?» — «Ландыш!» Она вся так и покраснела. А потом спрашивает: «Почему вы узнали, что это я?»—«Мне подсказало сердце».

— Жениться бы тебе, Ванечка.

— Подождите. Рано еще, маман. Дайте обрасти перьями. А хороша. Абсолютно хороша.

— Ах, проказник!

— Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя похаять. Начальник на днях, проходя, похлопал по плечу и сказал одобрительно: «Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду».

И он говорит, говорит без конца, разжигаясь собственной фантазией, положив легкомысленно ногу на ногу, крутя усы и щуря глаза, а мать смотрит ему в рот, завороженная волшебной сказкой. Но вот звонит вдали, все приближаясь, звонок. Входит Домна с колокольчиком. «Барыни, ужинать».

— Ты подожди меня,— шепчет мать.— Хочу еще на тебя поглядеть.

Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюжинки, или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба.

— Покушай, Ванечка, покушай, — ласково упрашивает мать.— Не побрезгуй нашим вдовьим кушаньем! Ты маленьким очень любил севрюжинку.

— Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне. Обедали сегодня в «Праге», чествовали экзекутора. Кстати, маман, я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйте...

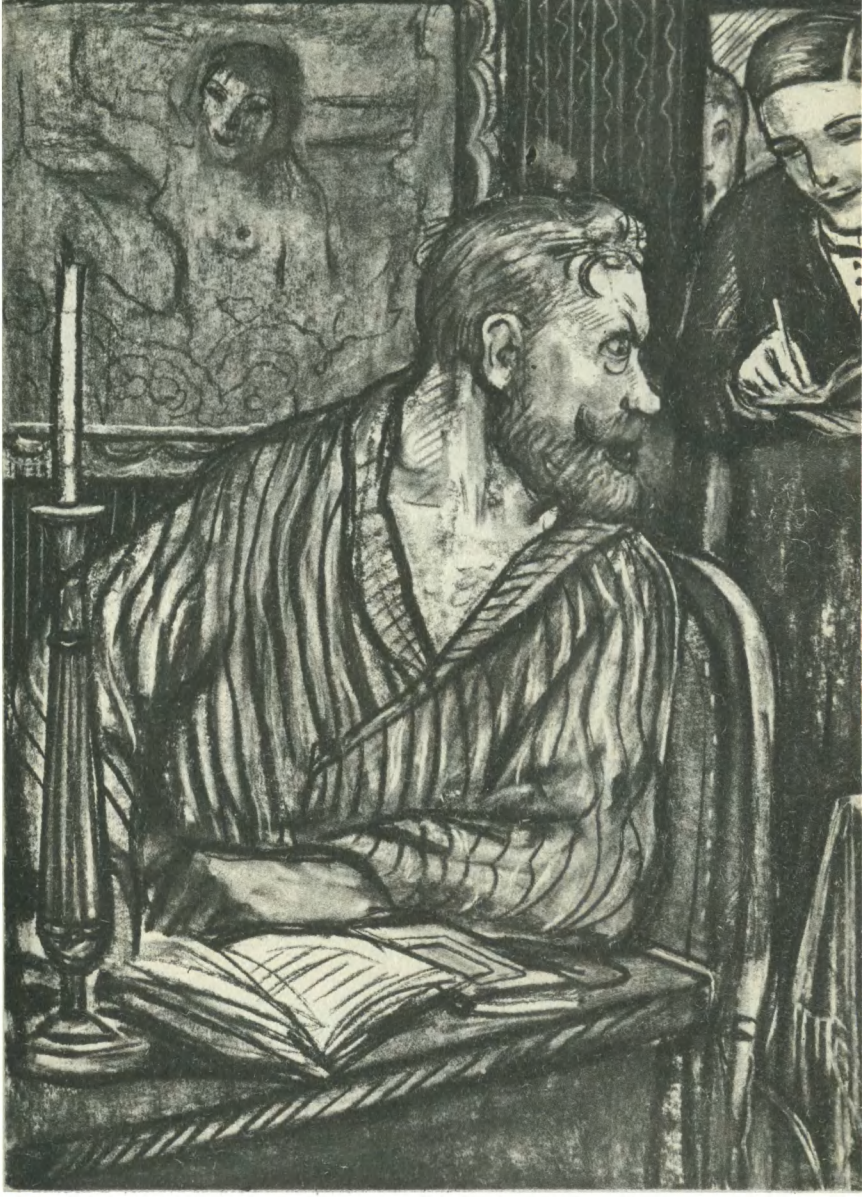
Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются, точно узкие горные ручьи, тихие слезы.

Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю, но он помнит о своем обтрепанном пальто невозможного вида и отклоняет эту любезность.

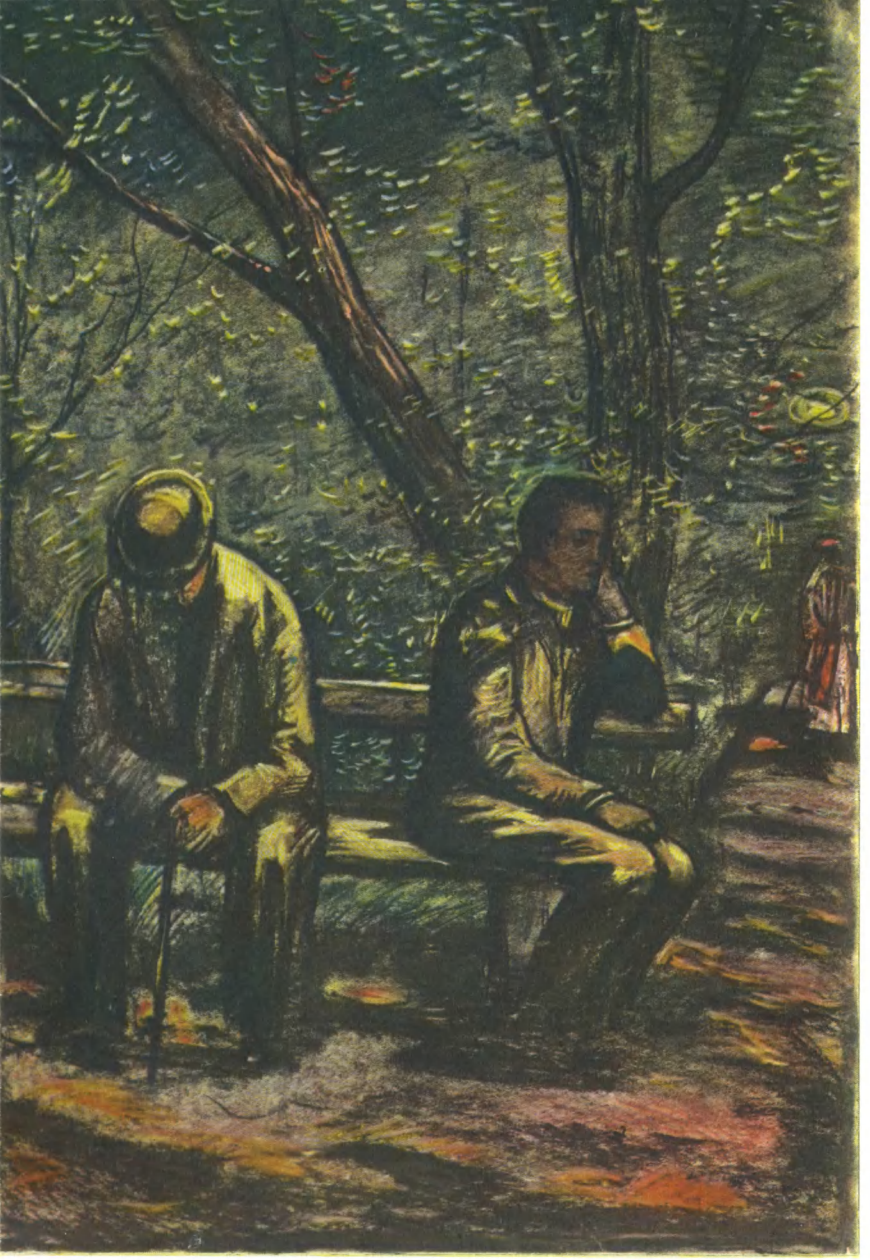
— Ну, что, в самом деле, маман. Дальние проводы — лишние слезы. И простудитесь вы еще, чего доброго. Смотрите же, берегите себя!

В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку.

— Так-то, Никитушка,— говорит ласково Семенюта.— Жить еще можно... Не надо только отчаиваться...



«ИНТЕРВЬЮ»



«ГАД»

Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нету у меня мелочи.

— Да будет вам,— пренебрежительно роняет швейцар.— Я знаю, у вас всё крупные. Идите уж, идите. Настудите мне швейцарскую.

Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю — да.

Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба?

И вот старый, честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку:

— Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет.

Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирёшку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом:

— Ваше превосходительство, совесть меня замучила... Умираю я... Хочу с души грех снять... Деньги-то эти самые и марки... Это ведь я украл... Попутал меня лукавый... Простите, Христа ради, что невинного человека оплел, а деньги и марки — вот они здесь... В комоде, в верхнем правом ящичке.

На другой же день пошлет начальник Пшонкина или Массу за Семенютой, выведет его рука об руку перед всей канцелярией и скажет все про Анкудина, и про украденные деньги и марки, и про страдание злосчастного Семенюты, и попросит у него публично прощения, и пожмет ему руку, и, растроганный до слез, облобызает его.

И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь — это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения.

А ведь и в самом деле, бывают же в жизни чудеса! Или только в пасхальных рассказах?

БРИККИ

Так называлась собака — английский бульдог белой масти, весом около двух пудов, пяти или шести лет от роду. Принадлежал он,— впрочем, это выражение всегда смущает меня. Как будто в самом деле отважная, самоотверженная, честная собака — раб, вещь, слуга человека, а не его искренний друг и товарищ. Просто — жил он вместе с моим хорошим приятелем, цирковым клоуном, и работал на манеже: прыжки через препятствия, сальто-мортале, лай по приказанию, угадывание цифр, благодаря куску мяса, положенному на определенную карту. В Брикки, как я уже сказал выше, был слишком большой для его роста вес. Но жир в нем совсем отсутствовал,— просто какая-то спиральная пружина, стальная бомба. Дружба между человеком и собакой была проникнута взаимным уважением и почти равноправием. В теплые весенние вечера, когда горячая собачья кровь доходит до точки кипения, клоун позволял Брикки пускаться на его риск и страх в уличные собачьи авантюры, и всегда Брикки безукоризненно прибегал в цирк к своему номеру, часто с разорванным ухом, с прокушенной ногой, весь в грязи, хромой, но по-прежнему веселый.

Мой приятель, уезжая на клоунские каникулы в свое родное место (Виареджио), поручил мне позаботиться об его собаке, и я, по моему благодушию и к своему несчастью, на это согласился. Но надо сказать, что Брикки, всегда внимательный, приветливый и даже любезный к людям, был беспощаден ко всему, что стояло на

четырех ногах. Это было его, как я думаю, природным недостатком. Еще ничего, что он изгрыз ножки всех столов и стульев в моем доме и превратил в бездыханные трупы двух наших любимых кошек... Я ему простил даже и то, что он игрушечную гостиную моей дочери растерзал на куски, откусив при этом хвост плюшевой обезьяне и оторвав головы и ноги трем куклам. Все это пустяки. Но начались и дела более серьезные. Весной я пробовал вывести Брикки без намордника и цепочки на улицу, на свежий воздух. И вот на расстоянии трехсот — четырехсот шагов от моего дома он истрепал и уничтожил чуть не до смерти трех собак. Он кидался на них, как огромный таран, ударом головы сваливал с ног, потом хватал за шиворот, быстро встряхивал головой, и собачка уже лежала на земле — маленькая, узенькая, плоская. Одну из них, помесь фокстерьера с таксой, он настиг у ее собственного дома и, испугавшись, что бедный песик переселится в свой собачий рай, очень старательно пропихнул его задними ногами в подворотню. Впрочем, надо сказать, что через неделю бриккины жертвы кое-как по улице останавливались только для того, чтобы, лежа на солнышке, зализать ногу или бок, а через две—все трое уже грызлись и предавались разным весенним удовольствиям.

Однако мой друг не возвращался из своей богом благословенной Италии, и мое положение становилось с каждым днем труднее. Отчаянный пес привязался ко мне всем сердцем, всей душой и, вероятно, в угоду мне делал в день по двадцати скандалов. Но как раз на пасху он преподнес мне такой сюрприз, что мы окончательно с ним расстались.

Пасха была поздняя. Зеленела трава в газонах, сладко пахли клейкие почки тополей, и черная смородина давала свой пряный, чуть-чуть одуряющий аромат.

В этот несчастный день (понедельник) к нам пришло несколько гостей—людей знакомых, близких и почтенных. Мы пили кофе в саду на скамейке. Брикки, к общему удовольствию, превосходил самого себя. Он как будто бы задался целью напугать, рассмешить и удивить почтеннейшую публику: с такой яростью он кидался на все предметы, которые ему бросали, так рычал, что становилось за него самого страшно.

И вот одна дама, прекрасно одетая — белое фаевое платье — неожиданно предлагает:

— А попробуйте, бросьте ему вот этот камень.

В камне этом было около полутора пудов веса. Я с трудом выбил его ногой из земли. Он был мокр, черен и грязен. Но это ни на секунду не затруднило Брикки, который развеселился и жаждал дальнейших успехов у публики. Камня ему сдвинуть с места не удалось, но он грыз его с таким ожесточением, что его голова от ушей до подборо́дка сделалась черной, как у самого черного арапа, да еще вдобавок — слюнявой.

Тут и случилось мое несчастье. Сострадательная и милая дама в нарядном новом белом платье вдруг сжалилась над бедной трудолюбивой собачкой и позвала ее:

— Брикки, Брикки, Бриккинька!

Очевидно, Брикки нашел выход из неловкого положения. Все равно он чувствовал, что камня ему не одолеть. С быстротой торпеды он кинулся на призыв дамы. В четверть секунды он успел облизать ей все лицо и кофточку, которые, кстати, исцарапал своими жесткими когтями. С исказившимся лицом, с красными пятнами гнева на щеках направилась дама в дом, чтобы привести себя в порядок. По дороге она повторяла:

— Ничего, это замоется, какая прекрасная собака!

Но губы у нее кривились и вздрагивали, а в глазах стояли слезы огорчения.

Затем Брикки с такой же скоростью кинулся на гостившего у меня тонкого, длинного, долговолосого поэта и сшиб его ударом головы в живот со скамейки спиною в газон. Потом он ринулся в курятник и выгнал оттуда всех кур, петухов, индюков, гусей и уток. Он, кроме того, обтрепал в бахрому нижний край брюк старенького, добродушного лесничего, истоптал и погрыз на рабатках почти все молодые нежные всходы ранних амморилисов, крокусов и нарциссов; изгрыз руку одной старой дамы, думая, вероятно, что играет с косточкой, и в самом высшем стиле перепрыгнул, не коснувшись, через маленькую нарядную девочку, которая, сидя на скамейке, лепила куличи, а та от ужаса шлепнулась на землю задушкой и заревела на весь сад. А после всех своих подвигов Брикки лег на солнце, на песке с таким невин-

ным видом, как будто ничего не случилось. И в глазах его я читал такое выражение:

— Да, все обижают бедную собаку, никто ее не пожалеет. За что, за что меня ударили прутом по спине?

Однако на этот раз я не поверил искренности Брикки и с громадным удовольствием отдал его моему другу, когда тот вернулся из Италии. Пес этот и поныне жив и работает в цирке, но должен сказать, что я отказал ему в своем гостеприимстве, так же, впрочем, как и мне пришлось отказаться от гостеприимства милой, доброй дамы в белом, в семействе которой меня в первый же визит встретили с полярным холодом, градусов в 75 по Фаренгейту.

СНЫ

(Из альбома А. И-ва)

Есть сны бессмысленно-простые. «Снег и на снегу щепка»,— так рассказывает свой сон бабушка из «Обрыва». Есть сны, механически, как в кинематографе, развертывающие ленту пройденного дня, олицетворяющие прочитанную книгу или слышанный разговор, повторяющие глубже маленькую уличную сценку. Есть фантастические, запутанные и сложные сны, умышленно присочиненные и приукрашенные во время утреннего полубодрствования. «Рассказывающие свои сны часто лгут»,— замечает Меркуцио, друг Ромео. Есть сны пророческие, в которых наше второе «я», наша вторая темная, бессознательная, но вечная душа, освобожденная от дневного шума, от жизненной пестрой суеты, от низменных расчетов трусливого ума и жадной игры самолюбия, тайно для нас бодрствует во всеоружии своей бессмертной мудрости, оценивает из глубины веков миллионы мелких и великих событий, рассматривает их, как правильный, повторяющийся узор чудесного громадного ковра, который не разберешь вблизи, и видит естественно и легко его ближайшие очередные сплетения ткани.

Есть также сны повторяющиеся, знакомые каждому человеку, общие всему человечеству. Кому из нас не приходилось с трепетом пробираться над пропастью, по узкому карнизу, который становится все уже и уже под ногами, пока не сливается с гладкою скалою? Кто из нас не бежал от страшного преследования и не стано-

вился, как животное, на четвереньки, когда ноги отнимались, парализованные ужасом? Наконец, кто из нас не летал?

Летают во сне все: взрослые и дети, женщины и мужчины, философы и глупцы, ученые и мужики, летают негры, эскимосы, каннибалы, туареги, утонченные европейцы, практичные американцы. Летали спящие люди и в глубокой древности; седые сказки, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет, сказки всех народов земли убедительно говорят о коврах-самолетах, о волшебных полетах на драконах, на лебедях, на орлах... А сказки не лгут. И я думаю, что когда-то, в страшно отдаленные века, предок современного человека летал не только во сне, но и в яви. Когда это было? В те ли бесследные века, когда на земле царила необыкновенно высокая культура, смытая или испепеленная каким-нибудь мировым катаклизмом? Или еще раньше, миллионы лет тому назад, когда, подобно духу божию, носился над водами крылатый прапращур человека?

Бессмертная живая клеточка, хранящая в себе все накопленные веками формы, свойства и раздражения, не таит ли также в своей непонятной нам сущности и бессознательную память всей мировой истории?

Я помню отлично мои первые детские полеты во сне. Тогда мне ничего не стоило одним каким-то внутренним, непередаваемым усилием потерять весь свой вес, отделиться от земли, плавно подняться к высокому потолку и лечь там в воздухе ничком, грудью и лицом вниз. Помню, люди, стоявшие на земле, все старались достать меня оттуда и гонялись за мной с длинными щетками. Но мне было чрезвычайно легко уходить от преследования. Я делал руками и ногами такие же волнообразные, скользящие, едва заметные движения, какие делает хвостом и плавниками плавающая рыба, и кругообразными зигзагами изящно и ловко парил в воздухе. И внутри меня все время дрожал ликующий восторженный смех.

Потом я переменил способ летания. Я брал в руки рукоятки обыкновенной детской скакалки, только вместо шнура в моем аппарате была широкая, красная шелковая лента. Я быстро начинал вращать эту ленту вокруг себя и тотчас же взмывал вверх, гораздо выше крыш и

деревьев. Летал я стоя, и от скорости вращения ленты зависели скорость подъема и опускания. Отставив немного в сторону правую или левую руку, я свободно описывал круг и вправо и влево. Сильная радость цвела в душе. Не такая могучая, как прежде, но живая и сладкая.

Потом с каждым годом летать становилось все труднее, и летал я все ниже и ниже. Еще несколько лет тому назад не летал, а прыгал. Разбегусь, оттолкнусь от земли и ле́чу сажен двадцать, лечу невысоко, волнообразно, то поднимаясь, то опускаясь по своему желанию. И ощущение этого длительного прыжка было так очаровательно, что хотелось верить, что я всегда, когда только захочу, могу повторить опыт. И цепляясь за эту мысль, я во сне убеждал себя: «Ведь я не сплю! Если бы я спал, я не думал бы о том, что не сплю. Значит, я бодрствую. И значит,— какое счастье! — я всегда сумею прыгать так же далеко, воздушно и приятно!»

Теперь, на переломе лет зрелости, я уже не летаю и не прыгаю вдаль. Изредка мне удается подпрыгнуть на месте на аршин высоты и продержаться в воздухе секунды две-три, отчаянно помогая себе руками. Я знаю, что вскоре и совсем перестану подниматься на воздух. Земля тянет, и надо с этим мириться. Но все-таки, если верно то, что жизнь отдельного человека — это краткое повторение истории всего человечества, то я упрямо утверждаю, что люди или их таинственные предки когда-то летали.

И особенно я поверил в это однажды, осенним, ясным морозным утром, когда впервые пришлось мне подняться на аэроплане. Мы тяжело и неуклюже отдирались от земли. Раз десять подымались чуть-чуть, и опять падали, и жалко влачились по кочковатой обмерзшей земле. Было немного жутко, немного противно, и хотелось потрогать пилота за плечо и сказать ему: «Довольно, Ваня, я не хочу больше. Я слезу».

Но вот каким-то чудом мы преодолели упорство аппарата, отделились от земли и пошли все выше, выше, выше. Нет, мы не двигались, мы стояли на месте, а земля, трибуны, дома, трамваи, деревья, трубы, заборы, дороги, столбы — все это плыло под нами назад, назад. И прежнее младенческое чувство безмерного восторга,

буйного и трепетного, охватило мою душу каким-то холодным сладостным пламенем. Как будто вместе с весом спали с меня и тяжесть годов, и печаль прошлого, и будничные заботы настоящего, и подлый страх будущего. И самая главная мысль — нет, вернее, главное чувство,— было то, что все эти ощущения я уже испытывал когда-то, давным-давно, тысячи лет тому назад, испытывал так же живо, глубоко и радостно.

И тогда же я подумал, что не война, не политика, не умные разговоры, не конференции приведут человечество к братскому единению, а великое искусство летания, с его чистыми блаженными радостями и с его великой свободой. И теперь, когда крылья белых птиц, крылья лучшей вечной мечты человечества бьются судорожно в крови и в огне, я все-таки твержу упорно: «Человек летал. Человек полетит. Человек пришел в мир для безмерной свободы, творчества и счастья».

«ЛЮЦИЯ»

Одним из самых сильных впечатлений моей жизни было то, когда я взошел в клетку со львами.

Это было в Киеве. В то время там гастролировала m-lle Зенида, венгерская еврейка, женщина весом около шести пудов. Она безвкусно одевалась в мужской костюм венгерского драгуна. Судьба ее была очень оригинальна. Где-то, не то в Пензе, не то в Саратове, вырвался у нее из клетки во время представления лев. Появление его на свободе было настолько страшно для публики, что началась паника.

В это время отчаянный помещик этой губернии Ознобишин, наездник, охотник, бретёр, выскочил на манеж — он единственный не потерялся в этой суматохе и безумии толпы — и очень смело открыл против морды зверя дождевой зонт. Это настолько удивило льва, что он начал пятиться. И только таким образом удалось загнать его обратно в клетку.

Но дальше началась печальная история.

Ознобишин и Зенида влюбились друг в друга. Два года длилась эта любовь. На нее ушли четыре тысячи десятин незаложенной земли Ознобишина, и его дом в стиле ренессанс, и старинные фамильные портреты кисти Венецианова, Лампи и Боровиковского.

Дело дошло до того, что львов и тигров перевели в конюшню, где они простудились, кашляли и чихали.

После этого m-lle Зенида снова появилась в цирке.

В это время я с нею познакомился и, должен откровенно признаться,—влюбился в нее. А так как в это вре-

мя я был цирковым репортером, то она мне оказывала некоторое внимание.

И вот однажды, в свой бенефис, она предложила мне войти с нею в клетку со зверями и там выпить с нею бокал шампанского за здоровье почтеннейшей публики. Должен откровенно сознаться, что сначала мне хотелось отделаться от этого искушения болезнью или переломом ноги, но потом мужество или, может быть, любовь заставили меня пойти на эту сделку. До сих пор я ясно помню это ужасное впечатление.

Она мне говорит:

— Входите первым...

Служащий тотчас же отворяет дверь.

— Я войду вторая...

В левой руке у нее рейтпейг, в правой—шамберьер. Клянусь богом, что во все время, когда я был в клетке, я был точно в обмороке. Я боялся отступить к решетке, но и боялся выступить вперед и все время старался держаться за спиной укротительницы. Увы, как это ни позорно, но в этом нужно сознаться...

В особенности была страшна тигрица «Люция».

Видно было, что укротительница сама ее немножко боялась.

Я видел, как, изгибаясь сбоку, вдоль огорожи, она следила внимательными глазами за движениями Зениды. Я не помню, как я вышел из этой вонючей клетки.

Вышел я первым. Зенида вышла второй.

До сих пор я не припомню, как мы выпили шампанское за здоровье почтеннейшей публики и за здоровье Зениды. Этот момент выпал из моей памяти.

Однако через несколько месяцев я услышал, что тигрица «Люция» растерзала Зениду не то в Саратове, не то в Самаре.

Впрочем, так почти все укротители и укротительницы оканчивают свою жизнь.

ЗАПЕЧАТАННЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Куда только не совала меня судьба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком арбузов, подносчиком кирпичей, продавцом в Москве, на Мясницкой, в одной технической конторе, тех принадлежностей домашнего обихода, которые очень необходимы, но о которых вслух не принято говорить. Был лесным объездчиком, нагружал и выгружал мебель во время осеннего и весеннего дачных сезонов, ездил передовым в цирке, занимался гнусным актерским ремеслом, но никогда я не представлял себе, что придется быть еще и псаломщиком.

А случилось это вот как. Мой приятель инженер попросил меня поехать к нему, на север Полесья, в деревню Казимирку, где у него было около двух тысяч десятин. Почему-то ему взбрела в голову мысль о том, чтобы развить там табаководство. А в то время я был человек свободный, независимый, легкомысленный и подвижной. Поэтому, нагрузив чемодан семенами махорки-серебрянки и несколькими десятками брошюр, я отважно двинулся на это сомнительное предприятие.

Должен заранее сознаться, что из моих сельскохозяйственных предприятий ничего не вышло. Часть табака увяла от чрезмерно теплого лета, другую часть разворовали крестьяне, а третья и последняя погибла во время лесного пожара.

В этой деревне был древний костел и в нем за престолом образ божьей матери, писанный, по преданию, евангелистом Лукою, а в ста шагах расстояния находилась церковь, деревянная, с зеленой высокой кры-

шей, со стенами, крашенными сверху вниз белыми и розовыми полосами. Настоятелем православной церкви числился таинственный отец Анатолий. Но его паства никогда его не видела. Деревня Казимирка считалась приписной в количестве других шести-семи деревень и сел, в которых были престолы.

Всякий, кто бывал на юге или юго-западе России, тот знает, какой заботой, вниманием, я даже более скажу, обожанием, окружает католическая паства своих священников. Лучшая, редкая дичь — ксендзу. Столетний карп или лещ — тоже пану пробощу, великолепные домотканые полотенца с прелестными народными узорами—ему же, весною черешни, летом земляника, осенью яблоки, грибы, сметана, сливки, а на рождество поросята, гуси и утки. О других дарах я не буду говорить, чтобы не показаться сплетником. Конечно, бедные полещуки вместо своей заколоченной православной церкви начали ходить в костел. Надо же было им удовлетворить свои религиозные потребности. Кстати, там музыка, благоговейная тишина, торжественность богослужения, великолепный ритуал.

Ксендз был очень тактичный человек. Он избегал какого бы то ни было воздействия на чужое стадо, но не препятствовал ему обращаться к богу как ему выгоднее и удобнее. И вот, кажется, на это обратили внимание в епархии. Во всяком случае, в деревню Казимирку был наряжен отец Анатолий, со строгим предписанием во что бы то ни стало положить конец католическому засилью. Он приехал не один, а вместе с псаломщиком, который столько же понимал в церковном уставе, сколько, как говорится, сазан в библии. А церковный устав — это тяжелая ответственная вещь. Все эти задостойники, стихири на стиховне, тропари, ирмосы, песнопения дню, числу и месяцу, передвижение пасхалии, апостол на каждый день и евангелие — представляют из себя такую скомканную и совсем не четко определенную науку, в которой распутаться может только редкий специалист.

По моему мнению, отец Анатолий знал гораздо меньше, чем псаломщик, или, может быть, знал, но забыл, но зато он был хорошим патриотом и отважным человеком. Посетив однажды костел и внимательно просмотрев службу ксендза Антония Бурбы, он для при-

влечения своего стада православной церкви решился ввести у себя в храме католический обиход. Когда он проносил святые дары во время преждеосвященной обедни с жертвенника на алтарь, то впереди его, пятясь задом, в серой двухцветной свитке, наполовину черной, наполовину серой, пятился, почти на четвереньках, церковный староста-крестьянин и все время звонил в колокольчик. Возглас к евангелию он читал на мотив Secula Seculorum[1] и говорил проповеди на малороссийском языке.

Неизбежно было, что я познакомился с ними обоими: и с отцом Анатолием и его псаломщиком. Кроме них, был в Казимирке только едва-едва грамотный человек, продавец в казенной винной лавке, с которым я уже успел давно поссориться.

Итак, мы втроем, священник, псаломщик и я, собирались каждый вечер то у них, то у меня и часами играли в преферанс по двухтысячной, с рефетами и двойной курочкой. Тут-то они меня и привлекли к священнодействию. Надо сказать, что я очень люблю церковное пение и довольно основательно знаю его, поэтому соблазнить меня было очень легко. За две недели до масленицы я уже был постоянным певцом на правом клиросе, и мы с псаломщиком,— помню прекрасно его лицо: маленький, черный, узколобый, с отвисшей нижней губой, но никак не могу вспомнить его имени, отчества и фамилии,— мы с ним каждое воскресенье распевали все, что нам взбредало на ум или попадалось под руку. Во всяком случае, должен сказать, что церковным уставом я овладел в эти несколько недель гораздо точнее, чем он за весь свой семинарский искус.

Первую неделю великого поста мы провели кое-как, с грехом пополам, но все-таки сравнительно благополучно. Но вот однажды приходит ко мне мой псаломщик и первым делом спрашивает:

— Дадите ли вы мне честное слово, что все, что я вам скажу, останется между нами?

Я ему ответил:

— Вы меня связываете чересчур тесным обязательством. Если моя совесть позволит мне не рассказать ни-

---

[1] Веки вечные *(лат.)*.

кому, то, конечно, я не расскажу никому: я не из болтливых. А если мне придется сказать, то скажу. И вообще я не люблю себя стеснять никакими условиями. Вы сами понимаете, что покупать кота в мешке...

— Ну, ладно! Идет,— живо возразил он.— Я не буду с вами уговариваться наперед, а скажу все откровенно. Видите ли, мне хочется в этом месяце держать экзамен в юнкерское училище, чтобы потом сдать экзамен на подпрапорщика и на офицера. Я хочу попросить у отца Анатолия отпуск, но не хочу ему сказать, зачем я уезжаю. Если мне удастся выдержать экзамен, я напишу ему письмо с прошением, а если не удастся, я вернусь сюда обратно, и место псаломщика все-таки останется за мною. А вы на это время останетесь вместо меня, тем более что под моим руководством вы настолько привыкли к службе, что она вас совсем не затруднит. Вы понимаете меня?

Конечно, я понял его, поморщился, но согласился с ним. В тот же день отец Анатолий благословил его поехать отдать последнее целование усопшей матери, а псаломщик передал мне несколько десятков книг в старинных телячьих переплетах, издание времен Екатерины Второй и Павла Первого.

Однако я не рассчитал своих сил. Страшно тяжела была первая неделя, когда мы служили ежедневно. Начинали мы служение с пяти часов утра, отламывали всенощное бдение, великое и малое повечерие, заутреню, раннюю обедню и позднюю обедню, а в промежутках исповедовали и причащали человек по двести в сутки. Кончали мы служение часов около двух или трех пополудни. Вторая и третья недели были сравнительно легче: были заняты только среды, пятницы и воскресенья. Но к четвертой опять повалили исповедники, и я совсем выбился из сил и лишился последних остатков моего голоса. Вместо того чтобы петь, я скрипел и шипел, точно расстроенный граммофон. Пятая неделя опять дала маленький роздых, но на шестой и седьмой неделе я просто потерял голову. Коварный псаломщик точно в воду канул. Он меня не извещал ни одним звуком о своей судьбе. А отец Анатолий становился все настойчивее и настойчивее. Почем знать, может быть, он что-нибудь пронюхал о нашем таинственном договоре с псаломщиком.

Помню отлично, что в один из этих дней я лег спать в три с половиной часа утра,— всю ночь я играл в польский банчок с графом Ворцелем,— и вот в середине пятого часа утра ко мне приходит церковный староста, в смазных сапогах, в разноцветной свитке, с густо намазанными волосами.

— Идыть швитко до церкви. Батюшка вас требует.

Я мгновенно вспомнил о том, как он обтирал причастникам губы шелковым платом и как при этом орал на них, точно на базаре. Припомнил, как он толкал в шею бестолковых баб, наглухо закутанных в толстые шерстяные платки, как он перевирал имена причастников, вспомнил многое другое. Кончилось все это тем, что он со значительной скоростью выскочил за дверь, и мой башмак попал вряд ли на дюйм выше, чем в то место, где пришлась бы его голова.

Успокоенный и облегченный, я погрузился было в сладкий утренний сон. Но дверь опять открылась, и вошел отец Анатолий. Он был уже одет, с золотою цепью вокруг шеи, с золотым крестом на груди и выправлял обеими руками волосы из-под воротника.

— Нет, нет! Я и слушать не хочу,— говорил он,— никаких оправданий!.. Одевайтесь! Вот вам брюки. Вот пиджак. Вот сапоги. Где другой сапог? Ах, вот он где. Шевелитесь, молодой человек, шевелитесь! Постарайтесь во имя храма божьего, не ленитесь. Нам осталось совсем немного.

Понятно: ряса, крест, убедительный вид бодрого и верующего человека — все это заставило меня быстро одеться и привести себя в порядок. Таким-то образом я и запрягся на страстную седьмицу, на пасхальную неделю, на Фомину и на всю цветную триодь.

Для того чтобы сказать, как я измучился за это время, достаточно того, что под светлое Христово воскресение я без отдыха читал и пел от семи часов вечера до одиннадцати часов следующего дня.

Но конец наших отношений был самым удивительным и, по правде сказать, неожиданным как для него, так и для меня. На Фоминой неделе отец Анатолий, ласковый, расчесанный, намасленный, зашел ко мне и попросил меня поехать с ним вместе запечатать младенцев. Сначала я его не понял и даже, признаюсь, не-

много испугался, но он объяснил мне, что запечатание младенцев заключается в следующем. За время его отсутствия из приписанных к нему сел, были большие детские эпидемии: дифтерит, корь, скарлатина и другие. Доехать до этих сел не было возможности из-за громадных сугробов, а потом ростепели. Теперь дорога установилась и обсохла, и надо было ехать делать последнее священническое благословение детям, погребенным без церковного напутствия.

Это путешествие у нас заняло три дня. Мы приезжали в село или в деревню, где нас встречали колокольным звоном из каплиц, и затем шли на кладбище. Детские свежие незапечатанные могилки очень легко было узнать, потому что на каждой из них вдоль была растянута полоса домотканого холста, а на ней пара крашенных в синий цвет яиц и пятьдесят копеек медью или серебром. Священник подходил к могилке и начинал торопливо:

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!

— А-м-минь,— подтягивал я ему.

— Благочестивейш... самодержавнейш... велик...

— Господи поми-луй!

— Упокой, господи, душу усопшего раба... младенца... Как звать?

— Грипой, батюшка,— с низким поклоном говорила какая-нибудь почерневшая от лет, невзгод и голодухи баба.

— ...Грипа и учини его в раи, идеже все праведники упокояются!

А я:

— Господи помилуй, господи помилуй, господи поми-луй!

Таким образом, безмятежно и быстро мы похоронили раба божиего Юрка и младенца Языкантия, и только с одной предпоследней могилой, притаившейся где-то в уголке кладбища, у нас вышло маленькое недоразумение. Холст на ней лежал какой-то подержанный, сделанный, вероятно, лет пятнадцать тому назад, а то просто выкроенный из старой нижней юбки, но ни полтинника, ни яиц на нем не было. Отец Анатолий рассердился, покраснел, как спелый томат, и так закричал на ба-

бу, что она кинулась от него бегом. Через десять минут она вернулась с сорока копейками, и мы благополучно спели панихиду и запечатали рабу божию отроковицу Серениду — настоящее имя ее знает, вероятно, всеведущий господь. Однако краем глаза я видел, как эта женщина, прежде чем запечатать свою умершую дочку, валялась в ногах деревенского старосты и целовала его сапоги.

В пóследнем по очереди селе отца Анатолия вдруг осенила вдохновенная мысль. Он заявил, что хочет служить молебен о плодородии будущего года. Я попробовал было указать ему на требник и сказать, что существуют молебны «о еже впасти в кладезь чему нечистому», «о еже избавитися от колдовства и волшебства, от нашествия иноплеменников и междоусобной брани» и так далее. Но он меня остановил вдруг с такой сухостью, которой я даже от него не ожидал:

— Делайте, что вам приказано, и не заставляйте меня прибегать к крайним мерам!

Я без лишних объяснений понял, какие это крайние меры. Просто отец Анатолий возьмет и уедет, а я останусь без лошадей, и идти мне придется шестьдесят верст пешком. Мне пришлось смириться. Священник занял самую большую избу во всей деревне и велел немедленно собраться туда всем хозяевам, и чтобы каждый из них непременно принес с собою стакан меду, пяток яиц и большой медный корец ячменя. Все это было беспрекословно исполнено. Два громадных восьмипудовых мешка были наполнены хлебом. Полная кадушка благоуханного меда была накрыта свежими молодыми липовыми листьями, и в ивовой плетеной корзинке горою лежали свежие весенние яйца.

Ну, уж какой молебен мы отслужили в этой избе — за это ответит на Страшном суде Христовом грешная душа отца Анатолия. Это было какое-то попурри из церковных песнопений—великопостных, похоронных, молебственных и других. Достаточно того сказать, что мне все время казалось, что я богохульствую...

После молебна хозяин, пожилой, степенный мужик, откупорил четвертную бутыль с водкой, налил себе стакан, сказал: «Пью до батюшки», выпил и, еще не закусывая, налил второй стакан и протянул отцу Анатолию.

Священнослужитель взял наполненный стакан, обернулся ко мне и сказал:

— Пью до...— Он, кажется, хотел сказать «до тебя», но в последний момент одумался и сказал: — До вас.

Я проделал ту же церемонию по отношению к хозяйке, которая долго стеснялась, но все-таки выпила и вытерла губы верхом ладони.

Не совсем твердо помню, как и кто нас доставил в Казимирку. Знаю только, что на другой день отец Анатолий написал мне записку с настоятельной просьбой уплатить ему половину разъездных расходов. Но меня уже в то время потянуло в дальнейшие странствия, и потому я разорвал его письмо, бросил обрывки бумаги в лицо церковному старосте и закричал на него:

— Передай, болван, отцу Анатолию, что сегодня я пишу на него жалобу патриарху Сиракузскому!

— Кому?

— Си-ра-куз-ско-му!

ФИАЛКИ

Ф. Ф. Трозинеру

Начало мая. Триста молодых кадетских сердец трепещут, переполненные странными, смешными и трогательными чувствами: азартом, честолюбием, отчаянием, смертельным ужасом, надеждой на слепое счастие, унынием, тупой покорностью судьбе... Необычайной стала жизнь, вышедшая из привычных рамок сурового военного уклада, расчисляющего по командам и сигналам каждую минуту дня и ночи... Парты вынесены из классов в длинные рекреационные залы и расставлены по вкусам соседей, которые зимою ссорятся, как пара каторжников, скованных короткой цепью, а теперь предупредительны, уступчивы и услужливы, точно молодожены. А иногда можно увидеть, что пять или шесть парт соединились вместе, образовав сомкнутую многоугольную фигуру бастиона, со стенкой сзади, в виде ненарушимого тыла. Там заседает эгоистическая артель муравьев, работающая сообща и беспощадная к искательствам бездомных стрекоз.

И целый день зубрят, зубрят. Иные, закрыв пальцами глаза, уши и даже нос, как это делают трусливые купальщики, качаются взад и вперед в тягучей тоске. Первые ученики держатся твердо и уверенно, но и они побледнели и осунулись за эти страдные дни. Они хорошо знают, что пройдут блестяще, но все-таки копошится тревожная и завистливая мысль: «А вдруг? Вдруг не первым, а вторым?..»

Милые дети, первые ученики, украшение корпуса, гордость родителей! Вы не хуже и не лучше других детей. Но что значит первенство и праздное честолюбие в сравнении с тем, что мимо вас прошла еще одна весна юности? Конечно, придут и другие весны, которыми вы впоследствии, на досуге, будете комфортабельно и медленно наслаждаться, сознательно смакуя их прелести на севере и на юге хоть всех стран мира. Но никогда не вернется именно эта, эта самая весна, готовая буйно и щедро вторгнуться в ваши зоркие глаза, в разверстые ноздри, в чуткие уши, в ваши жадные, наблюдательные, девственные, ничем не запятнанные умы, вторгнуться и оставить там навеки доброе семя радости и красоты земной.

Того же самого мнения и семиклассник Дмитрий Казаков. Вернее сказать, у него столько же мнения о влиянии природы на человеческие души, сколько его у жеребенка, скачущего по зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке среди болот страстную весеннюю песню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей норы весенний волнующий воздух, у ручного кроткого верблюда, который вдруг становится весною страшным в своем любовном бешенстве.

Просто-напросто весна с ее колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами обволокла его душу непонятной истомой и щекочущей бессознательной радостью, от которой хочешь и плакать и смеяться, и не знаешь, куда девать себя то от непомерного острого счастья, то от сладкой скуки. Разве мог бы Казаков сказать сам себе, почему прошлым летом, живя в имении, он — солидный шестиклассник, куривший почти открыто, басивший и лучше всех товарищей притягивавшийся к турнику на одной руке,— он вдруг, случалось, не мог преодолеть в себе безумного мальчишеского желания взять и помчаться диким галопом по высокой росистой вечерней траве, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянея от острых запахов полыни, повилики, ромашки и клевера? И почему ночью, во время сильной грозы, он выскакивал из дому совсем голый, босой, торопливо просовывал ногу в лямку гигантских шагов и один, под жестоким дождем, взмывал высоко к черному небу, к грому и мол-

ниям, дрожа от исступленного восторга, от беспредметного вызова, от пылкого ликования молодого тела?

Так и в эту весну он весь во власти таинственных грез, беспокойного смятения и раздражающего трепетания жизни. Где же тут учиться? Да и никогда он особенно не влезал в этот хомут. Быть средним по успехам или немного пониже — не все ли равно? На экзаменах можно овладеть своей волей, понатужиться — и все наверстать. Но теперь он живет в странном очаровании, точно опоенный неведомым дурманом. Он просыпается, спешит к окну, садится на подоконник, и точно впервые, с новым удивлением — не говорит себе, а глубоко чувствует: вот синее небо, вот легкие сквозные облака, и трава, и деревья там, далеко, за зданиями. И ходит весь день вялый по огромному, вытоптанному многими тысячами ног корпусному плацу. Ложится на чахлую, жалкую, низкую траву и долго, как на сверхъестественное чудо, дивится на суетливую, загадочную беготню муравьев, на цепь сплетшихся букашек, красных с черными пятнами, медленно ползущих между былинками. Читает по десяти раз подряд одну и ту же фразу и никак не может постичь, что такое здесь написано? И, отбросив книгу, ложится ничком, смотрит в бездонное небо до тех пор, пока от движения причудливых облаков сам не начинает медленно плыть куда-то, в вечное пространство, вместе с своими воздушными мыслями.

И вот наступает самое сладкое, самое тревожное, самое чудное — вечер. Стемнело. Едва-едва пламенеет тихая заря. Зеленые сумерки. Черны и резки контуры здания с их чуждыми теперь, пустыми, неосвещенными окнами. Белые фигуры товарищей движутся, точно завороженные. Каждая веточка деревьев поразительно четка на небе, которое светлее земли. Гудят невидимые майские жуки. Стройная песня вдали. Смягченный смех и разговор. Самый обыденный звук доносится точно из другого мира. И все это, как пряное вино, вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кружит голову. Кто же это проходит сейчас через всю землю, незримый и неслышный? Чье дыхание подымает волосы на голове и ласкает щеку? Отчего вдруг стеснилось дыхание, и пересохло во рту, и слезы на глазах? Какое чудо должно случиться сейчас, через минуту, через мгновение?

Пора. Зовут спать. Летучие мыши низко и косо чертят черными зигзагами воздух и порою почти касаются лица... Я уйду туда, в скучные, серые стены, и без меня, без меня совершится под темным небом великое таинство!..

Послезавтра последние, самые страшные экзамены по математике, но зато сегодня такое чудное утро, точно на небе справляются именины. И Дмитрий решительно швыряет толстого Бремикера под парту. Сегодня он удерет и побродяжничает по запретному старому дворцовому парку. Он никого не возьмет с собою, никого! Пойдет совсем один.

За завтраком он ловко утягивает из-под руки зазевавшегося служителя лишнюю котлету и, сжав ее между двумя кусками черного хлеба, сует в карман. Может быть, он опоздает к обеду, но кому же из начальства теперь, в общее беспокойное и горячее время, придет в голову доискиваться, все ли налицо?

Труден путь до парка. На углу древнего, еще Петровского Потешного земляного бруствера торчит дежурный дядька, беспалый пан Пневский, придирчивый служака и вечный доносчик. Он не спускает своих бесцветных, оловянных, но точных солдатских глаз с той единственной дорожки, по которой можно ускользнуть: прорыв бруствера, затем кувырком с горы, рядом с зимним катком, потом еще шагов тридцать — сорок по открытому месту до пруда, а там уже вдоль зеленого, густого, как ботвинья, пруда растут непроницаемой стеной корявые, дуплистые столетние ивы! Там незаметно.

Надзор бдительного дядьки берется обмануть верный товарищ. С лицемерной щедростью сует он пану Пневскому заранее припасенную утреннюю булку. У пана большая семья, и каждый кусок в ней не лишний. Затем закидывается коварная, но самая верная удочка: «На какой войне и в каком сражении пан Пневский лишился двух пальцев на правой руке?» Пан Пневский сначала недоверчиво косится. Он уже не раз клевал на эту соблазнительную приманку. Но лицо спрашивающего так простодушно, а в славных наивных гла-

зах так много живого участия, а сама тема рассказа о том, как пан Пневский, польский шляхтич, из красавца, силача и лучшего работника сделался калекой, так неумирающе близка его сердцу, что — хвать — и рыбка попалась.

А Казаков в это время мчится под верной защитой развесистых ив быстрее степного ветра. Он не может умерить своего бега до самого конца пруда и останавливается, только достигнув пригорка, на котором тесно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости. Здесь он передыхает и идет шагом мимо забытой кузницы, мимо заброшенной оранжереи с уцелевшими лишь кое-где мутно-радужными стеклами, легко перепрыгивает водяной ров и спускается к узкой, но глубокой речонке.

Вода в реке кажется черной, как чернила, от кустов, которые густо обступили ее с обеих сторон и купают в ней свои свесившиеся длинные ветви. И пахнет она нехорошо от близости многих фабрик. Но другого выбора нет. Раздевшись с непостижимой скоростью, Казаков без раздумья, с разбегу бросается в воду, достигает ногами противного, коряжистого, скользкого, илистого дна, задыхается на мгновение, обожженный жестоким холодом, и ловко, по саженкам, переплывает речку без отдыха туда и обратно. И когда он, одевшись, взбирается медленно наверх, то с наслаждением чувствует удивительную легкость в каждом мускуле: точно все его тело потеряло вес, и, кажется, стоит сделать лишь самое незначительное усилие, чтобы отделиться от земли и полететь в воздухе, как большая птица.

И вот наконец он входит под высокие навесы парковой аллеи. Старинные липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк вместе с дворцом любимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что каждый человек, идя под ними, невольно чувствует себя маленьким. Здесь всегда зеленая полутьма и сыроватая прохлада. Лишь изредка там и сям на земле блещут, струятся и трепещут двойные солнечные кружочки, точно кто-то бросает сверху капризной рукой золотые монеты. И Казаков идет по широкой, тихой величавой аллее, точно по пустому,

безлюдному, холодному храму, куда он зашел случайно в жаркий полдень. Вот мраморная, изрытая временем львиная голова, точащая из пасти в плоскую чашу тонкую серебряную нитку воды. Казаков подставляет рот и с наслаждением глотает холодную сладкую влагу.

Но когда он отнимает рот, с которого падают светлые капли, то неожиданно его обоняния касается удивительный аромат — тонкий, нежный и упоительно скромный. Следя за ним, поворачивая голову в разные стороны, вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте, он спускается вниз, в сырой, мокроватый овраг, куда ручейком стекает вода, переполняющая чашу. Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, темных, маленьких северных фиалок, благоухающих, как нигде в целом мире.

Он осторожно, ползая на коленях, рвет цветы, стараясь их не мять, делает с бессознательным изяществом небольшой букетик, обворачивает его круглыми, влажными листьями и, наконец, обматывает ниткой, которую зубами выдергивает из казенного платка.

Но когда он опять подымается наверх, на полузаросшую травой дорогу, то невиданное, очаровательное зрелище заставляет его остановиться в немом восторге, почти в страхе. Прямо на него, посредине аллеи, медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой темной зелени подобна оживленному чудом мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся сладкое и грозное чудо. Она высока, легка и стройна, и ее цветущее лицо прекрасно. Ее руки со свободной грацией опущены вдоль бедер. Как царская корона, лежат вокруг ее головы тяжелые сияющие золотые косы, и кто-то невидимый осыпает сверху ее белую фигуру золотыми скользящими лепестками. Теперь она в двух шагах... Каждая черта ее молодого свежего лица чиста, благородна и проста, как гениальная мелодия. Взгляд ее широких глаз необычайно добр, ясен и радостен. И цвет их странно напоминает те цветы, которые дрожат в руке неподвижного мальчика.

Но вот она со светлой улыбкой останавливается. И, точно звуки виолончели, раздается ее полный, глубокий голос:

— Какие прелестные фиалки... Неужели вы здесь их набрали?.. Как много, и какие милые.

— Здесь...— отвечает чей-то чужой голос из груди Казакова. И не он, а кто-то другой, окруженный розовым туманом, протягивает цветы и произносит: — Прошу вас, примите их, если они вам нравятся... Я буду...

Горло кадета суживается от волнения. Сердце бурно бьется. Глаза готовы наполниться слезами. И сказочная принцесса понимает его. Ее лицо озаряется нежной улыбкой и слегка краснеет. Она говорит ласково: «Благодарю»,— и это простое слово звучит, как литавры в торжественном хоре ангелов. И изящным движением она прицепляет скромный фиолетовый букетик к своей груди, туда, где сквозь легкое палевое кружево розовеет ее тело. Она протягивает Казакову свою милую, теплую руку, пожатие которой так плотно, мягко и дружественно. И вместе с ароматом фиалок мальчик слышит какое-то новое, шелковое, теплое, сладкое благоухание.

Затем они говорят о пустяках, которые потом Казаков никогда не вспомнит. Остались в памяти лишь отрывки: в том училище, куда Казаков поступит, окончив корпус, она бывает ежегодно на рождественских балах, и сегодня вечером она уезжает за границу. Она спрашивает, как зовут Казакова, и неизъяснимой гармонией поет в ее устах имя Дмитрий.

Она первая отпускает его. Она смотрит на маленькие золотые часы, опять протягивает ему свою божественную руку и говорит: «До свидания. Мне очень приятно было встретиться с вами». Да, да, да! Она так и сказала — «до свидания»! И исчезает, как сказка, за поворотом аллеи.

А вечером, в спальной, Казаков долго не спит, лежа в своей кровати. Он прижимает крепко руки к груди и жарко и благодарно шепчет: «Господи! Господи!..» И в этих словах наивное, но великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям, и вечной благости, и вечной красоте, заключенной в женщине... И потом он плачет долгими,

радостными, светлыми слезами, которые никогда уже не повторятся в его жизни. И как бы потом ни сложилась его жизнь со всеми ее падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращением,— он всегда, даже в старости,— он, позабывший имена и лица любивших его женщин,— благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки.

Потому что на его долю выпало редкое счастие испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость.

ГАД

Ах! только тот, любовь кто знал,
Кто знал свиданий жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стра-а-жду!

Все это случилось в Киеве, в Царском саду, между июнем и июлем. Только что прошел крупный, быстрый дождь, и еще капали последние капли... а я все ждал и ждал ее, сидя, как под шатром, под огромным каштановым деревом. Где-то далеко взвывали хроматические выходящие гаммы трамваев. Дребезжали извозчики. И в лужах пестро колебались отражения электрических фонарей...

Ах, только те люди, которым было когда-нибудь двадцать лет, поймут мое волнение!

Она ясно, твердо и определенно сказала: «От Минеральных вод, войдя в калитку, первая скамейка направо, ровно в девять часов вечера». Конечно, я пришел на условленное место в восемь часов и долго подозревал, что часы на городской Думе идут очень медленно. Бог знает, может быть, за ними никто не смотрит? Несколько раз я бегал на улицу Крещатик и смотрел на освещенный циферблат. Но время как будто бы остановилось. Остановилось именно мне назло. Иногда мне приходила дикая мысль: может быть, в то время, когда я бегал смотреть на часы, она приходила, не нашла меня, рассердилась и ушла? Может быть, она прошла мимо, а я не заметил? А ведь вопрос шел о жизни и смер-

ти. Мы должны были пойти к моему другу и сказать ему: «Я честный человек. Я люблю твою жену, она любит меня. Обманывать мы тебя не хотим. Мы уходим вместе».

Капли падали на землю все тише и реже. А может быть, она ошиблась? Может быть, назначила не ту калитку? Не ту скамейку? И перочинным ножичком я вырезываю на гнилой доске: «Был такого-то числа такого-то года от 9—10». А может быть, просто она испугалась дурной погоды или, позабыв о часе, спокойно пудрится перед зеркалом?

И вот, наконец, вдали мелькает чей-то тонкий черный силуэт. Конечно, это она! Сердце останавливается на секунду, и потом бешеный толчок, кружится голова и перед глазами бегут какие-то огненные звезды. Нет, это не она. Женщина говорит басом:

— Душка штатский, дозвольте прикуриться?..

И опять начинаются мучения. Я разговаривал сейчас с этой женщиной, а может быть, она видала через решетку и из брезгливости ушла.

Конечно, хватаешься за мысль о самоубийстве. Ведь смолоду это так легко делается! Я опускаю голову на ладони, стискиваю лоб и раскачиваюсь взад и вперед. И вдруг слышу рядом с собой голос:

— Да, молодой человек, я тоже об этом подумывал, когда мне было столько же лет, сколько вам теперь...

Я даже не успел заметить, когда этот человек сел со мною рядом, но уже почувствовал, что голос у него печальный, и дорисовал его наружность: высокий рост, котелок, мокрые, усталые глаза и длинные, висячие вниз усы.

Я ему сказал кратко:

— В Царском саду очень много скамеек. Почему облюбовали вы именно мою скамейку?

Он закурил, откашлялся и начал, как будто бы робко:

— Видите ли. Вы сейчас ожидаете женщину, которая к вам не придет, я в этом уверен. Потому что это я вижу по вашей молодости и по вашему нетерпению. Она вас, извините, только дурачит. А я просто-

напросто выслеживаю одну даму: с кем она сегодня пройдется — с военным или штатским.

— Пожалуйста, выслеживайте кого угодно. Но помните, что я с вами не знаком и выслушивать вас не склонен. Неужели это ваша профессия — шпионить за женщинами?

— Ах, совсем нет! Эта женщина — моя жена. А я — гад.

Теперь представьте себе муки неудовлетворенной любви, двухчасовое ожидание, а рядом, из Минеральных вод, несутся звуки оркестра, играющего антракт перед четвертым действием «Кармен». Представьте темноту в саду и лужи, освещенные фонарями — там, на улице... И человек, которого я не знаю, только чувствую в темноте, спокойно докладывает, что он «гад»... Что-то скользкое, противное, холодное ползет по мне... Не во сне ли я?..

Но он, как будто бы читая мои мысли, говорит:

— Собственно, сказать гад — это такое дурацкое слово... Моя профессия, то есть, вернее сказать, я этого... того... прорицатель... предсказатель, то есть гадальщик на картах и на другом, а здесь народ все серый, необразованный... Гадалку так и зовут гадалкой, а если мужчина — то гад. Вовсе не думайте, что это легкая профессия. Еще раньше было туда-сюда. Приезжаешь в какой-нибудь город Проскуров или Крыжополь. Сейчас же первым делом визит. К кому? К исправнику, к становому приставу. Ну, конечно, ясно — барашка в бумажке... В офицерское собрание завернешь...

Там весь народ молодой и веселый... Покажешь им несколько фокусов на картах, опыты шпагоглотания, ксилофон с карандашом в зубах, куплеты на злобу дня и еврейские анекдоты, и затем рисковый номер: капитан с несгораемым желудком, то есть выпьешь стакан керосину и стеклянным блюдечком закусишь. И они тебя напоят и накормят, а главное, не спрашивают, откуда ты пришел и куда идешь? Прекрасные молодые люди. Потому что сами по душе и по профессии бродяги. Конечно, в самом благородном смысле. Искатели пряных впечатлений.

Но главное ведь для нас то, что за это время я моей провинциальной публике успел уже примель-

каться. Сейчас же еду в еврейскую типографию, которая печатает «Крыжопольский курьер» в количестве пятнадцати экземпляров, а также и визитные карточки на ручном станке. Договариваемся в два слова. Делаю там кредит, кредит у парикмахера, в бане и в гостинице. И на другой день на всех заборах наклеены плакаты:

«Случайно, проездом через этот город, лейб-маг царя персидского и придворный предсказатель абиссинского короля, Тер-Абрам-Хахарьянц, даст несколько сеансов чревовещания и ясновидения по способу известной хиромантки Ленорман, а также мадам Тэбу и метра Папюса; на картах, на бобах, по линиям рук рассказывает будущее, настоящее и прошедшее. От многих коронованных особ личные похвалы (факсимиле). Частные приемы от 11 утра до 3 ч. пополудни. Трудящемуся народу, нижним чинам и ученикам значительная скидка. Замечательно! Редко! Единственный случай увидеть всю свою жизнь в стакане воды».

С мужчинами обыкновенный разговор. Ведь мужчина, хотя он и дурак и уши у него холодные и, так сказать, вообще осел, но он все-таки думает, что у него душа тигра, улыбка ребенка, и поэтому он красавец. А стало быть, смело ври ему в глаза: «Вы очень, очень вспыльчивы, и бог знает, что вы можете наделать в раздражении, но зато вы великодушны и отходчивы». Это он легко глотает, как слабительную пилюлю «Ара». Затем ты ему говоришь: «До сих пор еще никто не понял вашего характера, вы являетесь загадкой». Откровенно говоря, какая тут загадка: он просто паспортист из участка, или конторщик, или писарь, или кандидат на штатного телеграфиста, но по службе нет движения. Хреновина. Однако все-таки он клюнул, и уже — ходячая дешевая реклама. Потом, конечно, к тебе придут и исправник, и становой. Так... как будто от нечего делать. Но я уже вижу, что и подусник у него дрожит, и рука мокрая от волнения.

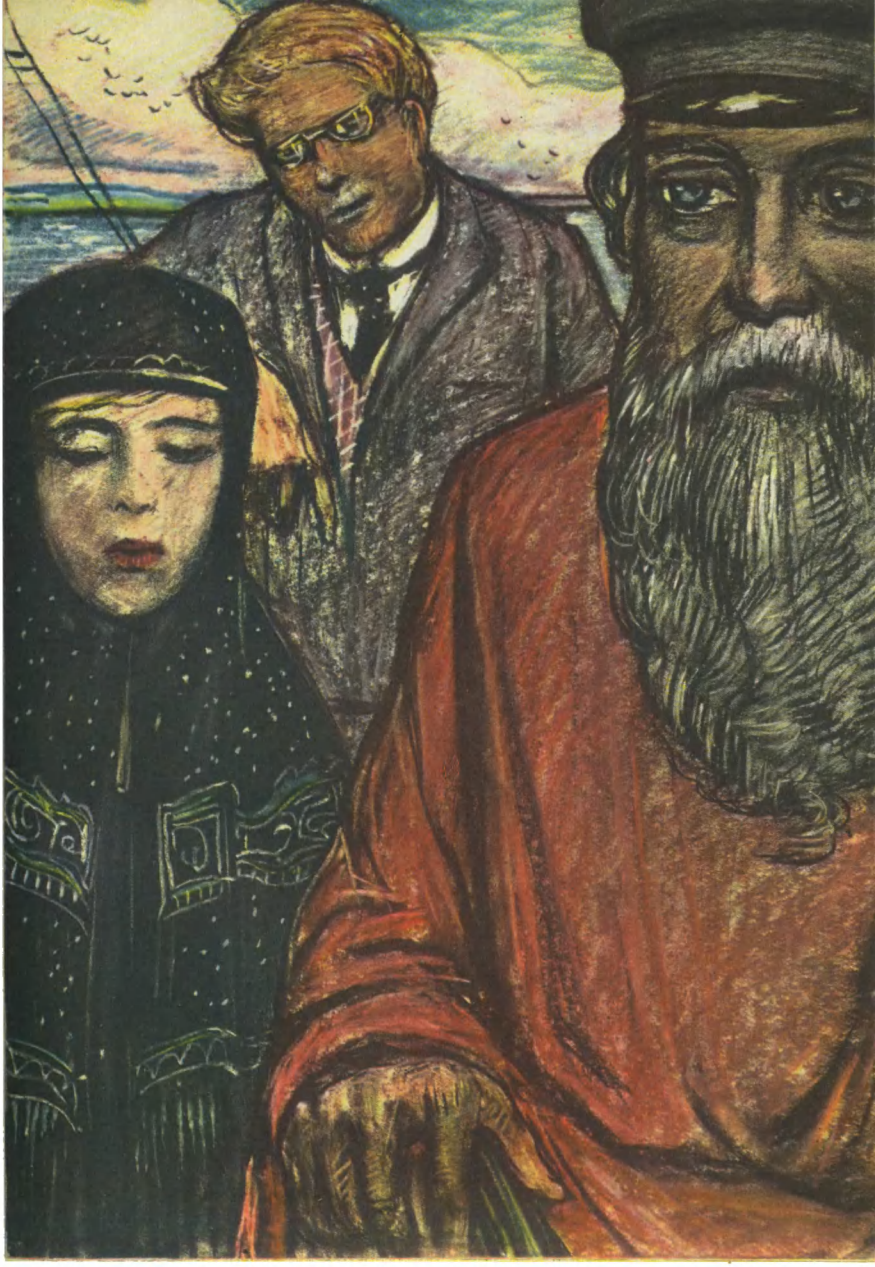
А по правде, главный наш клиент — женщина, и чем она по своему социальному положению проще, тем легче ее выставить из монет...

— Зачем вы все это мне рассказываете? — спросил я, тоскуя.

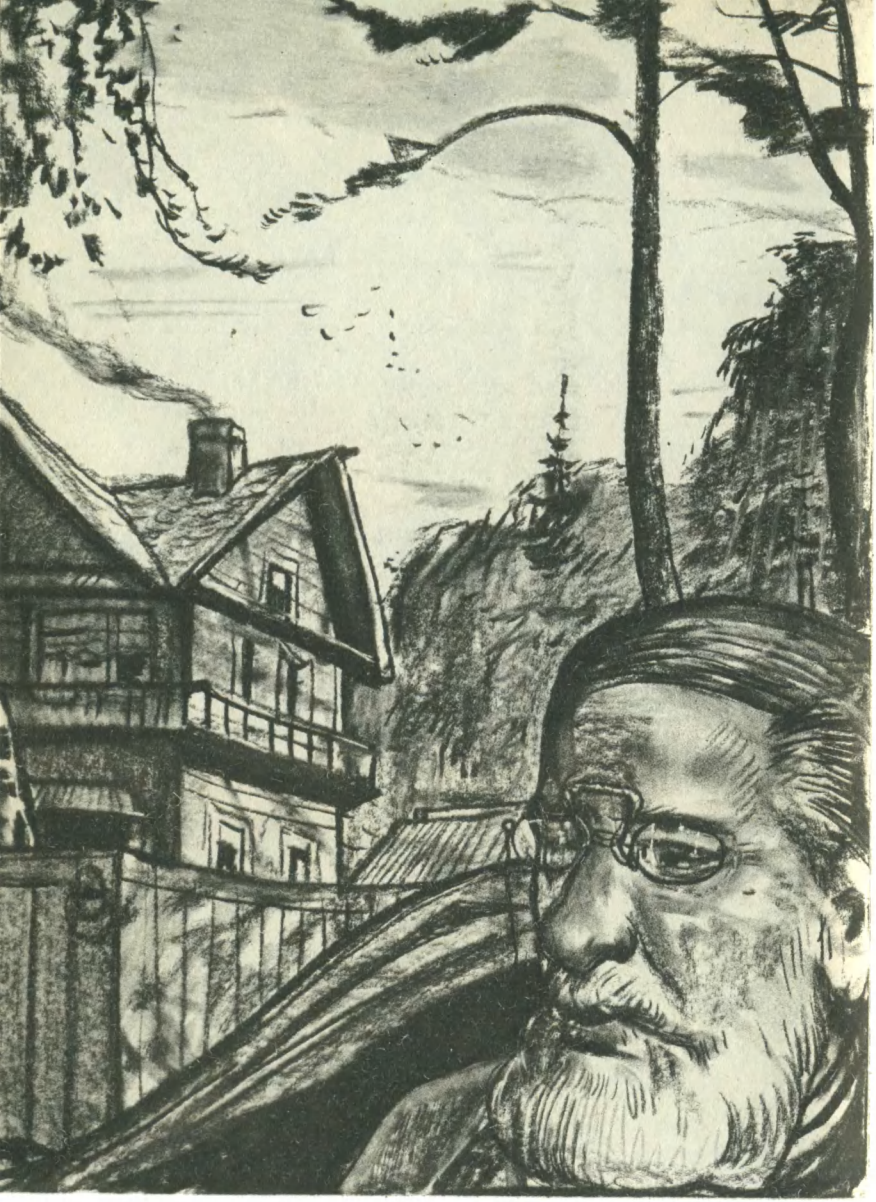
— Ах, боже мой! Да ведь молчишь, молчишь,— хочется с кем-нибудь поделиться... Так вот я и говорю: женщина всегда думает либо об муже, либо о женихе, либо о любовнике, или о брате, о сыне, об отце. Ей просто я и говорю: «У вас сердце беспокоится о трефовом короле». Сейчас же вижу по глазам, что ее субъект каштан и старик с проседью, и строго себя поправляю: «Виноват, как раз пиковый король». И вся она от радости затрепыхается. Тут уж ври почем зря. А некоторые даже плачут и просят: «Нет ли у вас приворотного зелья, господин Гад? Или средства возвратить молодость?» Ну, я этими вещами не торгую. Оно, конечно, соблазнительно рискнуть, а потом иди, бренчи кандалами до Соколиного острова. Удовольствие из средних. Не так ли? Многие от этих средств, подлецы, дохнут.

Но простые женщины — это для нас шик и апельсин. Приходит, например, кухарка. Ведь она, дурища, круглые сутки около плиты жарится. Стало быть, в кого она должна быть влюблена? Несомненно в товарища по оружию — пожарного. Уж будьте покойны, когда на улице где-нибудь пожар, то со всего города кухарки сбегаются. Ствольщики, трубники, скачки, свистовые, а он, герой, сидит и сдерживает пегих жеребцов, а у них пена с морды падает. Его спросят: «Какой ты части?» А он только сплюнет набок, ничего не скажет. А факел горит на каске. Поэтому кухарке прямо я и говорю: «Он высокого роста, брюнет (все равно он в саже весь вымаран). Герой, но не заметный. Больше, чем какой-нибудь полковник или Наполеон. Одет в серое и много спас человеческих жизней». Кухарки все мнительны, по утрам чрезмерно пьют кофе, слабонервны, суеверны до парадокса. И, право, даже стыдно с нее брать три рубля. Бывало, уговариваешь: «Да не нужно, матушка, так много».— «Возьми, возьми, отец Гад, батюшка. Тебе, родной, пригодится».

Зато интеллигентные торгуются. «Я, говорит, в Париже бывала у самой госпожи Тэб и у мосье Филиппа, и те ничего с меня не брали, считая за честь, что у меня такая редкая линия руки»... Ну их совсем...



«ГРУНЯ»



«КАНТАЛУПЫ»

Теперь дальше. Возьмем горничную. Ведь вот вся ее судьба в твоих руках. Барыня-стерва. Барин ухаживает. Студент только поигрался, да и за щеку. Штабной кавалер обещался замуж взять, да ведь обманет, подлец?

Пожилая женщина любого сословия раскусывается, как орех. Она всегда или теща, или свекровь, или престарелая любовница, на дочери которой неизбежно женится ее любовник. Ври ей, сколько хочешь, про коварного мужчину. Она будет только поддакивать. «Так вы говорите — подлец он?» — «Нет, сударыня. Я не смею так выразиться определенно, но карты говорят, что человек он из-под темной планеты». Тут она в слезы! «Ах, как вы это тонко угадали!»

— Извините, я не надоел вам своей болтовней?

— Нет, отчего же? Кстати, не знаете ли, который теперь час?

Он открыл часы и осветил их огнем папироски:

— Без четверти одиннадцать... Вы сами видите, что хлеб наш очень нелегкий. Однако кормились мы им понемножку. Все-таки, худо-худо, пятерка набежит за день.

Но бывали и тяжелые положения. Мертвый, избитый город. До тебя побывало пятьдесят человек. Ничего не поделаешь. Заколодило. Полиция свирепа. Публика не хочет идти... Приходилось и стрелять на улице — благо язык хорошо подвешен... На бывшего чиновника, на политического студента, на сельского учителя... Грехи!.. А тут еще зубами ляскают свои, городские специалисты... Прошенья писал по трактирам. Но и там есть свои юрисконсульты, очень ревнивые люди. Чуть пронюхали — мордобой, и всегда у него свидетели и заступники. Стало быть, зализывай свои раны и езди в другой город зайцем, не то пешком.

В этих жестоких случаях, бывало, уговоришь какую-нибудь заблудящую бабенку на говорящую голову и на опыты магнетизма и ясновидения. Это вам, конечно, самому известно, как делается: лежит она, облокотившись локтем на острие, подперевши ладонью щечку, а все остальное тело без никакой подпорки распростирается горизонтально. Пустяшный нумер. Ну, там иголкой колоть по системе доктора Шарко — это

ерунда. Двойная иголка. Внутрь уходит. Но, главное, здесь переход к ясновидению. Угадывать, что за предмет у зрителя: часы, брелок, афиша, портмоне, сколько денег, какие деньги, бинокль, веер, перчатки и тому подобное. Вообще больше тридцати — сорока предметов редко бывает у публики. Итак: шесть прямо, шесть вниз, шестью шесть — тридцать шесть. Всего тридцать шесть условленных предметов. Вроде разговора по тюремной системе. И, представьте себе, никак ей, дуре, не втемяшить. Еще, что попроще, пожалуй, заучит как попугай. Наводящие слова: «Теперь что?», «А теперь?», «Какой предмет?», «Это что?», «Что я держу в руке?» и тому подобное. А уж что-нибудь особенное, например, старинная платиновая монета, то тут начинаешь метаться, как тигр в клетке, ерошишь волосы, потеешь, рычишь, дрожишь и выбрасываешь из себя разные слова. Ну, скажем, например, платина... Бросаю отрывисто, точно в припадке: «Подождите... Ловите мою мысль... А, как трудно... Теперь вы меня поймете?.. Итак, я вам внушаю... Ну, я вам приказываю!..» И дальше со вздохом: «А впрочем, я не ручаюсь...» Словом, простой акростих в именинных стишках. А она, конечно, стоеросовая дубина, только рот разинет и оконфузит тебя перед публикой: «Пташка!» Подумаешь, тоже пташка — в бабе без пятнадцати фунтов шесть пудов. А вы сами знаете, наша уездная публика какова: деньги назад и сейчас же предсказателя бить. Первое у них правило. Вот, уверяю вас честным, благородным словом: у меня места живого нет на теле.

У вас папиросочка потухла, не угодно ли свеженькую, домашнюю?

Перестали совсем падать с деревьев последние капли. Летняя ночь вдруг улыбнулась, точно капризница, которой надоело сердиться. И сладко, сладко запахли розовые свечки каштанов, запахли так, как они пахнут только после вечернего быстрого летнего дождя или на раннем рассвете, пока город не заглушил их тонкого аромата. Я и хотел уйти,— и не мог. Что-то бесконечно противное и близкое мне было в неожиданной исповеди этого человека. Я уже не ждал и не волновался. И лениво, как следующая, но неизбежная

глава надоевшего романа, тянулось продолжение рассказа.

— Вот так-то мне и попалась однажды моя супружница, или там как хотите понимайте. Всю эту ясновидящую механику она поняла гораздо быстрее, чем я. Да еще усовершенствовала. Доходили мы с ней до того, что даже в маленьких цирках, называемых «шапито», делали представление. Но все-таки после пятишести вечерних представлений наклеиваю афишки, что в номерах, мол, Когтяева от двух до пяти сеансы предсказания будущего с ясновидением настоящего и прошедшего. Если разрешат — прекрасно, а если нет — то в сто раз лучше. Понимаете — тайна! И сам боишься, и пациентам страх передается. Да и в самом деле, подумайте: пришла кухаренция, я в ее присутствии усыпляю Августу (ее звали Августой), и — трах-тарарах — сразу известно, где она купила ботинки, и как зовут ее хозяина, и сколько ей по-настоящему лет, и сколько детей, и из какой она губернии и уезда, и сколько процентов получает в лавке (десять). Это кухарка все мне на ухо говорит в другой комнате, а я Августе передаю гипнозом.

Гипноз! — вдруг воскликнул он, сгорбившись, и долго хохотал и кашлял. Потом выбросил изо рта папироску, выпрямился и продолжал: — Большие мы с ней дела делали. Я ведь, ей-богу, и до сих пор не знаю, из каких она. Образованная, к иностранным языкам была способна: французский, немецкий, польский, английский. Но вот, черт побери, какая-то непонятная есть у нее страсть к военным. И не то чтобы к офицерам и генералам, а непременно к простым артиллеристам-солдатам, к фейерверкерам, бомбардирам и наводчикам. Я думаю, что это даже такая особая болезнь... Как вы думаете?

— Право, я не знаю. Может быть, и так.

— Словом сказать, всегда, среди самых спокойных дел, она вдруг исчезает и непременно кассу умыкнет, и нет от нее ни следа, ни гласа, ни послушания. И как назло налаживаются комбинации самые золотые. Но что поделаешь? Я уже без нее и врать не могу. Воображения не хватает. Привык... Разыскиваю ее — не найду. И нет и нет работы. Положение в городе

становится совсем бамбуковое. Публика больше не ходит. Приезжает какой-нибудь паршивый неожиданный конкурент, и приходится ночью оставить чемоданы в гостинице, сунуть паспорт в боковой карман и бежать в первый попавшийся город.

Сначала все трепетал, что она меня не сумеет разыскать, писал в брошенную гостиницу свои адреса на открытках. Нет-таки. Точно чутьем каким собачьим разыщет, приедет — и опять весь город в наших руках. Сыпятся бешеные деньги. Выкупаю чемоданы, фрак, ордена Гонолулского принца, ем ежедневно бифштекс и запиваю английским портером. Приходит она ко мне, жалкая, излинявшая, часто подбитая, нетрезвая, но, увы, живучая, как кошка, быстро поправляется и входит в тон, и работает, ну просто как ангел. И так из города в город.

Провал и успех. Декокт и Валтасарово пиршество. Восторги публики и, не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывши пол-лица, марш по шпалам.

А тут как раз время подоспело удивительно горячее. Точно все люди сделались сумасшедшими. Прежде приезжаешь в город, как тать в нощи, не знаешь, кого куда поцеловать, чтобы разрешили. Случалось, ни с того ни с сего какой-нибудь чин вдруг покраснеет, да затопает на тебя ногами, да так зыкнет, что только едва-едва пролепечешь про себя молитву «Помяни, господи, царя Давида» и, как кузнечик, сиганешь в другой город.

И вот ни с того ни с сего, точно по мановению волшебного жезла, приезжаешь в какой-нибудь город, даже в губернский, и видишь, что перед тобой все лебезят. И становой, и ротмистр, иногда и сам полицмейстер, и городской голова, и уже непременно предводитель дворянства. Ну, положим, предводители все моты, страдают одышкой, раскладывают пасьянс, и жены бьют их туфлей по голове. Это уж как всегда. Дворяне.

Стоит мне только прийти и объявиться, позвольте мне, мол, афишки повесить, и тотчас забота необычайная: «Позвольте, да мы... да вы.... да, может быть, вам в этой гостинице неудобно?.. Да, может, прислуга неучтива?.. Да вы не беспокойтесь!..» Совсем как в

бессмертной комедии господина Гоголя. Или как по-польски: «Може а? може цо? може вòды? може сядать?»

Я ничего не понимаю! Удивительное какое-то пошло время. Готовлюсь к завтрашнему сеансу: в цирке, в кинематографе, в семейных домах — не все ли равно? На всякий случай расспрашиваю у швейцара, у коридорного, у буфетчика о местных жителях. Они рассказывают охотно. Ведь все люди суеверны, а эти эфиопы видят во мне существо особенное. А уж, что все люди сплетники — это абсолютная аксиома. Подумайте только: ведь я Гад! И уже я успел наврать им столько лестного и страшного, что они ходят как очумелые. И только издали глазами умоляют, такими влажными, собачьими глазами: «Милый, погадай еще разочек». Но нет. Мой принцип такой: в гостиницах служащим я гадаю бесплатно, но только один раз; пускай, мерзавцы, будут навсегда заинтригованы. Понимаете, окружаю себя этаким дымным облаком таинственности, но на чай даю хорошо.

И вот, ровно в два часа пополудни сижу я, полирую ногти и обдумываю, какой бы мне новый трюк запустить. Вы сами понимаете, что каждое искусство нуждается в разнообразии.

— Почему вы знаете, что я это знаю? — спросил я резко.

— Вот видите ли,— мягко возразил он,— ежели бы вы не задали мне этого вопроса, я не был бы уверен... А теперь я наверно скажу, что вы человек... какого-то...— он два раза щелкнул пальцами,— какого-то... искусства... Широкополая шляпа, белый галстук, повязанный бабочкой, цветок в петличке, небрежная манера сидеть, уменье слушать... Для профессора вы молоды. Я бы сказал, что вы или писатель, или...

— Это неважно,— перебил я моего удивительного собеседника.— Ну, полировали ногти... разнообразие... дальше?

— Да. И вдруг бомбою влетает ко мне коридорный лакей: «Так что к вам сама генеральша, спрашивает вас!» Я вижу, что он трясется, и сейчас же его одной рукой за карчик, другой — пять рублей в зубы. «Что? Как? С кем? Когда? Сколько? Кому? Где? Дети?

Слабости?» Он — как горохом сыплет. И вот сеанс. Густая вуаль. Духи самые лучшие. Мускус, амбра и крем деваниль... Сорок три, сорок пять, крайнее — пятьдесят лет... Я расшаркиваюсь: «Извините, графиня, я одет не так, как следует». И поднимаю воротник сюртука, как кибитку. «Прошу сесть! Чем могу служить?»

— Вы меня, конечно, не знаете.

— Не знаю, ваше превосходительство. Но если я сообщу мои магнитные токи с вашими токами и с токами земного меридиана, при помощи напряжения воли и окрутения себя магическим цилиндром по системе иогов, то буду непременно знать ваше настоящее, прошедшее и будущее.

— Но почему же вы узнали, что я генеральша?

— Извините,— может, я ошибся. Я сказал случайно, как сказалось.

— Ах, нет. Вы какой-то странный. Я чувствую, что начинаю вибрировать в вашем присутствии, я надеюсь, что все, о чем я вас спрошу, останется между нами тайной?

— О, несомненно, мадам! Тайной более сокровенной, чем врачебная и адвокатская.

— В таком случае я вам верю. Расскажите мне все, все, все.... И, прошу вас, телепатируйте, телепатируйте.

— Простите, сударыня. Я не могу войти в транс без моего медиума.

Зову Августу. По обычной системе «тридцать шесть» угадываю все предметы, которые на генеральше находятся, и даже метку на ее носовом платке, через запертую сафьяновую сумочку. Августа превосходит самое себя. Минутами мне самому кажется, что вот-вот Августа умрет от нервного потрясения или погрузится в вечный летаргический сон. Все гнусные сплетни, всю грязь воображения маленького захолустного губернского города я превращаю в воздушное пирожное. Губернаторша сама идет мне навстречу вздохами, охами, намеками. Черт побери! Если человек жаждет быть обманутым... В конце концов блондин, товарищ прокурора, хочет хлопотать о переводе, но сила любви все превозможет, и он останется у ног пышной красавицы, соблазнительной брю-

нетки. Затем несколько пассов. Августа погружается в глубокий, спокойный сон. Графиня встает вся мокрая от слез, дряблая, трясущаяся, и руки у нее прыгают, когда она сует мне сторублевую бумажку и бормочет:

— Но вы удивительный!.. Поразительный!.. Прошу вас, скажите откровенно, если мало. Я бы вас очень просила сделать несколько ваших прекрасных опытов у меня дома. Обещаю вам, что будет только свое интимное общество... У нас есть свой маленький избранный кружок спиритов.

Ну, вы, конечно, понимаете, что я на следующий день в городе persona gratissima [1]. Вся знать, полузнать, а за ними и всякая сволочь стоит вереницей от моего номера вниз по лестнице и до самого подъезда. Заискивают у швейцара и суют ему в руки трехрублевки, чтобы замолвить о них словечко. Тот входит в роль, но я ему не препятствую. Я знаю, что ночью он придет ко мне и униженно попросит погадать ему. Я ему погадаю и об его больной печени, и об отекших ногах, и о беспутном любимом сыне-бильярдисте, и о том, что он думает взять в аренду какое-то большое дело, и пускай смело берет,— не раскается. Он уйдет от меня обласканный, счастливый да вдобавок сообщит мне с три короба сведений о моих дальнейших пациентах.

Ах, черт возьми! Как и откуда пришло это неожиданное время? Ей-богу, я до сих пор понять не могу. Но, верите ли, мне предлагали ужасные вещи: лечить прикосновением параличных и исцелять идиотов, заговаривать сифилитическую экзему, чуть ли не воскрешать умерших. Откуда это взялось? Прямо, точно внезапный ветер какой-то... Ну вот, как в Новороссийске... ни с того ни с сего свалится откуда-то бора... такой ветер... и перевернет к чертовой матери телеграфные столбы, груженые вагоны, деревья, каменные заборы... Честное слово, ничего не понимаю. Да вот, далеко ли ходить за примером? Был у меня товарищ, так, дурак, болтун, пьяница, нахал. Главное удовольствие у него было либо спать, либо пить до чертиков, либо бить кого попало на улице. А карьера его

---

[1] Самое значительное лицо (*итал.*).

очень простая. Сначала банщик, потом уличный кот, потом вышибала, потом певчий. Слуху у него никакого не было. Но, правда, рявкал, как лев. И вот, представьте себе, правит, как сатрап, всей Какуевской губернией. Возьмет, мерзавец, на самом пышном банкете, в присутствии всех чиновников и разодетых дам, возьмет вымоет свои грязные волосатые руки в чашке и скажет: «Вы, кобели, и вы, девки, пейте сию воду, потому что смирение выше всего». И что вы думаете? Пьют! Одного станового в двадцать четыре часа раскассировал и выслал из губернии. За что? Недостаточно внимательно отдал честь. Видал миндал?

Я на эти вещи не рисковал. Я человек хоть негодный, но все же настоящий христианин, верующий. Я просто только чувствовал, что пахнет жареным. Я скромно думал: «Зачем заноситься? Возвеличишься, ан глянь, тебя и по шапке. И не вспомнишь, как тебя Сенькой звали». Думал я, скопить бы этак тысяч десять — двенадцать и открыть бы в каком-нибудь городишке свой собственный кинематограф. Дело верное, питательное и никому не обидное. Кто умеет.

И только, бывало, это самое задумаю про кинематограф, и все у меня выходит ладно и чинно... Вдруг трах! На сцену является артиллерист. Впрочем, иногда и сапер, но все-таки чаще артиллерист. И все пошло к черту. Нет ни кассы, ни усыпляющейся женщины, и опять строй здание на песце.

— Нашли бы другую,— вяло посоветовал я.

— Ах, вы этого не поймете... Привычная работа... А впрочем... Постойте...

Он вдруг выпрямился, точно его кольнули шилом, и крепко обхватил мою руку длинной, узкой, цепкой холодной рукой.

Мимо нас проходили двое — в темноте было трудно разобрать. Высокая молодая и, судя по походке, полная женщина и рядом, выше ее на полголовы, стройный мужчина, позвякивавший на каждом шагу шпорами. Мы помолчали, пока их силуэты не поглотились темнотой ночи.

— Ну вот, так я и знал,— сказал уныло мой случайный собеседник, поднимаясь со скамьи.— Так и знал. Ах, а что бы я мог сделать в этом городе! Я бы здесь

буквально катался как сыр... А впрочем... Извините за беспокойство, господин поэт,— может быть, я вам надоел... Прошу только одному верить: разблегустался я так в первый и, конечно, в последний раз в моей жизни...

Длинный, худой, он приподнял кверху свою шляпу-котелок, склонив при этом голову набок, и ушел медленными, беззвучными шагами. А через пять минут и я ушел из Царского сада, нанял извозчика до вокзала и поехал в Петербург.

Все это было в 1893 году, не то в июне, не то в июле...

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

— Ну, теперь, господа, как хотите, а я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает — этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкие или слабые — это все равно.

Исподтишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого складного русского парня. Белоресницый. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая претвориться в самый неожиданный сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов, при реве огромной толпы, въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь. И странен был вид легендарного тирана. Маленький сухонький старичок, с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным, изжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, снедаемый сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолюб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощущал темный ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойствен-

ным ему простодушным цинизмом и едким краткословием: «Имена же их ты, господи, веси».

«Каким чудом,— думал я,— может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения. И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него, и мне кажется, что он говорит почти механически, он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями и до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет рампы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей — то обожаемое и презираемое, милостивое и щедрое тысячеглавое животное, которому имя — публика.

И как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно-тяжелого подвига?

Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад и вперед по комнате, потирал руки и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя: «Вот так Пушкин, вот молодец!»

Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala в Милане. Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная история его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной, выпрошенной папиросе, глаза его блестят юношеским задором, и опять перед нами новый человек. Ему двадцать пять лет, он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный и проказливый, бродит он, подобно всем талантливым мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины, все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя.

— Попал я тогда в один приволжский городишко. В хор. Понятно, в хоре не разойдешься. Да еще имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном,

рамкой или, скажем, основой ковра, на котором вышивает узоры сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано?

А петь мне хотелось ужас как! До боли! Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику и все думаю: нет, это не то, я бы сделал это не так, а вот этак... Но много романсов и арий я все-таки разучивал... так... для себя... для собственного удовольствия.

Потихоньку разучивал от товарищей-хористов. Потому что это народ чрезвычайно добродушный и хорошие товарищи, но большие охальники. Задразнить и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище. Мистификаторы. Да и то сказать. Нелегкая их жизнь. Бедность... неудачливая карьера... а тут же рядом чей-нибудь громадный успех и часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль — почему же не мне эти лавры? Где справедливость? Вот почему я и побаивался своих товарищей.

А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат, богатый человек, страстный любитель музыки. Старик. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стесняло меня это немножко.

И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы в коридоре и идем вместе. Он меня вдруг спрашивает: «Послушайте, дорогой мой, а отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта? Ведь, наверно, у вас есть что-нибудь готовое, любимое?» Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня, помню, тогда екало, как никогда в жизни.

«Да вот чего же лучше? — говорит он мне.— Через две недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу. Фрака нет? Это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти... Но ничего... Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробеете ли?» — «Оро-

бею,— говорю.— Знаю себя: голос сядет... Да на эстраде не знаешь, куда и руки девать... Боюсь, Сергей Васильевич, пустое мы затеваем... Я-то провалюсь, это ничего... Я вытерплю, а вот вам за меня стыдно будет... Как вы думаете?» — «Ладно,— отвечает,— мой риск, мой ответ. С богом! В холодную реку лезть надо не понемногу, а так... бух каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств. Но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом гоголь-моголь».

С этим мы расстались. Я шел домой и думал: «Гоголь-моголь... хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная и из чего она делается?»

Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуюсь. Наконец решился зайти к товарищу, к Цепетовичу. Это был мрачный бас, тихий пьяница, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта.

Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало: и др. Но, понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами.

И вот пришел я к Цепетовичу и сказал: «Да, брат. Видишь, тебя на концерты, небось, не приглашают, а меня пригласили... в самое дворянское собрание».— «Ну, так что ж? — ответил он спокойно и показал рукой на стол.— Это водка. Это котлеты. Это яблоки. Подкрепись, концертант... Дальше?» — «Во фраке я буду. И с нотами в руках».— «Ну?» — «Не нукай. Не запряг. А когда ты добьешься такой чести? Так в хоре и сгниешь... Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать». —«Ну, так что ж?» — «Вот и то-то ж».—«Гоголь-моголь? Это вещь серьезная и не дешевая».—«Понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе...»

И вдруг этот спокойный человек рассердился: «Я не понимаю? Дурак! Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца. И все. И вообще, пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом» (у него была привычка выражаться в высоком стиле).

Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак... Гоголь-моголь... Яйца... Лимон... Сахар... Коньяк... Черт возьми, как бы не спутаться...

У меня в то время были завалящие три рубля, о которых я как будто забыл, сам перед собою притворялся, берег на крайний случай. Купил я полбутылки коньяку за девяносто копеек. Два лимона, фунт сахару. Пяток крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил.

Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда, с непривычки, был хмелен, что греха таить? И сказал сам себе: что будет, то будет.

Взбираюсь по лестнице. Мраморные ступени. Красная дорожка. Светло. Пахнет духами. Тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху: «Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно! Зачем?» И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной, фрачной одежде, с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я?

Как я дождался своего выхода — не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнешенька. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мелькание, ропот...

Аккомпанировать мне должен был наш хормейстер. Очень строгий человек. А рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто бы позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу: «Держите: «Во Францию два гренадера...»

Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой был день и такой час.

Ах, боже мой, как я тогда пел. Если бы еще раз в жизни так спеть! Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости первые слова я почти прошептал:

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...

И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу.

Забыл я о публике. И вот подходит самый страшный момент:

Тут выйдет к тебе, император,
Навстречу твой верный солдат.

О великий император, бессмертная легенда! Да, да. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное, каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя.

У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек... Да, встала!

Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня с записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажны и холодные. Голова горит. В горле сухо. Как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне. Гляжу — Цепетович. «Ангел мой... дорогой... я никогда не смел думать, что ты... Что ты так талантлив... Прости меня... Какой у тебя путь впереди!»

Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно... Но он, т о л ь к о о н толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.

ПАПАША

(Небылица)

Два древних старца, подобные двум вековым дубам, были несменяемы в министерстве. Иным казалось, будто они существуют еще со времен Великия Елисавет на своих должностях. Это были—экзекутор и швейцар. Многое множество чиновничьих поколений нарождалось, мужало, расцветало и уходило перед их суровыми очами в безвестную даль. Вчерашние веселые мальчуганы, беззаботные шалопаи-лицеисты, становились сегодня государственными мужами, губернаторами, вице-губернаторами, а завтра делались министрами и членами Государственного совета.

Одни они двое оставались на своих местах, величавые, живые монументы прошлого.

И сколько десятков своих, своих собственных министров перевидали они: строгих, добрых, норовистых, послушных, женоненавистников и балетоманов, рыкающих, подобно библейским львам, и доводивших людей до столбняка вежливостью обращения; скоропалительных и тягучих либералов и консерваторов; и таких, которые резали всем правду-матку в глаза, где надо и когда не надо, и тех, которые вели свою политику волнообразными, извилистыми линиями, путем уклончивости, податливости и согласия, с хвостом, поднятым вверх для уловления ветра. И ко всем начальникам старики применялись и приспособлялись безропотно и спокойно, точно зная, что пройдут века, племена, народы и вожди, но они одни останутся непоколебимо и незыблемо.

Однако новый генерал даже и их многоопытные сердца привел в трепет и смущение. Это бы еще куда ни шло, что он принял всех своих подчиненных запросто и каждому подал руку, и каждого учтиво расспросил о том, сколько лет служит, как здоровье супруги, детишек и престарелой мамаши. Бывали раньше и такие архистратеги. Сравнительно понятно было и то, что во время приема он был одет в светло-серый костюм с темно-лиловым галстуком, а из верхнего бокового кармана высовывался кусок темно-лилового платка в тон галстука, а ботинки на нем были желтые, почти спортсменские, с двойной американской подошвой. Могли быть, пожалуй, и такие фолишенные[1] генералы.

Но уже первые фразы вступительного слова заставили старых боевых коней насторожить чуткие уши.

— Господа,— сказал генерал,— вы, вероятно, часто слышали избитую фразу: «Во-первых, дело, во-вторых, опять дело и, в-третьих, опять-таки дело». Но я вас попрошу об одном: как можно меньше дела и как можно меньше бумаг. Вы, конечно, не хуже меня понимаете, что восемь часов принудительного сиденья в запертых душных комнатах ничего не значат в сравнении с одним часом и даже получасом плодотворной, ничем не стесненной работы. Поэтому я предлагаю всем и каждому из моих сослуживцев самим себе назначить срок и время занятий. Это дело вашей совести, сознания гражданского долга и служебного соревнования. Ни отпусков, ни болезней я не буду разрешать. Пусть каждый сам болеет, когда хочет, и уезжает, куда хочет. Моя система — полное доверие. Что же касается до бумаг, то мы постараемся свести их количество,— как входящих, так и исходящих,— до минимума, причем идеалом в этом отношении у нас будет всегда круглый абсолютный нуль. Этого мы достигнем тем, что двери моего официального кабинета в министерстве, так же как и двери частного кабинета на Каменноостровском, всегда, во всякое время дня и ночи, открыты для вас, господа! Словесные распоряжения действуют гораздо скорее и вернее всяких бумаг. Но и помимо службы прошу во всех ваших делах, общественных и личных, важных и мелких,— прошу видеть во мне доброго стар-

---

[1] Безумные (от *франц.* folie).

шего товарища, и если хотите,— тут голос генерала задрожал,— если хотите, отца...

— Я кончил, господа. Теперь, если кто хочет курить,— пожалуйста...— И раскрыв щегольской серебряный портсигар филигранной венецианской работы, он предложил своему делопроизводителю тонкую душистую папиросу.

Кажется, в тот же самый день, вслед за этой исторической речью, чей-то бойкий язык окрестил эпического генерала именем «папаши». Это прозвище чрезвычайно быстро прилипло и вошло в оборот. Вошло до такой степени, что даже швейцар, почтенный Андрей Вонифатьевич, иногда, говоря заочно о начальнике, срывался и вместо «их превосходительство» говорил «папаша» или даже «наш папаша».

Оттого ли, что политика доверия на первых порах пленила и очаровала сухие чиновничьи сердца, или оттого, что здесь предоставлялось широкое поле для проказливости, для отдыха от прежней монотонной лямки, но на первых порах ведомство проявило изумительную, блестящую, кипучую деятельность. Даже высшие власти обратили сверху свое благосклонное внимание и выразили приятное удивление. Казалось, настали времена поистине утопические.

Экзекутор и швейцар вперяли задумчивые взоры в прошедшее, ничего не понимали, нюхали табак и изредка неодобрительно покачивали седыми головами. Но мнениями своими не делились ни с кем.

Чиновники сначала робели. «Ласков, ласков,— думали они,— а вдруг укусит?» Но понемножку осмелели и развязались. Через месяц генерал стал уже крестным и посаженым отцом по крайней мере у четырех сотен своих подданных. У некоторых чиновников по два, по три раза умирали жены или сгорало имущество, на что, как известно, требуется пособие. На службу стали ходить с удовольствием, как на забавный водевиль. Желторотые губернские секретари и коллежские регистраторы толпой набивались в генеральский кабинет, разваливались в глубоких креслах и на мягких кожаных диванах, курили генеральские папиросы, а некоторые, поотчаяннее, садились боком на огромный, как бильярд, стол, обитый красным сукном; сплетничали, рассказывали смешные анекдоты.

Наконец в один светлый осенний день, когда обычно мрачный кабинет весь был залит потоками солнца, молодой чиновник Перфундьин сказал, как будто нечаянно, слово «папаша». Сделал вид, что страшно сконфузился (потом из него вышел очень недурной актер), и даже покраснел.

— Ваше превосходительство, видит бог... честное слово...— залепетал Перфундьин.— Это мы так... иногда... по молодости, по глупости... Так иногда, между собою... Потому что действительно вы нам... вроде родного отца...

Генеральское лицо озарилось нежной, прекрасной, отеческой улыбкой.

— Ах, родной мой... Что вы... Что вы... Успокойтесь, пожалуйста... Ведь это же... Господа... В конце концов ведь это только лестно для меня... Значит... Значит... Значит, я не ошибся, господа, когда искал дорогу к вашим сердцам, а не к рассудкам? Благодарю вас, милый Перфундьин, и позвольте пожать вашу руку.

А так как Перфундьин устремился было облобызать генеральскую десницу, то оба они крепко, по-дружески обнялись и поцеловались.

С тех пор и пошло: папаша да папаша. Но престиж власти упал навсегда. И даже Андрей Вонифатьевич, во время разъезда, подавал пальто первому не генералу, а делопроизводителю, когда они одевались вместе.

Перед пасхой генерал заболел и около недели не являлся в министерство. Рассказывали, что он собственноручно устанавливал на полочку мраморный бюст Монтескье, но, по неловкости, не удержался на стремянке и свалился, причем тяжелый бюст всей своей тяжестью обрушился на папашину голову. Все в министерстве искренно сочувствовали генералу и серьезно волновались по поводу его здоровья. Но когда, после болезни, он вошел в грандиозный вестибюль исторического здания, в котором уже много сотен лет решались судьбы пятой части земного шара, то произошло нечто неслыханное, несказанное и неописуемое. Голосом, которому мог бы позавидовать любой командир кавалерийской дивизии или московский брандмайор, рявкнул генерал на почтенного мордастого, убеленного сединами, с иконостасом на груди швейцара Андрея Вонифатьевича:

— Ты как, подлец, снимаешь пальто? Каблуки вместе! Заелся на сытых хлебах? Вон отсюда. В двадцать

четыре часа... В четыре часа... В полминуты... Вон!.. С волчьим паспортом... В арестантские роты каналью закатаю!..

Когда на страшный раскат генеральского голоса скатились с лестницы горошком вице-директоры, начальники, столоначальники, делопроизводители, и все секретари, и все большие и маленькие чиновники, тогда генеральский гнев окончательно прорвался и хлынул, точно задержанная и мгновенно прорвавшая преграду Ниагара.

— Бездельники!—кричал он, вращая кровавыми глазами, сжимая кулаки и топая ногой.— Точно школьники! Стоит от вас отвернуться,— и никто ничего не делает. Затылком к делу сидите!

— Господин делопроизводитель, мы с вами вместе не можем служить. Либо вы — либо я. Вы дошли до такой фамильярности, которая немыслима и недопустима! Нет, нет!.. Никаких разговоров!.. Позвать сюда чиновника Перфундьина. Ага! Это ты, тот самый, который?.. Это ты осмелился называть заочно своего начальника папашей? Вон!.. И без аттестата!.. И вообще вон из Петербурга... Я тебе такого папашу покажу... По третьему пункту!

— Экзекутора сюда! Почему беспорядок? Где ремонтные суммы? Где отчетность по уборке снега? Я вас, сударь, ввиду вашей многочисленной семьи не отдаю под суд, а предлагаю вам выйти в отставку, не позже, чем через месяц. Экономите на бумаге? На чернилах? Старый растратчик!

— Что-с? Безззз воз-ра-же-ний!..

— Дать мне журналиста! Сколько входящих и исходящих? Ну, живо! На память! Если я тебя разбужу, спросонья должен сказать! Ага!.. Только восемь—десять тысяч. А в других министерствах десятки миллионов? Господа, ставлю всем вам на вид, объявляю замечание, делаю строгий выговор! Ведомство ленится. Нет движения бумагам! Затор!.. Я вам такой покажу затор!..

Все эти слова он выкрикивал, вздымаясь по лестнице и несясь, подобно опустошающему циклону, вдоль канцелярских помещений. И по дороге перед ним склонялись бледные, трепещущие, недоуменные рабы. И с последним словом «затор!» — он скрылся в своем кабинете, точно Иегова в облаке...

Во второй раз ведомство изумило весь чиновный мир своей молниеносной деятельностью. Точно открылись шлюзы, и через них по всей земле русской пролились миллионы бумаг. Толстые, желтые, геморроидальные, задыхающиеся начальники отделений летали взад и вперед, как мальчики-комми [1] от «Мюр и Мерилиза». Спешно вызывались начальники уездов, получали стремительные внушения и мчались в свои области делать порядок или беспорядок, и дрожь, которую они испытывали в огромном кабинете, передавалась, как электрический ток, нервам обывателей. И — боже мой, что только не делалось в это время... Громы, молнии, ураган, извержение вулканов, Иродово избиение младенцев и Мамаево нашествие. Один сановник сострил по этому поводу в частном разговоре: «В противоположность господу богу, создавшему мир в шесть дней, ныне милейший Иван Григорьевич мог бы его разрушить в такой же срок».

Все это случилось в давно прошедшие, чуть ли не гоголевские времена. Но до сих пор экзекутор и швейцар, нюхая табачок, спорят о том, когда был папаша сумасшедшим: до бюста или после бюста великого знатока духа законов — Монтескье?

---

[1] Посыльные (от *франц.* commis).

ГОГА ВЕСЕЛОВ

Все это случилось в 1917 году. Только что окончилась кровопролитная мировая война, и народы, зализывая бесчисленные раны, с удивлением спрашивали сами себя:

— Зачем и какому богу были принесены эти миллионы людских жертв?

А многолетние липы Летнего сада, посаженные еще по повелению Петра Великого, сладко, медвяно благоухали неприметными скромными цветами. И по-прежнему, как во времена Пушкина, ходили взад и вперед по желтым дорожкам голоколенные будущие Евгении Онегины со своими monsieur l'Abbé и десятилетние Татьяны с своими гувернантками.

И освобожденные, как из гробов, из зимних деревянных футляров, улыбались страшными улыбками полуистлевшие боги и богини, посеревшие, безрукие, безносые, с ноздреватыми мраморными телами, источенные зубами времени, поросшие легким мхом, точно бронза патиной. Но издали, сквозь прозрачную, подвижную зелень деревьев, волнистые линии их торсов, бедер и ног, окаменевшие в жеманных, целомудренно-бесстыдных, милоусловных позах, говорили простодушно о золотой прелестной сказке человеческой юности.

В такие дни охотно дремлется; сидишь, ни о чем не думаешь, ни о чем не вспоминаешь, и мимо тебя, как в волшебном тумане, плывут деревья, люди, образы, звуки и запахи. И как-то странно, лениво и бесцельно обострено воображение. Эти едва ли передаваемые ощуще-

ния испытывают люди, сильно помятые жизнью, в возрасте так приблизительно после сорока пяти лет.

Вот уже который раз проходит мимо меня дама с лицом фаршированной щуки. Бледно-голубые глаза. Белые ресницы. Нос и зубастые челюсти угрожающе выдвинуты вперед. Иногда она присаживается на скамейку. Опять встает и нервно ходит взад и вперед, топчась почти на одном месте. Косит глаза на маленькие часики, прикрепленные у ней под подбородком. Опять садится. Щеки краснеют пятнами. И уже заранее я знаю, что *он не придет* сегодня.

Идет отставной генерал, основательно выкрашенный в черно-фиолетовую краску. Ноги у него подагрические, негнущиеся. Идет он только в силу инерции, и мне кажется, что, однажды разбежавшись, он никак не может остановиться, пока не уткнется животом в какое-нибудь неподвижное препятствие. Но он не торопится. В руках у него длинная плоская коробка, аккуратно завернутая в глянцевитую бумагу и перевязанная розовой лентой. Конечно, конфеты из хорошей кондитерской. «Кого ты поджидаешь, жгучий брюнет? Сколько ей лет? Не четырнадцать ли? И какое ты сделаешь лицо при встрече? И, должно быть, какая славная, чистенькая, уютная старушка твоя шестидесятилетняя жена».

Два деловитых, но сильно потертых франта. Это игроки малой биржи, от Доминика, из Empire или Café de Paris. Очевидно, оба вралишки. У них живой, стремительный разговор и страстная жестикуляция. И я почти угадываю, о чем они говорят: «Я вам могу предложить Ленские».— «Совсем наоборот, дорогой коллега, я ищу другое...»— «Не возьмете ли Павдинские?» — «Ах, нет, совсем не то. Нет ли у вас каких-нибудь планов или секретных бумаг?» — «Отчего же и не найтись. В настоящее время у меня нет, но есть верное место... Что же касается уплаты...»

А напротив меня, наискось, сидит человек в черной широкополой шляпе; путаная борода, длинные волосы, пенсне; темно-синяя косоворотка выглядывает из разреза жилета. Вот он оглянулся налево, направо, лениво зевнул, нахлобучил на лоб шляпу и аккуратно складывает на коленях прочитанную газету. Я лениво думаю о нем и твержу мысленно, плывя в волнах туманящей дре-

моты: «У него наружность демагога... Магога... Гога и Магога... Мога... Гога...»

И тотчас же падает на меня движущаяся тень. И я слышу над собою прекрасный, так называемый бархатный баритон:

— Однако довольно стыдно не узнавать знакомых. Неужели вы не узнаете меня?.. Ведь я Гога!.. Гога!..

Да, несомненно, это Гога Веселов. Это его лицо, фигура и осанка, все вместе — нечто промежуточное между Сирано де Бержераком и Оскаром Уайльдом. Бритое по-английски лицо и огромный устремленный вперед нос; преувеличенно холодная, отраженная во всех движениях невозмутимость и живые, разнообразные, актерские звуки голоса.

Я его давно знал. Встречался я с ним, правда, очень редко, еще в то время, когда он проедал и пропивал несколько наследств: дядино, мамино, папино, тетино, двоюродных бабушек,— наследств, в виде каменных домов с суточными номерами, трактиров, торговых бань, даже чуть ли не публичных заведений. Много рассказывали в городе, а иногда и в печати об его диковинных, чисто по-русски несуразных кутежах, в которых смешивались остроумие с жестокостью, грязь с изысканностью, издевательство с трогательными порывами.

Но как-то полоса удачи сразу прекратилась. И с чрезвычайной быстротой Гога покатился вниз с горы. В последний раз я видел его в Ницце, откуда он каждый вечер ездил в Монте-Карло. Администрация этого игорного учреждения в память прежних огромных проигрышей и в виде пренебрежительной признательности выдавала ему каждый день по одной золотой монете в двадцать франков. Но когда он проигрывал эту подачку, то с него не брали денег, а когда выигрывал,— ему не платили.

Изо всех видов человеческого падения самый гнусный — это образ впившегося, зарвавшегося игрока.

Гога удивительно быстро опустился и подряхлел. Играл в тайных притонах, где иногда расплачиваются за проигрыш ударом кулака или ножа в живот. Попрошайничал у русских путешественников с громкими фамилиями. Не прочь был иногда и сосводничать кому-нибудь шикарную кокотку. Очень выручало его знание двух иностранных языков: французского и немецкого. Француз-

ский он изучил в Париже, когда заболел скверною болезнью и лечился у Фурнье; немецкий — в Ахене, где проходил дополнительный курс, принимая серные ванны.

И вот я вижу совсем нового Гогу. Прямо точно он сейчас родился на божий свет вместе с этой весной и с этой шикарной одеждой. Цветущее лицо. Великолепное английское пальто балахоном, без швов назади. Палка черного дерева, вся испещренная золотыми инициалами. Тонкие замшевые перчатки цвета голубиного горла. Чудесное белье и в петлице смокинга бутоньерка с пучком ландышей.

— Cher maître[1], не пойдем ли мы позавтракать?.. Regardez[2], черт возьми, mon ami[3], какая хорошенькая блондинка!.. Волосы цвета спелой соломы, а глаза синие, точно васильки... Или полька, или литвинка, и, должно быть, у нее красивое имя. Ванда или Иоася... А впрочем, пустяки... Если хотите, поедем куда-нибудь в кабачок?.. К Кюба, к Донону или в «Медведь»... Или, впрочем, вы, может быть, не побрезгуете позавтракать у меня?.. Повар, правда, у меня ниже отличного, учился, к сожалению, не у французов, а у Козлова или, кажется, у Зеста. Но вина в моем погребе совсем недурны. Такой шамбертен, который я вам предложу, не подают даже при дворе... Мой погреб — это маленькая коллекция...

В те времена, когда звезда Гоги Веселова стояла в зените, я избегал его общества. Но теперь уверенный и спокойный тон его голоса, трезвый и здоровый вид, вежливые манеры заставили меня заинтересоваться.

И вот я начал переходить от изумления к изумлению.

При выходе из Летнего сада на набережную Мойки, у Цепного моста, дожидался Гогу лихач... Так я сначала подумал, когда его окликнул Гога. Наваченный зад в складках, шелковый картуз, огромная борода... Но сейчас же по виду прекрасной рыжей кобылы, по способу кучера держать вожжи и по щегольскому виду новенькой пролетки с изящным низким ходом на резиновых шинах я понял, что упряжка собственная.

---

[1] Дорогой учитель *(франц.)*.
[2] Посмотрите *(франц.)*.
[3] Мой друг *(франц.)*.

Итак, мы проехали на Каменноостровский проспект и остановились у старинных чугунных узорчатых ворот. Внутри двора, отделенного от улицы маленьким искусственным парком с фонтаном и цветником, стоял красивый каменный особняк с цельными зеркальными окнами, с массивными дубовыми дверями, без обычной медной дощечки.

— Ты, Степан, сейчас заедешь и скажешь мистеру Джексону,—приказал Гога,—что в воскресенье будет бежать «Марамошка», а «Генерала Эч» пускай снимут с программы. Ты понял?

И он очень предупредительно помог мне слезть с экипажа.

Повар русской науки был выше всяких похвал. Но еще больше меня поразила сервировка стола. Красный богемский хрусталь с вырезанными в каждой грани цветочками, фарфор старинной фабрики А. Попова, блестящее столовое белье, серебро, цветы в высоких тонких вазах... и все это играет в ярких солнечных лучах. Очень миловидная женщина в кружевном передничке прислуживала нам,— неторопливая, скромная, лет тридцати — тридцати трех, полногрудая, румяная, черноволосая, красногубая, сладкоглазая, с очаровательным смешком и с ямочками на каждом пухлом пальчике, в простом, но милом черном платье, из выреза которого красиво поднималась сдобная белая шея. Когда мы перешли к кофе и джинджеру, она тоже присела за стол.

И разнеженный Гога любовно прихлебывал крошечными глотками пряный ликер, нюхал букетик фиалок, вынутый из вазочки, и с наслаждением говорил о своем особнячке, о своих трех лошадях — упряжной и двух беговых, о газетных сплетнях, о новом кафешантане и о шикарном клубе, куда он недавно избран.

Чем дальше, тем больше Гога для меня становился загадочным. Как произошло это изумительное, невероятное превращение? Не сорвал ли Гога банк в Монте-Карло, чудом уплатив свои прежние позорные займы? Не состоит ли он, вежливо выражаясь, другом какого-нибудь чудовища, забытой временем Мессалины? Не получил ли нового колоссального наследства?.. Ничего не понимая, я не смог удержать любопытства и спросил:

— Гога, что же, наконец, значит эта жизнь из сказки Шехеразады?

Мне показалось, что он на минуту смутился и даже будто его орлиный нос слегка побледнел от неожиданного вопроса. По крайней мере я ясно видел, как дрогнули у него веки и опустились вниз; но он овладел собой.

— Ах, в том-то и дело, mon cher ami[1], что я сам этого не знаю. И когда я увидел вас сегодня в Летнем саду, меня потянуло просто исповедаться перед близким другом, перед братом. Липочка, прикажи дать нам еще кофе... Да не старайся особенно спешить... «Друг мой! Брат мой...— задекламировал он, когда женщина вышла легкой, ловкой походкой... и я не мог понять: говорит ли он искренно, или ломается,— усталый, страдающий брат, кто б ты ни был...»

— Сентиментальность в сторону,— сказал я.

Но опять мне показалось, что Гогины глаза блеснули слезами.

— Ах, боже мой, кто же меня выслушает? Вы думаете, это было мне легко сначала?.. Но вы сами помните, как меня гнала судьба! И вот, в те дни, когда мелькала у меня мысль о самоубийстве, вдруг попадается мне случайно газетное объявление: требуются образованные молодые люди в возрасте от тридцати до сорока лет для важной и секретной работы в бюро... это, положим, хотя и не государственная, а частная, но все-таки тайна. Да притом и в объявлении оно названо не было... это я сейчас приплел... Ну, скажем, в бюро ознакомления с общественным настроением. Необходимы хорошие манеры и свободное знание хотя бы двух иностранных языков: французского и немецкого.

Уверяю вас, мой обожаемый, что я пошел туда вовсе не из обычной моей проказливости, а именно под пятой жестокой бедности. Думал, что, конечно, меня через два дня выгонят. Но оказалось, что я сразу понравился. И вот, ей-богу,—тут у Гоги глаза совсем уже явно наполнились слезами и нос мгновенно покраснел,— ей-богу, когда мне дали вскрыть первое письмо, я, старый разбойник с душою крокодила и совестью глиняного истука-

---

[1] Мой дорогой друг *(франц.)*.

на, я почувствовал, что краснею не только лицом, но и грудью и спиною. Должно быть, ведь и палачу не особенно ловко впервые терять свою невинность... Но верно говорит старая русская поговорка: «Первую песенку зардевшись поем», а потом и пошло. Пятое, десятое, сотое письмо... И я уже стал думать, что так и нужно. Как будто бы я родился на свет божий с этой милой специальностью. Да и притом рассудок — чрезвычайно гибкий утешитель: «Не я — так другие сделают». А потом пошло и еще легче. Пока не вошло не только в привычку, но даже и во вкус. Я ведь всегда был спортсменом по всем отраслям, а в молодые годы не находил себе равного по разрешению ребусов, шарад и головоломок. Начальство стало удивляться моей прозорливости. Иногда из-за какой-то неуловимой странности тона в самом простом, невинном девичьем письме я останавливал на нем пристальное внимание и открывал удивительнейшие вещи в чтении начальных букв каждой строки или в буквах, расположенных по диагонали, или в порядке слов, выписывая их через одно, через два, сверху и снизу. По запаху, по маленькой скоробленности или желтизне бумаги я знал, что надо прибегнуть к нагреванию или химическим реактивам, обращал внимание на фабричную марку, на характеры почерков и прочее. Выработал в себе со временем истинный профессиональный нюх, который, впрочем, был у меня, должно быть, и раньше, как дар свыше. Наконец из одного частного письма я выудил такое сведение о моем главном патроне, что тот только ахнул, когда я ему показал документ, и сейчас же повысил меня в должности с прибавкою пятидесяти рублей в месяц. Он-то и толкнул меня на путь позора и богатства. Он мой истинный, хотя и невольный сатана-искуситель! О боже мой, какой это соблазн—компрометантные письма... Муж в Сибири делает для банков огромные закупки пшеницы, ржи, муки, мяса... Жена в столице... Любовник на Кавказе, в Пятигорске. Разбит параличом и ездит в кресле-самокате. Так они себя там и называют — велосипедистами. А из ихней переписки я уже вижу, что из Сибири даме идут деньги и очень большие, а из дома и на Кавказ пересылаются тоже не малые. Так приблизительно в месяц фунтов около двухсот стерлингов. Конечно, я сначала стеснялся-стеснялся, а потом одно письмецо в этом

жанре взял и прижал под ноготь. И затем печатаю объявление в газетах, что вот, мол, «случайно найдены письма, адресованные на имя А. М. К. по адресу такому-то, оттуда-то. Хочу возвратить лично. От двух до четырех. Пассаж. Джентльмен с гвоздикой в петлице»... Женщина попалась, очевидно, умная и властная. Но как женщина — все-таки глупа. Жалуется в сыскное отделение. Что и требовалось доказать... В назначенное время узнает меня издали и показывает глазами на меня скромному господину в гороховом пальто. Я их всех знаю наперечет, как полосатых зебров, а если не знаю, так чувствую инстинктом. Он сейчас же подходит ко мне, а дама скрывается. Он мне говорит: «Не угодно ли вам следовать за мною?»—«Куда?» — «Видите ли, вам выгоднее не сопротивляться, я вас повезу в сыскное отделение. Мы с вами сядем на извозчика, как два порядочных человека, и никто из публики не догадается. А если вы задумаете упрямиться, то я просто посвищу городовых, и вас повезут насильно. И тогда я ни за что не ручаюсь». Я ему отвечаю: «Отчего же? С удовольствием. Только, знаете, я здесь поджидаю одну даму. Мне случайно попали в руки ее письма... Я служу в бюро справок и розысков. И письма эти настолько откровенного и неприличного содержания, что я по врожденной мне стыдливости должен был их сжечь... и сжег... нарушив этим до известной степени мой служебный долг. Об этом я только и хотел ей сказать... Подождемте минут десять — пятнадцать, а потом я весь к вашим услугам, мой молодой, пылкий, но неопытный друг... Вы можете обыскать меня в полиции, можете произвести самый тщательный обыск в моей квартире. Моя совесть чиста, как поцелуй младенца. Вы же за ваше рвение не по разуму турманом полетите с вашей полупочтенной службы, и желал бы я знать, куда вы пойдете дальше? А вот, кстати, и моя официальная карточка».

Ну, конечно, мой молодой друг расстегнул рот. Он такого шахматного хода не мог даже и подозревать. И оставляет меня в покое... И даже извиняется. А я его великодушно прощаю и даже угощаю папироской. Но если бы у меня эта штука и сорвалась,— все равно у меня ничего бы не нашли: при себе я ничего не ношу, а документы держу в третьем секретном месте.

Но на другой же день эта дама «А. М. К.» получает от меня письмо, написанное мною, моим почерком, с собственною подписью и целиком — имя, фамилия и адрес:

«Сударыня, случайно в мои руки попала честь ваша, вашего супруга и близкого вам субъекта. Как порядочный человек, я хотел ликвидировать компрометирующую тайну с глазу на глаз, между мной и вами, но вам угодно было в это тонкое и щекотливое дело замешать грязные руки сыскной полиции. Тем не менее я остаюсь джентльменом с ног до головы и до конца моей жизни. Письма уничтожены, но не уничтожены их последствия. Это не от меня зависит. Не угодно ли Вам будет приехать по означенному адресу, где я лично передам Вам то, что необходимо было передать вчера в Ваших интересах».

Конечно, если бы я так писал мужчине, то он пришел бы в любой оружейный или седельный магазин, купил бы там стек из гиппопотамовой кожи, разыскал бы меня и отхлестал, как последнего сукиного сына. Но женщина теряется. Приходит ко мне в определенный срок, плачет, дрожит, волнуется... Угрожает самоубийством на моих глазах. «Э, нет, матушка, не проведешь!..» — думаю я себе. Ведь я уже давно разузнал об ее положении и состоянии. Два дома в Петрограде и Москве, отель в Париже и вилла в Ницце, тысячи десятин земли на Волге, лесные и хлебные баржи... Черт! Образованная, почти светская женщина, но... что хотите? — все-таки купчиха... Кровь сказывается... Муж для закона, актер для симпатии и так далее... И говорю:

— Двадцать пять тысяч, сударыня...

— Ах, боже мой, такие огромные деньги!..

— Ваш тенор, мадам, обходится вам дороже за один месяц!..

Начинается торговля. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать четыре пятьсот и, наконец, двадцать пять...

Аккуратно, как честный человек, вручаю ей все четыре письма. Они у меня пронумерованы по порядку и даже числа указаны.

— Все? Все, подлец?!.

— Подождите, сударыня. Минутку внимания. Двадцать пять тысяч по вашему чеку я получу, конечно, сегодня или завтра. Вы немедленно же потрудитесь съездить

за чековой книжкой, если она не при вас. А за слово «подлец» через неделю вы мне приплатите еще двадцать пять тысяч. Потому что ваши документы я вам возвратил, но раньше с них сделал фотографические снимки — с них и с конвертов. Не угодно ли полюбоваться?

Выбрасываю ей из ящика письменного стола один за другим снимки. И на каждом восемь тонких тщательных фотографий: четыре письма и четыре конверта. Фотограф я превосходный.

Первый снимок она разрывает на мелкие части, от второго опять начинает плакать, третий... четвертый... пятый приводят ее в ярость, в исступление, в бешенство...

— Говори! Скорей, скорей, мерзавец!.. Сколько еще осталось!.. Говори!..

— Я уже сказал вам—пятьдесят тысяч... Ангел мой, уничтожьте хоть сто фотографий... но ведь негатив-то у меня, родная вы моя. Понимаете? Да и два письма вашего козлетона тоже у меня. Ну уж и выраженьица... Только актер может в любовном письме дойти до такого мандрильного бесстыдства... (Про теноришку, конечно, вру на всякий случай; его писем у меня нет.) Но за слово «мерзавец» будет ровным счетом семьдесят пять тысяч. Сударыня, не брыкайтесь. Ведь здесь нас только двое. И даже некому подать вам стакана воды или нашатырного спирту от обморока. Все равно вы в моих руках. И навсегда. Так уж лучше будьте моей постоянной дойной коровой. А за хорошее поведение я обещаю вам не тревожить ни этого почтенного мужчину, ни того красавца. Идет?..

... И раки бордолез, и форель в белом вине, и куриные котлеты с трюфелями á la marechale давно уже давили мне горло.

От дыма сигар я почти не видел Гогина лица, и порою он совсем исчезал из моих глаз, и тогда голос его бубнил, точно большая муха через перегородку из ваты. А он продолжал медленно, с расстановкой:

— С нее и пошло... Приобрел я опыт и хватку. А там мне удалось захватить две выгодные поставки. Заработал я процентов четыреста... Что же?.. Не я, так другие... Проживешь ты всю жизнь одною честностью и сдохнешь, как свинья под забором или в Обуховской больнице. И кому от этого польза? А другие живут и впивают в себя

все радости, все наслаждения, весь блеск и праздник жизни... А жизнь так очаровательно красива и так омерзительно коротка!..

А потом я под руководством одного из моих прежних клиентов сыграл несколько раз на бирже на понижение. Рисковал, правда, всем состоянием, накопленным таким тяжелым трудом, но... выиграл, вернее, мне дали выиграть. А теперь — баста. Не хочу быть невольником труда. Хочу музыки, хочу пения, хочу танцев, хочу вина, хочу женщин, хочу, хочу, хочу, хохочу... захочу...

Но тут внезапно голос Гоги совсем удалился и потух. И сам он раздвоился, ушел вдаль и расплылся в сигарном дыму... И самый дым вдруг позеленел, запестрел, задвигался. И когда я открыл глаза, то нашел себя все на той же скамейке в летнем саду. А сидевший против меня демагог только что успел сделать от своей скамейки три шага, и сложенная газета торчала у него из левого кармана. Ах, какое удивительное явление — сон. В две, три секунды перед тобою пробегут десятки лет, сотни событий, тысячи образов. И как живо, как непостижимо ярко!..

Но все-таки, слава богу, что это был только сон...

ИНТЕРВЬЮ

Двенадцать часов дня. Известный драматург Крапивин бегает взад и вперед по кабинету. Левой рукой он нервно крутит вихор над лбом, а правой делает жест, соответствующий тому месту в пьесе, которое ему никак не дается... Полы его старого татарского халата, зеленого в белую продольную полоску, развеваются по сторонам. На ходу Крапивин сквозь стиснутые зубы напыщенно декламирует:

— «Нет! Не проклятие, не жажда мести останутся в моем сердце, а холодное, вечное презрение... Ты разрушила...»

Горничная Паша показывается в дверях.

— Барин...

— «Ты осквернила тот идеал... Нет. Тот пьедестал, который...»

— Барин, там какой-то человек пришодши.

Крапивин останавливается и некоторое время смотрит на нее, точно спросонья, блуждающими глазами.

— Дура,—бросает он свирепо.—Если уж хочешь выражаться правильно, то надо говорить не пришодши, а пришодцы.

— Человек пришодцы.

— Никого не принимаю. Вон. Нет меня дома... Какой человек?

— Какой-то мужчина. Я ему докладывала...

— Вон. Я занят, заболел, умер...

— А они не слушают и лезут самосильно.

— Сорок раз тебе говорить, ворона псковская, что я принимаю только от... Что вам угодно, милостивый государь?

В комнату медленно вскользает очень молодой джентльмен. Смокинг, черный галстук, цветок ромашки в петлице, из бокового кармана торчит уголок фиолетового платка. Лицо бритое, с английским косым пробором. На губах очаровательная улыбка, в которой есть все: простосердечие, наивность, восхищение, застенчивость,— но также и одна искренняя тонкая черта — прирожденный лукавый комизм.

— Глубокочтимый... высокоталантливый... миллион извинений... Я сам знаю, как всем поклонникам вашего блестящего таланта дорога каждая минута вашего дивного, прелестного творчества...

— Да-с,— грубо прерывает его писатель.— И вы сами видите, что в настоящую минуту я занят, о чем вам только что сказала прислуга. И, наконец, кто вы такой, черт возьми?

Но гость не смущен. Голос его становится еще нежнее, произношение еще слаще, улыбка еще обаятельнее.

— Я сотрудник газеты «Сутки» — Бобкин... Вот моя карточка. Многочисленные читатели нашей газеты давно горят желанием узнать, над какой новой пьесой работает теперь ваше гениальное перо. Какие новые жгучие образы лежат в вашем неистощимом портфеле...

— Фу ты черт,— тяжело вздыхает Крапивин.— Ничего я не пишу. Никакие не образы. Отвяжитесь вы от меня, Христа ради, господин Трепкин.

— Бобкин... Ну, хоть не содержание, а только заглавие,— молит медовым голосом репортер.

— И заглавия нет никакого. «Суматоха в коридоре, или Храбрый генерал Анисимов»... «Жучкина подозрительность»... «Две пары ботинок и ни одного шофера»... «Красавица со шпанской мушкой». Молодой человек, оставьте меня в покое. Я вам это серьезно советую в ваших же интересах. Уйдите, господин Дробкин.

— Ха-ха-ха,— смеется подобострастно репортер и быстро чиркает что-то в записной книжке.

— А позвольте спросить, дорогой учитель, хотя это, может быть, немного и нескромный вопрос: вы очень вол-

нуетесь перед первым представлением ваших изумительных пьес?

— О-ох,— стонет Крапивин, бухаясь в кресло и обтирая лоб платком.— Ужасно волнуюсь. Чудовищно волнуюсь. Ничего не ем целый месяц. Пью бутылками самые сильные наркотины — хлоральгидрат и трионал... Не выхожу из ледяной ванны...

Репортер кивает головой и поспешно строчит. Крапивиным овладевает испуг.

— Что вы там пишете? Слышите вы меня или нет? Это я шутя все сказал, со злости... Положите в карман вашу гнусную книжку. Положите, я вам говорю. Иначе... Видите вы эту бронзовую статуэтку?

— Ваш бюст, кажется? Работа Трубецкого?

— Не мой, а Шекспира... Но все равно, вы отлично понимаете, что я могу сделать с этой бронзой, молодой человек,— добавляет он упавшим голосом,— ах, покиньте, пожалуйста, покиньте мой дом. Уйдите, господин Тапкин.

— Сию минуту, маэстро. Сейчас, сейчас... Еще два-три последних вопроса, и я оставлю вас наедине с вашей музой. Ваше мнение о современном искусстве?

— Не знаю, ничего не знаю,— устало бормочет Крапивин.— У меня астма... Паша, квасу! Вы пьете квас, молодой человек? У меня домашний... На смородине.

— Где намереваетесь провести лето?

— Не знаю... в этом самом... в как его, на северном экваторе.

— Взгляд ваш на футуристов?

— Отвяжись ты от меня, умоляю я тебя, несносный человек. Довольно того, что весь мой рабочий день испортил. Уйди!

— Что вы скажете о теперешней дороговизне предметов?

— Ничего... Брр. Паша! Да идите же, когда вас зовут, тихоход австралийский. Вот этот молодой барин, господин Типкин, очень торопится идти по весьма неотложному делу. Подайте ему пальто, шляпу, палку, калоши, зонтик, кашне и наймите ему автомобиль за мой счет.

— О, как вы добры, дорогой писатель. Сейчас узнаешь драматурга школы незабвенного Островского. Последние вопросы: какого вы мнения о пораженцах?

Крапивин не выдерживает больше.

Быстро снимает он со стенного ковра старинный заржавленный пистолет с дулом в виде раструба, оружие времен Измаила и Чесмы, наводит его на репортера и орет, весь сотрясаясь:

— Я тебя, щучий сын, убью сейчас из этого поганого пистолета, если ты не исчезнешь!

Интервьюер исчезает. Последнее слово, которое, подобно львиному реву, достигает до его слуха,— слово «прохвост».

На другой день известный драматург Крапивин, все его друзья и знакомые, а также все подписчики газеты «Сутки» читают следующую статью:

«У Б. Крапивина

(Личная беседа)

Мы застали маститого драматурга в самый разгар его творчества. Талантливый автор «Развала семьи», извинившись за утренний туалет (роскошный, вышитый шелком атласный халат—дар, как мы догадываемся, одной из бесчисленных поклонниц русского Мольера), принял нас с своим обычным русским лукулловским радушием в роскошном кабинете, стиля Луи Каторз Пятнадцатый. На наш вопрос о том, какими новыми пьесами подарит нас плодовитый автор «Неуязвимой», знаменитый автор ответил:

«Я всегда из суеверия держу мои замыслы в секрете. Но для сотрудника «Суток», так и быть, поделюсь коечем. Я одновременно работаю над несколькими вещами — такова моя манера творить. Во-первых, большая историческая драма из военной жизни, где центральная фигура — известный русский боевой генерал. Затем современная пьеса «Подозрение ревности», в которой блеснет своими великолепными туалетами несравненная наша артистка Танина-Перестроева. Кроме того, намечается план легкой комедии, нечто вроде любовного тонкого фарса, который думаю озаглавить «Женщина с родинкой».

Во время своих премьер я волнуюсь, как мальчик перед экзаменом. Во время же работы опускаю ноги

в ледяную воду, кладя на голову горячий компресс, и принимаю в большом количестве трихлороехинококк».

«Лето полагаю провести на Шпицбергене,—продолжал очаровательный собеседник, наливая нам бокал тонкого кларета из собственных крымских погребов,— а осень — в моей любимой Испании или на Принцевых островах».

«Мне нравятся экзотические крайности».

О современной русской литературе автор «Злых семян» отзывается с крайней осторожностью, но в голосе его слышится разочарование. Футуристы, однако, занимают внимание модного драматурга. Он со снисходительной улыбкой похвалил Вадима Тавричанина, Землянского и Колпаковского и, пользуясь своей блестящей памятью, процитировал наизусть несколько наиболее причудливых строф.

Теперешняя дороговизна предметов первой необходимости прямо кидает в дрожь симпатичного автора «Растраты».

«Это еще ничего, что все оно дорого,— говорит он с унынием,— но обидно, что многого и совсем достать нельзя. Свечей, например, и со свечой не отыщешь (простите за невольный каламбур,— улыбнулся нам обаятельный собеседник), а я всегда работаю при свете двух канделябров. Ничего не поделаешь — привычка».

На наш последний, самый жгучий вопрос о пораженцах автор «Пустых сердец» ничего не ответил, а только безнадежно махнул рукой.

Полуторачасовая беседа промелькнула, как одна минута.

Прощаясь, мы попросили у знаменитого драматурга карточку с надписью на память.

«Ни одной не осталось,— ответил гостеприимный хозяин, добродушно смеясь.— Все поклонницы расхватали. Если угодно, вот вам мой бронзовый бюст. Это работа Родена...»

Прежде чем расстаться с нами, автор «Дачного пикника» любезно показал нам свою небольшую, но богатую коллекцию старинного оружия, где особенное внимание обращают на тебя прекрасные пистолеты работы известного Лепажа.

Провожая нас до дверей, маститый художник пера, вполголоса, с лукавой, чисто русской улыбкой сказал:

«Сообщу вам одному на ушко, только, чур, никому не говорите: вчера отослал в театральную цензуру новую пьесу, под названием «Прохвост». Боюсь, что придерутся к заглавию, а будет жаль. Вещица написана в сочных и ярких бытовых тонах и, вероятно, будет гвоздем сезона».

В заключение очаровательный хозяин предложил нам воспользоваться его автомобилем. Но мы поспешили отказаться и ушли, унося в душе радостное впечатление милого русского широкого радушья.

Граф *Бобини*».

ГРУНЯ

Молодому писателю Гущину посчастливилось. В этом году он сумел пристроить в еженедельники три новеллы, ноктюрн, два психологических этюда, сюиту (он и сам не знал, что значит это слово) и пять стихотворений, из которых одно — сонет в двадцать четыре строчки — обратило даже внимание мелкой критики в отделе «С бору по сосенке». Сам великий Неежмаков за десятым стаканом чая с лимоном и выборгским кренделем сказал ему на своем замечательном волжском наречии:

— Ты, брат, Коляка, вот этого... как оно... Работать ты можешь... выходит у тебя совсем гожо... Только, брательник, надоть, когда пишешь, в самое, значит, в нутро смотреть, в подоплеку, стал быть, в самую, значится, в гущу... Ого-го-го... Гущин в гущу... выходит вроде как каламбур. Надо, отец, знать, о чем пишешь, до самой основы, до мелочи, чтобы чисто было. Чтобы ни тинь-тили-ли, ни за веревочку! Язык изучай, обычай, нравы, особенности. Ты вот этого... как оно... помнишь, как у меня в «Иртышских очерках» написано? «Айда с андалой на елань поелозить». Что это значит? В том-то, брат, и уксус! По-российски выходит в переводе: «Пойдем с дружком на лужайку побродить». Вот оно — настоящее изучение языка. Так и ты, благодетель. Прильни ты, знаешь, к земле, к самой, значит, к ее пуповине, к недрам, к сосцам благим, и соси, подобно младенцу. Чаю больше не хочешь? Тогда прощай. Мне пора за романище мой проклятущий. Поезжай, дружище, в провинцию, погляди, понюхай, пожуй, и обновится аки орля юность твоя... А то у тебя как быдто и хорошо, и ладно, и баско, и прочее

тому подобное, а все как-то по-стрекозиному... Ну, гряди, чадо!

Неежмаков носил голубую бархатную блузу с отложным воротом и с пышным белым крепдешиновым бантом на шее. Гущин приобрел коричневый вельветиновый пиджачок, а к нему белый батистовый галстук-самовяз. Подобно Неежмакову, он завел пенсне и отпустил длинные светлые волосы, которые еще больше придавали девического характера его малокровному лицу калмыцкой богородицы. Выйдя после дружеской беседы на улицу и подумав немного, он решил последовать совету великого учителя: прильнуть к пуповине.

В глуши Весьегонского уезда служил урядником его отец. Гущин всегда скрывал отцовскую профессию. «Я сын пастуха»,— говорил он со скромной поэтической гордостью и даже упоминал об этом в одном хромом стихотворении: «Сын пастуха, я знаю край родимый». Очень приятно щекотала мысль показаться семье, соседям, знакомым писарькам и поповнам. Когда-то все знали его сопливым мальчишкой при волостном правлении, а теперь — подите-ка, выкусите, известный писатель, со знаменитостями на «ты», вся Россия его читает. И слова какие звучные он будет употреблять: «редактор», «гонорар», «корректура», «метранпаж», «гранки», «купюры», «матрица», «линотип».

Поездка сложилась удачно. До станции Бологого он выклянчил бесплатный билет второго класса у знакомого писателя, служившего в отделе невостребованных грузов; от Бологого до Рыбинска пришлось заплатить пустяки в третьем классе, а от Рыбинска до Весьегонска ему дал даровой каютный проезд его дядя, односельчанин Куропаткин, который зимою скупал у мужицкой бедноты пеньку, веретена, дуги, масло, лен, а летом служил агентом в пароходном крестьянском обществе, пускавшем два маленьких пароходишка от Рыбинска до Устюжны и обратно.

Гущин не вышел еще из того прекрасного возраста (из которого иные, впрочем, не выходят до пятидесяти лет), когда человек в природе и в людях ничего не находит интереснее, значительнее и красивее себя. Поэтому в вагоне — и вчера вечером и сегодня днем — он сумел раз-

говориться с несколькими пассажирами с той легкостью, которая так присуща железнодорожным встречам. Гущин всегда смертельно скучал, если собеседник говорил о самом себе, и вдвое тосковал, когда разговор касался вопросов отвлеченных или общественных. Поэтому он ловким приемом сворачивал речь на себя. Например, кстати вставлял небрежное замечаньице: «Ужасно утомляешься за зиму и так рад отдохнуть», или: «Ни на ком так тяжело не отзываются теперешние условия, как на нас»; или еще: «Это хорошо говорить людям двадцатого числа». Или он внезапно проявлял необычайную осведомленность о составе редакций и о слабостях громких писателей. Неизбежно вытекал робкий вопрос: «А вы сами, извините за нескромность, чем изволите заниматься?» И следовал лицемерно-застенчивый ответ: «Да как сказать... Я не знаю, назвать ли это даже профессией... Я, видите ли, писатель... Гущин моя фамилия».— «А-а-а! Очень, очень приятно. Как же, как же... Отлично вспоминаю. То-то я вижу лицо будто бы знакомое. Вероятно, портреты ваши встречал в иллюстрациях?.. Чрезвычайно лестно познакомиться с настоящим писателем. А позвольте спросить...»

И начиналось. Правда, много, ужасно наврав зазевавшему спутнику и, наконец, расставшись с ним, Гущин всегда чувствовал жестокий приступ моральной тошноты и скверный вкус в душе, но воздержаться от этих волнующих, пьянящих ощущений, вызываемых чудовищной жаждой известности, или остановиться на полпути в истерическом лганье — он не хотел, не умел, не мог.

Иногда в промежутки болтовни он случайно возвращался к мысли: «А ведь я еду наблюдать жизнь. Надо не терять времени. Подмечать каждую черту лица, каждый жест, ловить всякое меткое словечко». И усилием воли заставлял себя прислушиваться к мимолетным беседам в купе, в коридорах, на тормозах. Но говорилось все такое неинтересное...

Занял его внимание на минуту раненый поручик с офицерским георгием. У него вокруг глаз и на висках была разлита странная, особенная, вялая желтизна, а сами глаза, встречаясь с другими глазами, глядели не в них, а куда-то насквозь, вдаль, туда, в недавнее пережитое,— желтизна и взгляд, свойственный людям, которые в тече-

ние многих и многих дней, без сна и без пищи, терпели то, что превышает пределы даже невероятной человеческой выносливости, ежеминутно видя смерть перед глазами, ожидая ее.

Гущин все думал: «Вот, вот сейчас начнется захватывающее: визг бомб, бубуханье шрапнелей, татаканье пулеметов, знамя, пламенная, короткая, как блеск молнии, речь офицера, бешеное «ура», упоение битвы...»

Ничуть не бывало.

Лениво посмеиваясь, то и дело сдувая пепел папиросы себе на рейтузы, офицер говорил спутнику, серьезному седому, бритому человеку:

— А они нас за четверть версты из пулемета... Прямо передо мною, в пяти шагах... как бы тебе это передать?.. Ну, вот точно кто-то взял и стегнул через все поле огромным стальным хлыстом... Понимаешь — черта, и пыль взвилась! Я добежал. Не испугался. Нет. Какой тут испуг, когда главный ужас уже преодолен. Просто обалдел. Остановился только на секундочку. Перекрестился и скок через черту. И вперед. А вокруг шум, грохот, беспорядок. Потом оглянулся назад, на роту. Смотрю, а они все, как бараны, через ту же самую черту скок да скок. Но я обо всем этом вспомнил тогда, когда мы уже взяли окоп. Вспомнил и, лежа, захохотал. А из солдат никто этого не помнил. Впрочем, и я тоже — о том, как мы выбили их из окопа, хоть убей меня, не помню! Ну вот ни на столечко.

«Вот что значит не художник,— свысока подумал Гущин.— Никчемную мелочь запомнил, а главного не уловил».

День падает к вечеру... Жалят комары. Воздух мреет и парит. От пароходной трубы воняет машинным маслом и краской. Вот уже более шести часов Гущин слоняется одиноко по палубе. Иногда заходит в гостиную (она же столовая), в каюту, в нижнюю палубу третьего класса. Заглянул мимоходом в машинное отделение и убежал от нестерпимой жары. Скучно ему. Ни одного интеллигентного пассажира. На корме, прямо на полу, сидят кружками мужики, едят руками селедку с хлебом и луком и запивают водой, почерпнутой тут же из-за борта пароходным ведром. Разговор тяжелый, вязкий: о покосах, недо-

имках, пайках, о рожающих бабах, арендателях, земских начальниках, агрономах. Серый, мужичий, вперемежку с скверной бесцельной бранью, разговор, который теперь совсем непонятен, дик и противен Гущину.

Тоска!

В одиннадцатом часу утра за пристанью Чисково он уже съел порционную стерлядку. Недурно, хотя и отзывает нефтью. Но на пароходе пища всегда легко утрясается и аппетит возобновляется быстро. Разве поесть? Гущин развертывает свою записную книжку, куда записывает бережно все расходы. В нем сказывается врожденный расчетливый мужицкий ум. «Бегут деньги по копеечкам, а потом хвать-похвать и сам не знаешь, куда рубли разошлись». Да и от природы Гущин скуповат. В Петрограде за даровую комнату и сто рублей в месяц он ведет книги двух больших шестиэтажных домов, зарабатывает немного у Неежмакова перепиской, дает небольшие отчеты и заметки в газету и умеет откладывать кое-что про черный день.

«Нет,— думает он, пряча со вздохом записную книжку.— Лучше попью чайку с ситным, а к вечеру видно будет».

Заря пламенеет на небе и в воде. Завтра будет ветреный день. Приречные кусты черно-зелены. В дальней темной деревушке все стекла горят праздничным красным светом заката: точно там справляют свадьбу. Где-то в лужках или на болотах звенят ровным дрожащим хором лягушки. Воздух еще легко прозрачен.

На левом борту, на белой скамейке сидит девушка. Гущин раньше не замечал ее, и внимание его настораживается. На ней черное гладкое платье с широкими рукавами, а черный платок повязан, как у монашенки. К женщинам Гущин по природе почти равнодушен, но в обращении с ними труслив и ненаходчив. Однако он подтягивается и несколько раз проходит взад и вперед мимо девушки, заложив руки в карманы брюк, приподняв плечи, слегка раскачиваясь на каждой ноге и грациозно склоняя голову то на один, то на другой бок.

Наконец, он садится рядом, кладет ногу на ногу и правую руку на выгнутую спинку скамейки. Некоторое время он барабанит пальцами и беззвучно насвистывает какой-то несуществующий фальшивый мотив. Потом кря-

кает, снимает мешающее ему пенсне и поворачивается к девушке. У нее простое, самое русское, белое и сейчас розовое от зари лицо, в котором есть какая-то робкая, точно заячья прелесть. Она чуть-чуть курносенькая, губы пухлые, розовые, безвольные, а на верхней губе наивный молочный детский пушок.

Гущин набирается смелости и спрашивает особенным, вежливым, петроградским тоном:

— Извините меня, пожалуйста. Не знаете ли вы, какая будет следующая пристань?

— Иловня.

Название звучит у нее, как мягко взятый, высокий гитарный тон. Таким прекрасным может быть человеческий голос только вечером, в чистом воздухе, на воде.

— Благодарю вас. А вы сами далеко изволите ехать?

— В Вознесенский монастырь.

Тут только Гущин улавливает, что одежда девушки слегка пахнет воском, деревянным маслом и ладаном; запах этот вовсе не неприятен. В нем есть холод, умильная тайна и влекущая суровость. Этих тонких оттенков Гущин не постигает. Однако он человек не злой, и ему становится жаль девушку.

— Неужели, простите меня за нескромный вопрос, неужели вы монахиня?

Она слегка вздыхает, чуть-чуть улыбается и снизу вверх, сбоку, быстро взглядывает на Гущина. Глаза у нее большие, ласковые, серые. Белки от отблеска зари розовые, точно девушка только что долго плакала, и это придает ее взору интимную кротость. И тотчас же она опускает ресницы. Голос ее звучит полно и мягко:

— Нет! Я не монахиня, а пока только белица.

Разговор завязывается, но идет тяжело, нудно, с большими паузами, во время которых Гущин судорожно придумывает вопросы. Девушка только отвечает — коротко, иногда односложно: да, нет. И лишь изредка показывает Гущину свои тихие глаза с четким мраморным узором на сером райке. Во время разговора и он и она не переставая щелкают себя ладонями по лбу, по щекам, по губам. Голодные, злые комары садятся сотнями. Укусы их нестерпимы.

Ее зовут Аграфеной. Но она тотчас же с улыбкой поправляется — Агриппиной. Так велят в монастыре ма-

тушки. Говорят, что нет такого христианского имени — Аграфена, есть только Агриппина. А попросту — Груня, как зовут дома. Какая же она Аграфена, когда ей нету и девятнадцати лет? В монастырь пошла не своей охотой — кому же охота? Но она у матери моленная дочка. Мать очень тяжело рожала ее и в муках обещала богу, завещала отдать в Вознесенский женский монастырь. Семья у них, слава тебе господи, зажиточная. Отец не здешний, а из Череповецкого уезда,—Черепан. Зимою строит по заказу беляны и расшивы, а летом спускает на Шексну и на Мологу. Нынче старшую сестру выдают замуж за ярославского огородника. Человек непьющий, самостоятельный, только рыжий и немолодой, а уж такой скупующий и въедливый, что прямо сказать нельзя! Из-за каждой копеечки торгуется, как жид. Вот теперь и послали Груню в Рыбное закупать сестре обещанное приданое, иначе рыжий и в церковь не поедет. А из Рыбного ее провожает дядя. Он вовсе серый и неграмотный, хотя мастер считать. Он староста в артели грузчиков при самолетных пароходах. Да вот поглядите-ка наискось. Подле трубы.

Гущин поглядел на дядю и сразу почувствовал бессознательное огорчение. Это был мужик необыкновенного роста и чрезвычайной плотности — один из тех полусказочных волжских грузчиков, что способны взнести по сходне без посторонней помощи лошадь или пианино. Лицо у него было большое, длинное и крепкое, строгого и красивого византийского письма; такие лица и теперь еще встречаются в тех северных уездах, где к славянской крови не подмешалась татарская, корельская и мордовская кровь. Слегка прищуренные полукругами глаза смотрели добродушно и презрительно. Седые, исчерна, волосы лежали на голове кудлами; седая, с серебряными нитями борода свалялась винтообразно до середины груди. Старик сидел на палубе, на полу, поджав под себя ноги в лаптях, глядел на воду, курил вертушку махорки, кашлял и поминутно плевал через борт. Правая рука лежала у него на коленях,— огромная, костистая, черная, морщинистая, точно выделанная из сосновой коры. «Он похож на доброго разбойника Кудеяра»,— подумал Гущин.

И, точно почувствовав, что разговор о нем, старик оглянулся, быстро, одним толчком. поднялся на ноги, от-

чего стал еще необыкновеннее в своих размерах, бросил окурок за борт и, легко и широко шагая, подошел к племяннице.

— Аграфена,— сказал он,— иди вниз, чай пить. Нечего рассиживаться.

Если Грунин голос был похож на сладостный тон гитары, то голос дяди звучал подобно самой низкой, сиплой ноте старого, мокрого, простуженного контрабаса.

— Чтой-то не хочется, дяденька,— не спеша, ласково ответила Груня.— Кушайте одни.

— Не хочется — не надо,— сказал старик и на мгновение пристально и равнодушно, как на новый, но неинтересный предмет, поглядел на Гущина.— А то тоже зря болты-болтать нечего. И туман сейчас подымается.

Он повернулся, отошел и стал по трапу спускаться в нижнюю палубу. Постепенно исчезли его массивные ноги, громоздкое туловище и, наконец, живописная лохматая, разбойничья голова.

Груня с легкой улыбкой скользнула по глазам, губам и опять по глазам Гущина.

— Вы не думайте, он не злой,— сказала она успокаивающим тоном.— Только вид имеет такой злодейский, а сам проще овцы. И когда выпьет— смирный-пресмирный. Песни все поет. А уж сколько может выпить — уму непостижимо. Один целую четверть — и хоть бы что. Душа в нем добрая, а за водку все готов отдать.

Гущин помолчал. Мимо парохода шли длинной, звенчатой, изгибистой змеею связанные плоты, каждый в пять-шесть бревен. В узком месте им трудно было разминуться с пароходом. Пароход умерил ход и, наконец, совсем остановился. Сплавщики ловко перебегали с плота на плот и отпихивались длинными жердями то от дна, то от пароходного борта. И все-таки десять последних звеньев, ударившись о нос парохода, оторвались от каравана и повлеклись течением к берегу.

Поднялась знаменитая, изощренная волжская и приволжская ругань. Ругались охрипшими, лающими голосами, мокрые, голоногие, пьяные, обозленные гонщики, ругались в ответ им капитан и его помощник, и оба штурвальные, и все матросы. Галдела, давая неуклюжие советы, вся третьеклассная публика, свесившаяся через металлические поручни. Кудеяр не показывался наверху.

Должно быть, зрелище для него было слишком мелким, нестоящим внимания.

— Эти шекснинские и моложские—ужас какие охальники,— сказала Груня. Впрочем, она без особенной брезгливости прислушивалась к виртуозной брани.

Наконец, пароход разошелся с плотами и двинулся. Понемногу затихла ругань. Палуба опять опустела. Гущину с трудом удалось преобороть в душе ту низменную, жалкую, мутно-зеленую робость, которую внушал ему Кудеяр своей фигурой и страшным голосом. Торопливо проглотив слюну, он заговорил сдавленным, каким-то чужим голосом:

— А что, если бы нам, в самом деле, Груня... извините, что я так фамильярно... Если бы нам попить чайку у меня в каюте? Вы не подумайте, чтобы я что-нибудь... А?

— Ах, нет, как же это можно? Дяденька заругается... К чужому мужчине...

Но глаза ее сказали: «Я пойду. Будь настойчивее».

— В самом деле... По крайности, там комары не едят. Это же общая столовая, а не каюта. Каюта отдельно. Понимаете, столовая для общего пользования.

— Уж я, право, не знаю... Неловко как-то...

— Ах, милая Груня, что же тут неловкого? Одни глупые предрассудки. Посидим, побеседуем мирно полчасика и расстанемся добрыми друзьями. А?

— Дядя вот только...— произнесла девушка, нерешительно вставая и озираясь.

— Ну, что такое дядя? — расхрабрился Гущин.— Не съест же он нас живьем. Хотите, и его пригласим?

— Э, нет, лучше уже не надо... Боюсь я все-таки.

— Господи, да ведь ничего особенного. Идемте. Пожалуйте.

Внизу, в столовой, Гущин позвонил пароходному лакею в грязном, вонючем фраке и велел принести две порции чаю с лимоном. Поколебался немного и прибавил: «И пирожных там каких-нибудь и вообще...» Хотел было предложить Груне рыбную солянку или стерлядочку и вина, но испугался, что уйдет на этот кутеж пропасть денег, и не решился.

Груня с удовольствием и со стеснением оглядывала жалкую роскошь салона: обои из линолеума, зеркало в

раме поддельного красного дерева, электрическую арматуру, вытертый бархат скамеек и кресел. Все это было из другого, незнакомого, аристократического мира, к которому несомненно принадлежал и Гущин с его вельветиновым пиджачком, пенсне, батистовым галстуком бабочкой и непонятными, приподнятыми оборотами речи.

Разговор, не вязавшийся на палубе, стал здесь еще тяжелее. Гущин рассказывал о себе, о писателях, о первых представлениях, о редакциях. Груня внимательно слушала и лишь изредка отворачивалась в сторону, чтобы под углом полумонашеского платка скрыть короткую зевоту, или зевала одними ноздрями, сжав челюсти. Когда же она говорила о скуке монастырской жизни, о долгих церковных службах, о надоевших грибах, снетках, капусте и рыбе, о вышивках золотом и блестками, о хоровом пении, о подозрительности и придирчивости матушек,— скучал Гущин. Он всегда скучал, если говорили не о нем или он не говорил о себе.

Мысль о том, что рядом, в двух шагах, пустая каюта, которую можно запереть, и что во всем помещении второго класса нет, кроме их двоих, ни одного пассажира,— эта мысль была нестерпимо волнующа; от нее холодело и на секунду останавливалось сердце, сладко ныло в животе и в ногах, потели и слабели руки, кружилась голова и по коже бежали щекотливые струйки. Но как приступить? Как это делается? Подсесть поближе? Взять руку? Схватить шутя за грудь? Подойти сзади, сжать двумя руками милую, скромную монашескую головку, отогнуть назад и начать целовать в губы? Пожать под столом ногу? Начать с комплиментов? Заговорить о любви? Рыцарски предложить к ее услугам свою каюту? Нет, это все казалось невозможным, невероятным, неисполнимым. У других это выходит как-то просто, само собою. Должно быть, есть у них какие-то слова и движения, какие-то особые желания, каких Гущин не знает и к ним не способен. И он все чаще и чаще делал паузы, постукивал пальцами по клеенке стола и тянул бессмысленно: «Да-а-а... так, так, так... угму... да...»

Вдруг тяжелые шаги послышались на ступеньках трапа. Они спускались все ниже и ниже, и казалось, под ними гнулась металлическая лестница. Гущин оторопел, и сердце у него затрепеталось, как живой воробей, взя-

тый рукою. Дверь открылась. Наклонив голову, чтобы не стукнуться, вошел в столовую Кудеяр, большой и несуразный, точно слон, введенный в комнату.

— Ты что же это шляешься по каютам, мокрохвостая! — загудел он своим сиплым басом, густо переполнившим салон.— Нашли место, где чаи распивать. Марш! Ходу наверх. Вот скажу отцу... Он те раскочетит.

Гущин, мучительно бледнея, привстал и, точно в обмороке, залепетал:

— Послушайте... вы, может быть, думаете? Ни с какой стати... Как честный человек... Позвольте представиться... Ничего подобного...

Обессилев мгновенно, он опустился в кресло и продолжал сбивчиво бормотать:

— Позвольте представиться... Известный русский писатель. Гущин моя фамилия... Позвольте пожать вашу честную рабочую правую руку... Может быть, чайку... Милости...

— Гунявый! — крикнул Кудеяр звериным голосом, и его прищуренные глаза вдруг страшно раскрылись.— Убью!

В смертельном ужасе Гущин закрыл глаза и втянул в себя шею. Он каждым своим нервом, всем существом понял, что это чудовище может оторвать ему руку или ногу, расплющить голову, исковеркать все тело или просто убить с тем же легким чувством, как он убивал на своей огромной корявой руке комара.

Но Кудеяр инстинктом понял весь насекомый страх, переполнявший душу писателя, и гнев его отошел. Он сказал только, обращаясь к Груне, презрительно:

— Нашла тоже кусок г....!

И осторожно, соразмеряя свою необъятную силу с незначительностью сопротивляющейся массы, он хлопнул Гущина ладонью по затылку. У того ляскнули зубы, больно прикусив язык; подбородок, ударившись в чайное блюдечко, разбил его вдребезги, а в зажмуренных глазах известного писателя запрыгали красные звезды, заплавали лазоревые озера...

Через час Гущин осторожно прокрался наверх, на палубу. Пароход только что миновал пристань Лямь. Чуть

ущербленный стоял над головой, на безоблачном небе печальный месяц. Плоские берега были темны, и кусты на них точно прятались, пригнувшись к земле. По воде бродили разорванные туманы. Поручни, скамейки, канаты были мокры и серы от росы. Пахло утром. Петухи в деревнях хрипло перекликались. Дежурный матрос лениво выпевал на носу:

— Шесть с половиной... ше-есть... Полнаметки...

На том же месте, где и раньше, сидела девушка в черном монашеском платье. Но, увидав ее, Гущин с чувством страха и жгучего стыда поспешно возвратился вниз, в каюту.

Он долго не мог заснуть. В тесном помещении было душно и жарко, противно пахло смазными сапогами, селедкой и зловонной дешевой жирной пудрой. И хотелось Гущину плакать от сознания того, что он такой бессильный, трусливый, скупой, гаденький, бездарный и глупый и что нет у него ни воли, ни желаний. Потом снились ему его недавние вагонные разговоры о себе и о писательстве, и стало ему так колюче совестно, как это бывает только ночью, в одиночестве, во время бессонницы.

Утром лакей постучал в дверь. «Подходим к Весьегонску,— сказал он и добавил со скверной улыбкой.— Хорошо ли почивать изволили?» Гущин ничего не ответил и дал ему двугривенный, который тот принял без благодарности. Наверху уже не было ни Груни, ни Кудеяра. Они сошли раньше на пристани Вознесенской.

МЫСЛИ САПСАНА О ЛЮДЯХ, ЖИВОТНЫХ, ПРЕДМЕТАХ И СОБЫТИЯХ

В. П. Приклонскому

Я Сапсан — большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, четырех лет от роду, и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем семь (дальше я не умею считать), мне повесили на шею тяжелую желтую лепешку, и все меня хвалили.

Однако лепешка ничем не пахла.

Я — меделян! Друг Хозяина уверяет, что это название испорчено. Надо говорить «неделян». В глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха: стравливали медведей с собаками. Отсюда и слово. Мой прапращур Сапсан I в присутствии грозного царя Иоанна IV, взяв медведя-стервятника «по месту» за горло, бросил его на землю, где он и был приколот корытничим. В честь и память его лучшие из моих предков носили имя Сапсана. Такой родословной могут похвастаться немногие жалованные графы. С представителями же древних человеческих фамилий меня сближает то, что кровь наша, по мнению знающих людей, голубого цвета. Название же Сапсан — киргизское, и значит оно — ястреб.

Первое во всем мире существо — Хозяин. Я вовсе не раб его, даже не слуга и не сторож, как думают иные, а

друг и покровитель. Люди, эти ходящие на задних лапах, голые, носящие чужие шкуры животные, до смешного неустойчивы, слабы, неловки и беззащитны. Но зато они обладают каким-то непонятным для нас, чудесным и немного страшным могуществом, а больше всех — Хозяин. Я люблю в нем эту странную власть, а он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живем.

Хозяин честолюбив. Когда мы с ним идем рядом по улице — я у его правой ноги,— за нами всегда слышатся лестные замечания: «Вот так собачище... целый лев... какая чудная морда и так далее». Ни одним движением я не даю Хозяину понять, что слышу эти похвалы и что знаю, к кому они относятся. Но чувствую, как мне по невидимым нитям передается его смешная, наивная, гордая радость. Чудак. Пусть тешится. Мне он еще милее со своими маленькими слабостями.

Я силен. Я сильнее всех собак на свете. Они это узнают еще издали по моему запаху, по виду, по взгляду. Я же на расстоянии вижу их души лежащими передо мной на спинах, с лапами, поднятыми вверх. Строгие правила собачьего единоборства воспрещают мне прекрасную благородную радость драки. А как иногда хочется!.. Впрочем, большой тигровый дог с соседней улицы совсем перестал выходить из дома после того, как я его проучил за невежливость. И я, проходя мимо забора, за которым он жил, уже не чую его запаха. Люди не то. Они всегда давят слабого. Даже Хозяин, самый добрый из людей, иногда так бьет — вовсе не громкими, но жестокими — словами других, маленьких и слабых, что мне становится стыдно и жалко. Я тихонько тычу его в руку носом, но он не понимает и отмахивается.

Мы, собаки, в смысле нервной восприимчивости в семь и еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто, одним внутренним чутьем. Я чувствую тай-

ными, неведомыми, дрожащими путями, как их души краснеют, бледнеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда Хозяина нет дома, я издали знаю: счастье или несчастье постигло его. И я радуюсь или грущу.

Говорят про нас: такая-то собака добра или же такая-то — зла. Нет. Зол или добр, храбр или труслив, щедр или скуп, доверчив или скрытен бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей.

Я позволяю людям гладить себя. Но я предпочитаю, если мне протягивают сначала открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. (Меньшая дочь Хозяина, моя любимица, не умеет выговорить «камень», а говорит «кабин»). Камень—вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Это я видел на других собаках. Понятно, в меня никто не осмелится швырнуть камнем!

Какие глупости говорят люди, будто бы собаки не выдерживают человеческого взгляда. Я могу глядеть в глаза Хозяина хоть целый вечер, не отрываясь. Но мы отводим глаза из чувства брезгливости. У большинства людей, даже у молодых, взгляд усталый, тупой и злой, точно у старых, больных, нервных, избалованных хрипучих мосек. Зато у детей глаза чисты, ясны и доверчивы. Когда дети ласкают меня, я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но Хозяин не позволяет, а иногда даже погрозит плеткой. Почему? Не понимаю. Даже и у него есть свои странности.

О косточке. Кто же не знает, что это самая увлекательная вещь в мире. Жилки, хрящики, внутренность ноздреватая, вкусная, пропитанная мозгом. Над иным занимательным *мосолком* можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю: кость — всегда кость, хотя бы самая подержанная, а следовательно, ею всегда

не поздно позабавиться. И потому я зарываю ее в землю в саду или на огороде. Кроме того, я размышляю: вот было на ней мясо и нет его; почему же, если его нет, ему снова не быть?

И если кто-нибудь — человек, кошка или собака—проходит мимо места, где она закопана, я сержусь и рычу. Вдруг догадаются? Но чаще я сам забываю место, и тогда долго бываю не в духе.

Хозяин велит мне уважать Хозяйку. И я уважаю. Но не люблю. У нее душа притворщицы и лгуньи, маленькая-маленькая. И лицо у нее, если смотреть сбоку, очень похоже на куриное. Такое же озабоченное, тревожное и жестокое, с круглым недоверчивым глазом. Кроме того, от нее всегда прескверно пахнет чем-то острым, пряным, едким, удушливым, сладким — в семь раз хуже, чем от самых пахучих цветов. Когда я ее сильно нанюхаюсь, то надолго теряю способность разбираться в других запахах. И все чихаю.

Хуже ее пахнет только один Серж. Хозяин зовет его другом и любит. Хозяин мой, такой умный, часто бывает большим дураком. Я знаю, что Серж ненавидит Хозяина, боится его и завидует ему. А во мне Серж заискивает. Когда он *протягивает* ко мне издали руку, я чую, как от его пальцев идет липкая, враждебная, трусливая дрожь. Я зарычу и отвернусь. Ни кости, ни сахара я от него никогда не приму. В то время, когда Хозяина нет дома, а Серж и Хозяйка обнимают друг друга передними лапами, я лежу на ковре и гляжу на них пристально, не моргая. Он смеется натянуто и говорит: «Сапсан так на нас смотрит, как будто все понимает». Врешь, я не все понимаю в человеческих подлостях. Но я предчувствую всю сладость того момента, когда воля Хозяина толкнет меня и я вцеплюсь всеми зубами в твою жирную икру. Арргрра... гхрр.

После Хозяина всех ближе моему собачьему сердцу «Маленькая» — так я зову Его дочку. Никому бы, кроме нее, я не простил, если бы вздумали таскать меня за

хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в повозку. Но я все терплю и повизгиваю, как трехмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головкой у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и свалю ее на пол.

Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу. И меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему?

Летом был такой случай на даче. «Маленькая» еще едва ходила и была препотешная. Мы гуляли втроем. Она, я и нянька. Вдруг все заметались — люди и животные. Посредине улицы мчалась собака, черная в белых пятнах, с опущенной головой, с висячим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала с визгом. «Маленькая» села на землю и запищала. Собака неслась прямо на нас. И от этого пса сразу повеяло на меня острым запахом безумия и беспредельно-бешеной злобы. Я задрожал от ужаса, но превозмог себя и загородил телом «Маленькую».

Это уже было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался в комок, выждал краткий, точный миг и одним толчком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, такая плоская и совсем теперь не страшная.

Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется выть, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда стережет кто-то очень большой, больше самого Хозяина, тот, кого Хозяин так непонятно называет «Вечность» или иначе. Тогда я смутно предчувствую, что и моя жизнь когда-нибудь кончится, как кончается жизнь собак, жуков и растений. Придет ли тогда, перед концом, ко мне Хозяин? — Я не знаю. Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет — моя последняя мысль все-таки будет о Нем.

КАНТАЛУПЫ

(Может быть, и выдумка)

В половине первого в ведомстве приемов поставок, закупок и транспортов полагается перерыв для завтрака. Бакулин, делопроизводитель, издавна привык закусывать в «Торжке», среднем из первоклассных ресторанов, где, однако, кормят хорошо, кабинеты светлы и удобны, а прислуга расторопна и почтительна. Как и всегда, швейцары угодливо устремляются к Бакулину, притворяясь страшно обрадованными его приходу, величая его по имени-отчеству и с благоговением принимая его шляпу, палку и пальто. А в коридоре низко склоняет перед ним стриженую голову всегдашний слуга, высокий, худой, длинноусый Яков, и, перебрасывая салфетку из правой руки под мышку, вполголоса сообщает:

— Тут вас спрашивает господин Рафаловский...

— Знаю... Мы условились.

— Так что я осмелился пригласить их в ваш кабинет.

— Ладно. Ты у меня, Яков, золото.

— Рад служить, Сергей Ардальоныч...

Далеко вытянув перед собой руку, открывает лакей дверь кабинета и, пятясь в сторону, пропускает Бакулина. Рафаловский, толстый большой помещик с обрюзглыми бритыми щеками, изборожденными красными жилками, и с седой щетиной на жирном подбородке, неуклюже валится сначала боком на диван, а потом тяжело встает из-за стола.

— Вы точны, как часы на Пулковской обсерватории,— говорит он, протягивая огромную мохнатую руку, украшенную бриллиантом величиной в каленый орех.

— Это у меня еще от военной службы осталось. Привычка,— улыбается Бакулин.

Помещик опять валится на диван и вытирает мокрое лицо платком.— И жарко же сегодня, просто наказание. Точно Сахара какая-то!

— Да, печет... Дай бог урожая. Я рад... Как у меня в парничках канталупы растут,— один восторг... Аромат какой неподражаемый!

— Канталупы? Скажите! — равнодушно удивляется Рафаловский.

— Представьте! И какие сорта: Консуль-Шиллер, Президент Грей, Женни Линд, Прескотт, Бельгард, Августа-Виктория... Это страсть моя — канталупы. Ничего я так не обожаю. А впрочем, к порядку дня. Чем ты будешь нас кормить, Яков?

Сладко жмурясь и точно захлебываясь, Яков докладывает своим ярославским говорком:

— Осетровый балычок сегодня привезли, прямо вам скажу,— нечто особенное. Янтарь. Насквозь видать... Рыжички соленые вы изволили одобрять. Форель гатчинская. Утки есть дикие,— чирочки. К ним можно салат лятю а-ля-метрдотель с трюфелями, провансалем и свежим огурчиком... Позволю себе рекомендовать волованчики с петушиными гребешками и костным мозгом. Цветная капуста замечательная.

К закуске Яков сам, не спрашивая разрешения, подает во льду графинчик водки, настоенной на черносмородинных почках. Ловко, почти беззвучно сервирует все на столе и, отступив спиной к двери, мягко закрывает ее за собой.

Бакулин разливает настойку, которая отсвечивает в рюмках нежной изумрудной зеленью и благоухает весной и немного мышами. Он уже собирается чокнуться с помещиком, но тот останавливает его осторожным жестом.

— Делу время, потехе час, глубокочтимый,— говорит он внушительно. С трудом достает из бокового кармана визитки пухлый запечатанный конверт и кладет его на стол. Ноздри у Бакулина слегка вздрагивают, но он отодвигает пакет в сторону.

— Нет, уж вы лучше пересчитайте,— мягко настаивает Рафаловский. И опять пододвигает пакет Бакулину.— Деньги счет любят.

Бакулин, не торопясь, пересчитывает билеты государственной ренты и, окончив, склоняет голову в знак правильности суммы, а затем извлекает из портфеля и передает Рафаловскому бумагу, на которой вкось карандашом написано: «Согласен. Поторопить доставкой». Произведя этот обмен, они впервые взглядывают друг на друга. Бакулин совершенно ясно угадывает желание своего партнера в этой молчаливой игре: «расписочку бы». Но зато и Рафаловский читает без слов вежливый ответ: «Прошли золотые времена. Такими дураками мы были только до эпохи ревизий».

И, как умные люди, они, перейдя через тяжелый момент, приступают не торопясь к солидному завтраку и к интересному вескому разговору о предметах важных, но посторонних. За бутылкой подогретого St.-Estèphe стирается и самый след промелькнувшей неприятности. Бакулин относится очень сочувственно к мысли Рафаловского о будущей поставке двадцати тысяч сажен березовых дров. Зато у Рафаловского есть в виду для супруги Бакулина прямо золотое дно, а не имение, на юге России: рыбная речка, семьсот десятин чернозему, триста строевого леса, барская усадьба с парком, оранжереями и всякими постройками, фруктовый сад, дом чуть ли не растреллиевской постройки. И все за пустяшную прибавку к банковскому, совсем небольшому долгу. По окончании завтрака помещик хочет взять расплату на себя. Но делопроизводитель упирается: «Хлеб-соль вместе, а счет пополам. По-американски». У подъезда они прощаются, довольные друг другом. Рафаловский едет на биржу, а Бакулин идет пешком на службу.

В три часа, прежде чем покинуть учреждение, главный директор, сияющий своими сединами и лысиной, розовый, веселый, светский, благоухающий старик, заходит на секунду в кабинет делопроизводителя. Каждый раз у него какие-то неотложные дела в банке.

— Вы уже без меня тут, пожалуйста, любезный Сергей Ардальоныч...— И в дверях, делая прощальный знак выхоленной рукой, он добавляет: — В случае чего-нибудь экстренного — вы знаете номер моего телефона.

Конечно. Бакулин знает, что это номер телефона маленькой балетной корифейки Лягуновой. Но он только почтительно склоняет большую тяжелую голову с низким лбом и широкими скулами.

В приемной уже давно дожидаются этого часа разные деловые люди: преувеличенно модно одетые русские, с громкими картавыми барскими голосами и плохим французским языком, которым они без нужды злоупотребляют; суетливые черноглазые греки; развязные или презрительные евреи, которые здесь, как и всюду, точно у себя дома; престарелые, надменные пышноусые поляки в великолепных, но потертых костюмах с бахромой внизу панталон; армяне с пылкими взорами, страстной речью и выразительной мимикой; два-три бритых человека неопределенной нации и профессии, но с широким жестом и неправдоподобным голосом, должно быть, бывшие актеры.

Среди этих пестрых просителей, подрядчиков, поставщиков, изобретателей и посредников, много таких, которых Петербург видел когда-то на малой бирже у Доминика, или на бегах в жалкой роли подсказчиков, или в стремительном мгновенном полете с лестницы танцевального зала Марнинковича, или за карточными столами темных шустер-клубов. Теперь же Петроград нередко дивится их особнякам, автомобилям, содержанкам и бриллиантам большинства из них. Меньшинство только начинает карьеру.

Курьер Ефим одного за другим впускает их в кабинет, руководствуясь не очередью, а какими-то своими особыми, интимными соображениями. Точно так же и у Бакулина для каждого посетителя особые оттенки приема. Так, например, одного восточного человека, красавца, мужчину атлетического сложения, с выхоленной блестящей черной бородой, с драгоценными кольцами на всех пальцах, он выслушал сидя, не предлагая тому даже сесть, и отказал сухо, коротко и быстро.

Встречая других, он слегка приподымался с кресла и, бормоча что-то невнятное, указывал рукой на стул против себя.

А одного, не особенно видного, старозаветного, маленького старичка в наглухо застегнутом черном сюртуке, он встретил у самих дверей и сел только после него. Впро-

чем, разговор у них вышел очень краткий; минуя здоровье, погоду и прочую дребедень, старичок спросил деловито:

— Так вы обдумали, любезнейший Сергей Ардальоныч?

— К вашим услугам, Кирилл Матвеевич.

— Двадцать пять и два, если брутто, и двадцать шесть и один, если нетто? Так?

— Совершенно верно, Кирилл Матвеевич.

— Предпочтительнее?

— Как вам угодно. Если позволите, второе условие более подходит.

Старичок не спеша вынул из кармана чековую книжку и тонко, почти незаметно улыбнулся.

— Вы это чему, Кирилл Матвеевич? — беспокойно спросил Бакулин.

— Так, своим мыслям,— ответил старичок, быстро вписывая сумму.— Одного парнишку спросили: «Ты, Егорушка, какого пирожка хочешь, так или с маслом?»— «Да мне все равно, хотя бы с маслом».

— Хе-хе-хе,— добродушно рассмеялся Бакулин.— Хорошенькое присловьице. Хоть и с маслом... А кстати, Кирилл Матвеевич, тут еще поверстные... и там... благодарности агентам...

Старичок поморщился и встал, тщательно застегивая сюртук.

— Бросьте, почтеннейший. Не в мелочной лавочке...

Бакулин проводил его до дверей с низкими поклонами. А старик даже руки ему не подал...

Так же содержательна была беседа и с другим дельцом, высоким, плечистым, костлявым, небрежно одетым, у которого на желтоватом лице, изрытом оспою, дерзко и пытливо смотрели голые, черные, цыганские или разбойничьи глаза. Ему надо было выхлопотать двести вагонов, и Сергей Ардальоныч, заранее знавший, для какой цели, с быстротой умножил в уме вагоны на пуды, пуды на фунты, фунты на копейки и сказал, взглянув в горячие глаза рябого, но тотчас же и отвернувшись:

— Восемьдесят.

— Не могу,— смело и решительно отрезал рябой.— Берите любую половину.

— Вам-то что, Петр Захарыч. Нажмете чуть-чуть. Ведь я всего копеечку на фунт.

— То есть четыре процента. Довольно с вас двух. Я мелкого покупателя обижать не могу. Его доверием кормлюсь и лишаться доверия не хочу. Ему полкопейки расчет. А нет — найдем другой путь.

— Да уж ладно, упорный вы человек. Зайду к вам завтра утром. Как раз будет готово разрешение.

— Так-то лучше. До свиданья.

Один за другим проходили перед наблюдательным наметанным оком Бакулина жадные, смелые, трусливые и наглые ловители фортуны, и всех их Бакулин фильтровал, сортировал, определив точно их удельный вес, и ставил их на надлежащую полочку относительной пользы. В то же время среди этих непонятных непосвященному переговоров он успел написать несколько черновиков важных писем, сделал два-три внушения конторщикам, отвечал беспрестанно на телефонные вызовы. Дело шло у него легко и быстро, точно он катился по гладкому шоссе на объезженном, выверенном, хорошо смазанном велосипеде. И только раз вышла задержка. Какой-то неловкий новичок, козлиного староверского вида, принесший образцы подковных шипов, осмелился, сначала обернувшись назад, на дверь, и помедлив от волнения, сунуть через стол пятисотрублевую бумажку. Бакулин поднял крик на все учреждение. «Как? Взятку? Кому? Мне? В такое время? Да я вас под суд! Я вас упеку знаете куда? Ефим, в шею этого презренного типа».

Но вот старые высокие нортоновские часы медленно протянули первый густой удар из шести, и Бакулин поднялся, прервав разговор с клиентом на полуслове: «Простите, завтра приму вас первого. Мне спешить к поезду, а еще надо кое-какие покупки».

Ехать по железной дороге надо было полчаса, и оттуда на собственную дачку «Аннино», двенадцать верст. На станции его дожидался экипаж. Вся упряжка была проста и щеголевата, как у настоящего любителя: лошадка (шведский иноходчик) была светло-желтая с черной гривой, черным хвостом и темным ремешком вдоль спины — той скромной масти, которая раньше, лет пятьдесят тому назад, называлась интендантской; рессорный легкий плетенный из камыша шарабан блестел лаком крыль-

ев и колес, кучер в шапке с павлиньим пером, в бархатной безрукавке высоко держал руки в оранжевых канаусовых рукавах.

Кучер, сдерживая резвую лошадку, осторожно объехал по грубым камням полукруг дожидавшихся очереди извозчиков, выехал на ровное широкое шоссе, уходившее прямой белой лентой сквозь зеленую даль деревьев, и понемногу отпустил вожжи. Бакулин, с наслаждением отдавшись плавному покачиванию рессор и быстрому движению, заглядывал то слева, то справа на плавный бег иноходца, который, ровно неся спину и слегка, точно неуклюже, точно переваливаясь плечами с боку на бок, чуть покачивал высоко поднятой головой с стоячими маленькими ушами. Пахло свежескошенным сеном, весело трепетали и блестели недавно омытые дождем дорожные деревья. Ветер дул в лицо и пузырил оранжевые рукава у кучера.

Иногда из-за дальних рощ блестел крест колокольни. Бережно крестясь, творил Бакулин молитву: «Господи, во имя святого храма твоего, помяни мя, егда приидеши во царствие твое...» Но молитва была механическая, без сердечной интимности. Главные серьезные счеты, генеральную стирку души, он отлагал до вечера.

Подъехали к широким воротам дачи, на которых возвышалась на проволочной раме литая надпись «Аннино». Бакулин посмотрел на часы. Ехали ровно двадцать шесть минут пятнадцать секунд. Хороша шведка. И всего двести пятьдесят плачено.

Всегда нудны и тяжелы проводы, но радостны даже ежедневные встречи. Когда иноходец, сдержанный красиво на повороте, вплывал, чуть накренившись, во двор, приятно сотрясая своим могучим ржаньем легкий шарабан, то отвсюду, из сада, со стеклянной веранды, из-за дома, послышались веселые восклицания, показались оживленные лица, замелькали светлые летние наряды. Впереди всех диким галопом неслась десятилетняя девочка, вся в белом, с двумя большими белыми бантами на висках, меньшая, любимица отца, Люлю. За нею бежали сыновья — гимназист и юнкер вместе со свояченицей Бакулина, восемнадцатилетней Софочкой. Дальше торопились, взявшись за руки, дочка-невеста с женихом, начинающим инженером, оба в красивых костюмах для

лаунтенниса. И, наконец, сама m-me Бакулина в пунцовом кружевном халатике, полная, но еще изящная и легкая в движениях брюнетка, цветущая ярким расцветом последней пышной красоты. Вместе с поцелуями, рукопожатиями, приветливыми словами, заботливыми расспросами на Бакулина вылился целый водопад милых пустяшных новостей: «Вода сегодня ужасно холодная в купальне. Софочка с Марусей собрали массу грибов-маслянок, а Василий Филиппович одни поганки. Котенок поймал полевую мышку и долго играл с ней. К обеду будут раки. Василий Филиппович привез в подарок Люлюшке козленка из породы безрогих коз. Премиленький козлик и обожает есть левкой...» И так, взятый под руки, облепленный большой, шумной, любящей семьей, шел Бакулин к дому, через цветник, по красным дорожкам, мимо правильных, только что политых клумб, благоухавших резедою, розами, душистым горошком и табаком, начинавшим распускать к ночи свои белые звезды. Золотые и серебряные шары, ослепительно сверкавшие на заходящем солнце, отражали кверх ногами живую семейную группу. А две нарядные горничные в кокетливых передниках разгружали из шарабана покупки.

Но вот уже кончен обед. Смеркается. Острее и слаще пахнут цветы. Еще одна радость ждет Сергея Ардальоныча, который уже докурил сигару, отложил в сторону вечернюю газету и с неподдельным глубоким чувством пожалел вслух бедную многострадальную Россию, задыхающуюся в цепких лапах взяточников, растратчиков, вымогателей и других обнаглевших жуликов и прохвостов.

— Ну, Софочка, пойдем поглядим наши канталупы,— говорил он свояченице, сидящей снаружи на ступеньке балкона. Они вместе ухаживают за дынями. Это их общая серьезная забота и в то же время невинная, тонкая, слегка волнующая игра. Как и большинство молодых девушек, бессознательно чуть-чуть влюбленных в мужей своих старших сестер, Софочка наивно льнет к Бакулину сердцем и телом.

Огород — гордость Сергея Ардальоныча. Он выгоняет на нем редкие на севере овощи — кукурузу, томаты, артишоки и спаржу. Но его поэзия, его истинная благородная страсть — дыни-канталупы, требующие крайне заботливого ухода.

Оба они внимательно склоняются над парниками. В огороде, не затененном деревьями, еще светло, и можно хорошо разглядеть дыни, большие, серо-зеленые, с выпуклыми мощными ребрами, усеянными корявыми наростами. Приятно прикасаться пальцами к их холодной коже. Тонкий ананасный аромат поднимается из парников.

Бакулину трудно нагибаться, и потому он только дает указания: ,

— Этот побег надо завтра же оборвать. А большую завязь прикрепить рогулькой к земле и присыпать,— пусть дает новые корни. Может, и дозреет. А эти две дыньки, Софочка, можно срезать. Да надо, кстати, велеть накрыть парники рамами. Небо ясно, барометр стоит высоко, воздух свежеет, безветрие, и — видишь как вызвездило — ночь будет холодная.

Потом они долго сидят в дальнем углу сада за круглым столом под липами. Голова Софочки лежит на плече Бакулина, и ему кажется, что молодое тело девушки источает нежный запах канталупы. Его руки ласково, но не крепко обнимают ее плечо.

— С этой дачей мне жаль расстаться, Софочка,— говорит Бакулин, мечтательно глядя вверх, на звезды.—Ее я построил целиком на мое нищенское жалованье. Во всем себе отказывал. Но когда ты выйдешь замуж, я тебе куплю рядом такой же клочок земли и устрою тебе дачу, как свою. Даже лучше. Я уже присмотрел.

— Не надо мне, милый Сережа, ничего не надо,— тихо отвечает девушка и еще теплее прижимается к его плечу.— Я никогда не выйду замуж... Ни за кого...

— Почему? — спрашивает нежно дрожащим голосом Бакулин, наклоняя губы к ее волосам.

— Так...

И он сладко чувствует, как под его рукой с испугом и ожиданием дрожит девическое тело.

Наступила ночь. M-me Бакулина лежит на широкой двуспальной постели, лицом к стене. Сергей Ардальоныч стоит на коврике на коленях, в одном нижнем белье. Он уже закончил положенные, заученные официальные молитвы и теперь мысленно говорит своими словами. Обращается он, однако, не к богу, и не к сыну, и не к его матери, а к снисходительному святителю Николаю, причем многое утаивает и во многом лукавит.

— Я же ведь, если что и беру, то не на роскошь, а для семьи. Пусть живут в холе, без озлобляющей борьбы, добрыми и кроткими. Другие там кутят, пьянствуют, играют, разоряются на женщин, на бриллианты и автомобили... А я... мое немудреное развлечение — одни канталупы, чистое сладостное занятие. Вот, ей-богу, дойду до миллиона и все брошу. Уйду со службы, займусь добрыми делами, буду тайно творить милостыню, церковь построю... не церковь, а так... часовенку... Только бы до миллиона...

И сам перед собой притворяется, будто бы забыл, что если присчитать к деньгам и золотым вещам жены два доходных дома—один на Лиговке, другой на Песках, то давно уже его капитал шагнул за два миллиона. И о том он не хочет вспоминать, что еще недавно он давал обещание дойти только до двухсот тысяч, а потом до полумиллиона. «А может быть,— думает он,— терпеливый угодник не обратил внимания на эти мелочи или забыл по множеству дел своих? И потом: ведь все, что мною приобретено, записано не на мое имя, а имя жены. Я — что же? Я бескорыстен...»

Сладко спит Бакулин. Мерцает теплым дрожащим светом лампадка перед образом. Хмуро глядит в темноту суровый и добрый лик святителя, лик того угодника, который когда-то вступился за вора, укравшего кусок хлеба для своей голодной семьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

В шестой том входят повесть «Яма», законченная в 1914 году, и рассказы 1914—1916 годов.

В повести «Яма» А. И. Куприн обратился к теме, имевшей в русской литературе более чем вековую историю. Еще в конце XVIII века писатель-революционер А. Н. Радищев в некоторых главах своей знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву» гневно заклеймил «наемное удовлетворение любовной страсти». В XIX веке проституция и торговля женщинами получили отражение в творчестве многих русских писателей.

Полемизируя с поборниками так называемого чистого искусства, выступавшими против обличения «грязи жизни», М. Горький в 1899 году писал:

«Быть может, найдутся люди, которые с брезгливой миной скажут: — Зачем все это печатать? Нелепая идея! В литературе совсем нет места проституткам...

Это будут глупые и лживые слова... Литература есть трибуна для всякого человека, имеющего в сердце горячее желание поведать людям о неустройстве жизни и страданиях человеческих...»

Именно с этих гуманистических позиций А. И. Куприн подошел к изображению проституции. Он стремился раскрыть средствами искусства корни этого зла и наметить пути борьбы с ним.

Но впоследствии писатель признавал, что решить эту задачу ему не удалось.

Художественная концепция «Ямы» отличается крайней двойственностью и противоречивостью.

На лучших страницах повести А. И. Куприн показывает, что существование притонов «платной любви» связано с миром частной собственности и эксплуатации и является одним из проявлений волчьих законов капиталистического общества. Он создает впечатляющие образы спекулянтов женским телом, которые смотрят на свой гнусный промысел так же, как если бы торговали «селедками, известкой, мукой, говядиной или лесом», правдиво рисует

аморализм завсегдатаев публичных домов, покупающих женщин свободно и просто, как покупается любой товар; повесть сатирически разоблачает содружество притоносодержателей с продажной царской администрацией и полицией, участвующих в прибылях этих заведений, знакомит с изощренными методами закабаления проституток и с тем опустошающим влиянием, которое оказывает на них страшная профессия.

Но, обнажая до предела «торговый характер» проституции, Куприн ищет основную ее причину в биологических факторах. Автобиографический герой «Ямы», репортер Платонов, утверждает, что человек, и прежде всего мужчина,— «животное много и даже чрезвычайно многобрачное» и поэтому спрос на проституцию будет существовать всегда. Куприн приводит в публичный дом буквально всех мужчин — от ученых и писателей до воров и сыщиков. Героини повести изображены как «жертвы общественного темперамента».

Противоречивость взглядов писателя на причины проституции приводит его к утрате художественного критерия. Подлинно реалистические картины будничного, прозаического обихода домов терпимости постепенно уступают место (особенно во второй и третьей частях повести) изображению происшествий, которые никак нельзя признать типическими (посещение публичных домов певицей Ровинской, история «спасения» Любки студентом Лихониным, самоубийство Жени, ограбление нотариуса и многие другие). За счет подобных сцен и эпизодов повесть разрастается, теряет соразмерность частей и композиционную цельность. Снижается и уровень художественной изобразительности. Куприн впадает в несвойственный ему выспренний мелодраматизм, сентиментальную слащавость, а часто допускает и натуралистические излишества, банальности и штампы.

Тем не менее «Яма» сыграла известную положительную роль в русской предреволюционной литературе. Она появилась в годы столыпинской реакции, когда в буржуазном обществе росли всевозможные «лиги свободной любви», кружки «огарков» и другие упадочные сборища, а проституция приняла чудовищные размеры. «Со всех уголков России,— писала одна из газет,— бегут телеграммы о разнузданной эпидемии половых преступлений» («Петербургская газета», 1909, № 204, 28 июля). В этих условиях «Яма» противостояла произведениям «модных» буржуазных беллетристов (М. Арцыбашев, А. Каменский, М. Кузьмин и др.), которые открыто проповедовали нравственный нигилизм под флагом утверждения «свободы личности».

После «Ямы» Куприн в течение 1914—1916 годов работал преимущественно над небольшими рассказами. В них он снова возвращается к своим прежним темам: изображению армейского быта и закрытых военно-учебных заведений («В медвежьем углу»,

«Фиалки»), страданий бесправного и забитого «маленького человека» («Святая ложь»), праздности и пошлости буржуазии и дворянской знати («Винная бочка»), темноты и покорности полесской деревни («Запечатанные младенцы»), трагического отрыва интеллигенции от народа («Груня»).

Хотя в этих рассказах нет значительных художественных первооткрытий, в них пленяет меткость бытовых наблюдений, глубина психологического анализа, задушевный лиризм, замечательное искусство создания комических положений, дар юмора и пародии.

Ускоренное войной моральное разложение правящих классов царской России, вакханалия спекуляций и мародерства, продажность чиновно-бюрократических верхов с необычайной силой показаны в рассказах «Гога Веселов» и «Канталупы». Однако при всей остроте и беспощадности своей сатиры Куприн обнаруживает крайне противоречивое отношение к тем силам, которые противостоят прогнившему строю. Даже в скупых упоминаниях об этих силах ощутимо недоверие писателя к созидательным возможностям назревающей революции, боязнь ее стихийности. Это сказалось и в обрисовке волжского грузчика Кудеяра («Груня»), и в фигуре «демагога» в темно-синей косоворотке («Гога Веселов»), и в некоторой двусмысленности рассказа «Папаша».

Столь же противоречивым было отношение Куприна к первой мировой войне. Признавая противоестественность войн и их враждебность человеку, пришедшему в мир «для безмерной свободы, творчества и счастья», Куприн в то же время примыкал к оборонцам. От понимания империалистической сущности происходящей войны он был весьма далек. Единственной ее виновницей ему представлялась кайзеровская Германия. «Только ее полное обезличение и истощение,— писал он в 1915 году своему другу Ф. Д. Батюшкову,— обеспечат Европе и всему миру полный плодотворный отдых от войны и вечного изнурительного вооруженного мира» (ИРЛИ). В отличие от многих беллетристов той поры, заполнявших страницы периодических изданий батальными, квазигероическими рассказами, Куприн не считал возможным изображать войну без длительного пребывания на фронте и близкого общения с солдатами. Впечатления, вынесенные им из поездки по прифронтовым районам (Ровно, Ковель, Вильнюс, Даугава, Рига), а затем непродолжительной службы в тыловой части в Хельсинки, он находил недостаточными для создания художественных произведений о войне. «Как можно писать о буре на море, — говорил он,— если сам никогда не видел не только легкого волнения, но даже самого моря» («Биржевые ведомости, 1915, № 14855).

Весной 1915 года Куприн серьезно заболел и был демобилизован из армии. Затянувшееся недомогание помешало ему отправиться на театр военных действий. Поэтому на события войны он откликался только как публицист.

Прогрессивная общественность в декабре 1914 года широко отметила 25-летие литературной деятельности А. И. Куприна.

Отвечая на публиковавшиеся в печати статьи и приветствия, Куприн сказал: «Некоторые чересчур хвалят меня — стыдно читать; не заблуждаются ли они, или, быть может, личные симпатии вызвали у них ласковые строки по моему адресу... Теперь на смену нам идет молодежь. Сколько талантливых интересных людей!.. Это большое утешение для меня, стареющего русского писателя» («Биржевые ведомости», веч вып., 1915, № 14617, 17 января).

ЯМА

Полный текст повести впервые напечатан в сборниках «Земля», 1909, кн. 3; 1914, кн. 15; 1915, кн. 16.

Начальный вариант второй главы «Ямы» опубликован в 1908 году под заглавием «Троица» в журналах «Вопросы пола» (№ 1) и «Пробуждение» (№ 19); восьмая глава третьей части — в 1915 году под названием «В мертвецкой» в сборнике «В год войны. Артист солдату».

Материал для «Ямы» Куприн собирал в середине 90-х годов в Киеве. Этот город и является местом действия повести. Отвечая на утверждение одной из киевских газет, будто в «Яме» даны портреты «живых киевлян», Куприн в беседе с журналистом сказал: «Лица, выведенные мною, не являются точной фотографией, снятой с живых людей. Я подметил, правда, много отдельных штрихов для психологии персонажей повести, но это не копировка, которую я презираю» («Киевские вести», 1909, № 156, 14 июня). Он добавил, что его наблюдения не ограничились Киевом: «Яма» — это и Одесса, и Петербург, и Киев».

С Одессой, несомненно, связан образ Семена Горизонта. Подобные торговцы живым товаром часто описывались в те годы и позднее в газетных статьях и корреспонденциях из Одессы (см. П. Николин. Торговля женщинами. «Биржевые ведомости», 1911, № 123, 29 мая). В Петербурге, по свидетельству критика А. Измайлова, произошел случай, положенный Куприном в основу эпизодов посещения публичных домов певицей Ровинской и ее спутниками. Еще в 1905 году писатель рассказывал о нем своим петербургским знакомым («Биржевые ведомости», 1915, № 14943, 4 августа). Образ Жени был навеян Куприну встречей в имении Даниловском Новгородской губернии с племянницей одного из соседних помещиков (О. П. Мстиславская. Воспоминания о Куприне. Рукопись). В характеристику Тамары вошли отдельные штрихи из книги З. Вороицовой «Записки певицы из шантана» (СПБ, 1908). Эту книгу Куприн запрашивал в 1908 году у своего друга Ф. Д. Батюшкова (ИРЛИ). Монологи Платонова содержат мысли, которые не раз высказывались в 1908—1909 годах в статьях о

проституции, в частности в работах врача П. Е. Обозненко, считавшего, что торговля женщинами порождена не только экономическими причинами, но и самой «природой человека» («Петербургская газета», 1909, № 335, 6 декабря).

Приступить к работе над «Ямой» Куприн намеревался в 1902 году и запрашивал редактора журнала «Мир божий» Ф. Д. Батюшкова, сможет ли такая повесть быть напечатана в журнале. Ввиду сомнений Ф. Д. Батюшкова, работа над «Ямой» была отложена. В 1907 году Куприн снова предложил журналу свою повесть, и на этот раз она была анонсирована в объявлениях о подписке на 1908 год. Но в 1908 году «Яма» в журнале не появилась. О публикации ее писатель договорился с издателями литературных сборников «Земля» Г. Г. Блюменбергом и Д. М. Ребриком («Московское книгоиздательство») и одновременно передал им право на выпуск собрания своих сочинений. В ноябре 1908 года Куприн закончил в Гатчине первую и вторую главы, а в декабре — третью и четвертую. В январе 1909 года Куприн сказал критику А. Измайлову: «Работается трудно. Большая трудность для меня в том, что действие, например, первых десяти глав должно улечься в один день» («Родной мир», 1909, № 1). Над последующими главами повести Куприн работал в Житомире. «Мне казалось,— сказал он журналисту,— что здесь я смогу спокойно отдаться работе» («Киевские вести», 1909, № 156, 14 июня). В то время в периодической печати часто появлялись корреспонденции из Житомира о раскрытых в этом городе «организованных шайках» притоносодержателей, занимавшихся «тайным вывозом» женщин за границу и продажей их там в дома терпимости («Петербургская газета», 1908, № 303, 8 ноября). По мнению Ф. Д. Батюшкова, эта особенность Житомира и побудила Куприна в нем поселиться. Предположение не лишено оснований, так как сам Куприн в письмах из Житомира отмечал, что там «на 1000 людей приходится 999 факторов, посредников, сводников, мишуресов и так далее» (Письмо к Ф. Д. Батюшкову, 1909, 14 апреля; ИРЛИ). По приезде в Житомир Куприн жаловался, что работа над «Ямой» у него не налаживается: «Раз двадцать писал и рвал, писал и рвал, что со мной бывает редко» (ИРЛИ). В позднейших письмах он указывал и на другие обстоятельства, тормозившие его работу. Главным из них было требование «Московского книгоиздательства» расторгнуть договор с петербургским издателем Стракуном (изд-во «Прогресс») о выпуске «Ямы» отдельной книгой. До расторжения этого договора московские издатели отказались выдавать Куприну авансы, и писатель, по его собственному выражению, вынужден был «бегать по всему Житомиру в поисках за деньгами», даже закладывать свои «бебехи» в местном ломбарде (ИРЛИ). В марте 1909 года, когда наступил срок сдачи рукописи, из двенадцати глав первой части «Ямы» было написано только девять. Последние главы пришлось писать с лихо-

радочной поспешностью. В набор посылались неотшлифованные черновики. Куприн надеялся произвести правку в корректуре. Но корректуры задерживались, и тщательно обработать последние главы ему не удалось. Отсюда понятна его неудовлетворенность своей работой и тревога, с которой он ждал отзывов о повести, в особенности отзыва Л. Н. Толстого. «Если он отзовется не лестно о первой части,— говорил Куприн,— то это может неблагоприятно отразиться на дальнейшей моей работе. Слова Л. Н. для меня имеют большой вес» («Киевские вести», 1909, № 449, 14 июня).

Но первое слово о «Яме» сказал не Л. Н. Толстой, а московский цензор В. И. Истомин. В своем докладе он писал, что в повести «могут быть отмечены места, дающие повод и основание считать ее «безнравственной и неприличной»... как равно и места, возбуждающие серьезное отношение к вопросу о проституции...». В перечень сомнительных мест попали все сцены, где изображалось посещение публичного дома лицами, принадлежавшими к «верхам» буржуазно-дворянского общества. Только после повторного обсуждения повести на «особом совещании», состоявшемся 25 апреля 1909 года, цензура не нашла в ней «состава преступления» и разрешила выпуск третьей книжки «Земли» (Московский обл. исторический архив, фонд 31, оп. 3, дело № 2200). Тем не менее, включая «Яму» в VIII и IX тома полного собрания сочинений в издании т-ва А. Ф. Маркс (1912 и 1915 годы), Куприн учел замечания цензоров и исключил из текста некоторые натуралистические сцены, арготические выражения и упоминания об офицерах и кадетах.

Сборник «Земля» (кн. 3) с первой частью «Ямы» вышел весной 1909 года. Повесть вызвала исключительный интерес. «В Москве только и толку, что о «Яме»,— сообщил Куприну 22 мая 1909 года И. А. Бунин (ЦГАЛИ). Статьи о повести появились во всех распространенных периодических изданиях. По мнению А. Измайлова, со времен «Крейцеровой сонаты» не появлялось произведения, которое «так смело касалось страшных язв жизни». «На дьявола лжи, на дьявола похоти, на дьявола гнусной корысти идет в лице Куприна русский писатель»,— говорилось в этой статье («Русское слово», 1909, № 91, 22 апреля). Обличительный характер «Ямы» подчеркивал и критик В. Боцяновский. Он писал, что «ужас, брезгливый ужас охватывает нас в этом царстве чавкающих жаб» («Волынь», 1909, № 113, 27 апреля). Журнал «Друг» (№ 15) оценивал «Яму» как «грозное предостережение родителям и юношеству». П. С. Коган находил, что до Куприна «никто не пытался день за днем, час за часом проследить каждый момент жизни этих заведений» (П. Коган. Очерки по истории новейшей русской литературы, т. 3, вып. 1, М., 1910).

Наряду с такими отзывами в печати появились и отрицательные оценки. Некоторые критики брали под сомнение обличитель-

ную направленность повести, утверждая, что натуралистические описания публичных домов скорее способствуют распространению проституции, чем ее искоренению («Волынь», 1909, № 295, 27 октября; «Вестник литературы», 1911, № 8, август, и др.). В. Воровский отметил, что изображение проституток в «Яме» «носит чуждый Куприну характер идеализации и самый стиль... повести пропитан чуждой ему слащавостью» (В. Воровский. Литературно-критические статьи, М., 1956, стр. 283).

Уничтожающему разносу подверглась «Яма» в монархическом «Новом времени» и в символистском журнале «Весы». Рецензент «Весов» (1909, № 6) Б. Садовский отзывался о ней как о средоточии всех недостатков творчества Куприна: «ученического малевания «с натуры», семинарского резонерства и смакования всевозможных жизненных уродств». «В «Яме»,— писал он,— г. Куприн в последний раз собрал в кучу все, что у него осталось за душой. Получился опять тот же «Поединок».

Л. Н. Толстой, прочитав первые главы повести, сказал: «Очень плохо, грубо, ненужно грязно» (Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого; запись: 1909, 6 мая).

После завершения первой части «Ямы» Куприн приступил к работе над второй частью, которая, по его выражению, должна быть «без нравоучений» и «потрясающе откровенной» (Письмо к И. А. Бунину, 1909, июнь; ЦГАЛИ). Содержание задуманных глав он охотно рассказывал приезжавшим в Житомир столичным литераторам. Вначале работа шла с большим подъемом, но к осени, когда писатель ознакомился с отзывами критики и суждениями Л. Н. Толстого, он прервал свою работу. «Уж больно много начитался критики,— писал он Ф. Д. Батюшкову,— до того, что мне моя работа опротивела» (ИРЛИ). В это время в нескольких периодических изданиях начал публиковаться новый роман о проституции, написанный австрийской писательницей Эльзой Иерузалем («Красный фонарь», «Навозный жук», «Из мрака к свету» и под другими заглавиями). Некоторые критики ставили этот роман выше купринской «Ямы». В октябре 1909 года Куприн писал служащему «Московского книгоиздательства» В. С. Клестову: «Яма» зреет, зреет и рвется... Рецензии и Э. Иерузалем меня заели» (ИРЛИ).

26 февраля 1910 года писатель решил обосноваться в Москве, «найти какие-нибудь спокойные меблирашки» и неотрывно работать над «Ямой», передавая главу за главой «Московскому книгоиздательству». Но уже в марте, возвратившись в Одессу, он известил В. С. Клестова, что ничего в Москве не успел, потому что там его «замотали разные хлопоты, суета» (ИРЛИ). В апреле 1910 года он опять пытается продвинуть вперед повесть, но пишет ее неохотно, без вдохновения. «Притянул таки себя за волосы к столу и с отвращением докапываю «Яму». Тяжело мое отхожее занятие»,— писал он тому же адресату (ИРЛИ). Свое угнетенное

состояние он объяснял бранью критиков и потоком анонимных писем, обвинявших его в порнографии, вредном влиянии на юношество и так далее. «Как можно,— с горечью говорил он одесскому журналисту С. Я. Штрайху,— так поспешно делать выводы о произведении, которое еще не окончено?» («Одесские новости», 1909, № 7934, 8 октября). «Московское книгоиздательство», раздраженное нарушением срока сдачи рукописи, почти прекратило выдачу ему авансов. Это вынудило Куприна опять отложить повесть и взяться за небольшие рассказы и статьи. «Я очень беден теперь,— писал он Ф. Д. Батюшкову,— и подрабатываю кустарным промыслом... Но, видишь, вместо того, чтобы писать «Яму», я пишу мелочи... На что мне жить? Я уже все заложил. Поневоле пишу что попало и где попало» (ИРЛИ). Летом 1910 года писателя увлекла работа над рассказом «Гранатовый браслет». Рассказ был окончен осенью и послан в Москву для очередной книжки «Земли». Опубликовав в 1911 году «Гранатовый браслет», издатель Г. Блюменберг считал неудобным возвращаться к «Яме», печатание которой прервалось два года назад. Он советовал Куприну придать окончанию «Ямы» характер самостоятельного произведения и печатать ее под новым заглавием. Заглавие Куприн придумал — «Гибель», но вслед за этим заявил, что не может исполнить совет издателя, так как для этого пришлось бы вводить в произведение новых действующих лиц, а «старые повиснут в воздухе» (Письмо к В. С. Клестову, 1910, осень; ИРЛИ).

В 1911 году писать «Яму» Куприну удавалось лишь урывками: он был занят подготовкой к печати полного собрания своих сочинений для издательства А. Ф. Маркс. В первой половине 1912 года он ездил за границу, а по возвращении работал над очерками «Лазурные берега» для газеты «Речь».

В конце 1912 года петербургские газеты поместили сенсационное сообщение о том, что беллетрист Ипполит Рапгоф (граф Амори), известный своими бульварными, великосветско-альковными романами, уже закончил «Яму» вместо Куприна. Несмотря на энергичные протесты писателя и негодующие выступления всей прогрессивной прессы, низкопробная ремесленная поделка графа Амори («Финал. Окончание «Ямы» А. И. Куприна») вышла в свет и разошлась двумя изданиями. Рапгоф включил в свой «роман» все эпизоды, которые Куприн рассказывал в разное время литературным друзьям. «Только теперь я вижу,— заявил писатель,— как не следует оглашать вперед планов неоконченной работы». Вместе с тем он признавался, что эта скандальная история его «подстегнула» и он теперь возьмется «за окончательную отделку» своей повести. В течение всего 1913 года Куприн упорно трудился над «Ямой». Для ускорения работы он диктовал ее стенографу. Часто бывавшему в Гатчине критику А. Измайлову он говорил, что повесть разрастается и вместо намеченных девятнадцати глав потребуется не менее двадцати четырех. В декабре 1913 года Куприн

приехал из Гатчины в Москву с твердым решением оставаться там до тех пор, пока повесть не будет окончена. О том, как он оканчивал «Яму» в Москве, рассказано в воспоминаниях журналиста Н. К. Вержбицкого (см. его книгу «Встречи с А. И. Куприным», Пенза, 1961, стр. 69).

Весной 1914 года в набор были сданы последние главы. Ввиду большого объема рукописи издатель Г. Блюменберг решил распределить материал на две книжки «Земли». Куприн возражал, считая, что такое «рассечение повести» нарушит цельность впечатления. Притом произведение придется два раза представлять в цензуру. «Сначала отрежут руку, затем ногу,— говорил писатель.— Я предпочел бы, чтобы мне сразу отрезали голову».

Вторая часть «Ямы», помещенная в 15-й книжке «Земли», действительно не была пропущена цензурой. Все сцены, где выведены представители «верхов» общества, а также описание полтинничного заведения и садизма некоторых «гостей» цензор В. И. Истомин признал не свободными «от излишней откровенности, граничащей с циничностью». Цензурный комитет постановил «наложить арест на сборник пятнадцатый «Земля» ... и просить прокурора Московского окружного суда возбудить против автора «Ямы» и издателя сборника «Земля» судебное преследование по 1001 статье Уложения о наказаниях». Только через полгода, после настойчивых хлопот издателей, прокуратура известила Московский комитет по делам печати о снятии ареста с этой книги. Одновременно был разрешен выпуск и шестнадцатой книжки «Земли» с третьей частью «Ямы».

Окончание повести не вызвало большого интереса. Отзывы о ней были немногочисленны. Как и прежде, критики указывали на отсутствие в повести идейного и композиционного единства, на неопределенность и пестроту мотивов, на обилие литературных штампов. «Что-то фельетонное, вычитанное, мелкое, заурядное чувствуется в бойкости этих сцен и банальности общего течения рассказа»,— говорилось в рецензии, напечатанной в журнале «Русские записки» (1915, № 1).

Положительно отозвался об окончании «Ямы» К. Чуковский. «Это не та «Яма», которую мы прочитали несколько лет назад...— писал он.— В прежней «Яме» все действие протекало в одном закоулке, а в нынешней автор швыряет нас в тысячу мест: из кафешантана на кладбище, из мертвецкой в веселый дом, из участка в студенческую келью, и сквозь эту пеструю сутолоку разнообразнейших лиц и событий просвечивает единая грандиозная тема, единое мощное чувство... Каждый его образ так рельефен, точно ты его ощущаешь рукой, оттого он и бьет тебя по сердцу. Кербеш, Сонька-Руль, Анна Марковна... Эмма, Семен Горизонт — все они нарисованы так, что если бы я их встретил на улице, я узнал бы их среди огромной толпы» («Нива», 1914, № 45, 6 ноября).

А. И. Куприн признавал серьезные идейные и художественные недостатки своей повести, но труд, затраченный на нее, считал не напрасным. «Во всяком случае я твердо верю,— сказал он петербургскому журналисту,— что свое дело я сделал. Проституция — это еще более страшное зло, чем война, мор и так далее. Война пройдет, но проституция живет веками». Вспоминая об отзыве Л. Н. Толстого, он добавил: «Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Лев Толстой написал с гениальностью великого художника о проституции, он сделал бы великое дело, так как к нему прислушались бы больше, чем ко мне. К сожалению, мое перо слабо...» («Биржевые ведомости», 1915, № 14855, 21 мая).

В 1918 году, отвечая на вопросы старого рабочего П. И. Иванова об идейной стороне «Ямы», Куприн писал ему: «По секрету вам скажу: в учители жизни я не гожусь. Сам свою жизнь исковеркал, как мог. Для многих читателей я просто добрый товарищ и занятный рассказчик и все» (ЛПБ).

В 1917 году, редактируя «Яму» для XII тома собрания сочинений в издании «Московского книгоиздательства», писатель восстановил в тексте все места, вычеркнутые им из VIII и IX томов полного собрания сочинений изд. т-ва А. Ф. Маркс, а во вторую и третью части «Ямы» внес стилистические исправления. По этому изданию повесть печатается в настоящем томе.

«Яма» неоднократно издавалась в Англии, Болгарии, Германии, Испании, Польше, США, Франции, Чехословакии, Швеции и других странах.

Инсценировка первой части повести (С. А. Трофимов и О. Т. Ефимова. Яма зла и пороков, изд. 1910) ставилась в дореволюционные годы во многих русских провинциальных театрах. В 1915 году фирма В. Функе («Русское кинематографическое товарищество») выпустила на экраны фильм «Яма» в четырех частях. После просмотра картины А. И. Куприн сказал: «Сценарий написан не мною, но передача мыслей сделана хорошо. В сценарии имеются длинноты, встречаются перемещения событий, но скучная мораль об ужасе «любви» без любви выявлена достаточно ярко».

Стр. 6. *...ропетовском стиле...*— то есть в стиле древнерусского зодчества (по имени архитектора И. П. Ропета [настоящая фамилия Петров], 1845—1908).

Стр. 9. *...картина Маковского «Боярский пир» и «Купанье»...*— точное название этих картин русского живописца К. Е. Маковского (1839—1915) «Боярский свадебный пир» и «Русалки».

Стр. 45. *Чу-у-уют пра-а-а-авду!*

Ты ж, заря-я-я...— из арии Ивана Сусанина в одноименной опере М. Глинки (1804—1857).

Стр. 48. *...с одним будущим Моммсеном...* — *Моммзен* Теодор (1817—1903) — немецкий историк, специалист по Древнему Риму.

Стр. 50. *Понес философ свой обычный вздор: веревка — вервие простое* — неточная цитата из басни И. И. Хемницера (1745—1784) «Метафизик».

Стр. 51. *...синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова...* — 13 марта 1895 года в киевском окружном суде слушалось дело владелицы Андрушковского сахарного завода О. Н. Баскаковой, нарушившей договор с синдикатом сахарозаводчиков об обязательной продаже излишков сахара за границу (И. Левин. Свеклосахарная промышленность в России, СПБ, 1910, стр. 27, 28).

Стр. 55. *«Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч...* — Имеется в виду газета «Киевское слово», в которой Куприн сотрудничал в 90-е годы. Издатель газеты, профессор А. Я. Антонович, не всегда оплачивал работы начинающих авторов (В. Яр-ич. Из прошлого киевской печати, «Киевская мысль», 1909, №№ 61, 69, 2 и 10 марта).

Стр. 63. *Регламентация* — в широком смысле: установление определенных правил; здесь — врачебно-полицейский надзор за публичными домами и проститутками-одиночками.

Аболиционизм — здесь в смысле: общественное движение против регламентированной проституции.

Стр. 67. *...французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни...* — Виктор Гюго (1802—1885) в повести «Последний день приговоренного к смерти».

Стр. 68. *...мы его звали почему-то электрическим капитаном.* — См. рассказ «В медвежьем углу».

Стр. 69. *Один большой писатель... подошел однажды к этой теме...* — А. П. Чехов в рассказе «Припадок» (1888).

Стр. 70. *«Коготок увяз...»* — пьеса Л. Н. Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз — всей птичке пропасть» (1886).

Стр. 90. *Каким я был Жадовым и Белугиным, как я играл Макса...* — Персонажи пьес: А. Н. Островского «Доходное место» (Жадов), А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева «Женитьба Белугина» и Л. Антропова (1843—1884) «Блуждающие огни» (Макс Холмин).

...какой образ я создал из Вельтищева... — видимо, Батунина-Вертищева в пьесе А. И. Сумбатова (Южина) (1857—1927) «Старый закал».

Стр. 101. *Ктитор* — церковный староста.

Стр. 107. *...уговорить, как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Аскании.* — Аскания Нова — зоопарк в Херсонской губернии, принадлежавший Ф. Э. Фальцфейну.

Стр. 130. *Кеттен Сесиль* (ум. 1912) — французская оперная певица (см. т. IX — «Лазурные берега», глава «Кармен»).

Стр. 138. *Хипесницы* — проститутки, похищающие деньги и ценные вещи у своих посетителей.

Стр. 142. *Расстались гордо мы...* — романс А. Даргомыжского (1813—1869) на слова поэта В. Курочкина (1831—1875).

Стр. 153. *Дромадер* — одногорбый верблюд.

Стр. 157. *...Бедное, но погибшее создание...* — перефразировка строки из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1832).

Рыцарь Ланчелот — герой многочисленных европейских средневековых романов, повествующих о любви вассала Ланселота к Джиневре, жене короля Артура.

Стр. 173. *Байрам* — мусульманский праздник.

Стр. 174. *«Мравол-Джамиер»* — точнее, «Мравал жамиер» — грузинская застольная песня с пожеланием долголетия гостям.

Стр. 232. *...ходили по рукам рукописные списки Баркова...* — Барков, Иван Семенович (1731 или 1732 — 1768) — поэт и переводчик, автор многих фривольных стихов.

Стр. 234. *Коля в то время переживал эпоху льяносов, пампасов, апачей...* — то есть увлекался романами приключений Фенимора Купера (1789—1851), Томаса Майн-Рида (1818—1883), Густава Эмара (1818—1883) и других.

Стр. 263. *Один великий французский писатель рассказывает...* — Г. Мопассан в рассказе «Койка № 29» (1884).

Стр 268. *Альмандин* — драгоценный камень, род граната.

КАПИТАН

Впервые — в журнале «Новая жизнь», 1914, № 1, январь.

В 1912 году А. И. Куприн сообщил критику А. Измайлову, что работает над пьесой, в которой будет выведена «сильная натура, морской волк», ведущий «к берегу свое судно сквозь ночь и бурю, между рифов, мелей и скал» («Биржевые ведомости», веч. вып., 1912, 8 сентября).

Пьеса осталась неосуществленной, но некоторые черты ее героя узнаются в герое рассказа «Капитан».

Критика отмечала близость произведения к морским новеллам Джека Лондона и Редьярда Киплинга («Новое слово», 1914, № 3, март; «Биржевые ведомости», 1914, № 14062, 20 марта).

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. XI, изд. 4-е, 1917.

Стр. 312. *Барк* — большое парусное судно.

Стр. 313. *...в управлении бегучим такелажем* — то есть снастями, не закрепленными наглухо.

Марс-фалы лиселя подтянуть! Потравить шкоты! — Марс — площадка на верху мачты для наблюдения за горизонтом и управления парусами. *Фалы* — снасти, при помощи которых поднимают

паруса, сигнальные флаги и проч. *Лиселя* — паруса, поднимаемые при слабом ветре. *Шкоты* — снасти для управления парусами.

Стр. 314. *Ют* — кормовая часть верхней палубы судна.

Стр. 318. *Ноки* — верхняя часть мачт и других судовых сооружений для постановки парусов, сигнализации и проч.

Коралловый бар — гряда коралловых отложений.

Фордевинд — ветер, совпадающий с курсом судна или дующий прямо в корму.

Стр. 319. *Остров Гальмагера* (Джимоло) — точнее, Джилоло (Джайлоло) или Хальмахера — крупнейший в группе Молуккских островов Малайского архипелага в Тихом океане.

ВИННАЯ БОЧКА

Впервые — в газете «Русское слово», 1914, № 45, 23 февраля, с подзаголовком «гротеск» и посвящением С. Я. Елпатьевскому.

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. XI, изд. 4-е, 1917.

Стр. 327. *Купаж* — смешивание нескольких сортов виноградных вин.

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

Впервые — в журнале «Пробуждение», 1914, № 5, 1 марта.

В рассказе отразились воспоминания писателя о военной службе в 46-м пехотном Днепровском полку в г. Проскурове и пограничных местечках Гусятин и Волочиск Подольской губернии (1890—1894).

Стр. 335. *...когда случится нам заехать...* — неточная цитата из старинной немецкой студенческой песни, известной в переводе поэта Н. М. Языкова (1803—1846).

Пчо-олка злата-ая, что-о ты шумишь?.. — неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Пчела» (1796).

Стр. 336. *Субалтерн* — младший офицер.

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Впервые — в газете «Русское слово», 1914, № 80, 6 апреля.

В рассказ вошли воспоминания писателя о пребывании в Московском вдовьем доме на Кудринской площади, где после смерти отца он жил с матерью, Любовью Алексеевной, с 1874 по 1877 год.

Журнал «Бюллетени литературы и жизни» (1914, № 22, июль) отметил, что в этом произведении «автор возвращается к старой теме о спасительности лжи для обездоленных, обиженных жизнью людей, той лжи, которая закрывает и украшает ужасное зрелище бедности и несчастий».

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. XI, изд. 4-е, 1917.

Стр. 344. *...получил должность журналиста...*— то есть чиновника, ведущего канцелярские журналы.

Стр. 352. *Экзекутор (лат.)* — исполнитель, чиновник, ведавший хозяйственными делами.

БРИККИ

Впервые — в «Московской газете», 1914, № 308, 8 апреля.

Летом 1913 года Куприн, встречая приехавших в Гатчину петербургских журналистов, шутливо говорил им:

— Позвольте вас познакомить — «Брик». Настоящий английский бульдог. По команде чихает и кашляет, как заслуженный старый бюрократ. Принадлежит не мне, а моему другу, известному талантливому цирковому артисту синьору Жакомино, который сейчас должен приехать из Петербурга (Сэр Пич-Бренди. В гостях у А. И. Куприна, «Петербургская газета», 1913, № 207, 31 июля).

В сборники и собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по газетному тексту, сверенному с исправленной автором копией рукописи.

Стр. 356. *Рабатки* — узкие цветочные грядки вдоль дорожек и стен.

СНЫ

Впервые — в газете «Биржевые ведомости», 1914, № 14444, 20 октября.

В черновой рукописи рассказа, хранящейся в ИРЛИ, имеется ряд разночтений с окончательным текстом. Например, после предложения: «Или еще раньше, миллионы лет тому назад, когда, подобно духу божию, носился над водами крылатый прапращур человека?» — следовали строки: «Зернышко груши, посаженное в землю, дает большое и прекрасное грушевое дерево с его тенистой зеленью и его большими нежными цветами, с его сочными ароматными плодами, таящими внутри себя зачатки будущей жизни. Из семени европейца родится человек с определенным сочетанием черт с (приятными? — неразборчиво) чертами лица и характера, цветом кожи, наклонностями ума».

Начальный вариант рассказа заканчивался так: «Человек летал. Человек полетит. *Человек будет счастлив и свободен*».

Через год после написания рассказа Куприн говорил петербургскому журналисту: «чем произведение короче, тем отделка его должна быть более тщательной» («Биржевые ведомости», веч. вып., 1915, № 15186, 2 ноября).

Стр. 359. *Туареги* — берберийские племена в Западной Сахаре.

Стр. 360. *...впервые пришлось мне подняться на аэроплане.*— Первый полет на аэроплане А. И. Куприн совершил с. пилотом-борцом И. М. Заикиным в Одессе 12 ноября 1910 года (см. т. IX, «Мой полет»).

«ЛЮЦИЯ»

Место первой публикации не установлено.

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. XI, изд 4-е, 1917.

Стр. 362. *Венецианов*, Алексей Гаврилович (1780—1847) — русский художник.

Лампи (Ламп) — семья австрийских живописцев-портретистов, работавших в России: Иоганн Баптист Старший (1751—1830), его сын Иоганн Баптист Младший (1775—1837).

Боровиковский, Владимир Лукич (1757—1825) — выдающийся русский художник-портретист.

Стр. 363. *Рейпейдт* — короткий хлыст дрессировщика для угрозы и воздействия на близком расстоянии. *Шамберьер* — длинный хлыст для щелканья и для поощрения издали.

ЗАПЕЧАТАННЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Первая публикация не установлена. Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. XI, изд. 2-е, 1916.

В 1899 году А. И. Куприн писал И. А. Бунину: «Все бродяжничаю. Жил в Полесье...» (ЦГАЛИ.) О разведении махорки-серебрянки и о службе псаломщиком в Волынской губернии писатель упоминает в автобиографической заметке, написанной для критика А. Измайлова (журнал «Огонек», 1913, № 20, 19 мая).

Стр. 365. *...передвижение пасхалии...*— то есть передвижение праздника пасхи. Пасхалия — вычисления, с помощью которых определялись сроки праздников пасхального цикла.

Стр. 368. *...на страстную седьмицу* — на последнюю неделю перед пасхой.

Стр. 369. *Каплицы* — католические часовни.

Стр. 371. *...патриарху сиракузскому.*— Грозя пожаловаться патриарху сиракузскому, герой рассказа прибегает к мистификации, так как такого патриарха никогда не существовало.

ФИАЛКИ

Впервые — в журнале «Солнце России», 1915, № 262, июль.

Рассказ вошел без изменений в полное собрание сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, т. IX, 1915 г. и со стилистическими исправлениями в собрание сочинений, изд. «Московское книгоиз-

дательство», т. IX (1917 г), по которому печатается в настоящем томе.

В годы эмиграции А. И. Куприн переработал рассказ для детского читателя и включил его в сборник «Рассказы для детей», вышедший в Париже в 1921 году.

Образ кадета-семиклассника Дмитрия Казакова автобиографичен. Переживания героя, который весной не знает, «куда девать себя то от непомерного счастья, то от сладкой тоски», очень близки к юношеским переживаниям Куприна, отразившимся в его кадетских стихах 1885—1887 годов (ЦГАЛИ).

Стр. 372. *Рекреационные залы* — в средних учебных заведениях залы для отдыха и игр учащихся во время перемен.

Стр. 375. *...швыряет толстого Бремикера под парту.*— Учебное пособие Г. Вега. Таблицы логарифмов, пересмотренные К. Бремикером, М., 1882—1889.

Стр. 376. *...липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк вместе с дворцом любимому вельможе...*— 2-й Московский кадетский корпус помещался в Лефортове, в здании, построенном на месте сгоревшего в 1771 году дворца графа Ф. А. Головина (1650—1706) — крупного дипломата и генерала, одного из ближайших сподвижников Петра I.

Стр. 378. *...в том училище, куда Казаков поступит, окончив корпус...*— в 3-м Александровском военном училище в Москве.

ГАД

Впервые — в журнале «Пробуждение», 1915, № 22, октябрь.

Рассказ был отмечен критикой как одно «из наиболее удачных» произведений А. И. Куприна «за последнее время» («Биржевые ведомости», 1915, № 15197, 8 ноября). Но Куприн считал работу над ним незавершенной. «Если бы мне дали 6, 7 или 12 корректур,— сказал он журналисту,— рассказ был бы лучше» («Биржевые ведомости», веч. вып., 1915, № 15186, 2 ноября).

Образ героя — бродячего предсказателя — создан писателем на основе личного опыта. В годы эмиграции он вспоминал, что «в Полесье выступал предсказателем» (Андрей Седых. Далекое, близкое, Нью-Йорк, изд. «Новое русское слово»; год не указан).

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. IX, 1917.

Стр. 380. *Ах, только тот любви не знал...*— из одноименного стихотворения Гёте, положенного на музыку П. И. Чайковским.

Стр. 387. *...к фейерверкерам...*— то есть к младшим командирам артиллерии.

Стр. 388. *Декокт и валтасарово пиршество.*— *Декокт (жарг.)* — безденежье.

Стр. 391. *...несколько пассов.— Пассы* — движения рук гипнотизера.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Впервые — в газете «Утро России», 1915, № 354, 25 декабря.

В основу рассказа положен эпизод из биографии Ф. И. Шаляпина, относящийся к 1891 году. После окончания зимнего сезона в оперно-опереточной труппе С. Я. Семенова-Самарского уфимское общество любителей музыки и пения пригласило Шаляпина выступить на благотворительном концерте в зале Дворянского собрания. Историю этого выступления Шаляпин не раз вспоминал в кругу своих друзей. В сентябре 1911 года он рассказал ее группе петербургских писателей, среди которых был и Куприн. Журналист П. Маныч записал воспоминания артиста и опубликовал их под заголовком «Шаляпин о своей юности» («Петербургская газета», 1911, №№ 274, 175, 6 и 7 октября).

Анекдотический эпизод своей юности Шаляпин рассказал для того, чтобы объяснить, почему он «на всю жизнь сохранил предубеждение к гогель-могелю». Для Куприна этот случай послужил канвой для изображения Ф. Шаляпина как великого певца и актера. Поэтому в рассказе использованы факты, относящиеся не только к уфимскому периоду, но и к более поздней поре сценической деятельности Ф. Шаляпина. На концерте в Уфе восемнадцатилетний Шаляпин пел арию слуги из первого акта оперы А. Рубинштейна «Демон». В рассказе изображено исполнение им роли Ивана Грозного в опере Н. Римского-Корсакова «Псковитянка», вошедшей в репертуар певца в 1898 году, и романса Роберта Шумана на слова Г. Гейне «Из Франции два гренадера», который исполнялся (видимо, впервые) на концерте в Петербурге в 1896 году (см. Ф. Шаляпин. Страницы из моей жизни, Киев, 1956, стр. 165, 166 и др.). Изменены и некоторые детали эпизода с гоголем-моголем. В передаче Ф. Шаляпина первая его встреча с хористом была вполне дружественной и мирной. В рассказе Куприна встреча заканчивается ссорой. Куприн ский вариант отнюдь не произволен. Есть достоверное свидетельство о том, что хористы уфимской труппы очень недоброжелательно следили за быстрыми успехами восемнадцатилетнего Шаляпина. Они «зло насмехались над ним» и даже устраивали ему обструкции (И. Пеняев. Первые шаги Ф. И. Шаляпина, 1903, стр. 12). Коррективъ, внесенный Куприным, оправдывает придуманную им развязку рассказа, где Цепетович, потрясенный пением Шаляпина на концерте, искренне раскаивается в своем недоброжелательстве и предсказывает товарищу великое будущее.

Поводом для написания рассказа послужило, по-видимому, 25-летие артистической деятельности Ф. И. Шаляпина, отмечавшееся осенью 1915 года.

Печатается по собранию сочинений, изд «Московское книгоиздательство», т. IX, 1917.

Стр. 394. *...Николаша морщится и фыркает...* — Николаша — личный секретарь Ф. И. Шаляпина — И. Г. Дворищин.

Стр. 395. *Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена.. бегал взад и вперед по комнате...* — неточная передача содержания письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 7 ноября 1825 года по поводу окончания трагедии «Борис Годунов» (А. С. Пушкин. Полное собр. сочинений, т. 10, М.-Л., Академия наук СССР, 1949).

...рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala... — Выступление Ф. И. Шаляпина в Миланском оперном театре «La Scala» состоялось весной 1901 года.

Клака (франц.) — лица, нанятые для устройства в театре оваций артисту или для срыва его выступления свистками и гиканьем.

Стр. 396. *Бывало прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к мельнику...* — *Мефистофель* — персонаж оперы Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст»; *Марсель* — из оперы Д. Пуччини (1858—1924) «Богема»; *мельник* — из оперы А. С. Даргомыжского (1813—1869) «Русалка».

ПАПАША

Впервые — в газете «Утро России», 1916, № 90, 30 марта.

Рассказ написан в конце 1915 года для петроградского журнала «Солнце России». 25 декабря 1915 года в этом журнале (№ 50—51) было напечатано: «По независящим от редакции обстоятельствам рассказ А. И. Куприна «Папаша» не мог быть помещен в рождественском номере». Видимо, произведение было запрещено цензурой.

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. IX, 1917.

ГОГА ВЕСЕЛОВ

Впервые — в журнале «Пробуждение», 1916, № 1.

Редактируя рассказ для IX т. собрания сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», А. И. Куприн перенес время действия с 1916 на 1917 год и произвел в тексте несколько стилистических исправлений. По этому изданию рассказ печатается в настоящем томе.

В статье «Гога Веселов. Новый рассказ Куприна» критик Н. Константинов писал, что в портрете героя произведения и в «указании на его несуразные и жестокие кутежи... можно усмотреть обрисовку некоего кошкодава» («Журнал Журналов», 1916, № 6, февраль). Рецензент, видимо, имел в виду петербургского купца Г. М. Попова, привлеченного в 1908 году к судебной ответственности за устройство в своей квартире травли кошек собаками — фокстерьерами. В газетных отчетах этот суд именовался

«процессом кошкодавов». А. И. Куприн встречался с Г. М. Поповым и использовал некоторые его черты для сатирического образа Гоги Веселова.

Стр. 406. *Патина* — коричневато-зеленый налет на бронзе, образовавшийся от влажности воздуха

Стр. 408. *Гога и Магога.— Гог* — по библии, легендарный свирепый царь, *магог* — его царство и народ. Имена эти употребляются, когда речь идет о чем-либо страшном, внушающем ужас.

Сирано де Бержерак — герой одноименной пьесы французского драматурга Э. Ростана (1868—1918).

Стр. 409... *лечился у Фурнье...— Фурнье*, Жан Альфред (1832—1914) — профессор клиники кожных болезней Парижского университета.

Стр. 411. *«Друг мой! Брат мой... усталый страдающий брат, кто б ты ни был...»*— начало известного стихотворения С. Я. Надсона (1862—1887).

Стр. 415. *...дойти до такого мандрильного бесстыдства...— Мандрил* — одна из пород африканских обезьян.

ИНТЕРВЬЮ

Напечатано в пензенской газете «Чернозем», 1916, № 126, 10 июня, с авторской датой под текстом: «Гатчина, 1916, 21 мая». Публикаций в столичных периодических изданиях не обнаружено.

Нравы газетных интервьюеров А. И. Куприн знал по многолетним наблюдениям. Ему не раз приходилось опровергать измышления репортеров о своей писательской работе и личной жизни. «Я привык к тому,— сказал он в беседе с журналистом,— что в последнее время выдумывают на меня бог знает что, как на мертвого» («Петербургская газета», 1913, № 232, 25 августа). В письмах Куприна к Ф. Д. Батюшкову часто встречаются такие замечания: «Репортеры врут, как зеленые лошади»; «Я от этой газетной брехни стал совсем седой» и т. п. (ИРЛИ).

Рассказ печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. IX, 1917.

Стр. 419. *Ваш бюст, кажется? Работа Трубецкого? — Трубецкой*, Павел Петрович (1867—1938) — русский скульптор.

Стр. 420. *...оружие времен Измаила и Чесмы...*— места крупных сражений в русско-турецких войнах конца XVIII века.

...принял нас с своим обычным русским лукулловским радушием...— Лукулловский пир, лукулловское радушие и т. п.— выражения, употребляемые в значении: роскошный пир, щедрое гостеприимство,— по имени римского консула Люция Лициния Лукулла (ок. 106—56 гг. до н. э.), прославившегося роскошными пирами.

Ставя рядом слова «русское» и «лукулловское», Куприн пародирует стиль невежественных репортеров.

...в роскошном кабинете, стиля Луи Каторз пятнадцатый.— Бессмысленное сочетание — Луи четырнадцатый—пятнадцатый. Здесь Куприн снова пародирует репортерский стиль.

Стр. 421. *Роден*, Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

...пистолеты работы известного Лепажа.— Форе-Лепаж — французский мастер-оружейник (XIX в.).

ГРУНЯ

Впервые — в журнале «Огонек», 1916, № 26, 26 июня, с иллюстрациями В. Сварога. Подготавливая рассказ для IX т. собрания сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», А. И. Куприн внес в него много стилистических исправлений. Он высказывал пожелание, чтобы IX том вышел с изображением на обложке героини рассказа — «простой русской девушки» (Письмо Д. М. Ребрика к художнику П. Е. Щербову, 1917, 25 февраля; ЦГАЛИ).

Печатается по последнему редактированному автором тексту, вошедшему в сборник «Елань», Белград, 1929.

В своих газетных интервью, критических статьях, лекциях и письмах Куприн осуждал современных литераторов за их индивидуалистическую замкнутость, равнодушие к судьбам народа и общественным вопросам. «Писатели мало переживают, ничего не видят, сидят в своем углу... Они не умеют передать глубоких душевных движений, духа предметов, явлений, лиц, потому что не знают их...» — сказал он в одной из бесед с журналистами («Биржевые ведомости», веч. вып., 1908, №№ 10552, 10553). Эти мысли писателя отразились в сатирическом образе героя рассказа — декадентствующего литератора Гущина.

Описанные в «Груне» места (Рыбинск — Весьегонск) были знакомы Куприну по ежегодным поездкам (в 1906—1911 гг.) из Петербурга в Даниловское, Новгородской губернии, в имение проф. Ф. Д. Батюшкова.

Стр. 425. *Это хорошо говорить людям двадцатого числа.— Двадцатое число* — день выплаты жалованья в государственных учреждениях царской России.

Стр. 428. *Нет! Я не монахиня, а пока только белица* — то есть готовящаяся к пострижению в монахини.

Стр. 429. *...при самолетных пароходах* — пароходы Петроградского общества «Самолет».

Он похож на доброго разбойника Кудеяра...— Кудеяр — образ народного мстителя в народных преданиях, использованный Н. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

МЫСЛИ САПСАНА О ЛЮДЯХ, ЖИВОТНЫХ, ПРЕДМЕТАХ И СОБЫТИЯХ

Первый черновой набросок рассказа был напечатан под названием «Мысли Сапсана II» в московской газете «Вечерние известия» 1916, № 1047, 29 июля, по рукописи, доставленной в редакцию без ведома А. И. Куприна (см. «Писатель и его продавец», «Биржевые ведомости», веч. вып., 1916, №15730, 9 августа). В значительно переработанном виде рассказ появился в альманахе «Творчество», вып. 1, М., 1917, под заглавием «Мысли Сапсана XXVI о людях, животных, предметах и событиях», с посвящением В. П. Приклонскому.

В 1921 году в парижском журнале «Зеленая палочка» (№ 1) был опубликован новый вариант рассказа, предназначенный для детского чтения. Этот текст с небольшими исправлениями был включен в сборник «Храбрые беглецы», Париж, 1927. В детском варианте две сцены, рисующие любовные свидания Хозяйки, Куприн заменил тремя новыми разделами (см. собрание сочинений, М., ГИХЛ, 1958, т. V).

«Сапсан» был подарен А. И. Куприну видным кинологом В. П. Приклонским, занимавшимся с 1890 года изучением и разведением редкой породы собак — «меделянов». Из статьи В. Приклонского «Меделяны» (журн. «Наши собаки», 1914, № 1) писатель заимствовал и гипотезу о происхождении этой породы.

Фотографии А. И. Куприна «с его другом Сапсаном» неоднократно помещались в дореволюционных и советских периодических изданиях («Аргус», 1917, № 1, «Огонек», 1957, № 34, «Неделя», 1960, март и другие).

Печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», IX, 1917.

КАНТАЛУПЫ

Напечатано в пензенской газете «Чернозем», 1916, №№ 211, 212, 28, 29 сентября. Публикаций в столичных периодических изданиях не обнаружено.

Тема произведения подсказана писателю многочисленными судебными процессами взяточников, растратчиков и вымогателей, происходившими в 1911—1916 годах.

Рассказ печатается по собранию сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», т. IX, 1917.

Стр. 442. *...дом чуть ли не растреллиевской постройки.— Растрелли*, Варфоломей Варфоломеевич (Франческо Бартоломео; 1700—1771) — выдающийся архитектор, работавший в России с 1716 года.

Э. Ротштейн

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1914—1916

Яма 5
Капитан 312
Винная бочка 321
В медвежьем углу 334
Святая ложь 342
Брикки 354
Сны 358
«Люция» 362
Запечатанные младенцы 364
Фиалки 372
Гад 380
Гоголь-моголь 394
Папаша 400
Гога Веселов 406
Интервью 417
Груня 423
Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях . 435
Канталупы 440

Примечания 450

Индекс 70664.

А. И. Куприн.
Собрание сочинений в 9 томах.
Том VI.

Редактор Э. Ротштейн.

Иллюстрации художника
И. Глазунова.

Оформление художника
Р. Алеева.

Технический родактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 23/III 1964 г. Тираж 400 000 экз.
Изд. № 576. Зак. 16. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 14,75 + 4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 24,6. Уч.-изд. л. 26,12.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.